ISSN 0130 – 6545

5.1979

Иностранная литература

Бегущая Гуахира

Цветные иллюстрации номера — работы венесуэльского художника Габриэля Брачо

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

■

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

■

ИЗДАЕТСЯ С 1955 ГОДА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ». МОСКВА

5 Май 1979

Содержание

ГАБРИЭЛА ВОМАН — Рассказы *(Перевод с немецкого Н. Литвинец и А. Исаевой. Вступление Н. Литвинец)* 3

ЯННИС РИЦОС — Колокольня *(Поэма. Перевод с греческого Юнны Мориц)* 28

ВИНЦЕНТ ШИКУЛА — Мастера *(Роман. Окончание. Перевод со словацкого Нины Шульгиной. Послесловие Винцента Шабика)* 37

ВИСЕНТЕ АЛЕЙСАНДРЕ — Стихи разных лет *(Перевод с испанского Бориса Дубина и Сергея Гончаренко)* 129

Рассказы валлийских писателей

ДЖОРДЖ ЭВАРТ ЭВАНС. АЛЕД ВОГЭН. ГЛИН ДЖОНС *(Перевод с английского А. Мельникова. Вступление Глина Джонса)* 138

ФРАНСИС БЕБЕЙ — Три юных чистильщика *(Повесть. Перевод с французского А. Карлова)* 163

Критика

С. ШЕРЛАИМОВА — Понять современника (Чехословацкий роман сегодня) 184

С. ИЛЬИНСКАЯ — Яннис Рицос. Неустанное становление (К семидесятилетию поэта) 192

Интервью

Висенте Алейсандре: «Быть сопричастным всему сущему» *(Перевод с испанского и составление Т. Коробкиной)* 198

Уильям Джей Смит: «Я — за бережное отношение к оригиналу...» *(Интервью подготовил Алексей Парин)* 202

Культура и современность

Заметки на полях

Н. Матяш — Латиноамериканский театр ищет себя 206

По страницам литературных журналов

А. Зверев — США. Итоги года — «моральное поражение»? 209

Публицистика

Э. Р. БРЕЙТУЭЙТ — Почетный белый *(Отрывки из путевого дневника. Перевод с английского Мих. Загота. Послесловие К. Чугунова)* 215

«Алеп» продолжает борьбу *(Сокращенный перевод с испанского Н. М.)* 236

Антирубрика

ДЖОРДЖ БЕРНАРД ШОУ — 16 этюдов о себе *(Перевод с английского Юрия Зараховича)*. Эпилог к «Пигмалиону» *(Перевод с английского Назиры Ибрагимовой. Послесловие А. Аникста)*. Цитаты и афоризмы *(Перевод с английского И. Наумова)* 243

Наши гости

Радий Фиш — Фахри Эрдинч 253

Среди книг

Издано в СССР

Карло Бенедетти — Носит имя «Сопротивление». ✦
Вл. Гусев — Европа! Камо грядеши? 257

Издано за рубежом

В. Каверин — «Поэзия, сопровождающая книгу...» ✦
Никита Разговоров — По следам бесследного ✦
Н. Анастасьев — Забытый человек 261

Из нашей почты 268

Из месяца в месяц 272

Авторы этого номера 286

На обложке: картины венесуэльского художника ГАБРИЭЛЯ БРАЧО.

На стр. 27, 128, 137, 162, 191, 205, 214 рисунки вьетнамских художников.

© «Иностранная литература», 1979 г.

ГАБРИЭЛА ВОМАН

Рассказы

■

С немецкого

Трудно однозначно определить место Габриэлы Воман в сегодняшней западногерманской литературе. Порой ее имя упоминается в одном ряду с представителями кёльнской школы «нового реализма». И действительно, некоторые романы Воман, как, скажем, «Прекрасный заповедник» — с долгими взаимопереплетающимися внутренними монологами, с преобладающей фокусировкой на скрытом «я» героя, с подчеркнутой бессюжетностью при одновременном нагнетании сложных внутренних коллизий,— дают известные основания для обобщения такого рода. Но это лишь одна сторона творчества Воман, причем не та, что обеспечивает ей популярность и любовь у широкого читателя. Совсем другое дело — серьезные и взволнованные «конкретные» произведения писательницы, открывающие горькую правду современного «общества потребления», общества, где давно уже произошла девальвация таких истинных человеческих понятий, как добро и зло, честность и доверие, готовность к самопожертвованию, искренность и чистота чувств. Писательница с горечью рассказывает о том, какое разрушающее действие оказывают на человеческую душу пронизывающие все меркантилизмом отношения купли-продажи; уверенно раскрывает она эту тему в жанре, наиболее отвечающем ее дарованию.

Взаимоотношения людей, связанных родственными узами, взаимоотношения родителей и детей, соседей и так называемых друзей дома, большие и маленькие трагедии, разыгрывающиеся ежедневно на узком пространстве, ограниченном четырьмя стенами жилой комнаты,— вот та область человеческого бытия, к которой прикован внимательный взгляд писательницы. Ей необходимо понять, что скрывается порой за внешним благополучием, за обманчивой маской «милых людей», подобных тем, что собрались на светский и с размахом задуманный «праздник на лоне природы» где-то в окрестностях Рима. Воман удивительно умеет создать резкий, активизирующий читательское восприятие контраст, который позволяет увидеть подлинную человеческую сердцевину веселых и нарядных светских людей, поддерживающих беспредметную, перескакивающую с одного на другое беседу, являющуюся необходимым компонентом вечеринок такого рода. И здесь же равнодушное обсуждение одной из газетных сенсаций последнего времени: где-то в Западной Германии в зарослях крапивы рядом с железной дорогой обнаружен труп ребенка, так и оставшийся неопознанным. Ребенок, который никому не был нужен, которого никто не хватился после его смерти, об исчезновении которого не заявили в полицию, от которого, возможно, избавились с облегчением, одинокий ребенок, затерянный во враждебном мире, лишенный ласки и любви, лишенный самых простых и нехитрых радостей детства,— что может быть горше и печальнее этой детской судьбы, способной, казалось бы, тронуть сердце даже самого жестокого человека? Но только не тех, кто собрался на «праздник». Спокойно и деловито, с привлечением наукообразной терминологии, словно обычный криминалистский казус, обсуждают они проблему идентификации трупа, не забывая при этом пить и флиртовать, танцевать, смеяться и делать колкие замечания в адрес друг друга. Происшедшая трагедия — за пределами их сознания.

Это очерствение человеческого сердца, утрата души как плата за определенный «стиль жизни», за радости потребления и благополучия, за соответствующе оформленный быт — важнейшая тема творчества Воман. Героиня, от лица которой ведется повествование в рассказе «Все для галереи», способна мыслить исключительно в категориях «выгодно — невыгодно». В эту нехитрую схему укладываются все ее представления о хорошем и плохом, о сути человеческих взаимоотношений. Нравственная оценка собственного поступка, уважение к чужому чувству, сострадание — всем этим

архаичным представлениям не пробить «круговую оборону» ее убежденности в собственной правоте. Для нее несостоявшийся брак с владельцем галереи Лео — это несостоявшаяся удачная сделка, и, как истинный коммерсант, она надеется со временем вернуться к этому делу еще раз.

Габриэла Воман — признанный мастер «малого жанра». Рассказы писательницы удивительно емки и насыщенны. Большинство из них можно было бы назвать своего рода психологическими миниатюрами, настолько они цельны и многозначны, хотя действие здесь и разворачивается на очень узком пространстве. У Воман действительно особый дар короткого рассказа, умение несколькими штрихами создать изящный, удивительно точный психологический портрет. Каждая деталь, каждая мелочь здесь «работает», и внутренние монологи, в которых реализуют себя персонажи писательницы, при всей их кажущейся спонтанности и непроизвольности являют собой результат точного и уверенного психологического анализа. Впрочем, было бы, пожалуй, неверно ограничивать анализ этот лишь психологическими константами. При всей кажущейся камерности произведений Воман они временами обретают отчетливо выраженную социальную направленность, и остается лишь удивляться, как искусно, мелкими, почти незаметными штрихами добивается писательница этого существенного перенесения акцента.

Все те же «милые люди» — семья Бютов — обычная буржуазная семья, живущая в довольстве и приумножающая свои доходы. А за внешней ширмой добропорядочности — все то же духовное оскудение, та же внутренняя жестокость и полное отсутствие человеческого тепла. Не случайно именно такое самоуверенное и торжествующее мещанство является наиболее благоприятной почвой для фашизма. Семья Бютов воспитывает своих детей по всем правилам нацистской педагогики, той самой педагогики, что столь характерно зарекомендовала себя в «добрые старые коричневые времена», о которых и теперь еще украдкой вздыхает старшее поколение семьи. Эту приверженность к «образцам» они пытаются передать и младшим членам семьи Бьютов, правда, с переменным успехом.

Отчетливо проявляется страстно-непримиримое отношение писательницы к фашистскому прошлому и в рассказе «Вступительная речь». Резкая, язвительная интонация, даже несколько неожиданная для Воман, позволяет ей набросать запоминающийся образ убежденного нациста, чья торжественная речь при вступлении в высокопоставленный клуб являет образец изощренной и высокопарной демагогии.

Габриэла Воман — мастер неожиданных, сразу дающих новый поворот всему изображаемому концовок. Это один из ее наиболее любимых, удачно найденных и отработанных приемов. Здесь нет желания поразить читателя, ошарашить его неожиданным поворотом сюжета — скорее сознательное намерение заставить его еще раз вернуться к прочитанному, взглянуть на него под новым, более точным углом зрения. Такова концовка и в рассказе «Вступительная речь», со смехом ниспровергающая героя с пьедестала, на который он изо всех сил пытается себя возвести.

Собирательный образ «озверевшего мещанина» временами становится у писательницы почти гротескным. Подобное заострение обычной, будничной ситуации в творчестве Воман вполне уместно. Ей важно показать, как постепенно, от одной уступки собственному благополучию к другой, перерождается и размывается обыденное сознание человека «потребительского общества», как окружает оно себя защитной стеной из лживых, вывернутых наизнанку и передернутых представлений о собственном благе и благе другого, и все реже слышится за этой стеной голос совести, голос подлинного человеческого чувства. Рассказывая обо всех этих процессах, которые видятся не столько в личностном, сколько в социальном плане, рассказывая точно и уверенно, с присущим ей литературным мастерством, писательница стремится в то же время найти и какую-то нравственную альтернативу, найти самую главную, единственную составляющую, вокруг которой располагается вся остальная человеческая жизнь. Трудно обозначить эту составляющую каким-либо одним словом. Наиболее приемлемым здесь были бы, пожалуй, доброта, человечность, участливое, заинтересованное отношение людей друг к другу. В утверждении этих простых человеческих ценностей, в противостоянии всепроникающему оскудению души видит Габриэла Воман сегодня задачу западногерманской литературы.

Н. ЛИТВИНЕЦ

Семейство Бютов

Семью Бютов все уважают. Студентом Карл Бютов всегда подрабатывал во время каникул. Став фармацевтом, он выгодно женился на Эльзе, дочке аптекаря. Родители жены быстро оценили его способности, и уже давно он ведет все дела сам, а аптека эта — золотая жила.

Умение Эльзы готовить ты ставил мне иногда в пример. Рецепты она хранит в толстых скоросшивателях. По общему мнению, ей особенно удаются салаты. Не вспомнишь ведь ни одного кушанья Эльзы, где не было бы характерного кисло-сладкого привкуса. Теперь детям запрещено пробовать еду, которую Эльза готовит для гостей,— с тех пор как полгода назад их средний сын ухитрился полакомиться тайком ото всех.

Дом семьи Бютов выглядит мирно и уютно. Эльза делает все сама, без помощи прислуги. Таким образом, и детей она может привлекать к решению все более сложных задач.

Семья Бютов никогда не скучает. Карл, к примеру, очень любит хорошую шутку. Его весьма вольные переводы с латинского, пусть несколько грубоватые, всегда вызывают смех у гостей. Супруги любят спорт.

Закаливание — девиз семьи Бютов. У них в чести плавание, лыжи и санки, гимнастика, метание диска, теннис. Дети тоже пробуют свои силы в разных видах спорта — только теннис исключен по причине высоких клубных взносов. Самому младшему в семье Бютов сейчас четыре года. По приблизительным подсчетам, родители что-то около двухсот раз применяли к нему телесные наказания — первый год жизни, понятно, сюда не входит.

Все дети у семьи Бютов прекрасно воспитаны. Гости охотно бывают в их доме. Дети здесь никогда и никому не докучают. Родители сами привлекают внимание к их малейшим прегрешениям, которых посторонние наверняка не заметили бы.

Родители Бютов любят наказывать детей на глазах у всех. Стыд усугубляет боль. Впрочем, Карл и Эльза бьют всегда только рукой. Карл, как правило, по затылку, Эльза матерински по лицу; она левша, и потому ее мужественным детям оплеухи всегда достаются справа.

Свой метод воспитания родители Бютов называют «подготовкой к жизни». Список прозвищ, которых в этой семье никто не хотел бы заслужить, помещен в деревянную рамку под стекло и вывешен в прихожей. Среди них следующие: неженка, слабак, нюня, мразь, мямля, развалина, сопля, поляк. Недавно Карлу здорово повезло. Упади он, мог бы серьезно расшибиться. Поэтому, когда позже он потребовал от своей тещи возмещения ущерба, для него был важен сам принцип. Ведь это на ее лестнице он поскользнулся. Нужно было повесить табличку «Осторожно, полы натерты». Никуда не годная хозяйка. Карл считал, что мать жены давно пора проучить. Вот почему счет от врача был отправлен на ее адрес — круглая сумма за осмотр, рентген, а после еще и массаж.

Жена да убоится мужа. Немного найдется мест в Библии, которые бы так точно соответствовали представлению Карла о совместном существовании полов. Она ведь сама сказала «да», когда священник спросил ее, готова ли она повиноваться своему мужу, так обычно Карл говорит всем, кто поражается их семейному согласию. Было время, ты тоже находил его аргументацию вполне разумной. С каких же пор Эльза не должна больше быть для меня примером?

Семья Бютов не жалеет денег для зимней подкормки дичи. Рыбу, попавшуюся на крючок, Карл бросает назад в воду. Конечно, это не мешает им охранять вишни, растущие в собственном саду. Ведь дрозды так сильно расплодились в последнее время, что ничего страшного, полагает Карл Бютов, если его сыновья прикончат парочку из пневматического ружья. Он разбирается в детской психологии.

У семьи Бютов есть немецкий дог. Его рост ровно восемьдесят сантиметров — оптимальный рост для данной породы. Упомянутое

животное, по кличке Хассо, вообще может служить великолепным образцом породы. Верхняя часть морды у него сильно развита, лоб выражен четко, вокруг пасти достаточно лишней кожи, чтобы образовались складки, точно соответствующие предписанному образцу. Метод воспитания Карла оправдал себя и в случае с Хассо. Хассо понимает его с полуслова. Во время прогулок по лесу семья Бютов иногда спускает его с поводка. Забавно бывает тогда смотреть, как Хассо, один вид которого способен внушить ужас, пугает даже взрослых, не только детей. Людей, которые боятся собак, семья Бютов презирает. Недавно их старшему было разрешено взять на себя заботу о Хассо — задание почетное и ответственное. У младших детей тоже достаточно обязанностей. Даже четырехлетний, подвергнутый телесным наказаниям что-то около двухсот раз, вполне уже в состоянии ухаживать за цветами. Средний сын вступил в общество по охране птиц. Он очень долго упрашивал родителей купить ему живую птичку — стремление явно недостойное, особенно для одного из семьи Бютов. Чтобы как-то отвлечь упрямого ребенка, было решено давать ему уроки музыки. Вообще-то он так же маломузыкален, как и остальные в семье Бютов. Тем лучше — ученье будет более настойчивым. Таким образом, и пианино не стоит без дела. А значит, Карл вытянул его у родителей жены не только потому, что это материальная ценность.

Карл — прекрасный отец. Эльза — прекрасная мать. Дети должны воспитывать в себе дух товарищества и постоянную готовность к действию. Понятия такого рода в семье Бютов особенно ценят. Весьма трудным делом представляется им выбор правильного окружения для детей.

Форму теперь почти не носят. Идеалы неопределенны. Остаются разве что «исконно немецкие земли», во имя возврата которых двое бютовских детей отбивают барабанную дробь на встречах судетских немцев. Да еще религиозные молодежные союзы. Но надо сказать, что семья Бютов не религиозна. Они, правда, крестили своих детей и теперь готовят их к конфирмации — зачем же вызывать неудовольствие церкви? Но по прошествии девяти лет, когда через первое причастие пройдет их самый младший, семья Бютов покончит все счеты с церковью. Как раз вчера Карл отправил длинное письмо церковному совету. Он хочет наконец знать, куда идут его деньги. Хорошо еще, что я не католик, говорит он в узком кругу, иначе мне пришлось бы отдавать свои кровные на этих «эллинов». Так презрительно называет он своих злейших врагов — иностранных рабочих.

Профессия Карла требует от него жертв. Не только потому, что рабочий день долог. Карл презирает больных. Супруги не выносят всех этих слабаков, развалин и простофиль, которые не могут даже как следует вытереть ноги у входа в аптеку. Они вечно задают глупые вопросы, оставляют зонты и никак не могут разобраться с входной дверью: тянут ее на себя, хотя ясно написано «от себя», или же наоборот. На милых бютовских вечеринках в качестве добавления к прекрасным кисло-сладким салатам Эльзы Карл без устали рассказывает анекдоты о своих бестолковых клиентах.

Семья Бютов принимает участие в культурной жизни города. У них абонемент на все театральные премьеры. А это значит, что они не щадят свои нервы: из театра домой они возвращаются по большей части в раздражении. Репертуар с каждым годом становится все хуже, утверждает Карл. Он уже написал соответствующее письмо в дирекцию театра. Сын, тот, что получает уроки музыки,— счастливый обладатель юношеского музыкального абонемента, половину стоимости

которого он оплачивает из денег, выдаваемых ему на карманные расходы.

Послезавтра, в канун пасхи, мы приглашены к Карлу на день рождения. Я уже предвкушаю удовольствие от изысканных блюд Эльзы. Правда, напитки подаются у семьи Бютов в слишком уж маленьких рюмках. Ну и что из того? На следующее утро все только благодарны им за эту предусмотрительность. Не забыть бы погладить Хассо — семья Бютов придает этому значение.

Дети любят своих родителей. На подарок ко дню рождения отца они каждый раз делают предписанные отчисления из своих карманных денег. Возможно, послезавтра к концу торжества даже выпустят из подвала старшего сына. Как удачно получилось, что грех и искупление пришлись у этого юного злоумышленника именно на пасхальные каникулы. Чтобы посадить его под замок, семья Бютов выбрала страстную пятницу. Теперь на старшем навсегда останется это позорное пятно. Тот, кто не проявляет доброты к животным, не заслуживает ничего другого. А забывчивость — это тоже вина, так считают члены семейства Бютов. Их сердца до сих пор наполняются скорбью при воспоминании о недавнем вечере, когда они застали голодного Хассо, тоскливо склонившего морду над собственными экскрементами. Карл так добродушен, говорит Эльза о Карле. Эльза так мягкосердечна, говорит Карл об Эльзе. Несмотря на это, они вынуждены заносить данные о наказаниях в альбомы своих детей, туда, где на свободных промежутках между фотографиями фиксируются все важные события в их жизни. А именно — все запреты на встречи с друзьями, денежные штрафы, домашние аресты и искупительные жертвы.

Я наверняка уже говорила, какие это примерные родители.

Вступительная речь

Простите, что вы сказали? Да, это воистину так. Я действительно — благодарение богу — очень предан музыке. В высшей степени предан музыке, как и вся наша семья — досточтимые родители и мы, трое детей. А у дочурки моей милой сестры Инги я даже предполагаю абсолютный слух, это в ее-то два с половиной года, да еще вопреки такому достойному сожаления обстоятельству, как отсутствие у мужа нашей милой Инги явно выраженных музыкальных способностей. Во всяком случае, они у него не развиты упражнениями, а упражнения — это очень много значит, в нашей семье им всегда придавалось решающее значение. Я и теперь придерживаюсь этого принципа, уже как воспитатель юношества. Милый папа даже сочинял музыку тогда, в те трудные времена,— я полагаю, уточнять не нужно. Его оперы, оперы для детей, для подростков, короче, оперы для молодых людей родились здесь, в стенах нашей уважаемой классической гимназии, и впоследствии они исполнялись неоднократно. Укажу лишь некоторые из них: «Затонувшая стрела», «Стрекоза», «Волшебник и фея». Нынешние разоблачения представляются мне не только неуместными, но и недостойными, ибо они направлены против чувства, которое должно быть для всех нас свято, я не боюсь этого слова, именно свято, против уважения к памяти тех, кто был тогда молод и открыт миру и кто находил в этих ученических операх свое счастье и утешение. Зачем же теперь, по прошествии стольких лет, припоминать, как это делает Губерт, что

отец мой надевал некую форму, когда разучивал свои оперы с учениками и дирижировал ими? Он делал все, что было возможно в тех условиях. Тогда как другие увиливали от своих обязанностей...

Господа, я признателен за оказанную мне высокую честь, благодаря чему сегодня, в этом зале, я, как новоиспеченный член клуба, получил возможность, говоря иносказательно, положить к вашим ногам всю мою прошлую жизнь. Но моя жизнь — прошу меня понять — это ведь и жизнь моего отца тоже. Подобная взаимосвязь стала еще более очевидной после появления в газете той самой статьи Губерта Хаммера, где сделана попытка опорочить светлую память моего отца. Вы не обратите внимания на злопыхательский акт личной мести — тут я уверен и за эту уверенность благодарен судьбе. И все же я хотел бы сделать несколько дополнительных замечаний по этому поводу, конечно, если высокочтимая аудитория мне это позволит. Благодарю. От всего сердца благодарю. Ваши аплодисменты меня глубоко тронули.

В конце концов всем ведь хорошо известно, что представляет собой человек, написавший эту статью. Бывший ученик гимназии Фридриха Вильгельма, один из тех, кто в силу своих более чем скромных достижений вынужден был до срока покинуть ее стены! Увы, наша пресса тоже теперь не та, что была раньше. Школьные сочинения Хаммера, все без исключения, удостаивались только одного моего замечания: «не отвечает требованиям». Безнадежно. Затем еще эта цитата из Ленина, уж и не знаю, право. И всегда скобки, в каждом сочинении, я безжалостно вычеркивал все, что в них стояло. И еще эти бесконечные французские слова вместо привычных немецких. К тому же он всегда ставил запятые вместо союза «и». Таковы детали, которые лишь дополняют общую картину. В совокупности же Хаммер являл собой феномен типичного отщепенца, закоренелого индивидуалиста, человека вне связей с другими людьми. Я придаю большое значение коллективным поездкам учащихся, ибо они способствуют сплочению группы, формированию духа солидарности, товарищества. В этом причина моей тогдашней, кстати сказать подвергнувшейся нападкам в упомянутой статье, принадлежности к некой политической — именно политической, я этого не отрицаю, хотя у нас, молодых, политика никогда не стояла на первом месте, самое большее она присутствовала в том смысле, что все мы были исполнены любви к нашему отечеству и гордости от сознания того, что в наших жилах течет немецкая кровь,— итак, моей принадлежности к этой организации и моего восхищения, да, да, именно восхищения — короче, вы уже догадались, что речь идет о так называемом гитлерюгенде. Сегодня, господа, очень легко с порога отметать и предавать анафеме все то, в чем, с одной стороны, совсем не просто было тогда разобраться, а с другой — в чем находили свое проявление свойства, вообще присущие молодости и, как таковые, бесспорно, заслуживавшие поощрения и развития. Молодой человек — не из породы газетных писак, а настоящий молодой человек — наделен способностью испытывать восторг, он ищет контакта со сверстниками, он готов мобилизовать все свои силы, готов жертвовать собой, лучше всего во имя высокого идеала, это понятно. В моих глазах, глазах профессионального педагога, такой молодой человек заслуживает симпатии — теперь, как и прежде. Кстати, эти юноши по большей части преданы музыке и с любовью ею занимаются. И вот таких симпатичных молодых людей я собирал в былые времена в своей группе — отделении или отряде, как угодно,— увлекал их за собой на игру, на тренировки, на смотры, в походы, в путешествие, к костру, на спортивный или певческий праздник. Это было прекрасное время. Я отваживаюсь на подобное смелое утверждение, но, заметьте, с од-

ной оговоркой: для нас, молодых. Для старших оно было не таким уж простым. Да, я сознательно говорю «не таким уж простым», ибо ненавижу преувеличения. Для моего отца, преподавателя музыки со всеми вытекающими отсюда последствиями, это время было тем более не просто, ведь надо сказать, что тогда в области культуры имели место определенного рода экстремальности,— прошу прощения за иностранное слово, язык наш достаточно богат, чтобы отыскать в нем аналогичное понятие. Короче, я имею в виду тогдашние трудности с исполнением «Страстей» Баха. Это считалось нежелательным. Гауляйтер издал соответствующий запрет, коснувшийся оркестра городского театра. И здесь вступает в действие мой отец. Страстный поклонник Баха, каковым он был всегда, светловолосый и непреклонный,— что из того, что в форме, которая, кстати сказать, ему шла,— он дирижировал оркестром, исполнявшим в сорок третьем и сорок четвертом «Страсти по Матфею». Я помню, как увлажнялись его глаза над раскрытой партитурой арии «О, сжалься», помню его внутренний трепет, когда ученик Мирц исполнял соло на флейте, увы, и в самом деле далеко не безукоризненно,— что касается учеников, то здесь он вынужден был довольствоваться малым, мой достойный лучшей участи отец, неоднократно дирижировавший оркестром городского театра и добившийся вместе с ним вполне заслуженного успеха... Ваши аплодисменты свидетельствуют, что вы это еще помните. Все образованные граждане нашего любимого города, не только ученые, но и представители среднего класса, были благодарны тогда моему отцу за эти приятные музыкальные события, действительно не чуждые немецкому духу. Я говорю: «любимый город» и не могу сказать: «родной город». Да, наша семья происходит из северных областей Германии. Вообще-то мы всегда этим немножко гордились — говорю это со всей присущей мне скромностью,— гордились тем, что принадлежим к нордическому типу. Даже манера говорить там намного приятнее. Светловолосы, правда, только милый папа и Инга; милая мама, Фолькмар и я, скорее, темноволосы. Материнская линия семьи уходит своими корнями в Померанию. Но это не единственная причина, по которой мы отважились на столь решительное перемещение нашего домашнего очага. Продолжу, однако, свою мысль. Будучи музыкальной семьей, мы с незапамятных времен окрестили каждую комнату в нашем доме именем того или иного композитора: Шуберта, Бетховена, Брамса; я, к примеру, жил у Вагнера, в то время как кухня уже тогда, обратите внимание, уже тогда носила имя Хиндемита! Инга жила у Регера, Фолькмар... Но я отклонился от темы. Итак, полтора года назад, после мучительного и бесплодного ожидания, что наше столь бессердечно раздробленное отечество вот-вот воссоединится, мы решили посвятить комнаты, носившие имена композиторов, памяти наших родных мест. Ибо только воспоминания поддерживают в нас жизнь и воспитывают упорство в отстаивании своих естественнейших прав. Штольп — называется теперь столовая, Штольпмюнде — буфетная. Я сам живу в Кольберге[1]. Из несправедливости никогда не вырастет справедливость. Не так ли?

Обратимся, однако, вновь к клеветническим наветам этого сомнительного писаки Губерта Хаммера. Среди его родни есть несколько священников. Духовенству сравнительно проще было в то двенадцатилетие. Я хочу сказать, что христианство и национал-социализм не всегда могли примириться друг с другом, а значит, сопротив-

[1] Старые немецкие названия польских городов Слупск, Устка, Колобжег. *(Здесь и далее — прим. перев.)*

ление духовенства заложено было в самой его природе. Впрочем, как известно, национал-социализм отнюдь не отвергал целиком христианскую религию хотя бы уже потому, что немцы оказали ей честь своей верой. Это еще один краеугольный камень, подтверждающий мою мысль, что нельзя изображать дело так, будто в те времена сплошные злодеи проповедовали и творили одно лишь зло. Давайте придерживаться объективного положения вещей. Благодарю. Благодарю. Вообще — если позволено будет мне высказать здесь еще одно неортодоксальное суждение — я считаю, что именно те проповедники слова божьего, которые сумели тогда в какой-то степени приспособиться к режиму, оказали на народ наиболее благотворное воздействие. Я верю, именно они давали народу утешение. Они говорили на языке тех, у кого была власть, но в речах их сквозило утешение. Народу нужно то, что он может понять, а следовательно — слова. Что могли предложить ему те, другие, принявшие обет молчания? Это мое личное, ни на что не претендующее мнение, но я рад, что тех, кто избрал молчание, было не так уж много.

Точно так же обстояло дело и в области музыки, где творил мой отец, так же обстояло дело и с культурой вообще. Нет, мой отец не отложил в сторону свою дирижерскую палочку! Во-первых, он был слишком предан музыке, чтобы обречь себя на отказ такого рода. Во-вторых, он помнил про свой долг — служить молодежи. Придавать свойственному ей идеализму конкретные очертания. Посредством музыки. В те времена музыке уделяли очень много внимания, стоило бы и теперь этому поучиться, да, да, и в гитлерюгенде, и в соответствующих организациях для девушек, я знаю это от милой Инги, которая, кстати, тоже не забросила рояль и скрипку только потому, что однажды к власти пришли наци. Пребывание в музыкальном отряде, где подобрался прекрасный человеческий материал, настоящие лидеры, способные любого увлечь за собой, было для нее весьма полезным, и я рад, что к своей маленькой дочурке она порой применяет методы тогдашнего воспитания.

Да, господа, я убежден: ни к чему хорошему это не приведет, если вот так, целиком будет перечеркиваться все то, что в основе своей было совсем не столь уж плохо. Я не говорю сейчас о некоторых излишествах, о преследованиях некоторых людей — само собою разумеется, я считаю неправильным преследовать людей только за то, что им не дано было счастье родиться представителями высокоразвитой расы, в конце концов сами они в этом не виноваты. Не будем дальше ходить вокруг да около, скажем прямо, ибо это действительно так: раса, чистая кровь, не обязательно именно германская, определяют наше земное бытие, так или иначе. И это обстоятельство вновь возвращает меня к мысли об ученике, исключенном в свое время из гимназии Фридриха Вильгельма, о нынешнем журналисте, из числа родственников которого тоже, насколько мне известно, двое некогда покинули пределы нашего отечества,— я оставляю открытым вопрос, из каких побуждений. Тогдашняя эмиграция, господа,— это уже самостоятельная тема. Здесь я затронул ее мимоходом. Мне лишь хотелось предложить вам задуматься, какая позиция больше отвечает человеческому назначению: покинуть фатерланд в трудную для него годину или же верно служить ему, пусть даже надев нелюбимую форму? Но служение, долг, готовность к самопожертвованию — таких понятий для тех, кто покинул фатерланд, не существовало. И они еще кричали о совести. Их совесть — ну уж извините. Но совесть тех, кто остался здесь, кто испытал все сполна и принес в жертву свои благороднейшие побуждения, совесть людей дела и истинных патриотов,— для такой совести существовал в то время

единственный выбор: оставаться на своем посту, делать, что в твоих силах. Для отца это означало: исполнять музыку! Сочинять музыку! Дирижировать, пусть в коричневой форме, оркестром, играющим Баха! Для меня же — идти по своему, юности свойственному пути, в мальчишеских играх, в спорте, в общении с товарищами, и, кроме того, в то время я пополнил свое музыкальное образование и не желал бы себе ничего другого.

Итак, суммирую сказанное. Клеветнические наветы бывшего гимназиста, обязанного, кстати, в первую очередь мне своим выдворением из гимназии, этого отщепенца и одиночки Губерта Хаммера... Прошу прощения, господа, кажется, я перевернул лишнюю страницу. Подведению итогов должен предшествовать еще один важный пункт, касающийся родителей Губерта Хаммера. Я уже отмечал, что среди родственников Хаммера есть служители церкви. Не думаю, чтобы мне, скажем, доставило особое удовольствие быть его отцом. Будь я священником и одновременно отцом такого сына, как Губерт, я вынужден был бы безоговорочно признать, что как воспитатель допустил грубейшую ошибку. Этот господин, коего я не имею чести знать лично, поскольку он никогда не являлся в отведенные для бесед с родителями часы, а всегда посылал вместо себя жену, обильно поливавшую все вокруг слезами, этот господин — отец клеветника и доносчика. Яблочко от яблони недалеко падает. Как вы сказали? Простите, господин председатель, возможно, я не совсем вас понял? О, пардон! Я не мог знать...

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. Прошу тишины, господа! Наш уважаемый коллега, произносящий сегодня свою вступительную речь, специальность — педагогика, находится среди нас впервые, и поэтому его ошибка или, скорее, его недостаточная осведомленность по-человечески вполне понятна. Итак, прошу вас, коллега Хаммер, специальность — теология!

КОЛЛЕГА ХАММЕР. Я вовсе не собирался прерывать нашего оратора. Просто я не люблю речей, которые читаются по бумажке. Поэтому мне хотелось бы сделать одно, возможно, несколько запоздавшее замечание. Дело в том, что я и есть та самая вышеупомянутая яблоня, поскольку я отец Губерта Хаммера. Это обстоятельство, пожалуй, вынудит господина оратора отойти от первоначального текста своей речи.

Перевод Н. ЛИТВИНЕЦ

Праздник на лоне природы

Ты видал фотографию девочки? Бери, бери, попробуй — эти штуки я сама готовила. НИКТО ЕЕ НЕ ХВАТИЛСЯ — такая там была подпись под фото. Лицо как пустыня, какое-то закарстовевшее. А с каких это пор ты вообще готовишь? Там что, только одно лицо было сфотографировано? Закарстовевшее — откуда такое слово? Лицо — не известняковое образование. Я хочу одну тебя. Только, пожалуйста, не у всех на виду. Пойдем потанцуем? Нет, потом. Глаза ее — кратер. А это твое блюдо тоже вполне съедобно. Застывшая лава, возвышения, трещины: рот, подбородок, нос. А как погиб этот ребенок? Могила под номером. Ну что ж, хоть какие-то данные. Не придвигайся ко мне так близко. А правда чудесный вечер? Девочка, говорят, из двадцать пятого округа. В Австрии прививки делают на левой руке, вверху. Номер мо-

гилы шестизначный, с косой чертой посредине. Это имеет какой-то смысл только для управления городскими кладбищами, для планов кладбищ. Никто не разыскивает эту могилу, чтобы ее навестить. Погляди-ка, вон там, на склоне, кажется, что камни, а ведь это стадо овец. Парочки понемногу удаляются, замечаешь? Вместо того чтобы сперва навалиться на угощение — ведь все испортится. Смотри, вон там стоит господин Песко или как там его величают. А ведь он совсем не плохо выглядит. Имя ребенка так и осталось неизвестным, родителей так и не разыскали. Никто не дал объявления о пропаже. Родители потирают руки. Смерть ребенка, как видно, перечеркнула все их ошибки. Номер могилы — ее единственное украшение. Под ним — тело. Тело ребенка — это ведь высокоорганизованная структура. А теперь давай-ка покажем класс на паркете! Такие идиотские выражения уже с двадцатых годов никто не употребляет — со времен «Golden Twenties». Ребенок женского пола. Весит шестнадцать кило. Ноги тонкие, волосы светлые, но жиденькие. По-моему, о ребенке известно слишком много подробностей. Вон о той блондинке рядом с господином Песко я знаю гораздо меньше. Возможно, в детстве она была ничуть не красивее этой девочки. Все равно ты не знаешь, как на самом деле фамилия господина Песко, может, и не Песко вовсе, а как-то похоже. Ладно, будем называть его Песко. И где там у него след от прививки, нас тоже никто не информировал. У девочки было два следа от прививки на левом предплечье. Будь я врачом, я бы делал прививки только на ляжках. Но твои пятнышки от прививки очень и очень милы. У девочки не хватало во рту одного резца — справа внизу. Но там уже прорезался новый зуб. Еще несколько недель, и никакой дырки во рту не стало бы. Но ведь у нее было еще порядком молочных зубов. Быть может, родителей смущала мысль о будущих дырках во рту. Они, может, были утонченными приверженцами прекрасного со сверхобостренным восприятием. Мне хотелось бы выйти с тобой на террасу. Ну ладно, давай немного пообжимаемся. Это что, берлинское выражение? А та дама рядом с господином Песко выглядит более чем привлекательно, хотя красное платье для блондинки, на мой вкус, совсем не фонтан. У нее красивые, светлые волосы. Прекрасные, длинные, светлые волосы. Чтобы волосы так струились, их нужно мыть почти ежедневно. А уж сколько раз в день расчесывать щеткой, я и сказать не берусь. Ходит ли она босиком? Этого мы о ней не знаем. Вот, может, господин Песко знает — этим я отнюдь не хочу сказать, что считаю его ее любовником. Та девочка редко ходила босиком. Ее ноги — тоже высокоорганизованная структура, и подошвы их были чувствительны, не загрубели от твердой земли. Мы вообще ничего не можем сказать о том, довелось ли ходить босиком кому-либо из здесь присутствующих. А ты наведи более точные справки о своих гостях.

Какой прекрасный праздник на лоне природы! Добрый вечер, госпожа Лампада. Меня очень радует, что вам тут нравится. Поглядите, вот там стоит мой муж, и, видите, его тоже радует, что гостям здесь нравится. Он, например, сам готовил вот эти пирожки с начинкой. Я, собственно, предпочитаю вон тот салат. А ну-ка, скажи это на местном диалекте. Вы уже видали фотографию девочки из двадцать пятого округа? Ну-ка, с ходу переведи эту фразу. Местный диалект очень труден. Все местные диалекты трудны. Девочка уже вполне хорошо владела местным диалектом, знала все идиомы двадцать пятого округа, но на насыпи близ Фридфельдского моста какой-то студент нашел ее безмолвной и бездыханной. Она лежала скорчившись в зарослях крапивы. А какого происхождения, собственно, слово «крапива»? Чтобы изучать язык, надо его любить. Крапива

там очень высокая. Все сплошь простые предложения. Салат очень вкусный. Студент пошел гулять. Девочка лежала скорчившись. Это уже несколько сложнее, а проще так: девочка умерла. Мне непонятно, что он вообще там потерял, этот студент? И вообще эти студенты. Надеюсь, это не я вытеснил отсюда вашего друга? Это салат из одуванчиков? Ах, вот он уже возвращается. Будьте осторожнее с местным уксусом. Этот господин рядом с той прелестной блондинкой, которая рядом с господином Песко или как там его зовут, занимает руководящий пост в Историческом институте. Приглядитесь к нему, да и вон к тому тоже. Да, да, и вот тот, и вот этот, оба они очень неплохо выглядят. Тело девочки — сложная организация в смысле архитектоники, гармонии его членов — было из-за летней жары сравнительно быстро подвержено разрушению. Каждая часть тела имеет свое название — путь вдоль насыпи с зарослями крапивы, которым шел тот студент, когда нашел девочку, названия не имеет. Ни один бургомистр, ни один член муниципалитета, ни один управляющий лесничеством не согласится присвоить свое имя такой дорожке. Правда, она могла бы носить имя Моцарта. «Моцартвег». Так что о девочке все же известно не так уж мало. Многое стало мне гораздо яснее с тех пор, как я тут. В этом городе у меня словно глаза открылись. Античность и так далее. Здесь по крайней мере когда-то шла жизнь. Шла жизнь, я сказал. А вот теперь ваш друг и в самом деле держится как-то чересчур уж подчеркнуто в стороне. Один идеалист написал мне об этом городе длинное письмо эстетического содержания. Идеалист, с которым я когда-то ходила вместе на уроки танцев — можно сказать, сто лет назад. Вы преувеличиваете, моя милая. На восьми страницах. Вечный город, не правда ли? И повсюду эти термы или как там они называются. Так вот, эти самые уроки танцев, на которые я тогда ходила, в доисторические времена, еще до изобретения электричества... Ну, это уже сверхпреувеличение. Ваш друг — только это, конечно, между нами — малость располнел. Ваш муж держится куда лучше. Этому идеалисту, видите ли, много чего открылось, когда он тут вдоль Тибра пробирался тигром. Солнце палило вовсю, освещая город, когда этот студент пробирался сквозь заросли крапивы, солнце палило вовсю, когда мой муж закупал на рынке еще кое-что для этого праздника на лоне природы, солнце палило, освещая девочку и ускоряя процесс разрушения углеродных соединений, солнце светило на идеалиста, на все эти сорта салата, на свежие овощи, на все эти скороспелки, на моего плачущего друга, на рынок, на одуванчики, на крапиву, оно светило через оконные стекла в служебную комнату господина Песко в археологическом отделе — потный, он выглядит, конечно, не так блестяще. Ах нет, составьте, пожалуйста, еще несколько предложений с выражением СОЛНЦЕ ПАЛИЛО.

Осторожнее с этой настойкой, с граппой. Травка тут главным образом для декоративности, прелестно. Прелестно — такие длинные светлые волосы. И все это так исключительно мило на фоне храма. Как все-таки умели строить в те времена. Я говорю: УМЕЛИ СТРОИТЬ. Общее место, собственно. Ах, вот и ваш муж. Добрый вечер. Вы оба просто блистательно принимаете гостей. А после того как этот студент сообщил куда надо, была создана комиссия по расследованию убийства. Но поскольку солнце палило вовсю на пути и дороги, которыми приходилось пользоваться для выяснения подробностей, и поскольку ответственным за расследование так ничего и не стало ясно, эту девочку переправили в Институт судебной медицины все в том же скорченном положении. Я знаю об этом слишком мало, но трупы как-то коченеют. Мой муж вообще не выносит по-

добных разговоров. Он что, идет к этой блондинке? Ну, после стольких — после скольких? — после почти девяти лет брачной жизни вас это, разумеется, не волнует. Rigor mortis. Окоченение. Оно начинается обычно через четыре — двенадцать часов после смерти. От нижней челюсти переходит на шею и мышцы затылка, затем спускается ниже. Исчезает в течение шести дней, когда начинается процесс разложения. В том же порядке. Закон Нистена. Сердце коченеет еще раньше, чем мышцы. И чего только не знают в наши дни! И какие только комиссии не функционируют в наше время — комиссия по расследованию убийства и т. д. и т. п. Пожалуйста, взгляните, ради бога, хоть разок вон, вон туда — туда, туда. Вот, вот — сюда: на эту тень от той колонны. Господи, этот храм... Да, я, пожалуй, еще кусочек положу себе на тарелку, великолепное лакомство! С этим господином, который рядом с господином Песко, вон, вон, справа от него, вот с этим, немного полноватым, вы, мне кажется, охотно вступили бы в беседу. Ну как, я не ошибаюсь? Тьфу ты, какая глупость — ведь это же и есть ваш друг! Я без очков — вот что делает с человеком щегольство. Ну так как, мне испариться? По-моему, это было сказано на местном диалекте. Или, пожалуй, это скорее жаргон, особый разговорный язык — испорченный, или смешанный, как его здесь называют. В один прекрасный день, дорогая синьора, я и рецепт этого блюда вам открою — берите, берите, пожалуйста. Если напряжение мышц непосредственно предшествует смерти, окоченение наступает так быстро, что запечатлевает позу человека в последний момент жизни. Разумеется, многое тут зависит от места нанесения смертельной травмы и от ее характера. Но ведь девочка умерла не насильственной смертью. И все же она лежала скорчившись. В медицине это называют позой боксера.

И так далее, и так далее... Обратите внимание на окраску вон той колонны, пока солнце дарит ее этим удивительным розовым цветом. Дарит — я говорю. Здесь, за городом, становишься чувствительным. Тот же оттенок я видел однажды и у окуней, идущих на нерест, так отливала их чешуя. Да, да, что-то болезненно нежное, что-то вечное. Прочтите эстетическое письмо на восьми страницах экскурсировавшего в этих краях идеалиста. Принимая во внимание исключительно жаркий день, прежде всего установили, что смерть ребенка наступила не более чем сорок восемь и не менее чем двадцать четыре часа назад. Подумать только, какая точность. Мне хотелось бы иметь возможность выразить этим людям мое восхищение. А вот и опять сюда идет он, ваш друг. Пожалуйста, не говорите ничего о его полноте. А вот и я. Давай немножко пройдемся, подышим воздухом. Я вам мешаю, моя милая да, да, я это вижу. Мы танцуем всегда на свой лад, на свой каблук, как говорят на северном диалекте. Нет, нет, это просто разговорное выражение, не запоминайте его. Я плакала, право. Я тоже плакала. Да отшей же ты ее наконец. Этого студента ни в чем не подозревают насчет этой девочки. Никаких следов насильственной смерти. Прекрасная смерть, летом, среди зелени. Раз уж все равно придется когда-нибудь умирать, госпоже Лампаде хотелось бы умереть тут, неподалеку от храма, вдыхая запах летнего вечера, со вкусом праздника на губах. Видите, вон тот господин — вон, вон тот, что стоит рядом с приглашенным официантом,— а ведь он тоже неплохо выглядит. Слово scrittore [1] — а этот господин и есть scrittore — начинается с так называемого глухого «S», с чем сообразуются и артикль, и прилагательное. Проза, поэзия, радио, телевидение. Дела его не так уж плохи. Но больше всего его всегда вдох-

[1] Писатель *(итал.)*.

новляла мысль написать стихи о прекрасной смерти. И вот в такую жару, при подобной температуре ему это, кажется, наконец удалось. Примерный сюжет: шар для игры в боччу попадает в умирающего прекрасной смертью, но я не помню, куда именно. Многим и в жизни не сладко, об этом забываешь при виде столов, ломящихся от яств, ловко прислуживающих официантов, прелестных дам, хорошо сохранившихся мужчин, этого храма вдали. Не спешите осуждать ее родителей. Вполне возможно, что они вовсе не всегда потирают руки, а время от времени прерывают этот грубый жест, выражающий удовлетворение. Поставьте себя — всего на одно мгновенье — на их место. Добрый вечер, госпожа Шлет, как мило, что вы все-таки пришли. Да, мне только сейчас удалось наконец освободиться. Родители любят миловидных детей. Да отшей ты ее, да пошли ты ее к черту. Я не расслышала вашу фамилию, когда нас представили друг другу. А это обычное дело. О, он выглядит так хмуро только потому, что хочет, наверно, потанцевать. Он выглядит точь-в-точь как та мрачная рыба, которая лежала тут на блюде. Когда умирают миловидные дети, не от травмы конечно, они и в смерти прелестны. А таким ребенком родители никогда не могли бы гордиться. Например, в отеле это просто унижает, ставит в самое невыгодное положение. Да потанцуйте же. Для меня все равно вино — наслаждение, даже когда я пью в одиночестве. Пожалуйста, давайте попробуем хоть немного держаться такта. В холодильной камере морга, куда положили девочку, поддерживают температуру десять градусов ниже нуля. Какой же это танец? Трясучка какая-то. Вот бы сейчас хоть на минутку в такой холодильник, вот что освежило бы. Это все от трясучки и от граппы — и от того, и от другого. А той блондинке с длинными волосами пошло бы голубое. Ах, да хватит про голубое, и про эту блондинку, и про всю эту ерунду, я хочу одну тебя. Однообразные, но милые комплименты. Только, пожалуйста, еще тише — чем тише, тем лучше. Благодаря исследованиям, длившимся несколько недель, удалось установить, что девочка не была отравлена. Scrittore — этот пример на глухое «S» — рассказывает о своем новом эссе, названном им «Смирение перед фактами». Стихотворение о прекрасной смерти пока еще все-таки не написано, тема остается свободной. Надо кончать с этой трясучкой. Медицинское заключение в самых спокойных тонах. В мышцах мертвого тела скапливаются кислоты — молочная и фосфорная, благодаря повышенной концентрации «Н»-ионов, они способствуют свертыванию белка. Почему современный человек всегда тут же думает о преступлении? Не слишком ли в ваших краях распространена подозрительность? А ну-ка, скажите мне, как это говорится про соринку в чужом глазу, а ну-ка, поскорее. Эти авторы Библии знали, о чем писали. Давай выйдем на минутку на террасу. Нет, спасибо, как вы ни обольстительны, сейчас, к сожалению, мое место здесь. Не могу же я весь вечер уединяться, ведь я все-таки хозяйка. Нет, можешь. Потом, потом эти сладостные минуты, и на террасу потом, и в кусты.

А сейчас надо побеседовать вон с той, да, да, вот с этой! Ее муж непрестанно пишет какие-то очерки о негритюде — «Ритм как шок», «Архитектура бытия»... Они вам нравятся? Моему мужу это будет очень приятно. Откуда вы взяли такого очаровательного официанта? И все с улыбкой, правда, она не всегда украшает эти простые, человечные лица, и все же...

Почему он так прижимается к ней во время танца? Да не прижимайся ты так, держись подальше. В начале октября они дали окончательное заключение: девочка умерла от солнечного удара. Это могло случиться и с идеалистом, бродившим вдоль Тибра, но ему слиш-

ком многое открылось, и это спасло его организм от перегрева, который, проявившись в жажде и возбужденном состоянии мозга, в судорогах, рвоте, поносе, мог привести к потере сознания, к летальному исходу. Надо сказать, что чаще всего тепловые удары случаются на фабричных дворах. Шутки в сторону, девочку что, перед этим рвало? Ну уж рвота — об этом я вообще ничего не хочу слышать. Девочка была ослаблена бронхитом, вот она и не выдержала, а вполне здоровый идеалист, пока он тут курсировал, регулярно поддерживал в норме содержание воды в своем организме, отхлебывая красного вина из своей баклажки. Фляга из дутого алюминия, обшитая сверху мехом,— типичная дорожная принадлежность идеалистов. Переведите мне все про эту девочку, а я уж пожертвую собой — отредактирую и исправлю. Но ведь и мне тоже время дорого. А полиция все продолжает розыски, и в самом широком масштабе. Эти ребята просто трогательны, не сдаются, не отступают. А вы что, любите мужчин, так сказать, в теле? Да они же вообще танцевать не умеют, этот господин Песко и эта блондинка. Просто держатся друг за друга и никак не разойдутся. То, что они там выделывают, где-нибудь в другом месте было бы не более изящно, но зато более продуктивно. Девочка уже лежала в своей украшенной шестизначным номером могиле, которую никто не навещал,— все в прошлом, все спокойно, девочка в горизонтальном положении... Все будут в горизонтальном положении — и господин Песко, и эта блондинка, и все остальные пары, которые сейчас во время танца, а также в нишах проделывают подготовительные упражнения. Картотека, охватывающая миллион двести тысяч жителей, весом примерно в пять тонн, была перевезена в одну находящуюся неподалеку фирму, где компьютер марки «Сименс 4004/45» выбрал из нее имена и адреса двадцати тысяч ста двадцати шести девочек требуемого возраста. Сименс, Бош, ВЭК [1] — у вас в стране и вправду есть фирмы с мировым именем. За двадцать два часа компьютер совершил все, что от него требовалось. Какие все-таки серьезные меры принимают в подобных случаях в вашей стране. А у нас зато повсюду стоят эти... Ну ясно, памятники архитектуры. Ну ясно. мой друг хочет одну меня, он плакал, а теперь танцует с блондинкой. О, праздники на лоне природы в этой стране — они бесподобны. Эти свирепо улыбающиеся, такие вкусные рыбы, эти приглашенные официанты... Но вы ведь хотели потанцевать? Ну да, так, слегка потолкаться, потоптаться на месте. Чиновники и чиновницы криминальной полиции шли развернутым строем, требуя, чтобы им предъявили всех детей, отобранных компьютером. Я уверен, что при расследовании дела и розыске родителей не было упущено ни одной мелочи. Малышка с тонкими ножками... как она вообще попала в заросли крапивы? Ведь кто-то бросил ее туда. От крапивы у нее чесались ноги? Этого тоже никто не знает. «Чесаться» — употребляется и в переносном смысле. Например, так: «В вашей стране забастовок больше, чем во всех других странах, а вы и не чешетесь?» Или так: «Мой друг, который танцует, прижавшись к прелестной блондинке, представляет издали малопривлекательное зрелище. Но все это меня мало волнует или, если хотите, а я и не чешусь». То, как мой друг погружает свое лицо в длинные волосы блондинки, называется на местном диалекте «зарыться носом». Отвратительно, пошло, разумеется. Эти чиновницы и чиновники штурмовали доходные дома, где никто никого не знает, где все друг друга знают, где никому нет дела до другого, потому что он такой мерзкий или потому что все такие мерзкие, что им нет никакого дела до других. Но ничто

[1] Всеобщая электрическая компания.

не наводило на след девочки, ни молчание, ни вопли, никто не тосковал по ней. Здесь все по-другому, здесь все милые люди, их будет недоставать тому, кому дороги добрые нравы. Розыск родителей распространился на всю страну, перешагнул границы, уже подключился Интерпол. Не перегнули ли палку? Нет, совершенно серьезно, ведь это требует больших расходов. А с девочкой происходило уже последнее превращение — превращение всех мягких тканей. Но никто ее так и не хватился. Спасибо, спасибо, ну, с этим я расправился, опять беру добавку, поверьте, я бы давно отступил, если бы эти штуки не были столь превосходны. Колонны теперь уже не напоминают об окунях. О чем же они напоминают? Погодите, что-нибудь да придет вам в голову. И потом, уж писатель-то знает — сейчас он похлопывает блондинку, это местный обычай,— уж он-то найдет сравнение, он его всегда наготове держит. Стопки объявлений о розыске все росли и росли на письменных столах соответствующих учреждений. Полиция отпечатала пятнадцать тысяч плакатов с фотографией застывшего лица девочки. Под ней стояла подпись: «Кто знает этого ребенка?» Родственники часто проходили мимо фотографии своего знаменитого ребенка, и, если бы девочка была хоть чуть-чуть покрасивее, проходили бы не без гордости. Впрочем, из-за эрозии лицо девочки стало почти неузнаваемым. Бронхит, жара летнего дня, крапива, репродукция, клише сделали свое дело — нет, нет, этот студент тут, право же, ни при чем. Родственные чувства так и не проснулись, а боль, как известно, проходит со временем. Полицейским на всех ступенях служебной лестницы труп девочки давным-давно уже надоел до черта. Кроме всего прочего, были разосланы специальные уведомления о подозрительных лицах, которые могли бы иметь отношение к этому делу, в следующие страны: в Афганистан, Египет, США, Австралию, Данию, Францию. С полной уверенностью могу сказать, дорогая, что съел сейчас тысячную маслину. Дания. Такая чистенькая страна. То бишь в страны, откуда бывают туристы. Ну и затем в страны, где делают прививку на левом предплечье. В Грецию, Израиль, Голландию, на Гаити, на Гавайи — небось не такой уж там у них белоснежный пластырь,— ну и, конечно, в Кению. Кения! Негрофил пусть не слушает, но, раз подвернулся случай, расскажу-ка я вам кое-что об этих черных. Канада, Новая Зеландия, Австрия. И вообще о цветных. Тенерифе, Турция... Вот, вот, опять. Ну, а потом Шотландия, Испания, Швейцария, Южная Африка, Персия, Кипр. Эта прелестная блондинка действует мне на нервы, так, слегка, и в господине Песко я тоже слегка разочарована. До сих пор он всегда казался мне куда более вежливым. Как я хотел бы не расставаться с тобой всю ночь. Ни в одной из этих стран никто не хватился девочки. Нулевой результат. Председатель комиссии по расследованию убийства не отказал себе в жесте полного разочарования. ОН УДИВЛЕННО ПОКАЧАЛ ГОЛОВОЙ И ПРОИЗНЕС: «ПРОСТО НЕПОСТИЖИМО, НИКТО И ЗНАТЬ НИЧЕГО НЕ ХОЧЕТ ОБ ЭТОМ РЕБЕНКЕ». Эта фраза обошла все газеты и всполошила читателей-современников. Теперь уже стадо овец не разглядишь на склоне, теперь храмы могли бы стать чем-нибудь. Как это «чем-нибудь»? Ну, хотя бы ногами огромного слона. Но ведь слоновьи ноги вряд ли когда стоят отдельно друг от друга. Таинственная история с девочкой, так и оставшаяся без разгадки, вызвала все же значительно меньший эмоциональный отклик в широких кругах населения, чем это обычно бывает, например, при изнасиловании. Руководитель учебных мастерских по гипсовым изделиям при Академии изобретательных искусств изготовил гипсовую маску с лица девочки. Она придает ему, еще более чем фото, сходство с луной. Шершавая кожа, вздернутый нос, открытый

рот. Словно дышащий жаром. Очевидно, ребенок, ослабленный бронхитом, кашлял перед смертью, но следов мокроты в крапиве не нашли. Гипсовую маску тоже сфотографировали, фотографии размножили, и все-таки девочка не обрела ни имени, ни родителей, ни братьев, ни сестер, вообще никаких близких, даже товарищей по играм, соучеников, учителей. Никто не объявился. И с Луны никто не явился, ибо на Земле она, видно, никогда не жила. Кто-то, кто, судя по всему, вообще не существует, бросил ее в заросли крапивы, и тогда этот студент, который существует, нашел ее, а другие люди, которые также существуют, занялись расследованием обстоятельств ее смерти. Таким образом, девочка получила что-то вроде права считаться жительницей Земли. На террасе становится прохладно, пошли отсюда. Кто теперь станет мечтать о холодной камере морга Института судебной медицины, ни на минутку туда не захочешь сунуться. Скорее пошли в дом, ведь столы еще вовсе не опустели. Понаблюдаем за прелестной блондинкой, за господином Песко — за живыми людьми. Девочка, как можно себе представить, страдала — это официально установлено — от бронхита и от жары, которая на этот раз так украсила наш праздник и которую умел так высоко ценить идеалист, курсировавший вдоль Тибра,—потому совершенно логично, что девочка умерла. Родители хотели избежать формальностей, предписываемых законом в случае смерти, и бросили ребенка в заросли крапивы, возможно, проездом. Там по рельсам, над насыпью, то и дело пролетают поезда дальнего следования — скорые, пассажирские, экспрессы. Что выиграл бы труп от формальностей? Прекрасная смерть среди зелени. Может быть, девочке даже лучше было умереть, потому что родители, похоже, не так-то уж ее и любили.

А мы все продолжаем и продолжаем склонять прилагательные и восхищаться колоннами, сейчас уже темно-зелеными, как и пинии, и стада овец, и заросли крапивы; продолжаем любоваться прекрасной смертью среди зелени, остановившей кашель, а также прекрасными галстуками и прекрасными, длинными, светлыми волосами. Но перед полным изнеможением, повлекшим, быть может, афазию — от слабости у девочки вряд ли сохранилась способность превращать впечатления от окружающего мира в слова,— она, должно быть, лишь смутно ощущала, что от крапивы чешутся ноги. Никто не ходатайствовал перед богом о помощи. Но если ты вынес другое решение, так возьми же ее в свое царство вечной радости — и этого тоже никто не сказал, и никто не сказал «аминь». Тут, на танцевальной площадке, становится слишком тесно. Мой муж смотрит сюда. Мои знакомые объелись. Подвыпившие мужчины в состоянии праздничного подъема обращаются с преувеличенным выражением чувств к немногим дамам, которые действительно хороши. Но и менее прекрасные дамы извлекают кое-что для себя из винных паров. Сложные ткани человеческого организма распадаются на простейшие химические элементы. Где же тот, хоть кто-нибудь, кто живет, но не причастен смерти, кто спас свою душу из ее объятий? Вы несколько отстали от жизни, говорит пример на глухое «S». До меня дошли кое-какие новые сведения, говорит он, отдавая краткий прощальный поклон. Поклоны — полный идиотизм, и вы тоже так считаете? Его красивый галстук трепыхается на ветру. Значит, вы считаете, что в наше время можно еще употреблять слово «душа»? Так вот, новые сведения: при облаве на проституток задержали предполагаемую мать умершей девочки. Труп эксгумировали и снова перевезли в Институт судебной медицины для новой попытки опознания. Все прошло очень хорошо. Некий зубной врач сумел опознать пломбы во рту ребенка и установить, что это его работа. Труп девочки был еще в тот

же вечер вторично зарыт. Таким образом, все становится на свои места, как это обычно и бывает в жизни. Стихотворение о прекрасной смерти тем временем уже написано — во время игры в боччу. Душа? Вы могли бы обосновать свои раздумья на эту тему? Или сформулировать свое согласие с этой идеей? Всего лучше под ритм старомодного слоу-фокса. Девочка тем не менее так и осталась без надгробия. Всех интересует главным образом опознание. Мой друг пришел пригласить меня на танец. Никто туда не приходит сажать и поливать петуньи. Душа — почему бы и нет? Мой друг опять стал похож на ту мрачную рыбу. Прекрасные шары, не могу не согласиться. Никто из живущих тут, внизу, не явился к нам с Луны. Как прекрасно, что стало так прохладно, какие прекрасные кусты, как прекрасно, когда у тебя есть друг. Мы еще подождем, нам опять это все удалось — все эти виды прекрасной смерти еще при жизни.

Все для галереи

Кто-нибудь меня упрекает? Вряд ли. Двух-трех человек, которым кое-что известно, я ни о чем не спрашиваю, новых не посвящаю. Да и к чему? На сочувствие рассчитывать не приходится. Обсуждая, что́ я якобы натворила, любители почесать язык наверняка забудут о том, что я пережила и вообще что я-то и есть пострадавшая сторона. Ну а, скажем даже, я и добьюсь того, что кто-то меня пожалеет,— semper idem [1], если это выражение тут подходит. От меня все равно не отвяжутся. Заклюют. О пострадавшем часто приходится слышать: «Сам виноват!» Просто другим так легче смотреть на чужую беду. Беда — она как смола, как клеймо. «Бедняжка, но поделом ей. Стыд-то какой!» Вот ведь как повернут, дело известное. Елена сама — тому наглядный пример. В прошлом, конечно. Пока не вмешалась я.

Ну нет, разумеется, Елена сперва была жертвой, если уж так необходимо выражаться высокопарно. Ее несчастье было понятно каждому; со мной сложнее. К тому же я терпеть не могу выставлять напоказ свои неприятности. Ну и, в конце концов, есть еще Леонгард — у него, по-моему, больше всех на совести. Я бы на его месте сама себе опротивела, если, конечно, считать, что нашу игру надо судить по правилам. Я и теперь называю это игрой. Вот вам свидетельство, что я не зануда. Ученики мои могут это подтвердить, в том числе и старшие классы.

The idea was [2]: одним приемом дать Леонгарду возможность выбраться из всех затруднений. Прием этот был шуткой, во всяком случае, мы так считали, Лео и я. Мы понимали все легкомыслие нашей затеи, но как раз риск-то и подогревал нас еще больше. В нужный момент Лео рванет уж как-нибудь стоп-кран, ясное дело. С такой-то девицей, как Елена... Нет, есть же такие дурехи — из-за них и про нас всех идет слава: «Они как репей — прилипнет, так и не отцепишь».

Шутка была задумана тоже и как поучение. Мы хотели убить двух зайцев разом: Леонгарду обеспечить дешевую рабсилу, а Елене — развлечение и хороший урок. Таков был, во всяком случае, наш с Лео замысел. А мы с ним были в то время считай что помолвлены. Многие называют Леонгарда ветрeником — да потому просто, что он пользуется успехом у женщин. Ну и живет соответственно не как

[1] Всегда то же самое *(лат.)*.
[2] План был таков *(англ.)*.

монах! А чего ради, собственно? Как услышу всякую муть про Лео, мне прямо дурно становится. Даже и сейчас еще. Я ведь всегда отличалась широтой взглядов — этого у меня не отнимешь. Во-первых, любовная интрижка — еще не государственное преступление. А во-вторых, I am a good sport [1]. Да. Преподавание иностранных языков всему придает какую-то иную окраску. Вот, например, недавно. Никак не могу вспомнить, как будет по-немецки daffodil [2]. Судорожно перебираю в уме слова и наконец говорю: весь луг, куда ни глянь, в деффодилах — ну и, конечно, опять прослыла воображалой. Что тут поделаешь! Есть люди, которые всегда под обстрелом.

Но пора рассказать все по порядку. Да, я сама познакомила Леонгарда с Еленой. И конечно уж, найдется такой прозорливец, который, ткнув в этот пункт пальцем, скажет: значит, ты и несешь ответственность. Довольно глупо, по-моему. Вне взаимосвязи все выглядит вообще совершенно иначе, тут и судить невозможно. Пусть себе сплетники перемывают мои косточки — «ничево».

Елена, предмет вечных огорчений для всех наших чувствительных родственников, а для прагматиков и материалистов из их числа — просто бельмо на глазу, слыла у нас «бедняжкой», «комком нервов», «чересчур уж нежной», «мимозой» и так далее в том же духе. Я не собираюсь составлять здесь словарь синонимов. Во всяком случае, ей необходимо было срочно переменить обстановку, работу, освежить впечатления, расширить круг знакомств — на этом сходились все. Стоп! Тут накладка! Переменить работу? У нее вообще ее не было. Приличное место в ресторане показалось ей чересчур беспокойным, и она оттуда сбежала. Круг знакомств? Да кто же к нему принадлежал? Могу припомнить только одну-единственную бывшую школьную подружку, да и та переехала в другой город. Уже дважды Еленхен потерпела тяжелую катастрофу на почве любви. Оба предмета ничего захватывающего собой не представляли, даже и похвалиться нечем. Просто она брала то, что само шло в руки, попадалась на самое примитивное ухаживание, на самый нелепый соблазн — не знаю, впрочем, соблазнил ли ее вообще кто-нибудь. Но из каждой такой истории она делала великую любовную трагедию, это она умела. В самом деле, печальный случай, что в первый, что во второй раз, и оба раза она напоминала мне пианиста, который пришел с твердым намерением участвовать в концерте для двух фортепиано, но партнер его не явился. И вот она сидит одна за огромным роялем и играет свою патетическую партию со всеми ее вопросами без ответов. Думаю, я имею право так говорить о Елене: она ведь мне все-таки кузина.

Она разбирается в бухгалтерии и во всякой такой ерунде, стенографии там и все прочее, сказала я Леонгарду. Может, возьмешь ее к себе? Это было бы спасением для обеих сторон.

Манера Леонгарда оплачивать труд своих галерейных дам, не считаясь ни с какими тарифами, но всегда ниже нормы, то и дело приводит к заявлениям об уходе, несмотря на тезис Лео, что работа у него в галерее, по существу, не подлежит никакой оплате, так как является скорее творческим процессом, высокой духовной радостью — в общем, что-то в этом роде. Короче говоря, его как раз в этот момент покинула очередная дама, довольствовавшаяся до поры до времени одними духовными благами. Ну а одному с галереей не справиться — слишком много работы. Лично я и в мыслях не имела помогать Леонгарду по вечерам, в те немногие часы, когда я свободна после занятий, да и Лео не желал ничего подобного — он тер-

[1] Здесь: я человек покладистый *(англ.)*.

[2] Нарцисс *(англ.)*.

петь не может окрошку из любви и бизнеса. Наша Еленхен, разумеется, ничего этого знать не могла. Ну, так как, берешь ты Елену на службу? — спросила я Леонгарда. А семейство наше, надо сказать, давно уже было в расстроенных чувствах. Ведь Елена не первый месяц торчала дома. Новых любовных приключений тоже пока не предвиделось. Она сидела в четырех стенах безо всякого дела, разве с собачкой когда поиграет — жалкое зрелище. Право, тошно смотреть на такое безволие.

Тетя Клара, мать Елены, втайне от нее отвечала на предложения в брачной газете; дядя Иобст, известный хвастун, заранее похвалялся мужьями, которым писала тетя. Елена выходит замуж за архитектора, сорок лет с небольшим, собственный автомобиль, любовь к музыке, рассказывал он при каждом удобном случае, чем немало вредил своей дочери, фотографии которой всякий раз портили дело, хотя их старательно выбирали и все они были трехлетней, а то и четырехлетней давности. Сестра Елены, моя старшая кузина Герда, благополучная супруга и мать, также начала осуждать свою младшую сестру, обойденную семейным счастьем. А кому придется платить убытки, спрашивала она родителей. Ясное дело — Рольфу и мне, поскольку мы, слава богу, собственным потом добились наконец благосостояния. Я уже предвижу тот день, когда нам не останется ничего другого, как приютить у себя из сострадания эту несчастненькую. А все потому, что никто ни разу не высказал ей в лицо свое откровенное мнение. Вы ведь, в конце концов, тоже не вечны.

Она имела в виду своих родителей. Муж ее, Рольф, и не подумает проявить милосердие, пока Елена ждет у моря погоды, палец о палец ударить не хочет. Сидеть дома и реветь — чего уж легче. А вот вспомните-ка, говорила она, каково пришлось Рольфу. Только что был блестящим офицером, а тут изволь утиль собирать, старье, тряпки, и ведь не погнушался, лишь бы Тинохен пошел в гимназию. Вот оно как! Да разве бы мы владели сейчас и домом, и участком земли, если бы он тогда испугался черной работы? Ну уж нет!

Возьми ее на службу, сделаешь доброе дело, сказала я Леонгарду. Он решился. Елена дала согласие, и все могло бы быть вполне хорошо. Если б не злые языки наших родственников, ничего бы никогда и не случилось. Их болтовня и привела к фиаско: Елена, мол, в этой галерее только время теряет, из этих денег на карманные расходы никогда она ничего не отложит на будущее. О, это страшилище под названием «Будущее»!

А Елена тем временем весьма добросовестно и с явным удовольствием выполняла свою работу в галерее. Насчет финансов она и не заикалась. Ну разве она не ожила? Тому, кто хлопочет о своей выгоде, в галерее вообще делать нечего. Лео и сам тут всегда жертвовал собой — все эти выставки и тому подобное вообще не приносят никакого дохода, разве что продажа его ваз и скатерок давала кое-какую выручку, но ведь все это сделано с большим вкусом и в широком смысле тоже искусство. Разве я говорю о Лео не как о друге?

Грубые материалисты из нашей семьи продолжали, однако, свою разрушительную работу. Мы с Лео мрачно наблюдали за происходящим, не ожидая ничего хорошего. Я служила ему источником информации. Мы все живем в одном доме, разделенном глухой стеной на две части,— в той половине мои родственники, а комната Елены как раз у меня за стеной. Я часто бываю на той стороне, так как считаюсь еще к тому же и лучшей подругой Елены. Я бы об этом не упоминала, если б не была единственным человеком, с которым Елена делится самым сокровенным — вернее сказать, делилась. Я вообще никогда не говорю о чем-то, лишь бы похвастать. Да и к чему? Вос-

хищением я не обделена и никогда обделена не была, а в то время у меня был Леонгард by the way [1].

Мы с Леонгардом знали, что специфический воздух галереи действует на Елену как чистый озон. Что такое материальные затруднения по сравнению с душевным подъемом? Она ведь жила с родителями, а им и так хуже горькой редьки надоел их зять Рольф со своей меркантильностью.

Кроме всего, Елена и в самом деле хорошо разбиралась в двойной бухгалтерии. Право же, премьера для галереи: впервые дебет сходился с кредитом. Многочисленные ее предшественницы потерпели на этом крах. В тревожные дни, предшествовавшие предполагаемому заявлению Елены об уходе, мы с Леонгардом после конца рабочего дня просматривали ее подсчеты, непогрешимость которых угадывалась уже зрительно. Ночи напролет она ломала голову над дефицитом. Счета дебиторов на товары, счета поставщиков товаров, платежные счета, налоговые счета в банке — должна сознаться, она мне почти импонировала, моя бедняжка кузина. Она пользовалась итальянской методой. Она ввела новый способ ведения бухгалтерских книг — несброшюрованными листами. Ошибки при переписывании у нее вообще не встречались. Она классифицировала счета — расходы и доходы. К тому же ей посчастливилось обрести новый облик — она смотрелась лучше чем когда-либо. Она изменила прическу. Леонгард любил гладкие волосы, и она теперь причесывалась гладко. Он проявлял к ней какой-то особый интерес? Чепуха. Леонгард вообще оказывает влияние на всех, с кем имеет дело, так как его сильно развитое эстетическое чувство не выносит никакой скованности. Ему просто необходимо высказаться, когда что-нибудь ему не по вкусу, и вообще ему становится физически дурно в обществе людей, еще не усвоивших его стиля. Что же тут удивительного, если он и Елену, свою служащую, старался переделать на свой лад. Он ведь всех своих служащих перевоспитывал. А так как вкус у него прекрасный, все они просто расцветали. Ну и Елена, конечно, тоже. Тут все ясно, задачка решается элементарно, математический талант здесь не требуется.

Но вот тут-то — как раз с этого момента — и начинается наша игра. Потому что Елена истолковала внимание Леонгарда как интерес к себе. Я ему небезразлична? Как видно, да, а то почему бы он стал советовать мне носить синее платье? Он влюблен? Да, похоже, что так, а то почему бы он стал запрещать мне надевать эти коричневые туфли?

На это просто смотреть было невозможно. Она снова играла одна в четыре руки. Ноты стояли перед ней раскрытыми. Право же, я страдала при виде всего этого. Пока Леонгард не натолкнул меня на одну грандиозную идею...

Она ведь влюбчива, правда? — как-то спросил он меня.

Мы сидели в его тесной конторке между галереей и складом; с появлением Елены тут, можно сказать, почти воцарился порядок.

Ну да, влюбчива.

Мы курили сигареты, подаренные Еленой своему шефу. Эти маленькие знаки внимания она начала оказывать ему чуть ли не с первого дня.

И ей хотелось бы выйти замуж?

Partout [2]. Instantly [3].

И для этого она готова на все?

---

[1] Между прочим *(англ.)*.

[2] Здесь: конечно *(франц.)*.

[3] И как можно скорей *(англ.)*.

Конечно. И детей она хочет, двоих как минимум.

Челюсти Леонгарда задвигались от волнения. Конечно, это привычка, о привлекательности которой могут быть разные мнения. Мне она не мешает. А кроме того, кто без недостатков?

Перед нами лежал законченный и переписанный начисто балансовый отчет — всего несколько строчек под итоговой чертой. Леонгард нуждался в Елене, но надо было найти способ платить ей еще меньше. Нам обоим было это ясно. Для своего суженого она бы и задаром работать не отказалась, так ведь?

Леонгард поставил несколько заковыристых подписей под аккуратно перепечатанными письмами. Новую выставку подготавливала тоже Елена.

Я уже давно догадывалась, куда он клонит.

Ну что ж, давай разыгрывай перед ней влюбленного, сказала я.

Претендента на руку и сердце, поправил меня Леонгард.

Мы чокнулись — Елена вчера принесла эту бутылку джина.

И ты считаешь, что мне не откажут?

Она никому не откажет.

Это был пункт первый. Пункт второй — все это, разумеется, не должно пойти во вред Елене: чем дольше она продержится в галерее, тем лучше для нее. А кто сочтет наш способ ее удержать непорядочным, пусть подумает о том, что для девицы типа Елены вряд ли есть на свете что-либо более прекрасное, чем любовь. Безразлично, истинная или нет. Она ведь, во всяком случае, верила во все это. А вера, как известно, сдвигает горы, или, как говорится, от того, чего мы не знаем, нам ни жарко ни холодно — это, пожалуй, тут больше подходит.

Правда, с надеждой на то, что Елена благодаря галерее расширит свой круг знакомств, нам вскоре пришлось распроститься. Хотя вокруг Леонгарда вертится немало вполне подходящих людей, Елена всегда оставалась сухой и корректной — прямо смотреть тошно. Зато общение с произведениями подлинного и прикладного искусства открыло ей целый мир. Как видно, пребывая в нем, она не нуждалась в обществе живых существ. Ведь есть же такие натуры — вцепятся в чувствительную книгу или вперят взгляд в какую-нибудь картину, и уже на лице у них такое выражение, будто они живут на какой-то иной планете и никогда больше рта не раскроют.

Честно говоря, Елена не то чтобы принадлежала к этому типу — нет, не совсем. Но она могла такой стать, ведь в тридцать два года еще много чем можно стать. А пока она жаловалась на одиночество. И еще она иногда сомневалась в Леонгарде, несмотря на все его замечания эстетического порядка. У нее появились претензии. Почему он никогда не пригласит ее куда-нибудь? Почему никогда не проводит с ней вместе свое свободное время? Когда я по вечерам забегала к ней в комнату, чтобы занять на часок бедную черную овечку из нашего семейного стада, она все жаловалась, как ей тоскливо из вечера в вечер сидеть дома одной, все говорила, как ей хотелось бы куда-нибудь выбраться. А не могли бы мы вместе... Стоп, подумала я. Если уж проводить время вместе, так только с Лео. Кого удивил бы ход моих мыслей? Разве что Елену, она ведь ничего не знала о нашей тайной связи. Я говорю здесь сейчас не о моей тайной любви. К чему говорить о том, что само собой разумеется. Здесь, к сожалению, мне приходится вести речь о странностях любви. On verra[1]. Я часто повторяю «On verra» во время моих уроков фран-

[1] Там видно будет *(франц.)*.

цузского, когда не могу сразу ответить на какой-нибудь вопрос или когда меня спросят с места: у нас завтра будет письменная?

Пункт третий: как избавиться от Елены в нужный момент? Да ладно, когда-нибудь все равно все выйдет наружу, в конце концов настоящая-то невеста я.

Оставим этот вопрос открытым, сказал Леонгард, уж какой-нибудь выход да найдется!

Это было его мнение, для меня не слишком убедительное. Я ведь не такой оптимист. В том-то и вся штука.

Новое свидетельство моего родственного участия: я начала заниматься с Еленой французским — разговорной практикой. Тетя Клара всякий раз подавала нам бутылочку шампанского и бутерброды, очень мило. Il me semble qu'il soit très amoureux[1]. А нужно ли здесь вообще сослагательное наклонение... Ах, все равно. Елену мало волновала грамматика, а у меня так все это давно уже вот где сидело. Ну, конечно, она не подала заявления об уходе и, разумеется, отказалась от оплаты. Леонгард, за которого она надеялась выйти замуж, пользовался у нее неограниченным кредитом. Просто трогательно было смотреть на эту влюбленную девочку. Но вскоре мне начало казаться, что оба они, пожалуй, малость перебарщивают. Леонгарду я могла предъявить упрек за поцелуи, хватило бы и поглаживания. Этим приемчиком он все равно широко пользуется, его постоянные покупательницы давно приучены к такому способу охмурения.

У него, значит, и в самом деле серьезные намерения? — спросила меня как-то Герда, когда мы с ней остались одни на кухне во время приготовлений к какому-то семейному торжеству.

Серьезные намерения? Да, ответила я с чистой совестью и вполне сознательно. Но в отношении меня, своей тайной невесты, добавила я про себя.

Но почему же он все отмалчивается? Это как-то тревожно, сказала Герда.

В его возрасте не женятся сломя голову, сказала я.

Ну, будем надеяться на лучшее, сказала Герда.

Только, пожалуйста, не устраивайте себе из этого trouble[2], сказала я. Я опять не смогла вспомнить подходящее немецкое слово.

Этот день так ясно остался у меня в памяти, потому что вечером я пережила шок. По вине Елены. Я уже лежала в постели, через стенку от моей дорогой кузины, и только хотела поудобнее улечься, чтобы наконец заснуть, как вдруг раздался наш условный ритмический стук в стену, начало песенки «I just don't know what to do with myself»[3], короче говоря, сигнал тревоги. Значит, надо вылезать из постели, одеваться, выходить на улицу — внутренней двери между двумя половинами дома не имеется. От меня требовалась жертва, и я принесла ее после третьего сигнала SOS. Вы спросите, почему она сама не пришла на мою половину? Очень просто. Не люблю, когда меня застают врасплох в моей комнате, легче уж самой пройти по улице. Goodness[4], как она была взволнована. Ее бледное лицо даже порозовело. Расспрашивать мне не пришлось. Во-первых, она все рассказала сама, а во-вторых, я и так обо всем догадалась.

Леонгард взял новый кредит для приобретения иностранных товаров — каких именно, тут сейчас упоминать не обязательно. Она

---

[1] Мне кажется, он очень влюблен *(франц.)*.

[2] Волнение, тревога *(франц.)*.

[3] «Я не знаю, как мне быть с самой собой...» *(англ.)*

[4] Боже мой *(англ.)*.

была просто без ума от Лео, прямо околдована им как любовником и вообще наверху блаженства. Но ведь неизвестно еще, были ли у нее к тому основания. Лео мог, так сказать, справиться с этим между прочим. Речь, в конце концов, шла всего лишь о деловой сделке, а не о чем-либо ином.

Елена дулась, грозилась уйти, ну и отсюда, конечно, еще один шаг к интимности — я, разумеется, должна была верить ему, хотя сама Елена информировала меня несколько иначе.

Что ж, мне и теперь, что ли, из-за этого волноваться? Qu'à cela ne tienne![1] Или скажем по-другому: а хоть бы и так? Кое с чем приходится уж как-то мириться. Но мне, во всяком случае, надо было остерегаться пассивности à la Елена. Наступил момент действовать: раньше чем все эти кредиты превратятся для Лео в чистое наслаждение, необходимо вмешаться.

«I just don't know what to do with myself» — пробарабанила я на другой вечер в разделявшую нас стену, предупреждая о своем приходе. Елена встретила меня с восторгом. Она только что собиралась сама подать мне сигнал. Леонгард опять проявил к ней внимание после конца рабочего дня в той мере и в той форме, о которых в нашем с ним соглашении никогда и речи не было. У Лео начала закрепляться дурная привычка. Право же, довольно невежливо по отношению ко мне. Тем более что я в это время вдалбливала своим старшеклассникам le gérondif[2]. Возможно, именно эта несправедливость так меня и взбесила. Короче говоря, я выложила ей все. Ну да, я разъяснила наконец Елене настоящее положение вещей. План Леонгарда, шутку Леонгарда, замысел Леонгарда, трудное материальное положение Леонгарда, поучение Леонгарда, доброе дело Леонгарда или как там еще — я не ищу здесь названия для этого фарса. Я не пощадила в этом разоблачении и саму себя? Это была исповедь? Ничего подобного. В чем мне было каяться? Мне надо было очернить Леонгарда просто из самозащиты. Когда Елена отказалась мне верить, я пообещала ей на другой же день дать официальное объявление о нашей помолвке. И еще я предложила ей тут же, на месте, связаться по телефону с Леонгардом. Понемногу до нее стало доходить. Это было видно по ее мордашке. Леонгард подлец, заключила я.

Она, казалось, потеряла дар речи.

Тетя Клара, тронутая моим терпеливым участием к Елене, принесла еще бутылочку шампанского. Тут у Елены хлынули слезы. Но тетя Клара этого уже не видела: она спешила вниз по лестнице на кухню намазать нам бутерброды.

Что ты собираешься делать? — спросила я.

Ты ведь видишь, сказала Елена, я реву.

Мне этого было мало.

Кончай с Леонгардом, сказала я.

А выставка? А годовой баланс?

И так далее. Резюме: даже и негодяя она не могла подвести. Я, как это говорят, кипела от гнева.

Запрещаю тебе переступать порог галереи. У тебя что, гордости нет?

Но без галереи, без всего, что там, я пропала, сказала Елена. И без Леонгарда. Будет так пусто.

---

[1] Здесь: этого еще не хватало! *(франц.)*

[2] Деепричастие *(франц.)*.

Да он тебя вовсе не любит.

Но я могу его хотя бы видеть. Ведь правда?

Ну, а если я буду против? Невеста имеет право протестовать.

And so on and so forth[1]. Между тем я немножко подкрепилась — шампанское, бутерброды — и продолжала. Пока Елене не опротивело все — и сама галерея, и ее владелец. Но тем не менее оставался вопрос: что делать? А проще простого! Выметайся! Руки на себя наложи, душечка!

Я подняла бокал за ее здоровье, ободряюще улыбнулась ей. Я нарочно привожу здесь мои слова полностью, чтобы документально подтвердить их однозначно шутливый характер. Если бы моя совесть не была чиста, я, наверно, совсем не так бы держалась, не правда ли? Ну а кого удивит, что мне теперь не поверят? Человека обычно подозревают в самом худшем, а уж меня и подавно, я ведь, считается, чересчур задираю нос.

Короче говоря, наша милая деточка так и поступила. Какие-то таблеточки и пилюльки тети Клары, в целом примерно штук восемьдесят — в основном то, что продают без рецепта. Да и этого еще оказалось маловато.

Меня, как последнюю посетительницу, все допрашивали, все выспрашивали, ясное дело. И всякий раз я повторяла, что Елена на мой стук в стену потом еще раз весело ответила нашей песенкой. Можно ли ожидать подобной невинной шутки от человека, решившегося на самоубийство? Разве не имела я права со спокойной совестью сомкнуть усталые веки? Но о чем же вы так горячо беседовали? Из комнатушки Елены доносились ваши оживленные голоса. Что случилось?

И все эти расспросы в то время, как душечка лежит без сознания под кислородной палаткой в мокрых простынях с перерезанной сонной артерией. Безвкусица, только и могу я сказать.

Что касается лично меня, то я никогда не выдала бы тайны Елены. Бестактность — не в моих правилах. Но вот Леонгард — он ведь вообще легко возбудим,— у него нервы не выдержали. Видно, он догадался, что я посвятила Елену в наш небольшой заговор, и так приставал ко мне с расспросами, так нажимал на меня, что я наконец сказала: да, да, Лео. Да, я не могла больше смотреть на это равнодушно. Я человек открытый, такой уж я уродилась. От обмана я просто заболеваю. И вот — пожалуйста, да, я все рассказала.

И тут, представьте себе, Леонгард спешит к тете Кларе и дяде Иобсту, все объясняет им, выказывает раскаяние. Теперь события начинают разворачиваться с невиданной скоростью. Кое-кто смотрит на меня косо, Елена с помощью переливания крови и букетов от Лео возвращается к жизни, тетя Клара питает к Лео лучшие чувства, дядя Иобст рассказывает в кругу знакомых: Елена выходит замуж за владельца галереи, тридцать с лишним лет, любовь к искусству, собственная машина... Герда и Рольф устраивают небольшой семейный прием по случаю возрождения Елены, Леонгард приглашен, я, соответственно, нет.

Я незлопамятна, я понимаю шутки и не привыкла портить игру. Мне кажется, я уже имела случай доказать это. Но то, что происходило теперь, показалось мне все же довольно сумбурным и привело меня в мрачное настроение. Я вообще больше ничего не понимала. Поэтому, как человек действия, я начала с того, что старый добрый Овидий называл «tabula rasa»[2]: вернулась к нулевой точке отсчета

---

[1] И так далее, и так далее *(англ.)*.

[2] Букв.: чистая доска *(лат.)*.

и стерла с доски все, что знала, прежде чем допросила Леонгарда. Могу порекомендовать всем этот метод. Итак, все эти месяцы, в течение которых я простодушно верила, что мы обманываем Елену, на самом деле обманывали меня. Елена, совершенно напрасно ограбившая домашнюю аптечку, была любима как раз с того вечера, когда я получила шок. Что толку, что Леонгард вполне доказательно уверял меня, будто бы просто так, без задней мысли о судьбах галереи, его никогда не потянуло бы обниматься с Еленой. А тем более на ней жениться. Он просто в силу необходимости взялся разыгрывать столь добродетельную роль в этой игре. И что же? Елена выиграла. От этого никуда не денешься.

Вряд ли тут подойдет поговорка «Что посеешь, то и пожнешь». «Все для галереи» — вот это в самое яблочко. Я — жертва галереи. Никто не обязан делать невозможное. Мои старшеклассники недавно написали премилые сочинения на эту тему. На свадьбу я не иду. Быть может, как-нибудь я загляну в галерею — так, через годик. Время лечит раны — это во-первых. А во-вторых, говорят, оно охлаждает страсти.

Перевод А. ИСАЕВОЙ

КУАНГ ТХО. ВЬЕТНАМ
По стервятникам
Рисунок

ЯННИС РИЦОС

Колокольня

ПОЭМА

Перевод с греческого ЮННЫ МОРИЦ

А потом — безъязыкие дни, дни, распятые на тротуарах,
над лабиринтом подземных клоак, дни в тряпье, в башмаках,
покоробленных, старых;
деревянные ноги в углу на полу, покрытые простыней, под которой
эти ноги пристегивал ночью кошмар, чтобы ими болтать
над задернутой шторой.
И те, кто держали тогда голодовку, имея в ладони ломтик лимона,
навеки смыкали холодные веки, но ждали неистово и непреклонно;

он спросил: «Не мертвые ли они?» Он был в огромных темных
очках;
другой к нему подошел вплотную; снял с него большие очки;
глянул в маленькие зрачки;
вновь надел на него очки; повернулся спиной; на спине был
приколот, как на стене,
лист бумаги — номер одиннадцать, номер одиннадцать, номер
одиннадцать,

и младенцы пускай не устанут молча спрашивать даже во сне,
только взгляд, вопрошающий взгляд — и ни слова,
и опять, и по сотому кругу, и снова; заткни же им уши воском,
рогоносцевым недоноскам;
притворись, что не слышал, не видел, ни сном ни духом не ведал;
глянь в колодец, где только что камень исчез,
где ударился камень о голубое глазное яблоко наших небес;
внутри, под водой, под сверканьем осталась дыра
ведь наша вода всегда смыкается сверху;
на дне остается дыра и зовет по ночам; женщины глухо молчат;
будь проклято черное время; бровь, рассеченная в кровь;
они сжимают ключи, которых все меньше и меньше;
запах горячего хлеба идет из проклятой печи,
натыкается в воздухе на провода, они пополам его разрезают,
половины мало всегда;

в общем, они молчат,

О поэме «Колокольня» см. в статье С. Ильинской «Неустанное становление», стр. 192.

о замыслах твердых — ни звука, ни слова; смотрят сурово
на пулю, которая стену пробила возле виска Сотíриса[1],
куски штукатурки на землю слетают; они берут метлу, подметают,
чтоб не увидели стражники черные, у которых одежда и челюсти
черные.
Ничего не случилось,— они говорят,— свет нельзя расстрелять,—
они говорят,—
ну, попробуй разрезать свет на куски перочинным ножом,
ножом мясника; ничего не выйдет наверняка.

Приблизительно так проходили в тюрьме наши дни вплоть
до сумерек с первой звездою
над вершинами редких олив на холме, и повыше — над соснами
в блесках закатных,
и над спячкою гусениц в коконах ватных,
и над крышей с ружьем в тайнике — неприятностей не оберешься
потом,—
и над красным крестом под соломой, лежащей пластом, в стойле
убитой лошади;
с террасы виднелись кораблики лета, огибавшие мол в вечернем
тумане,
кузнечик сидел в стакане, медную лапку задрав победно
над медным потомством бедным.

Всегда обо всем забываем,
потому что надо заснуть, проснуться, пойти на работу,
вернуться, родить кого-то;
на столе будильник, на стуле будильник, нам так много
будильников надо;
пожалуй, только цикада знает, что делать с вечностью,
мраморные развалины всегда остаются белыми, даже — когда калеки,
пронзающие увечностью;
на белом соске груди оставалась еще краснота,
обрубленная рука была, как рукав, пуста,
но ты надел ее и носил, как негнущуюся перчатку,
и радовался тому, как прекрасно она сидела,
как выглядел в ней кулак, но знаешь, какое дело —
от машинного масла, бензина, руля, от солярки, от дегтя
такие перчатки быстро коробятся
и, бальзам руководства впитав от ладони до локтя, ветру дают
оплеуху.

Это,— он говорит,— наигранная отвага;
крыши картонных предместий украшены тряпками флагов,
сутенерство, лаканье вина,
кровь на лучшем твоем костюме;
и Петрос,
который склеивал рот слюной,
делая вид, что сказал: с в о б о д а, или н е б о, или г р я д у щ е е,
когда рука этой женщины, мывшая окна в пивной,
была почти до конца уже выпита светом, как кубок хмельной,
выпита вместе с мокрой тряпкой вне времени.

Проклятие черному времени,— так говорил Вангéлис,
стоя по пояс в воде, стоя по пояс на солнце,
располовиненный морем и солнцем,—

[1] Сотирис Петропулас — студент, погибший летом 1965 года во время нападения полиции на демонстрантов.

все равно мы окажемся под кипарисами; а на них, как известно,
хромой воробей, облако, шапка Анéстиса,
серебряные ладони, ладони для божьих даров,
и срезанные косы Àртеми.

Ах,
какие только пути выискивает надежда,— сказала одна старуха,—
эти люди! Единственная забота, чтоб ничего не случилось
с их детьми, напоенными уксусом дикой груши.
Только этого мне не хватает,—
сказала Катúна, вытряхивая песчинки из туфельки. Другие
в то время
оставались еще на высоких горах, Млечный Путь им выстреливал
звезды пучками;
но когда увидали в кустарнике кошку, стало ясно, что предали
всех поименно:
на колючем, утреннем холодке их яички съежились в черном паху,
вскоре им сигаретами жгли — ноздри, уши, глаза и фаллы;
они молчали, как мертвые.

Молодцы, благородные парни, малограмотная отчизна,
никакого тебе обучения героизму,
социологии, политической
организации,
просто ночь, и луна — как нож, воткнутый прямо в двери,
люди, запертые снаружи,
изнутри, с обеих сторон,
глядящие в море из узких окон,
летящие по винтовой лестнице маяка — такая большая ступенчатая
мраморная река
вьется к нижним колодцам,
к верхним колодцам, к шахте, к пороху, к фитилю,
но никакое «трам-тарарам» ниоткуда не раздается,
медведица-ночь плетется, ломая живые стволы,
медведица, наша история. Какие мы видели сны —
прекрасные сны, грандиозные. Какие стволы сражены.

Великая ссылка усыпана всеми яблоками надкусанными,
разрешается тридцать минут прогулки по надкусанным яблокам,
за колючей проволокой,
ты скользишь по надкусанным яблокам, осторожнее — чуть
не расшибся;
осторожнее? — вот и ошибся; разбиваешься? — значит ошибся;
все боишься, что выйдет ошибка? ты в тюрьме? ты на воле?
ошибка;
ну вас к черту с ошибками, вашими, ихними, нашими,
разве здесь мы останемся вечно надежды донашивать?

Где же, где барабан, для которого содрана кожа Электры?[1]

▪ ▪ ▪

Дом в саду, где красные блузы полощутся ветром на проволоке,
дом с балконом в гипсовых статуях,
дом безо всяких балконов — уличные точильщики мочатся на углу,
дом с распятием длинным у дверей в полумраке,
где старуха в кровати скована параличом,

[1] Электра Апостолу — героиня греческого Сопротивления, зверски замученная в фашистском застенке.

в подвале — крюки, мышеловки, приспособленья для пыток,
звезда, ежедневный вечер, приколотый кнопкой к стене.

Оправдание,— он говорил,— не в том, что все мы умрем,
по крайней мере,— он говорил,— надо жить, покуда живем;

вторая звезда растекалась в ведре, в колодце, где были ведро
и губы,
в колодце, где были трое подпольщиков, и трое еще, и еще
шестнадцать
без табака, без колоды карт,
лампу зажгли потом, под водой,
спички на кухне были сырые, поэтому тетушка Евлампи́я не сумела
огонь развести и сварить
два куриных яйца — третье снес капитан Ванге́лис в кровати;
его нашла на рассвете наша тетушка Персефона —

нате, куры стали нестись в кровати; а капитан Вангелис
удалился с трубкой в зубах
ровно в одиннадцать пять, капитан спешил на корабль, кукарекая
так проворно, так покашливая притворно,
что лифт раздулся и вдруг заекал от скорлупы яичной и стекол,
перемешанных с витражами западной галереи в храме
святой Пелагеи.

Так в одиночку Святые всю ночь стояли на страже, утром
самый худой, с усами чернее сажи,
колыхал белоснежную простыню безбрежную, плащаницу Христа,
и кивал морячку, на моторке плывущему с видом веселым,
помочился он в море, как только моторка исчезла за молом,
и другие Святые, совсем не такие худые, преуспели в своем
замечательном деле:
первый грязным платком помахал морячку,
второй — своими подтяжками с пряжками,
третий — бычьими лентами, ровно тремя,
четвертый — лентой художников,
пятый — рыцарским поясом целомудрия,
или подолом желтой рубашки,
или набором газет прошлогодних,
или колючим венком из нейлона,
или мотком наилучшей, натуральной, колючей проволоки
с острова Юра, а может быть, из Парте́ни[1],
ведь монахиня Партени́я жила за стенкой, когда
закипела в холодном кофейнике сама по себе вода —

и была она не для того, чтоб яйца варить, ведь яички
птичками стали давно, и зелень щипали птички
во дворе, между белыми плитами,
где на одной ноге, на голубой ноге, тайно бродили синие птицы,—

и такие водились тогда на окраине, в июле, а может быть,
в августе,
при полной луне, а быть может, при звездах, над лодками,
над гитарами,
над лающими собаками в пьянеющих виноградниках,
и камни с холма катились на берег, пахнущий морем,

[1] На островах Юра и Лерос были расположены концлагеря; концлагерь на острове Лерос назывался Парте́ни

прилипали сухие плевелы к волосам Богородицы,
стены гостиницы пахли солнцем сухим в полночной прохладе,
вращались колеса, колесики тайных машин винодельческих,
а может быть, просто часов,
которые сняли с запястий и на гальке оставили девушки,
прежде чем броситься к морю в объятья;
синие камешки, лимонные камешки, лиловые камешки,
часы, которые им присылали эмигранты, их братья,—

итак, на тех белоснежных плитах, где когда-то шагали
при свете зари
Двенадцать босых Апостолов
или Двенадцать Блока,
или половина Суток,
или Двенадцать Месяцев Високосного Года,
и следы от этих ступней сверхъестественно широки,
и подмастерье нашей столярки однажды измерил их точно—сантиметр
за сантиметром,
тем деревянным метром, который в заднем кармане,
он тогда опоздал на работу, наелся хозяйской брани,
хозяин грозил увольненьем и прочими карами срочными,

мальчишка дал ему список с размерами точными,
следы были очень длинные, следы были очень широкие,
не подходили к ним ноги апостолов,
как подходили к следам Ореста некогда ноги Электры
там, на свежей микенской земле,
орошенной скорее кровью, чем небесным вчерашним дождем,
осушенной жадными ртами каменных львов, а также
овальными жадными дырами золотых, сверкающих масок,—
нет, нет и нет,

к ним больше всего подходили ноги Двенадцати неуклюжих солдат
(ох, брат мой Алéксандрос)
со вшами на нижнем белье, на мешке вещевом — несмотря на
огромный сверкающий снег,
или ноги всех заключенных пролетариев всей земли,
потому что ноги всех заключенных обрели неизбежное равенство
и все заключенные были во все века пролетариями,
ведь у всех на плечах висели веревки,
веревки попов профессиональных, или разнообразной смерти,
или убийц профессиональных
(и мы говорим — на плечах висели, чтоб не сказать — на шее
болтались),
и были у них такие же точно ступни, какие бывают у лодочников,
идущих песчаным берегом,
только не были мокрыми, были сухими они,
и мизинцы опухли от жгучих, колючих мозолей,
потому что апостолы, одержимые тайною волей, были обречены
двигаться в очень тесном пространстве,
где в море толпились флотилии с минами и перископами.

Но речь не об этом, ведь мы о воде говорили,
которая забурлила в кофейнике у монахини,—
вода была предназначена не для рисовой запеканки, не для яиц
вкрутую,
а просто, чтобы монахиня себе заварила кофе

и забыла его в кофейнике, на спиртовке с горящим спиртом,
заболтавшись во время кормленья розово-красной свиньи,
предназначенной для съеденья в праздник, в пасхальные дни.
Конечно, после Распятья неминуемо Воскресение; и выходит,
очень удобно —
в траур носишь другое платье, заранее зная, кстати,
что пост — сорок дней (и он добровольный) и он до
Светлого Воскресенья,
которое очень большими буквами записано в календаре.
Так

устраивается всё — что тут можно сказать? — устраиваются,
устраиваются все — что поделаешь? — мы устраиваемся,
крапива в замочной скважине, мяч на пустом стадионе,
висельник на веревке, крики до самого неба —
ско, ско, скоты, людоеды, головорезы.

■ ■ ■

И тогда над скалою поднялся Га́ргарос[1],
он ударил по мусорному ведру, прислушался — что в колодцах,
что над гнилыми ступенями, над темными коридорами,
где в ряд висят фуражки военных и в ряд висят черепа,
ударил второй раз и третий
и закричал в одиночку —
к черту отсрочку,
не время, не место для промедленья,
для карнавала, для песни, для пляски,
с ножом, зажатым в зубах, с ножом, торчащим в ребре,
с ножом, торчащим в пупе,—

мертвые — это те, кто ждут воскрешенья,
среди статуй живут полицейские подразделенья,
дынная корка скользит,
горчит апельсинная корка,
рассыпана соль на асфальте,
утоплена в море мука́,
и катится полколеса —

кто не умер еще,
выходите наверх,
кто не умер еще,— заорал он тогда,
кто не умер еще,— заревел этот Га́ргарос. И на пристани были
грузовики,
на которых стояли подъемные краны, подносившие медные ящики
в небо,
просторные, очень большие гробы для трех-четырех утонувших
бедняг,
кипы бумаг, посвященных общественным взглядам на природу
общественных благ,
окна старых домов, желтые кариатиды,

женщины, просыпаясь, натягивали на лица нейлоновые чулки,
это они готовились к походам на голове —
на одной безмозглой ноге, так они были красивей,

[1] Вымышленный персонаж в поэме Рицоса, символизирующий сопротивление греческого народа.

только так, с чулками нейлоновыми, натянутыми на физиономию,
только так не виднелись морщины, измены, уступки,
они совершали покупки в магазинных туманах средь желтых и
розовых сеточек,

покупали прежде всего зеркала,
гляделись в одежде в чем мать родила,
ноги свои раздвигали, в зеркале ждать привыкали,
жили в зеркале, ждали в зеркале,
в этом зеркале дырка была на зеркальной коленке,
в том зияла большая дыра на зеркальном виске
(испарения кухни оттуда валили удушливо, густо, словно там
бесконечно варилась цветная капуста),
третье зеркало было завалено пустотой, пирамидами шляпных
картонок, рентгеновских пленок,

мимо зеркал, в зеркалах и другие женщины шли,
три яблока, соль и чеснок, завернутые в салфетку,
пять сигарет в бумажке,
несли флакончик бензина,
держали в другой бумажке два шарика аспирина,
шли в тюрьмы, в концлагеря, была продолженьем бессонницы
утренняя заря,
перед дверями казенными, перед штыками гранеными
они роняли заколки, собирали, словно осколки,
лихорадочно их собирали с земли, клали в карманы и далее шли,
волосы им попадали в глаза, в рот попадали, сквозь волосы глядя,
они спотыкались и далее шли, жуя на ходу черно-синие пряди,
но зубы у них не бывали вставными,

только зубы — единственно крепкое, что у меня осталось,—
говорила тогда госпожа Константина,—
я способна разгрызть миндаль, даже камень, лежащий в горах,
здоровьем клянусь, что скалу разгрызу,— так она говорила. Ах,

ах, мои бедные матери (снова и снова Гаргарос),
счастьем клянусь и свободой, старушки мои несчастные,
вы, сидящие вечером тихо-тихо при полумесяце,
под вечерним ветром придерживающие на коленях старые платья,
вы, прячущие старые ноги в старых туфлях под старые платья,
упрямицы бедные, с ноющими костями, с крепко сжатыми челюстями,
с голубой сединой меж бровями, с оглушенными головами,
вы беседуете годами, веками с неграмотной тенью,
с надетыми на веревочку деревянными крестиками
на груди у красавца, изменившего небу и вере в небо,
но вере в землю не изменившего, не изменившего вере в землю,
и это вы знаете, вот это вы знаете, глупые матери,
знаете лучше, чем даже яички покойного мужа
знаете лучше, чем старый мотив граммофонный в таверне вечерней
у доброго дяди Василиса,
там, возле окон с геранью и моей незабвенной мамочкой;
и крабы гуляют туда и обратно по молу морскому,
и морскому ежу на столе попадается хлеб,
но другого морского ежа, в глубине, ты назвал своим страхом,
он пронзает колючками ужаса даже во сне;

жалкая жизнь,— ты сказал это множество раз, повторив еще
столько же;

никогда ничего не добьешься ни мольбами, ни кротким
затворничеством,
нужен гвоздю молоток, нужен гвоздю молоток,
нужен огромный крик сквозь крепко сжатые зубы,
грохочущая гора — вот что иметь пора,
сбрасывая предателя с лестницы в преисподнюю,
закалывая убийцу, сыщика, палача,
ростовщика, доносчика, прихлебателя, лизоблюда,
близорукое *сидиневмешивайся,*
глухоболтливое *ясампосебе,*
слепое *наднамибог,*
с Акрополем, с этим притоном для ЦРУ,
с ушами всех микрофонов под балками наших кровель,
под кроватью, где с бабой своей занимаешься совокупленьем,
микрофоны в твоих ноздрях, которые чуют будущее,
микрофоны в твоих ушах, где барабанит небо в две барабанные
перепонки, в два несмолкающих барабана,—

эй, парень, проспавший лицом в колени,
эй, студент в окровавленной блузе,
эй, ты, родина изнасилованная,
кости брось на ветер, отчизна, крещенная ветром,
флагами поиграй, поиграй на струне Макрия́нниса[1];

в шлем великого Старца[2] мочится мелкая нечисть;
я же тебе сказал, что этого не выношу,
я не ношу очков,
я же не дипломат,
я же не выношу, когда ни мычат ни телятся,
и я же не пианист, играющий ночью звездной, и я не церковный
сторож в храме Преображения.

Эй, убитые крестные братья, отменяется ваше убийство,
мщенье,— так я кричал среди ночи,— мщенье, мщенье и только
мщенье,
не прощенье, и не забвенье, и не слов дерьмовых дежурное пенье,
мщенье,— крикнул я,— только мщенье,
только пожар и топор,
пожар и топор,
око за око,
пожар топора и топор пожара, и Че, и топор, и Че, и пожар,
и Че Гевара;

в резиновых сапогах, высоких, до подбородка,
в пять недель я прошел подземный туннель, оседавший пять лет
под ногами,
шел я мимо отрубленных рук и отрубленных ног,
шел я мимо корсетов, лопнувших от ожиренья,
мимо пуговиц, всунутых в петли военных мундиров,
мимо гипсовых масок, длинных вилок, ножей и бинтов,
мимо толстых решеток и толстых кроватей;
я прошел, я поднялся наверх,

---

[1] Народный военачальник времен национально-освободительной революции 1821 г.

[2] Имеется в виду Колокотронес — один из народных руководителей революции 1821 г., прозванный «морейским старцем».

возле сыщиков остановился,
сбросил мокрые сапоги,
громко крикнул: долой тиранов,
меня расстреляли тут же,
я валялся в кровавой луже,

и я остался вот здесь, в двух шагах от роскошной гостиницы «Хилтон»,
я видел броженье туристов, автобусное движенье,
изображенья Иуды в электрических стеклах витрин,
я остался на высоте, убитый вместе с убитыми,
крылья безглавой Ники надо мной излучают свет,
крылья безглавой Ники торчат из моих лопаток,
электрические, слепящие, крылья мои многоярусные,
крылья мои — с батареями на срок в три тысячи лет,
и так далее, и так далее —

вот здесь я вечно живу,
вечно сюда возвращаюсь,
вашу совесть вечно зову,
по воздуху вечно плыву на крыльях своих, опаленных
от Б-52, которые возвращаются из огненного Вьетнама,
я разделил между вами годы свои непрожитые;
и пушинки от крыльев моих, наряду с сигаретой измятой,
с молотком и паршивой зарплатой —
лежат среди многого прочего в каждом кармане рабочего,
я выдернул эти пушинки.
потому что я Гаргарос Гаргарогаргарогаргарос,
сын греческого народа и тетушки Пенелопы, которая разломала
проклятый свой ткацкий станок;
на моей стороне поколенья и все дымовые трубы,
я кулаком разбиваю арбуз у себя на коленях,
я разгрызаю зубами арбузные черные зерна и выплевываю
на черную землю.

Где же вы, дети мои, дети лета, скорее придите.
Спасите меня.
Спасите.

И тогда наступила великая тишина, которую мы слыхали
в далекие времена.
И тогда он ударил в колокол, и случилось то, что должно.
Мы сливались во что-то одно.
При этом звенящем звуке мы снова шептали клятву, и снова
шептали клятву, и снова сомкнули руки.

Афины, Самос, февраль — август 1972 г.

■

ВИНЦЕНТ ШИКУЛА

Мастера

РОМАН

Перевод со словацкого НИНЫ ШУЛЬГИНОЙ

Балаган

1

Каменщики уже ушли. Обещали, правда, прийти еще по весне — оштукатурить костел снаружи.

Разошлись и Гульданы. А понадобилось бы — ну, к примеру, если бы нужно было для каменщиков воздвигнуть леса или случилась какая иная потребность, какая угодно,— мастер с Имрихом в любой момент могли бы до Церовой добежать.

На прощанье Имро попросил братьев не забывать о его свадьбе. Братья обещали, но при этом слегка ухмыльнулись, будто отнеслись к его словам не очень-то серьезно.

Имро уверял их, что свадьбу непременно сыграют в последнюю субботу октября.

— Эх, братец, еще наждешься ты свадьбы,— донимали они его.— Вот увидишь!

Поскольку погода держалась, священник решил этой же осенью костел расписать. Конечно, все сразу не делается, но что не выйдет нынче, докончат весной. Вот только не знал он, к кому обратиться. А тут как раз пожаловал в Церовую один незнакомец, заглянул и в приход, и надо же — священник вдруг узнал в нем своего однокашника. Сперва болтали о том и о сем — у однокашников-то всегда найдется о чем поболтать,— а потом вдруг священник хлоп приятеля по плечу и говорит: — Ты пришел как раз вовремя. Нужен мне какой-нибудь толковый живописец. Ты, верно, сможешь мне посоветовать.

Так и вышло. Однокашник посоветовал написать туда-то и туда, такому-то и такому, потому как такой-то и такой — прекрасный и искусный живописец.

И в тот же день священник отписал очень длинное и уважительное письмо одному очень известному, прославленному живописцу, о котором до сей поры, правда, ничего не слыхал.

А некоторое время спустя явился в приход человек средних лет, среднего роста, в темном костюме и такой же темной, слегка замас-

Окончание. Начало см. в № 4.

ленной широкополой шляпе. Человек был приятный на вид, лицо бледное, исхудалое, но приветливое, время от времени оно освещалось улыбкой, которая быстро таяла, но всякий раз не совсем — что-то от нее оставалось в больших черных глазах.

Вместе с ним или следом за ним, ну конечно же следом за ним — ведь сразу все в дверь не вошли, приплелись еще двое субъектов, даже не знаю, что наспех о них и сказать, хотя иным, а главное, самим себе, такие люди могут казаться и занятными. Они остались стоять в дверях, подумав, наверное: зачем нам толкаться дальше? Ведь нас сюда никто не звал.

Священник двинулся навстречу живописцу. Состоялось знакомство.— Здравствуйте, здравствуйте! — Пожимая руку живописцу, он ласковым, но острым взглядом окинул и тех двоих.— Рад, что вы пожаловали. Как вам ехалось? — И тут же еще пронзительнее вгляделся и в живописца: ну же, представь их. И те двое уже шагнули было вперед, но сразу, правда, несколько смешались, так как живописец и бровью не повел, сделав вид, будто эти двое не имеют к нему никакого касательства. По счастью, священник протянул руку, и двое вмиг подскочили к нему, представились и сразу же отступили на шаг: слава те, господи, пронесло.

Заговорили о деле. Собственно, говорили только священник с живописцем. Те двое по большей части лишь кивали, правда, иной раз, при надобности, откликались и по-другому. По их глазам было видно, что в деле они хорошо разбираются. Неужто они и вправду умельцы? Жаль, что священник забыл их имена!

Судили-рядили и вдруг.— Да ведь тут рукой подать,— кажется, священник это сказал,— пойдемте туда и посмотрим!

И пошли. Сперва осмотрели храм снаружи, а войдя внутрь, долго хмыкали, мудрили, качали головой, иной раз и наверх поглядывали, все-то их занимало. Да вот только что получится из такого хмыканья?

Вдруг священнику, смотревшему вверх, что-то залетело в глаз, он дернулся, опустил голову и стал тереть глаз указательным пальцем. — Ерунда,— сказал он,— просто пылинка! Все в порядке! — Он улыбнулся, а минуту спустя уже глядел на живописца в оба глаза.

Живописец стоял близ алтарной части храма, щурился и вытягивал до покраснения шею. И лицо у него покраснело. А когда подошел к нему священник, он ласково посмотрел на него и сказал с улыбкой: — Преподобный отец, во время службы вы всегда будете любоваться голубой.

Священник обрадовался: «Что говорить, мастер — это все-таки мастер!» — Голубой! Отлично! А дальше что?

Оба поглядели на свод, но священник не смог туда долго смотреть — глаз опять стал слезиться. А бог с ним, зато есть голубая, подумать только, голубая,— да, видать, это замечательный мастер! Священник тут невольно вспомнил, что кто-то из каменщиков, когда речь зашла о росписи стен, сказал: «Какая там роспись? Возьмите синьку да немного известки, в два счета все и распишете».

— Кое в чем вам откроюсь.— Живописец нагнулся к священнику, мигнув прежде глазом в сторону двоих — это могло означать, что они не должны слова его слышать.— Когда в достатке у меня голубая, другие краски мне уже ни к чему. Надеюсь, вы меня понимаете. В голубой такие богатые возможности, хотя, конечно, все зависит от живописца. Не скажу, что это легко. Человек должен владеть собой, не давать себе воли, но умение — главное. Подбавлю чуточку синей, и она уже светится. Смягчу ее потом белилами — и сразу она будто снег, потому как, если захочу, и снег может быть голубым. Попробуйте-ка припомните снег!

Священник попробовал. Но тут заметил, что мастер улыбается, и это несколько смутило его. Может, мастер просто шутит, может, не стоит к его словам и относиться всерьез!

— Да,— улыбнулся живописец,— обычная синяя, что чернила. А белая — цинковые белила! Иной и посмеется, скажет: вот вымазали костел взбитыми сливками! А голубая, поглядите! — Он указал на алтарь, которого еще не было, но над ним уже корпели резчики, может, уже и золото на него наносили. Занятно, что в эту минуту они оба вспомнили о золоте, священник видел его внизу и наверху, живописец только внизу, но и там оно его не устраивало.— Ничего не могу поделать,— сказал он,— наверху вижу одну голубую. Никакая другая там не годится. Как думаете, почему ваши селяне красят свои дома в голубой цвет?

— Понимаю, что вы хотите сказать, но храм должен притягивать людей.

— Правильно,— согласился живописец.

— А вы же знаете, каковы люди. Думаете, они за одной голубой сюда прибегут?

— Святой отец, неужели они сюда будут ходить только ради краски?

— Боже избави! Этого я не сказал. Однако прихожане хотят, чтобы их церквушка нарядно выглядела, чтобы она была хорошо расписана. Но вы-то ее распишете хорошо, я по вас это вижу. Вы, как мне кажется, человек тонкий, весьма чувствуете оттенки.

Живописец выпрямился, состроил смешную гримасу и сказал: — Ага!

— Я тоже люблю тонкость,— продолжал священник.— Сказать по правде, голубая мне нравится. Может, даже больше, чем вы думаете. До сих пор я никому об этом не говорил, но вам-то от души признаюсь: голубая — моя любимая краска.

— Вот видите,— улыбнулся живописец.

Священника это взбодрило, он дал ход своим мыслям: — Голубая, особенно если достаточно сочная, если она на самом деле голубая, а не синяя, она выражает возвышенность. В ней целый космос. Мир, он ведь голубой.

— Прекрасно! В самом деле, это вы прекрасно заметили,— похвалил его живописец.

Священник покраснел. Потерев руки, он продолжал: — Конечно, я не хотел этим сказать, что остальные краски мне не по вкусу. Может, я кажусь немного смешным. Я не художник. В красках не разбираюсь. Простите! Продолжайте! Голубая! А дальше что?

— Голубая.

— Понятно. А к ней что? Надеюсь, вы не хотите сказать, что остальные краски вам не нравятся?!

— Зачем же! Я люблю все краски, но время от времени выбираю одну и уже эту люблю больше других. Мне кажется, это вполне естественно, не правда ли?

«Неужто он хочет оставить меня в дураках,— размышлял священник,— может, я ему не понравился? Но почему? Что его во мне не устраивает? Ведь дурного слова не было сказано. Вот уж поистине чудак!»

И вслух: — Конечно, в красках вы знаете толк. Много похвального о вас слышал. Но теперь шутки в сторону! Поговорим серьезно! Голубая! А дальше? Что к ней?

— К голубой? А зачем? Зачем нам портить ее? Ведь в ней все есть. Святой отец, вы же и сами изволили это заметить.

— С вами, мастер, просто невозможно разговаривать. Вы меня нарочно злите. Все время твердите одно и то же. Голубая, голубая! Господи, да ведь ее там хоть отбавляй. Думаете, я не вижу?

— Да вы не смо́трите на алтарь. Взгляните туда!

— Я и смотрю. Послушайте, а что там так сверкает?!

— Откуда мне знать? Может, вам примстилось. Незадолго до этого вам что-то залетело в глаз. Бог знает, что вы сейчас видите! Может быть, там вам мерещится планета. Протрите глаза! Не станете же вы вдохновляться тем, что вам запорошило глаза.

Священник покачал головой.— Странный вы человек! Неужто ничто вас не вдохновляет?

— Я сам себя вдохновляю. И земля — звезда, только она не сверкает. Или, может, сверкает? Я вдохновляю себя и в то же время чертыхаюсь, ведь на земле, на этой загаженной планете, все больше дыму, смраду и пыли, но нам уже одной земли мало, подавай нам еще и другие, чтобы и те заполонить, задымить, засмердить. Зачем вам звезда? Разве вы не знаете, какого цвета смрад? Если вам нужна мишура, наймите себе любого мазилу, он вам в два дня здесь все размалюет!

«Ага, вот что из него понеслось! Уж не выставить ли его отсюда?!» — Мастер, отчего вы так разгневались? «А те двое — кто же они такие?» Те двое о чем-то шептались под хорами.

— Не взыщите, святой отец! — это извинялся живописец.— По крайней мере видите, каково мое вдохновение! Временами и голубая перестает меня волновать.— Он недолго оглядывал стены. Запрокинул голову, осмотрел свод нефа, потом описал рукой полукружье и сказал: — Вон там радугу нарисую.

— Радугу! Радуга появилась лишь после потопа.

— Поначалу огонь, огонь,— заметил живописец шутливо,— а теперь потоп, потоп. Я могу изобразить радугу и без потопа. Потоп можете сами домыслить. А в один прекрасный день и радуга полетит к черту, потому что человек до того поумнел, что в основном тратит время на то, чтобы вновь поглупеть.

Он подошел к стене, огладил ее рукой.— Поглядите! Еще сыровата. Придется с радугой повременить.

Священник обрадовался: «Хвала господу! Наконец-то отделаюсь от тебя. Тебе бы сочинять лучше, а не малевать!» И тут же испугался: «Нет, пусть лучше не сочиняет. Зря людям голову задурит».— Только бы потом с росписью поспеть.— Священник вдруг озаботился.— Если осень будет сырая, придется с росписью обождать. Осень иной раз очень дождливая.

— Вот видите! — Художник вновь весело улыбнулся.— А минуту назад вам хотелось, чтобы я потоп изобразил!

И священник заставил себя улыбнуться. «Кабы не знать, что имеешь дело с художником, можно было бы не на шутку рассердиться. А в общем, зря, ведь это живописец. Его преследует голубая. Меня тоже, но не так, как его. Болван! Зачем о ней столько помышляешь? Все равно пригласим другого».

Когда они выходили из храма, к ним присоединились... известно, кто присоединился. О тех двоих мы больше ничего не узнаем.

2

Мы все говорим, говорим, часто, пожалуй, и о пустяках, которые преспокойно могли бы выкинуть, а об иных, более важных вещах упоминаем лишь вскользь, глядишь, кое-кому покажется, что мы нарочно их избегаем. Ей-ей, мне тоже так кажется.

Силы небесные, да мы и о свадьбе почти забыли! Где календарь? Поглядим в календаре, какое нынче число? Где же он? Куда подевался? Тьфу ты, пропасть, именно сейчас, когда он нужен как никогда, не могу его отыскать! Придется в сад заглянуть, по деревьям пошарить, да и вы оглядитесь! Ну-ка, видать что-нибудь? Есть еще что на деревьях? Кое-где еще что-то краснеет. Неужто яблоко? Дьявольщина какая-то, столько яблок уродилось, а теперь хоть шаром покати. Любителю побродить на лоне природы эдак и рассердиться недолго. Зато в кладовых, погребах и, конечно же, в горницах — да-да, в наших горницах — порой какой чудесный дух стоит! Дорогой читатель, если есть у тебя яблоко, ешь его на здоровье, если нету — не вешай нос! Не то лови — вон я тебе одно кинул, а уж поймал ли ты — право, не знаю. Коли поймал — ешь! Приятного тебе аппетита, дружище! И смотри зря-то меня не оговаривай!

Сентябрь прошел, а в начале октября мастер говорит сыну:— Брось, Имришко, не до яблок теперь! Время у нас еще есть, хотя не так-то уж много, оттого и должно взяться за дело. К свадьбе мы, поди, совсем не готовы.

Слова отца польстили Имро. Славно-то как, что отец проявляет такую заботу! Правда, самому-то ему не казалось, что надо особенно мудрить со свадьбой. Зачем? Зачем создавать себе лишние хлопоты? Подвенечное платье у Вильмы есть, он тоже еще зимой справил себе костюм поприличнее, а еще что? Еще-то что надо? Бог весть как шиковать они не собираются. Угощение, выпивку и всякие мелочи можно и в последнюю минуту достать, кое-что уже и достали. Голодным никто не останется, да и выпить найдется.

Но у мастера на уме другое:— Мы, собственно, толком не знаем, кто на эту свадьбу пожалует. За наших людей я не тревожусь. Мужики выпьют, а есть станут только затем, чтобы лучше пилось. А вот как получится в Вильмином доме, какой народ туда закатится — одному богу известно. Ты же знаешь, каков обычай: до венчанья и после венчанья ходят из одного дома в другой. По мне бы, лучше это дело в одном доме устроить. Давайте-ка либо у нас, либо у вас, и вся недолга! Народ-то уж больно пройдошливый! Говорить-то говорят, что после венчанья разделятся: наши, мол, с нами — в наш дом, а вы — к своим, в свою семью, но в конце-то концов все по-иному выходит. Не могут же жених с невестой сразу на двух свадьбах гулять. Чуток побудем тут, говорят, а потом опять пойдем к вам. Но иному дурню этот чуток вдруг покажется слишком долгим, ему станет скучно, со злости начнет он пить и ворчать: где же невеста? Меня звали на свадьбу, а где она, эта свадьба? Ни жениха, ни невесты, один цыган только трень-брень, шу-шу-шу, а что он мне тут за пять крон смычком в ухо нашептывает — неведомо. А кто-нибудь возьмет да и брякнет: айда туда! Ведь мы теперь не чужие, не чураемся друг друга! Для чего же венчанье? Чтобы мы породнились. У жениха есть невеста, и нас, дураков, господь бог свел, так давайте же вместе и топать. А иной по буйности своей рад и всю избу разворотить, разнести, разметать. Да это и труда никакого не стоит. Ты только погляди, Имришко, на нашу избенку! Хочешь не хочешь, а придется ее малость подправить.

— Подправить? Сейчас?

— А почему бы и нет? Подналяжем, и все дела. Вот погляди, Имришко! Погляди, как тут у окна стена покоробилась. Ну, может оно так остаться? Имро, это же страх божий!

— Да, не сказать, чтобы все в наилучшем виде,— признал и Имро.— Но что поделаешь? Разве тут что подправишь? Что тут можно подправить! Побелим хотя бы, может, станет получше.

—Чего тут побелишь? Зачем станешь белить? Думаешь, известкой что прикроешь? Глянь-ка сюда! Кто-нибудь топнет как следует, и все будем под открытым небом плясать.

Имро, улыбнувшись, наморщил лоб и чуть покривился, в носу засвербило — он потер его и сказал: — Убого. Убого все тут. Но чего уж теперь? Обвалиться дом не обвалится. Эге! Да нам и в передней-то горнице не обязательно быть.

— А где будешь? Ну где, скажи. Думаешь, гости в задней поместятся? Еще и неизвестно, сколько их наберется.

— Места хватит. Не бойся!

— Да я не боюсь, вовсе не боюсь. Но послушай меня, Имро, вот увидишь, люди станут нас осуждать.

— Как бы не так, осуждать! А впрочем, можно бы тут кое-что и подделать. Жалко, что еще с весны не взялись...

— С весны? А когда? Ты же знаешь, чем мы занимались. Работа была. Но так тоже оставить нельзя. Надо что-нибудь придумать.

— А что тут придумаешь?

— Что-нибудь да придумаем. Заказал я немного кирпичей. На будущей неделе сосед привезет их.

— Кирпичи? А зачем? Кирпичи тут не помогут.

— Кирпичи не помогут! А что же поможет? Уж как-нибудь справимся.

— А как? Что будешь делать с кирпичами? Ведь октябрь уже. Завтра третье.

— Только третье? Ба! Так это же здорово. До свадьбы успеется.

— Не выдумывай, тата!

— Я что, для себя стараюсь, Имро? Я женюсь? Я, что ли, женюсь? Мне на это плевать. Я тут долго не наживу.

— Ты что собираешься делать?

— Поднять.

— Что поднять?

— Что поднять? Ну, дом. Стены подправим, надстроим, кровлю подымем.

— Боже мой, тата, да ты понимаешь, сколько тут работы?

— Это ты меня спрашиваешь?

— Не успеть нам.

— Не болтай вздор, Имро, не болтай! Другие-то вещи успели. Будут кирпичи, увидишь, как дело пойдет. И окна придется сменить. Наше окно, что на улицу, совсем никудышное, не окно вовсе, а оконце. Его и пирогом залепить можно. Вильма не неженка, но все же как-никак и ее надо уважить, и других надо уважить. Чужих тоже. Не то люди станут в нас пальцем тыкать: вот, мол, мужики как мужики, были ими и есть, повсюду умели с работой управиться, свое мастерство проявить, а дом запустили, собственный дом и двор не могли в порядок привесть.

— Жаль, что мы сразу же по весне не взялись.

— Времени не было, Имро, не было у нас с тобой времени. Да и сейчас еще не поздно. Не поздно. На будущей неделе сосед привезет кирпичей и мы сразу наляжем.

— А успеем? Ей-богу, боюсь я, тата, боюсь.

— Имро, ты ведь и сам знаешь, на что мы можем отважиться. Ну чего ты боишься? Положись на меня, и все будет ладно! Слыхал я, что уже начинают расписывать церовский храм, если проявят умение и поторопятся, венчанье может быть там. В новом костеле и обвенчаешься. Представляешь, что это будет?

— Тата, не приплетай сюда и костел! Чего ради тащиться нам в Церовую!

— А почему бы нет? Мы там славно поработали, так пусть священник там нас и обвенчает, как положено. Наймем себе каких-нибудь возчиков, или знаешь что? Что, если нам поговорить с Кириновичем?

— Это зачем? — Имро махнул рукой. И как бы сразу рассердился. Не любил он Кириновича, сам не знал почему. Неужто он Штефку к нему ревнует?

— Я же знаком с ним,— мастер гнул свое,— я знаком с управителем. Мы с ним даже на «ты». Займем у него дрезину, и жених с невестой...

— Ну уж! Так уж и вкачу в Церовую на дрезине! Ей-богу, тата, иной раз ты такое напридумываешь!

— А не напридумаешь, кто ж тебя и заметит? А так люди хоть подивятся. Люди-то глупые, временами их надо и ошарашить. Хоть я человек серьезный, а бывает, и мне взбредет в голову что-нибудь не очень серьезное. Людям нужны зрелища. Так отчего бы им не потрафить? Иногда надо показать: вот, если желаете, я тоже могу кое-что выдумать, я тоже могу балаган устроить! А свадьба, Имро, разве не знаем мы, что такое свадьба? Свадьба дело серьезное, конечно серьезное, но и веселое. Любую глупость на свадьбе отколоть можно, люди любят веселые глупости и потом о них еще долго судачат. Вот это свадьба так свадьба! Имро, стоит только сказать, и дрезина наша. Разуберем ее цветами — и в путь! Вот увидишь, священнику это тоже понравится.

— Дрезина? Ему дрезина понравится? Ей-ей, я бы очень этому удивился.

— Ты что думаешь, он такого не изведал, не видал? Небось всякого насмотрелся. А люди, те будут пальцем показывать: вон тот молодой плотник, что не щадя живота своего трудился над нашим костелом. А уж мы потом накричимся, всласть накричимся! Но это уж предоставь мне, это я возьму на себя, о крике я позабочусь.

— Тата, ну ты ж и скоморох! Кто тебя не знает, не поверил бы даже, но, честное слово, тата, честное слово, такого скомороха я в жизни не видел.

А мастер как ни в чем не бывало весело продолжал:— Ясное дело, наймем возчиков и две, три четыре телеги, смотря, сколько потребуется, но для жениха и невесты — дрезину! Настоящий мастеровой достоин дрезины. И не говори ничего! Не сподобишься ее ты, сподоблюсь я. Теперь ни о чем другом и думать не буду, только о дрезине! Эх, дрезина, дрезина!

— Дрезина, дрезина! Плевать я хотел на твою дрезину! Кончай, прошу, этот разговор.— Имро слыхал, что и Киринович должен жениться, говорят, якобы уже точно, говорят, и впрямь Штефку в жены берет. Надо же, такую девку! А Имро... Неужто на самом деле он Кириновичу завидует? Но почему? Почему? Вдруг на него нашла невероятная злоба: казалось, он злился на всех: и на отца и на Кириновича, злился на Штефку и даже на Вильму.— Дрезина годится для батрака, слышишь? Или для него, для управителя, годится. Пусть на ней и раскатывает!

— Это же обряд, Имро. Обряд как обряд, его хоть где совершить можно, он везде одинаковый. А нас переполох и молва занимают, хотим, чтоб молва из уст в уста шла. Глядите, люди добрые, это мастеровой женится!

— А к чему? К чему все? Чтобы люди реготать могли, да?

— Неужто не понимаешь? Чудно даже! Ты что, собственно, обо мне, да и о себе думаешь? Что, ну? Ты знаешь, что такое ремесло, а? Размышлял ли ты когда об этом? Думаешь, и впрямь ремесло — золо-

тое дно? Ты в это веришь, Имро? Золотые руки у тебя могут быть, сын мой, золотые руки, но золотого дна ты не увидишь, не увидишь ни вблизи, ни издали. Я твои руки знаю и свои знаю и рукам верю, своим рукам верю.— И мастер, раскрыв обе ладони, протянул их Имро, чтобы и тот лучше видел, взгляд его прояснел, стал острее, но длилось это мгновение.— Я за руки свои никогда не краснел,— сказал он,— они меня никогда не подводили! — Он сложил обе ладони, левую руку потом опустил, а правой, с вытянутым указательным пальцем, помахал из стороны в сторону.— Но в золотое дно я не верю, на золотое дно никогда не рассчитывал. Мастеровой, настоящий мастеровой только надсаживается, и у этой надсады, Имришко, у этой надсады, право слово, никогда дна не бывает. Потому иной раз и приходится паясничать. А ежели какое-нибудь золотое дно и в самом деле бывает на свете, то знают о нем только халтурщики да мошенники, а вот мастеру за настоящую, добротную работу редко кто прилично заплатит, только ты сам себе за нее и платишь, только ты один, может, и знаешь ей настоящую цену. Ремесло — золотое дно! Люди говорят о дне, а самим поверхности хватает. Скажешь им глупость — смеются! Скажешь что-нибудь умное — тоже смеются, ежели ты их не предупредил: погодите, это же не потехи ради! И серьезность их потом такая же. А молва — это дело, ежели добрая молва о тебе, без работы сидеть не будешь. Ты говоришь, я скоморох. Ты прав, но ежели хочешь, тут можно кое-что и добавить: скоморох, да только по другой причине, чем думаешь. Мне молва совсем не нужна. А балаган, это да, все мы играем; и самые серьезные роли обычно достаются тому, кто вовсе не умеет играть. Я-то, Имришко, умею, и даже так ловко, что подчас переигрываю. а то, поди, и паясничаю. И знаешь, почему это делаю? Потому что я рыцарь. Всякий мастер, всякий настоящий ремесленник способен быть рыцарем, только так и распознаешь настоящего мастера. После него всегда остается работа, но люди редко когда оценят ее, хотя порой это могло бы человека и очень обрадовать; обычно люди просто заплатят, бывает, и похвалят, даже очень похвалят. но как раз тогда-то мастеру и хочется им сказать: вы могли бы дать меньше или совсем ничего, могли бы меньше хвалить,— в похвалах разве дело? — только заметить бы вам безделицу, вот именно, смешную безделицу, за которую я не просил ни гроша, а вы и не дали, но заметить все же могли — ведь эта безделица была для меня самым главным. Я трудился над ней больше всего и отдал ей столько времени, что было бы просто смешно что-нибудь просить за нее, и потому-то, может, вы ее вообще не заметили. Так где же оно, это золотое дно? Портной сошьет превосходный пиджак и радуется, что нашел наконец для него подходящую нитку, искал он долго, очень долго ее искал и уж, казалось, исчерпал свое терпенье до дна, но все-таки сшил, мастер всегда сошьет, ведь если он чего не находит, он подлезет и под самое дно и скажет себе: пусть я сдохну, да-да, пусть я сдохну, а подходящую нитку все же найду и пиджак я сошью, и это будет превосходный пиджак, какого ни один мастер-портной не носил,— ведь тот, кто ищет под дном, умеет лишь шить, он знает, каким пиджак должен быть, чтобы любого прохвоста превратить в почтенного человека, перед которым и ему, лучшему портному, сшившему лучший пиджак, придется снять шляпу. Ну а без шляпы он зароется и под землю. не потому, что чего-то стыдится, а потому, что он мастер, который, поди, думает. что из-под земли — ведь под дно можно залезть глубоко — он еще что-то вынесет или выгребет, а потом начнет мастерить и шляпы, чтобы по воскресеньям, когда выдастся немного свободного времени, он мог бы их видеть на людях, как и те пиджаки, что он сшил — один краше другого, один краше другого, но он — мас-

тер и потому даже не знает, пойдет ли и ему такой распрекрасный пиджак. Он шутит, а то и паясничает, бывает, из рыцарства, ведь и рыцарям временами хочется пошутить, бывает, прикидывается дураком — кто же еще станет прикидываться дураком? — но чаще всего потому это делает, что бьется сам над собой; ему не нравятся его пиджаки, но сказать о том он не хочет, уж лучше сам себя выставит на посмешище и утешится тем, что люди будут судачить не о его пиджаках, а о том, что он отмочил глупость. И они скажут: вчера тут был один мастер и порол такую чушь, что мы и уснуть не могли, во сне и то гоготали. И мастер тогда спокойно уснет; ему даже приснится, что ремесло и впрямь золотое дно и что он, мастер, по меньшей мере сотню раз его уже видел, а захоти — имел бы давно и кучу денег, кабы не было у него одних штанов, а в тех штанах дырявого кармана. И утром, когда он встанет, наденет штаны и ненароком сунет в карман руку, он вновь развеселится: черт подери, я-то думал вчера, что дурачу людей, а сейчас вижу, что я их вроде и не дурачил,— ведь этот карман на самом деле дырявый, стало быть, во всем есть доля правды! Если сегодня придет кто, опять буду паясничать! Так-то Имришко! Подлатаем дом, устроим свадьбу и на ней спляшем как следует. И стрельбу закатим, по крайности капсюлей достанем, а некому будет стрелять, так я и сам бабахну. Отправимся ли мы в костел пешком, на дрезине или на телегах — там видно будет. А пока беремся за дом!

3

А в Церовую тем временем пригласили другого живописца. Он был несколько старше прежнего, тянул уже к шестидесяти и принимался за дело смело и горячо.

Он обстоятельно оглядел костел, измерил шагами все, что можно было измерить шагами, потом улыбнулся священнику и сказал: — Отличная работа! Преподобный отец, во время воскресной мессы скажите прихожанам, что нам потребуется много молока, творогу и яиц. Пусть каждый принесет сколько сможет. Только незачем носить все сразу — это нам ни к чему. Главное, чтобы у нас всегда было все под рукой. Пока целиком распишем костел, много всего уйдет, вы, пожалуй, и ушам своим не поверите. И вот еще что мне скажите, преподобный отец, кто вам делал этот алтарь?

— Оришек,— ответил священник.

Живописец обрадовался:— Оришек? Отлично! Оришек — лучший алтарный мастер.

Священник удивился, что живописцу известен мастер Оришек, и, возможно, даже немного обрадовался, но тут же вновь погрустнел; мастер, заметив это, спросил:— В чем дело? Или вам не очень-то повезло с Оришеком?

— И повезло и не повезло.

— Не понимаю. Жалко, что вы со мной не посоветовались. Я бы мог сходить туда вместе с вами, алтарный мастер Оришек — моя правая рука, а я — его.

Немного потолковали об Оришеке. Перебрали всю его семью. Хвалили жену Оришека и дочку, что прошлой осенью вышла замуж за банковского чиновника, хвалили и сыновей, особенно младшего — тот был самым толковым. Оришек-младший был большой искусник по части ангелов, но при надобности мог вырезать и Иуду и черта.

Священник грустно вздохнул и сказал: — Жалко, на фронт взяли.

— Кого? Оришека? — Живописец, можно сказать, пришел в ужас.— Что я слышу? Не будь вы священником, я бы даже не поверил такой вести. Это вы о младшем говорите?

— О младшем.

Живописец покачал головой.— Это ужасно! Первый раз слышу, чтобы мастера по ангелам призвали! Какая глупость, какая бессмыслица! Честное слово, уму непостижимо. Что, не могли вместо него призвать какого-нибудь мерзавца или лоботряса? Ведь он только недавно выучился на резчика. Какого ангелочка он мне за один вечер вырезал — пришлось даже дать ему десять крон, хотя он был тогда еще совсем мальчик. Золотые у него были руки. Святой отец, я покажу вам этого ангелочка. Увидите, какая удачная вещица. Удивительно на этого мальчонку похож. Как две капли воды. Ну и что? Что сказал Оришек? Не показал вам каких-нибудь прежних ангелов? Ангелов, думаю, у него целый воз, а то и два. Ведь этот мальчик буквально помешался на ангелах.

— Прежние его ангелы мне не понравились.

— Не понравились? Да возможно ли? Мой бы вам определенно понравился. Он сделал его за один-единственный вечер. Я вам, может, нарисую такого же.

Священник весело улыбнулся: «Да, этот болтливее первого. Еще и тупоголовый к тому же. В конце концов он мне тут все ангелами размалюет».

— Преподобный отец,— подмигнул живописец священнику,— кое в чем вам откроюсь: и мне не все нравится. В первую мировую попал я в Италию — сколько же там картин, какие знаменитые памятники! Раз пришли мы в один дворец — осматриваем ценные картины, ковры, и вдруг командир нас спрашивает: «Ребята! А что бы вы дали за такую мозаику?» Мы все думаем, хмыкаем, но никто ничего не дает. Командир и говорит: «Миллион и то мало!» Итальянец, тамошний человек, стоит возле командира и головой кивает — миллион, он и для итальянца миллион. С миллионом на всех языках столкуешься. Да вот только какой миллион? Картина есть картина, у нее своя стоимость, это любой знает. Но что такое мозаика? Она и на картину-то не похожа. А ну-ка, думаю, погляжу я на этот миллион. Ушли все, а когда были уже далеко, вытащил я штык да и колупнул миллион, и представляете, что это было? Обыкновенный камешек. Даже не знаю, куда его дел.— Он добродушно улыбнулся, а заметив, что и священник смеется, развеселился еще больше. Рад был, что улучшил священнику настроение.— Преподобный отец,— продолжал размышлять он,— нельзя клевать на любую глупость художников. Фантазия у человека может быть, но кто хочет что-нибудь сделать, кто хочет создать настоящее искусство, тому талант нужен — без таланта вообще пропадешь. Фантазировать может каждый. И убийца может фантазировать. А попробуйте-ка скажите кому-нибудь — пускай нарисует вам хоть какого убийцу или Иуду. А я могу все: и убийцу, и Иуду, и пастуха, и овец, и ангелов, и Иисуса Христа, и траву, и пруд, а возле пруда аиста, небо и путь, могу даже Млечный Путь нарисовать вам. А как-то раз нарисовал я Гитлера, но лучше об этом никому не рассказывайте! Потому что картина эта называлась «Последняя вечеря». Если бы кто заметил Гитлера на «Последней вечере», мог бы и возмутиться. Больше всего люблю рисовать рождество.

— Правда?

— Правда. Вы откуда, преподобный отец?

— Я из-под Лученца.

— Из-под Лученца? Там я еще не был. Еще не рисовал там. А вообще-то мне все равно. Малюю ангелов и на Оравщине, и на Копани-

цах, и в Трнаве, и в Микулаше, ведь я рисую и для лютеран и для католиков.

Живописец тараторил без умолку. Священник, измученный вконец, думал: «Вот идиот! Уж наверно, шевелит ловчее руками, нежели мозгами. Ум возмещает проворством. Но он чем-то мне нравится. В своей глупости человек не волен. А тот был слишком заумный. Знал больше чем надо, но все толковал об одном и том же. Или я ошибаюсь? Что может сделать человек, который видит вокруг себя то, чего нет, вдали видит даль и боится, что найдет в ней только то, что уже нашел вблизи? Посмотрит на небо — дыра! Что с того, что она кажется голубой? Разве набьешь или замажешь ее чем-нибудь? Глиной или грязью? Тот меня совсем заморочил. Все голубая да голубая. Нехристь! А за голубой что? Этого он уже не знал».— Послушайте, а вы могли бы нарисовать радугу?

Живописец дернул плечом.— Радугу? В два счета нарисую. Если хотите, и ангела пририсую. Будет похож на Оришека-младшего.

«Этот все может! Радуга и то ему нипочем. Глуп как баран, оттого такой смелый».

Живописец раскрыл чемоданчик, порылся в нем.

«Тот хотел радугой только надышаться,— продолжал размышлять священник,— но ему все время что-то мешало. Его неотступно преследовала земля, и он не мог, стоя на ней, сотворить ангела. Что, собственно, он хотел? Уйти? Остаться? Куда уйти, где остаться, если между близким и далеким не видел никакой разницы? Куда бы я ни пришел, я буду уже там, и вновь для меня что-то иное станет далеким, и вновь я спрошу себя: куда же теперь? Может, еще дальше? Или спрашивать надо позже? А почему позже? Ведь я уже и теперь не знаю, где я. Бежать от праха и вновь найти прах, то есть к праху вернуться? Откуда? Откуда и куда? Один или не один? Один. И не один. Куда, боже, куда же? И найду ли то, что ищу? И когда, господи?! Потом? Только потом? И почему только потом?

Далеко — это дальше, но далеко — и назад. Только прах близок к праху, хотя и дальше, хотя и назад, далее дальнего, дальше, чем назад, только прах спокон веку близок к праху, хотя прах от праха дальше всего...»

4

Возни с гульдановским домом оказалось куда больше, чем полагали сначала. Но мастер и Имро не испугались работы. Правда, Имро немного тревожился и все пересчитывал дни: сколько еще осталось до свадьбы? Успеем ли? Не успеем? А ну как не успеем?

Мастер его неустанно подбадривал: — Не бойся, Имришко! Скажи спасибо, что мы за дело взялись! А уж коли взялись, подправим все как положено, по крайней мере надолго успокоимся.

— Пусть так, тата. Только бы ничего не стряслось! Только бы нениароком где-нибудь не застопорило!

— Да что может стрястись? Не будь ребенком, Имро, прошу тебя! Все у нас ладится, кирпич есть, даже с избытком, столько, пожалуй, и не понадобится. И в работе толк знаем, так чего ты запугиваешь? А случись что, можем кликнуть на помощь Якуба с Ондро. Хочешь, можем им написать. Не то позвонить сегодня же вечером.

— Лучше не надо,— Имро опять возразил,— не надо их звать. Знаешь ведь, каковы дела, как часто мы зовем их, а потом ихние жены сердятся и говорят, что мы, мол, вечно теребим Ондро и Якуба.

— Как это теребим? Когда мы их теребили? Нешто я боюсь их? Ты мне такие вещи даже не говори, Имро! Думаю, могу все же своим

сыновьям позвонить! А в общем, как знаешь. Ежели полагаешь, что не надо звать их, пусть будет по-твоему. Без них управимся.

Они разобрали избу, да так основательно, что даже испугались: свадьба-то уже на пороге, а у них еще уйма работы. А ну-ка скорее звонить! Но было уже поздно, к тому же у Ондрея с Якубом оказалось какое-то спешное дело, от которого они никак не могли отвертеться.— Черт побери! — вскипел Имро.— Ну и заварили, тата, мы кашу! В хорошую историю влипли!

— И впрямь история. Надо было нам раньше бежать звонить, Имришко, или обратиться к кому-нибудь. Могли же мы и кого чужого кликнуть на помощь. Хотя теперь нам уже никто не поможет — кладку-то мы и сами вытянули и еще поднатужимся, а вот что сохнет паршиво — это хуже всего! Ты же видишь, как сохнет. Даже управься мы с грехом пополам, сырые стены все равно не оштукатуришь, не выбелишь.

— А все ты, тата, выдумал! Я еще поначалу знал, что так получится. Не послушай я тебя...

— А ты послушал, да? Как это послушал? В конце концов я еще и виноват буду?! Кто идти звонить не хотел?

— При чем тут — звонить? Зачем ты все это выдумывал? Нельзя было разве подождать немного? Нельзя было начать куролесить с домом уже после свадьбы?

— Что ж теперь, драться, а? Ну давай! Кто же знал, что Ондро с Якубом подкузьмят нас? Отложим свадьбу на неделю, другую...

— На какую неделю, другую? Ведь уже будет рождественский пост.

— Чертовщина! Про пост-то я и забыл! Понимаешь, начисто забыл про него.

Они сердились какое-то время, молчали, а потом мастеру пришла в голову удачная мысль: — Слышь, Имро, что скажешь, кабы на рождество?

— Тата, разве это серьезный разговор?! — Мысль эта не показалась Имро особо удачной.— Ведь Вильма меня обсмеет, а то и разговаривать со мной не захочет.

— Вильма не вопрос,— успокаивал его мастер,— она все нам простит, все поймет, а вот к старой уж прилется подмазаться, та не такая понятливая, а заговорит, жало у нее злей, чем у шершня. Но все ерунда! Не бойся, Имро! Осенние свадьбы все равно не стоят выеденного яйца. Как хлынет дождь, у невесты намокнет фата и болтается за ней чисто онуча. Еще и невеста, глядишь, у нас могла бы простыть! Подождем-ка лучше до рождества, до той поры, может, распишут и церковский храм...

— Ты опять, тата, заводишься с этим храмом?

— Виноват, Имро, виноват! Я ничего не сказал! Церовая ли, Околичное, мастерам на это дело начхать. Правда, и зима иной раз лютует, но свадебникам — море по колено. Дружка высунет нос, хоть он у него и сопливый, и знай верезжит, верезжит, а следом и остальные глотки надсаживают, галдят, гомонят вместе с пургой. Старший свадебник протискивается вперед — спешит предупредить свадьбу, что перед костелом надобно вытереть нос...

5

Работа у живописца продвигалась медленно. Он делал все что мог и мог бы сделать еще больше, кабы священник ему не мешал. О каждой пустяковине они подолгу судили-рядили, а когда в конце концов что-то делалось, судили-рядили о том, нельзя ли было сделать это ина-

че. Живописец уже порывался откровенно сказать: «Я пришел сюда не спорить с вами, а расписывать». Однако решил лучше помалкивать, не то наверняка дело дошло бы до ссоры и ему пришлось бы — хочешь не хочешь — собирать пожитки. И все-таки раз, а может два, у него чуть было не вырвалось: «Прощайте, преподобный отец, расписывайте сами! Я легко найду где угодно работу». По счастью, был там причетник, и он в острую минуту вмешался: — Взгляните-ка, сколько яиц мы тут понабили, пожалуй, столько и не понадобится.

Живописец думал сделать свод над алтарем желтым, но священник сказал, что желтая краска вредна для глаз и потому лучше бы ее заменить.

— Как — заменить? — удивился живописец.— Ведь мы уже сошлись на ней.— И стал объяснять, что желтая, собственно, не останется желтой — на нее придется рождество.

Священник не согласился: — Почему бы рождеству прийтись именно на желтую?

«Ну на какую-нибудь я же должен его сунуть!» — Начну с коричневой,— предложил живописец,— и подбавлю в нее золотой.

Священник на коричневую согласился, но о золотой и слышать не желал.

— Да я ее много не дам,— обещал живописец, а в голове у него вертелось: «Какое же это будет рождество, если дам мало золотой?» — Мазну ее только Гашпару и немного ангелам на крылья. Но что потом делать с Иисусом?

Вопрос обронил живописец скорей для себя, но им задался и священник; с минуту подумав, он спросил: — Разве для Иисуса важно было золото?

Причетник стоял рядом, с любопытством прислушиваясь, чем же кончится разговор. Он хотел поторопить их, но вопрос священника его озадачил. Он ненадолго задумался. А потом вдруг обрадовался, что и он может вставить словечко.— Пан священник, ведь и с ангелами не так просто. Иисус будет ежиться в яслях, а ангел над ним посверкивать крыльями — какой прок иззябшему Иисусу от этого?

Священник улыбнулся: «Ага, пан причетник пустился в размышления!»

Живописец поскреб в голове.— Сбили вы меня с толку.

Причетник, ободренный улыбкой священника, продолжал:

— Если Иисус и впрямь должен быть бедным Иисусом, зачем же к нему тянуть ангела? Разве только затем, чтоб он там торчал и чтобы Иосиф с Марией видели, насколько ангел ярче сверкает и краше поет, чем Иисус? Пастухи будто бы принесли ягненка... а мне сомнительно, принесли ли они его на самом деле! Может, кто-то поднес Марии черпак молока или неприметно сунул в руку Иосифу кусок творогу. Ничего путного им, конечно, не дарили — когда потом Иосиф с Марией и Иисусом убегали на осле в Египет, у них не было с собой никакого добра. По крайней мере, думается, не было. Да и что могли они на осле увезти? Бедному человеку достанет и воробья, ему весело, по крайности есть кому рядом чирикать! Начнут дети клянчить поесть, тут им и скажут: гляньте-ка, какой миленький воробушек! А вообще-то, между нами, пением сыт не будешь! Один жалкий пастух в Вифлееме значил больше, чем десять, а то и целое полчище ликующих ангелов. Бедный, уж коли нет иного выхода, всегда попросит у бедного! Вряд ли станет он просить у Гашпара! Ну да, Гашпар же держит золото! Кто гоняется за золотом, должен стоять навытяжку перед ним...

— А думаете, не стоят? — спросил священник.— О-хо-хо, сколько таких шатается нынче по Вифлеему.

— Хорош Вифлеем! — возмутился живописец.

— Пан священник, я уже знаю,— сказал причетник.— В яслях вместо Иисуса развалился Гашпар, а вокруг него прыгает тьма всяких Гашпариков и Гашпарчиков.

— Хороши ясли, хорош Иисус! — возмутился живописец.

А причетник изрек: — Поистине так!

— Мелихар сует ему под нос ладан,— продолжал священник.

— Хорош Мелихар! — возмутился живописец.

А причетник изрек: — Поистине так!

— Валтасар выковыривает грязь у него между пальцами,— с отвращением сказал священник.

— Хорош Валтасар! — Живописец сплюнул на землю.

А причетник изрек: — Поистине так!

— Просто спятить можно! — вертел головой живописец.— О каком Вифлееме вы говорите?

— А разве мало Вифлеемов вы видели? — спросил священник.

— Видел, видел. Только ваш совершенно другой.

— Слышите? — повернулся священник к причетнику.— Другой, мол! А кто хотел размалевать золотом Вифлеем? — Тут он запнулся — ему вдруг показалось, что за него говорит чей-то чужой, не его голос. Неужто нашептывает ему тот, первый художник?

Слово взял причетник. Он сказал: — Я бы нарисовал Гашпара так, будто он подлизывается к Иисусу. Ведь не Иисусу нужен был Гашпар, а Гашпару — Иисус, в нем он видел большего Гашпара, нежели сам, вот он и решил купить его золотом. Если бы Гашпар хотел быть благодетелем, он золото мог бы дома раздать или еще где-нибудь — разве не встречал он дома или на богомолье полчища нищих, немощных, хромых, глухих, слепых, немых, прокаженных старцев, толпы голодных детей, своры обезумевших от голода воров, скопища смердящей, завшивленной голытьбы? А он спешил на край света за какой-то кометой, которую заметили и двое других мудрецов, они знали, что она сияет всем, а стало быть, и бродягам; и вот бродяг-то и надо было опередить — так живей, живей в Вифлеем: на, малыш, получай золото, ладан и миро! И смотри, помни о нас!

Долго бы еще говорил причетник, да живописец прервал его: — Послушайте, люди добрые, ведь я пришел сюда рисовать. Пан священник, какие небеса будем делать?

Священнику показалось, что причетник, прерванный на полуслове, немного обиделся. Поэтому он обратился к нему: — Как вы посоветуете, пан причетник?

— А что я могу посоветовать? — сникнув, сказал причетник.— Стоит поволноваться, и сразу же теряешь дар речи. Мы вроде говорили, что там будут ясли.

— Добро, поместим их, стало быть, там.

— А что с этими лоботрясами? — спросил живописец.

— Нарисуем и их!

— Что ж, можно. А насчет золота не беспокойтесь, буду беречь его. Мазну только Гашпару. Пастухов тоже дать?

— А без них разве дело? — вмешался причетник.— Дайте там и овцу и какого-нибудь козленка!

— Положитесь на меня! Я уже вижу там и овчара. А как насчет вола?

— Что? — спросил священник.

— К волу добавить осла,— сказал причетник.— А иначе-то как? Вифлеем так Вифлеем!

— И кузнеца дать?

— Что ж, он там вполне кстати.

— И я так думаю,— сказал причетник.— Пусть это будет какой-нибудь цыган — цыгане, известное дело, все кузнецы. Видел я однажды мальчонку — совсем маленького цыганенка, а он уже сидел у костра и держал в руке проволоку, небось как раз учился ковать. А мать его на голой ляжке тесто месила и бросала в горшок с водой шулянчики — палочки такие, вроде галушек. Словом, нарисовать бы это где-нибудь сбоку да так изобразить, будто стоят сумерки. И дождь чтоб слегка моросил.

— Пан священник, это можно там нарисовать? — спросил живописец.

— Можно, только чуть в сторонке.

— Ну, а вообще-то я на детей скупиться не буду,— сказал живописец.— Пусть они там болтаются. Вот увидите, пан причетник, вам тоже понравится.

— Да, на детей скупиться не надо! — согласился и священник.

— А с Иродом как быть? — спросил живописец.

— Мазните там и этого борова! — гаркнул причетник.

А пан священник: — Зачем уж так сплеча? Тут надо подумать.

Художник сказал: — Пожалуй, я не буду его там рисовать.

— Жалко! — посетовал причетник.— Тогда хоть солдат.

И пан священник следом: — Без них не обойтись!

— Очень я их люблю,— признался художник.— Воткну туда и Оришека-младшего, что ушел на фронт. Будет так это позвякивать. В одной руке ангелок, в другой граната.

— Сразу видать, вы художник,— похвалил его священник.— Вот и ангел у нас уже есть.

— И музыкантов нарисую,— торопился художник.— Хоть целую роту. По крайней мере весело будет.

— Живо их туда!

— А каких-нибудь девиц? Чтобы они там прыгали!

— Пусть прыгают!

— И голубей дам! Хотя бы парочку! Воробьев я бы тоже добавил.

— Горлицу и воркуна! — предложил причетник. И в горле у него от радости заурчало и заворковало.

— Намалюю и радугу. Может, кто-нибудь по ней полазает. А вы хоть убедитесь, что я могу ее нарисовать.

Вдруг у живописца расширились и засверкали глаза.— Знаете что, пан священник?! Уж коли у нас все так разрослось, распишем Вифлеем на весь храм!

— Как хотите. Но сперва решим, какой будет грунт.

— И то сказать! — согласился и причетник.— Грунт — дело серьезное. Мы что, зря эти яйца разбивали?! Моя жена, ежели иной раз красит стены на дворе или на улице, так всегда только в голубой... Все бабы... В Церовой, в Околичном да и повсюду в округе... А как же иначе? Как же еще станут бабы красить стены, ежели не в голубой...

— Коне-ечно! — подпел священник на тирольский манер — у него срывался голос.— Наконец-то у нас есть и грунт, и Вифлеем!

Художник не возражал.— Что ж, может быть, и голубой, может быть. По крайней мере, Вифлеем будет ярче выделяться. А где поместим ясли?

Священник задумался. Вместо него ответил причетник:

— Мы же говорили, что они будут над алтарем.

— Хорошо. Там они у нас и были. Пан священник, а младенец? Младенец Иисус будет в сорочке или без?

— В яслях будет одна сорочка.

Причетник удивился: — Вы сказали: одна сорочка?

— А Иисус? — спросил художник.

— Иисус? — улыбнулся священник.— Думаете, люди не знают, где его надо искать? Люди отлично знают, для кого сорочка и как тяжело быть Иисусом...

6

Свадьбу сыграли на Штефана[1]. Венчались в Околичном. С церковским костелом дело не выгорело по многим причинам, и прежде всего по той, что живописец решил работу прервать — стало подмораживать и роспись на стены плохо ложилась. И краски были никудышные — как только похолодало, куры перестали нестись и краски не на чем было замешивать. Правда, церовчане готовились к зиме еще с лета, откладывая иной раз какое яичко, но живописец эти яйца все хулил да хулил, говорил даже, что среди них попадаются болтуны. В конце концов он все так и бросил, сказав, что с росписью придется подождать до весны.

Имро ни за что не хотел откладывать свадьбу. Да и удивительно ли? В самом деле, было бы просто смешно! Разве он не достаточно ее откладывал? Зато теперь свадьба удалась на славу. Вся деревня была на ногах. Мастер нагнал музыкантов целый полк. Мечтал затащить и того, что играл на Якубовой и Ондровой свадьбе, да теперь ищи-свищи его. Цыгане не советовали ему даже и пробовать, дело, мол, пустое, контрабасист тот — военный музыкант, профессионал, играет на всех инструментах и тогда только помогал им, да нынче нечего на него и рассчитывать — его отозвали куда-то. — Мне и самому-то досадно, что его отозвали, что такого стервеца уже нет среди нас,— сказал первый скрипач.— Но я знаю, что делать, знаю. Позовем Трчко, а это дьявол еще похлеще — он из самого Виштука, а вы, мил человек, должно быть, хорошо понимаете, что из такой-то дали первого встречного не позовешь. Да вот захочет ли он прийти, придет ли?

— Должен прийти,— хорохорился мастер.— Я заплачу, не беспокойтесь, хорошо заплачу.

— Знаю, что заплатите, ясное дело, заплатите, только кто ж такого большого человека заставит?

— Позовите его! — настаивал мастер.— Я и вправду хочу, чтоб он был. Либо тот, либо этот.

— Либо тот, либо этот?! Да они одинаковые. Один лучше другого, а другой еще лучше первого! А когда они вместе, то одинаковые.

— Если хотите, я сам к нему схожу.

— А зачем? Ну посудите, мил человек, зачем вам беспокоиться? Думаете, он вас послушает? Думаете, он о деньгах заботится? Эхма, да вы, выходит, Трчко не знаете! Скажите, когда какого цыгана деньги прельщали? Вот есть они у меня, а вот и нету их. А за мои уши, за мои пальцы, ну скажите на милость, за мои-то цыганские уши и ловкие пальцы кто мне заплатит? Так-то вот! Но Трчко я для вас позову, ей-ей, позову! Вас не послушает, а меня послушает, захочу, придет сыграть мне и задаром: ведь что бы вы ему ни дали — даже если б и хорошо дали,— все равно это будет всего лишь милостыня. Да, настоящий человек! Большой человек, а уж как играет, стервец, сами увидите!

И мастер увидел. Трчко был и впрямь музыкантом отличным, ловко вертелся у контрабаса, но мастеру все же казалось, что тот, игравший на Якубовой и Ондровой свадьбе, был чем-то лучше или, по крайней мере, занятней. Заметив, что Гульдан вроде бы не очень доволен,

[1] 26 декабря, следующий день после рождества.

первый скрипач эдак под полночь (может, ему шепнул кто?), подмигнув украдкой товарищам, приблизился к мастеру и стал ему наяривать в ухо. Карчимарчик первым подхватил песню, вскоре его пение привлекло и Якуба и Ондро, и даже жених, покинув невесту, потащил за собой Штефана, Агнешкиного мужа, одетого в жандармскую форму. Окружив мастера, они затянули его любимую:

В Новых Замках
Трубы протрубили:
Музыка играла —
Молодца убили!
Он совсем не думал,
Молодой, пригожий,
Что в сырую землю
Свои кости сложит.

Мастер сперва слушал, а потом и сам подключился. И Ондро тут сказал остальным:— Пускай поет один тата!

Все стихли. И мастер запел:

Когда бы отгадать судьбу свою умел,
Он под Трнавой дома бы сидел,
А он на дом глядел издалека —
Убили в Новых Замках паренька.

Потом еще выпили; понемножку все время что-то тянули. А когда же, как не на свадьбе, мужчинам положено выпить? И Имро пропустил не одну рюмочку. И не то чтобы очень упился, а все от радости прыгал, носился — посмотрели бы вы на него. Одно удовольствие! Жених, правда, редко когда с невестой сравнится — это может подтвердить вам на собственном опыте автор этих строк, да и ты, любезный читатель. Невеста действительно была хороша, до того хороша, что лучше, наверно, и не бывает. А ты помнишь, дорогая читательница? Ведь когда ты выходила замуж, все было точно так же.

А на рассвете гулянье было в самом разгаре. Эх, многое я мог бы рассказать! Но я решил: буду краток. Да и о том, о чем говорилось до сих пор, можно было бы сказать короче — пожалуй, двух-трех фраз было бы достаточно, а то еще подумают, что все, о чем я умолчал, было неинтересным. Как бы не так! Вильмину мать, к примеру, мы совсем не помянули. А жаль, честное слово, жаль! Можно бы и Вильминого отца вспомнить. Немного посудачить об его отсутствии, да и о Вильме подпустить чего-нибудь душещипательного — иного, возможно, это и умилило бы. Чувствительный читатель, верно, отложит в сторону книгу и завздыхает: «Ну и пишет, ну и пишет — вот уж умеет взять за живое!» А потом, возможно, поумерит свои восторги и скажет: «Что ж, вполне терпимо, местами даже сойдет. Жаль только, иногда он совсем теряет дыхание!»

А литературный критик: «Какое дыхание! Никакого дыхания-то и не было! С самого начала одна стрекотня. Хотел роман написать, но чего-то там не хватает. Не хватает самого главного, ибо роман...

. . . . . »

Ну как, довольно? Если тебе охота, читатель, можешь и сам писать на полях. Взгляни, сколько места я для тебя оставил. Эта пятьдесят третья страница и твоя будет. Пиши, дружище, пиши! Пиши о том, чего тебе не хватает, пиши обо всем, что на душе у тебя! Ведь о том у нас разговор! А я буду тем временем продолжать.

Солнечные часы

1

Вильма перебралась к Гульданам. Она быстро там освоилась и даже не почувствовала, что жизнь ее после свадьбы как-то значительно изменилась. Многие женщины полагают, что замужество сыграет в их жизни прямо-таки роковую роль, но Вильма не ждала такой перемены. Ей и прежняя ее жизнь казалась прекрасной и интересной, а с замужеством она и не думала ничем поступаться, напротив, считала даже, что все доброе и замечательное будет только умножаться. Примерно так ей все представлялось.

С Имро жили они душа в душу, да и мастер с ней ладил. Мать Вильмы осталась одна, но к ней обещала переехать Агнешка. По счастью, и Вильма обреталась неподалеку от матери и могла всегда, как будет охота, забежать к ней.

— Нешто дел мало у Гульданов? — высмеивала ее мать.— Или, верно, боишься этого Гульдана.

— Чего мне бояться! Сходи сама туда,— поддразнивала ее Вильма.— Вот уж они заудивляются!

— Чего я там не видала? Не я же выходила замуж. Тебе у них привыкать.

— Я давно уж привыкла.

— А что ты стряпала?

— Отгадай!

— Больно надо! Сама скажешь.

— А я и не знаю. Вроде бы картофельную похлебку. Ох и наелись они!

— Гляди, а то начнут тебя оговаривать!

— А за что, скажи?! Я все перемыла, а теперь... пришла поглядеть, не нужно ли тебе случайно чего.

— А чего мне может быть нужно? С работой сама управляюсь. Я тоже вот прибралась, а теперь... Слышь, а детишки-то сюда все время таскаются. Дважды уж пришлось им дать от ворот поворот. Отослала их к тебе.

— Так это ты их ко мне посылаешь? Ну видишь, какая ты, мама?! А я-то никак не пойму, отчего их сразу столько сбежалось. Знаешь, как у меня голова нынче болела?

— Думаешь, у меня не болела? Как заявятся к тебе, ты их назад сюда отсылай! Замкну ворота, пускай бухают сколько влезет. И нынче хотела запереть, да вспомнила, что, может, почтальонша придет...

— В самом деле... а она не заходила? Я как раз собиралась спросить.

— Нынче не была. Но Агнешка уже отписала мне. Вот потеплеет, она тут же сюда и переберется. Там ей вроде не нравится. Покуда главное жандармское управление было в Братиславе, еще куда ни шло, а теперь она все больше тревожится, никак к северянам не может привыкнуть. Штефан хочет писать прошение, чтобы его перевели сюда из Штубньянских Теплиц, а переедут, увидишь, как будешь завидовать. Перекопаем сад... Любо-мило тут заживут.

— Я знаю, ты Агнешку больше любишь.

— Конечно. А ты сама подумай, Вильма, какой у тебя звонкий голос. Хорошо, что я теперь не слышу его. Ей-богу. А они как? Не кричат на тебя?

— Кто? Гульданы? Пусть только попробуют! А я уже разок попробовала. Жалко, ты не слыхала! Ну я на них и прикрикнула!

— Ты что, спятила?

— Чего это спятила? Ты же не знаешь, что я им сказала. Курить запретила в горнице.

— Вот глупая! Такое-то дело запрещать? Да пускай дымят. Ты думаешь, тата не курил?

— Кому ж охота смрадом дышать? Даже и проветрить нельзя. Пускай дымят на дворе либо в кухне. Старый, думаю, меня даже побаивается. Я на него так прикрикнула! Бедняга, потом мне его даже жалко стало!

— И мне их, право, жалко. О-о-х, и раскусят они тебя! Поймут, кого в дом взяли!

2

О Штефке Имро напрочь забыл. Но судьбе было угодно, чтобы он снова с ней встретился. Как-то в середине мая — конечно, ничего б не случилось, скажи мы, что это было в самом конце, поскольку вполне вероятно, что это было даже в начале июня,— пожаловал к мастеру Киринович и уже с улицы закричал, что ему очень некогда.

Гульдан подумал: «Зачем же тогда сюда прешь?» Потом натянул на лицо приветливую улыбку и сказал: — Ну не кричи, не кричи! Еще даже путем не взошел, а уж торопишься и кричишь.

Из кухонной двери выглянула, вернее, только собралась выглянуть Вильма, но, заслышав гостя, быстро юркнула назад.

Киринович с мастером поболтали немного о том о сем, а потом управитель выпалил, что ему в имении надобен новый сарай для мелкой хозяйственной утвари.

— Такой сарай в два счета сколотим,— заявил мастер.— У нас нынче все равно нету особой работы. Народ боится, отстраиваться не хочет. Собери материалу, мы с Имришко придем и дня за два — за три сарай тебе и отрохаем.

Управитель порадовался, что они так быстро столковались, но пожелал еще кое-что обсудить; не худо было бы и хлева подремонтировать — некоторые и впрямь уже обветшали. Что, если мастер с Имро заменят бревна?

— Сарай сделаем,— сказал мастер,— а бревна сам заменяй, чихал я на них. Не то батраки пускай их сменяют. Я люблю чистую работу. С вонючими бревнами возиться не стану. Да и Имро на такую грязную работу не подобью.

— Да что ты! Я и не знал, что вы такие разборчивые. Говоришь, нету работы, а сам от бревен нос воротишь. От хлевов воняет, а свининки ты, верно, поел бы! Свинина, по-твоему, не смердит, а?

— Мясо-то не смердит,— подтвердил мастер.

— Ну добро.— Управитель и не собирался с мастером пререкаться.— Поставим сарай, а бревна, глядишь, сменяем как-нибудь в другой раз. Когда же встретимся?

— В понедельник.

— В понедельник? Добро! Добро! Одно дело сделано и с плеч долой.— Управитель двумя пальцами погладил нос, потом вытер его и спросил: — Ну а вообще как?

— Вообще? — Мастер с любопытством на него поглядел и, немного подумав, нашел подходящий ответ: — А вообще никак.

— Имро дома? — спросил управляющий.

— Нет. Только что куда-то подался.

Управляющий огляделся, словно хотел отгадать, куда это Имро подался. И вдруг заметил: — Какой у вас замечательный двор!

Мастер окинул взглядом двор, а потом, одобрительно кивнув головой, сказал, что это все — Вильмины старания. Ему хотелось сказать и больше, хотелось похвалить Вильму еще более добрыми, более

лестными словами: ведь в самом деле невестка у него — одна радость, работает будто играет, все-то переделает, на все найдет время. Кто бы такое подумал о ней? Мало того, что нанесла во двор горшков с геранью и олеандрами и вскопала под окном клумбу, куда вечно что-то подсаживает, она и стирает, и стряпает отменно, любит чистоту и порядок, да и других достоинств у нее тьма. К тому же развеселая; любая безделица ее радует, например, чистый порог и то доставляет ей радость. С той поры как Вильма в доме, мастер с Имро боятся даже ступить на порог, а она топнет ногой по нему и все смеется, смеется, потому как уже наперед радуется, что снова надо будет его вытирать и если не сейчас, так вечером, чтобы и ночью было чистехонько — тогда в доме и сон лучше. В самом деле! С тех пор как Вильма тут, совсем по-другому спится у Гульданов.

Пока мастер взвешивал и выбирал слова, Киринович завел речь о кукурузе. Сказал, что в этом году велел засеять ее великое множество. Без малого в полтора раза больше, чем в прошлом или позапрошлом году.

Покончив с кукурузой, управитель заговорил о кормовой репе и картофеле, затем, повысив голос, что-то толковал о пшенице, а там дошла очередь и до табака и раннего гороха, на который уже зарятся батраки, потому как все они мерзавцы и жулики и готовы все растаскать и продать.— А дерутся,— говорил он,— бог мой, так дерутся, что иной раз того и гляди до смерти зашибут друг друга! Вот и недавно один налакался, а потом жену отдубасил, но той хоть поделом. А на другой день его лягнул жеребец. Ну я и ржал над ним.

— Над кем? Над жеребцом? — спросил мастер.

— Над тобой,— гоготнул Киринович.— Я бы их всех погнал на фронт.— Тут он подскочил к окну, прижался лицом к стеклу, но потом обнаружил, что окно лишь прикрыто.— Эй-эй! Эй-эй!— он толкнул оконницу и просунулся в комнату по самый пояс.— Выйди-ка! Выйди покажись! — Он завертел задом и в один миг был уже у дверей, загородив Вильме дорогу.— Хороша невестушка! — Он похвалил Вильму и ущипнул ее за щеку.

Мастер возмутился.— Ну-ну-ну! — заворчал он под нос, а когда и это не помогло, окликнул его уже громче: — Слышь, управляющий! А материал на сарай-то имеется?

— Фу-фу-фу! — засопел Киринович и загоготал: — Кабы не было, я бы тебя и не звал,— он повернулся к мастеру.— Хороша молодуха!

Смущенная Вильма предпочла бы вернуться в дом, да не осмелилась — получилось бы, что обиделась. Она вытащила из волос шпильку и, сунув ее в рот, поправила волосы. Попыталась улыбнуться.— Да и у вас в доме тоже молодуха,— обронила она сквозь сжатые губы.

— А ты чего мне выкаешь? — спросил управитель и снова стиснул ей локоть.

Вильма взвизгнула.

— Чего визжишь? — осклабился управитель. Потом, довольный собой — вот, мол, и чужим женам знаю цену,— весело тряхнул головой, но тут же всплеснул руками: — Бог мой, да я же тороплюсь!

— Ну торопись, торопись! — обрадовался мастер.— Тебя никто здесь не держит.

— Так, значит, уговор?

— В понедельник утром в имении,— заверил его мастер.

3

В понедельник утром, часов в семь (для более придирчивых можно было бы добавить еще и минуты) отправились мастер с Имрихом в имение.

Утро было свежее. Обремененная росяными каплями трава сверкала. Июньское солнце (допустим, это было все-таки в июне!) грело, отмеривая, если можно так выразиться, время. В действительности же (ладно, пускай будет действительность) вращалась земля — тогда она и вправду превосходно вращалась,— и солнечные часы, которые пьяный батрак, обожающий точность, нарисовал на песке, обозначив на них ржаными зернами римские цифры, правильно показывали время; показывали бы, вероятно, и поныне, если бы давно не заросли травой, хотя могли зарасти и хлебом,— да вот негодники-воробьи склевали на часах циферблат. И куда только подевалось это время?

Воздух был перенасыщен незримыми парами. От сосняка, в котором встречались дубы и там-сям белели березы, неслись густые запахи и птичий гомон. Иные птахи радостно и весело выпархивали из леса и долетали до самого имения, где и без того довольно было стрекотни и гомона, особенно у хлевов, вокруг которых шныряли ласточки. Прохладный смолистый запах мешался с запахом аммиака и свеженадоенного молока. Пахло пшеничным кофе. В навозе посреди имения копошились, токуя, утки. Под копытами лошадей и под колесами удалявшейся телеги скрипели камешки и шелестел песок. За телегой шагал опухший батрак с закровенелыми глазами, с кнутом в руке и переброшенной через плечо цепью; он в сердцах сплюнул, и следом гулко и протяжно, почти как из бочки, выкатилось из него: «Куда прешь, мать твою за ногу?!»

Прежде чем показаться управителю, мастер с Имро остановились у груды теса, припасенного для сарая. Недолго покумекав, сложили рядом плотницкий инструмент и пошли доложиться.

По пути они еще раз остановились, осмотрели кукурузосушилки: три — бегло, четвертую — повнимательней.— Вон ту,— мастер указал пальцем,— ставили мы с Якубом. Он еще учеником был.

Они обменялись короткими взглядами, будто намекая друг другу, что можно подступиться и ближе, можно и обойти сушильню и вблизи как следует разглядеть Якуба-ученика.

Так они и сделали. Зашагали к сушильне, на которую мастер только что указывал пальцем и которая от остальных отличалась еще и тем, что в ней хранилось немного кукурузы — три другие были пустые; но сейчас дело было не в кукурузе, они о ней и не думали, их занимал Якуб, тогдашний ученик, что вырос из ученических и подмастерских штанов и нынче, поскольку уехал из дому, живет и работает где-то вдали от Околичного, но они, отец и младший брат, видят Якуба тут, многие годы спустя с улыбкой всматриваются в него, ухмыляются и удовлетворенно хмыкают, как умеют Гульданы хмыкать и ухмыляться, глядя на свою, да и на чужую справную работу.

Якуб-ученик им понравился. Они замедлили шаг, почти остановились. Кругом рос густой и высокий бурьян. Несло полынным духом, но угадывались и посторонние запахи; местами иной шибал в нос до того сильно, что было прямо-таки подозрительно. Тогда оба внимательно глядели под ноги, чтобы случайно не вляпаться во что-нибудь непотребное.

В бурьяне вдоль и поперек были протоптаны стежки; большинство из них вело в затененное пространство под сушильней. В конце одной такой стежки, в туннельчике, будто на конечной остановке, замаскированной молодыми, но уже довольно жирными лопухами, сидел на корточках пятилетний мальчонка с голубыми глазками и облезлым носом. Доминко. Он справлял утреннюю нужду и слегка рассердился, что его потревожили. Он силился перемочь себя, сменить гнев на улыбку, и это отчасти ему удалось, но мастер с Имро прошли мимо, почти не обратив на него внимания. Тогда Доминко

разозлился еще больше; он поднял голову, и его оскорбленный взгляд говорил: все равно знаю, вы меня видели.

Управляющего дома не было. Встретила их Штефка. Завидев их, она тотчас вскочила из-за стола, будто собралась бежать куда-то, спрятаться.— Вы уже пришли? — Впопыхах не знала, в какую сторону и податься. И оттого продолжала стоять, раскрасневшись пуще обычного и глядя на них большими черными глазами, в которых прыгала и посверкивала сперва испуганная или чуть стыдливая, а позже и плутовская улыбка.— Здравствуйте!

На ней была легкая летняя блузка и сборчатая юбка, она рассеянно и в то же время чуть озорно дергала ее за подол, словно пытаясь стащить с себя и отбросить.— Вот как я вырядилась! Ношу, чтоб доносить,— пояснила она, и глаза у нее запрыгали еще веселей; мастер с Имро не могли не только сердиться на нее, но даже и упрекнуть в небережливости, хотя, пожалуй, это было б уместно: юбке было далеко до износу, особенно по нынешним военным временам, когда во многих семьях не хватало даже на хлеб, не то что на наряды. Не одна женщина в Церовой могла бы еще пощеголять в такой юбке. Да и Штефка в прошлом году в ней щеголяла. Ведь в Церовую довольно туго, медленно просачивалась мода. Церовчане носили национальный костюм, до недавнего времени носила его и Штефка, но Киринович усмотрел в нем некоторую отсталость и потребовал, чтобы его жена одевалась по-городскому,— поэтому мы с полным правом могли бы сказать, что Штефкина стыдливость была вызвана и его взглядами.

— Уж вы только не осуждайте меня! — хихикала она.

— Зачем же! — мастер улыбнулся и лихо, по-молодецки, тряхнул головой.— Да кто ж тебя, голубушка, осуждать станет? На тебя смотреть — одно удовольствие. Похорошела-то как. Замужество тебе пошло на пользу.

Штефка была польщена, оттого мастер и дальше стал рассыпаться в любезностях и даже божиться:— Право слово, похорошела! Ей-богу! Сразу видать. Ну-ка, Имришко, подтверди!

Имро был согласен с отцом, но второпях не нашел подходящего слова, поэтому ограничился улыбкой и сказал:— Хм-хм!— прозвучало это как обычное хмыканье, но Имро заменил им по меньшей мере шесть, а то и семь слов. Мастер со Штефкой так это и восприняли, сделав вид, что все семь, а может и восемь, Имровых слов поняли. Минуту, другую побалагурили, затем мастер спросил об управляющем: — А Йожко? Йожко где?

— Ушел.

— Ушел? — мастер удивился.— А куда? Отчего нас не дождался?— Дважды хмыкнув, он стал сердиться, поминая управляющего отборными и неотборными словечками, к которым, кстати, Штефка отнеслась не очень серьезно; она не испугалась даже тогда, когда мастер, угрожающе подняв кулак, закричал:— Ну погоди! Погоди, паршивец ты эдакий! — И под конец заключил:— Начхать на него! Если не захотел подождать нас, пускай катится со своим сараем подальше! Пошли, Имришко!

Они двинулись. И Штефка двинулась. Но у дверей мастер остановился.— Погоди, погоди! — он вдруг сменил тон.— Думаешь, я так просто уйду? На сухое горло из дому, на сухое — домой? Не-ет, девонька моя. Так дело не пойдет! Зачем я тащился сюда? Какой дьявол меня сюда нес? На работу мне наплевать, на кой ляд мне его сарай сдался! Но, не промочив горла, отсюда не двинусь. Ни шагу, доченька, не сделаю!

— А, вот оно что!— смеялась Штефка.— Выпить, выходит, приспичило! Выпивка вам важней, чем работа! — И она побежала в сосед-

нюю комнату, в контору управителя, оставив приоткрытыми двери. Имро следил за ней. Возвращаясь, она невольно заметила это, перехватила его взгляд и вновь улыбнулась; улыбнулась, казалось, обоим, но Имро досталось от улыбки гораздо больше, чем мастеру.

Штефка принесла бутылку и рюмки. Налила. Мастер обратил внимание, что рюмок только две. Поинтересовался, где третья.

— Мне нельзя,— сказала она,— но если хотите, выпейте за мое здоровье.

Оно так и вышло. Мастер взял со стола рюмку, подмигнул Штефке и сказал: — Я уже однажды пил за твое здоровье!

— Знаю,— улыбнулась она. Взгляд ее ненароком скакнул на Имро, и Имро заметил, что она почему-то очень покраснела.

Все трое думали о колокольне церовского храма.

Мастер поставил на стол рюмку.— Так, Имро, а теперь пошли! Сработаем сарай-сараишко на славу. В воскресенье, глядишь, и удастся в нем попаясничать.

После двух часов усердной работы, когда солнце уже изрядно припекало, мастер слегка распрямился, поразмялся, потом скинул пиджак и положил его на землю рядом с плотницким инструментом. Взгляд его устремился к дверям квартиры управляющего. Он поскреб, потер потную шею, заросшую редкими серебристыми волосами, и, повернувшись к Имро, сказал:— Эта пташка могла бы чего и поднести нам.

Имро прекратил работу; вколол топор в дерево, не спеша разогнулся, отер вспотевшее лицо и тыльной стороной руки осушил губы. Вскоре и его взгляд остановился на двери управляющего.

Кругом спускалась предполуденная тишина. Утки подремывали на солнышке, и лишь порой какой-нибудь селезень в полном изнеможении токовал. Ласточки сновали почти что бесшумно. Зато расчирикавшиеся воробьи без устали тянули свой концерт. Одни злобно, другие весело брали с бою амбар. На акации сорокопут-дождевик незадачливо подражал соловью. Пернатые, насытившись мухами, личинками и всякими козявками и букашками, слетались с набитыми зобиками в гнезда. Раздумчивый самец кликал свою возлюбленную. Усталая и озабоченная птаха-мать несла в сухом клюве муху. Молоденькие чижата возвращались из учебного полета с веселой песенкой: дидл-дидл-дидддля.

Мастер с сыном вновь взялись за работу. Дерево пахло смолой. Когда они перекатывали ствол, смола налипала на пальцы. Из конюшен несся запах мягкой перегретой влаги, он ударял в нос и разжигал аппетит.

Наконец показалась Штефка. Она не сразу подошла к ним, а сперва направилась к хибарам батраков. Прошла вдоль облупившейся стены, с которой сыпалась штукатурка, задержалась у одного из зарешеченных окон и с кем-то перекинулась словом.

Повернулась. Двинулась к плотникам. Сделав несколько шагов, вдруг остановилась, испугавшись чего-то: позже она объяснила мастеру, что прямо у ее ног что-то закопошилось.— Может, ящерица или уж. Точно не знаю, от страху глаза застлало. В этих местах разросся дурман, в нем-то и зашевелилось что-то, зашуршало. Думаю, уж был, ужа я тут и летось видала.

Мастер взял у нее корзинку с провизией. Сел на балку, корзинку поставил рядом.— Может быть,— сказал он.— Такое пекло всякую нечисть из земли повыманит! Садись, Имришко! Перекуси малость.— Он вытащил из кармана нож, достал из корзины хлеб и отрезал от

него кусок; отхвати он посмелее, это был бы целый ломоть. Он протянул полбуханки Имро и затем отрезал добротно просоленного и прокопченного сала.— Из любых дыр и щелочек повылазят разные букашки...— продолжал он.— А за этими букашками потянутся ящерицы либо змеи.

— Меня даже всю затрясло,— сказала Штефка. Она достала из корзинки бутылку и две рюмки и тут же наполнила их. Отступив на два шага, она уселась так, чтобы хорошо видеть обоих.

Мастер тем временем торопливо прожевывал хлеб, чтобы чокнуться с Имро.

— Запаримся в такую жару,— заметил Имро и поглядел на отца, потом на Штефку, но Штефкин взгляд упал на землю, и с ее лица вмиг исчезла улыбка, будто размазалась по земле.

Выпили, потом мастер опять взялся за хлеб.— И мне змеи не по нутру,— продолжал размышлять он.— Змей самая что ни на есть гнусная тварь. Всякий раз диву даюсь: как только мог господь бог такую мразь сотворить? Ему мышь либо лягушку сглотнуть — плевое дело. Особенно обожает болотную лягушку, скакуху. Знаете, такую зеленькую — глаза навыкате, а под горлом зобик? Когда кругом тихо, в зобике потрескивает. А у змея, подлой твари, слух что надо. Потихонечку подползает к какому-нибудь неприметному местечку, к ручейку какому или болотцу, прогретому солнышком, да и заманивает лягушку своими магнитными глазами. Зобик враз опадает. Зеленькой квакушки как не было. А в остальном уж — безвредное животное.

Имро улыбнулся. Штефка сказала:— Брр! Даже слушать противно.

— Да, польза или вред — это как смотреть,— продолжал мастер.— О воробье, к примеру, говорят, птица вредная, но я-то еще ни разу воробья не испугался, даже не осерчал на него. За что на воробья мне серчать? За то, что украдет несколько зернышек или крошек? Иному скупердяю хозяину либо, скажем, учителю, что любит синицу или канарейку, воробей, конечно, не по нутру, хотя воробей и учитель — господа одинаковые. Разве не известно, о чем такой учителишка чирикает? Все только хвалит-нахваливает змея, а потом направляй священник по катехизису его болтовню на праведный путь... Квакуша полезнее, но и на нее смотрят по-разному. И она ловит мух и всяких букашек, а то и маленьких мошек-поденок. хотя лично я за подобным делом ее ни разу не видел. А муха мне до ужаса противна. Змей сожрет и муху, и поденку, а лягушку — с особенным удовольствием. Н-да! Польза не польза, а как увижу змея, иной раз чуть от злости не лопаюсь, а малому дитяти с перепугу и захворать недолго. Какой прок от такой полезной твари?! Имришко, налей-ка еще!

Они поели, малость выпили и опять взялись за работу.

После обеда заявился управитель. Прикатил домой на дрезине. Поздоровался с плотниками; похлопал по плечу одного, другого, потом сказал, что ему ужасно некогда и что они должны отнестись к сараю со всем вниманием. Затем влетел в комнату, проглотил шесть пирожков, четыре сунул в карман, обнял жену, обронив ей что-то про уборку и кукурузу, и уже снова бежал, снова уносился прочь.

— Резвый малый! — заметил мастер.

А около трех притопал Доминко. Съел при них сметанную лепешку, потом недолго подремал на Гульдановом рюкзаке, а когда дрема прошла, украл четыре гвоздя и незаметно улизнул.

Через несколько минут, что могли бы составить, пожалуй, и четверть часа, подошла к ним Штефка.

Выпрямившись, мастер левой рукой оперся на топорище, правой пощупал пропотевшую рубаху.— Имри-и-шко! — затянул он шутливым тоном.— Контроль явился!

Имро заметил ее, но продолжал работать. Казалось даже, работает еще углубленней.

— До чего хорошо пахнет! — Штефка говорила о дереве.— Люблю такой запах. Ужасно люблю хвою.

Мастер хотел что-то заметить по этому поводу, но потом, верно сочтя это лишним, спросил об управителе:— А Йожко? Куда он так торопился?

Штефка поморщилась, надула губы и слегка подернула плечами.— Он вечно торопится,— сказала она.

Мастер удовлетворился ответом. И опять взялся за работу.

— Люблю такой запах. Ужасно люблю смолу. Еще больше, чем ель. Иногда утром тут замечательно пахнет. Вон из того леса тянет,— она указала на лес.— Там сосны. Кажется, там одни сосны. Было б именье поближе к лесу!

Имро наградил ее коротким взглядом, но от работы не оторвался.

— А вообще как дела? Как жизнь? — спросил мастер.— В Церовую ходишь? Ваши-то к Йожко уж привыкли?

Штефка пытливо оглядела мастера.— Ну и любопытный вы! — сказала она с улыбкой.— Подчас они с отцом ссорятся. Да вам, должно быть, Йожко жаловался.

— Нет, что ты. А почему ссорятся-то?

— Так просто. Обмениваются мнениями. Да и другие обмениваются. И тут, в имении. Знаете, как бывает у нас весело? Иной раз кто из батраков и подерется. Вот бы вы слышали!

— А по деревне скучаешь? — спросил мастер.

— Бывает. Особенно вечерами. Без подружек скучно. Но если захочется, могу туда сбегать. Иной раз и днем заскочу. Запру квартиру, и в два счета там.

А собравшись уходить, Штефка спросила у мастера:— Можно я наберу немного щепок?

— Отчего же нет? — улыбнулся мастер.— Хочешь, бери хоть целое бревно.

— На что оно мне?— И, обрадовавшись, нагнулась.— По крайней мере, ужин быстрей разогрею.— Она подняла охапку щепок, но потом положила их снова на землю и сказала:— Холстину принесу.

Она воротилась с холстиной, и мастер с Имро помогли ей наполнить ее.

— Донесешь? — спросил Имро.

— Такую-то малость не донесу?! — Она завязала поклажу, и мастер взвалил ей ее на спину, но какой-то щепкой при этом зацепил подол Штефкиной юбки.

Штефка весело двинулась, и перед ними забелел ее задик.

— Ах, леший тебя унеси! — щелкнул мастер пальцами.— На это я, кажись, не рассчитывал.

Имро засмеялся. Но потом, по дороге домой, сам не зная почему, досадовал на отца.

4

Следующий день был в общем-то похож на предыдущий. Управляющий опять был в бегах. Штефка дома стряпала, поминутно отворяя и затворяя двери и окна, в кухне была духота, а на дворе невыносимое пекло.

Мастер и Имро обливались потом. Доминко пришел их проведать, привел подружку и четырех дружков; один пробовал пилу, другой точил топорик... этакие сорванцы, никак их не прогонишь!

На счастье, батраки, свозившие клевер, приехали с возом.

— Эй, ребятня, давай-ка утаптывать,— раздалось из амбара.

Детям не хотелось утаптывать. Конопатый мальчонка с коростой на носу осклабился.— Пускай сами утаптывают!

— Вы что, не слышите, негодники? — снова донеслось из сарая, на этот раз построже.

Дети разбежались.

Доминко бросился следом, хотя приказ меньше всего относился к нему — он был самым маленьким. Вдруг он споткнулся, а может, просто поскользнулся? Плюхнулся на землю — ой, да если бы только на землю! Скатился в вонючую навозную жижу. Чуть не утонул бедняга! Он бился там, махал руками и рвущими душу криками переполошил все имение.

Из-под сушильни высунулось несколько голов, из конюшни вышло двое иуд, они колотили друг друга кисетами; перед сараем выросло четверо гладиаторов с вилами; из амбара показался с посохом в руке обросший Моисей; из маленькой кузни сторожко выполз рыжий скорпион, опоясанный кожаным фартуком, в руке он держал жгучее жало. К нему подбежали три перемаранные Марии и, кощунственно кланяясь, загоняли его обратно в ковальню.

Рябой петух жалостливо закукарекал.

Имро тем временем подскочил к навозне и вытащил Доминко. Вскоре прибежала Доминкова мать и влепила ему затрещину.

— Паршивец эдакий, только тут тебя не хватало!

Она повела его к дому, поминутно тузила и хлопала по щекам.

Доминков отец храпел в зарослях дурмана, но тут мигом проснулся. Протер глаза и, заметив сынишку, спросил горестно:

— За что ты его так?

— Заткни пасть, поганый бездельник! — взорвалась мать Доминко.— Налакался, боров! Ты вот где у меня сидишь!

Доминков отец удивленно мотал головой.— Что с ней стряслось?— спросил он, но ответить некому было.

Петух вновь закукарекал.

Откуда ни возьмись появился вдруг дотемна загорелый паренек, на голове — серая потрепанная шляпенка, во рту — соломинка. Он улыбнулся черными ехидными глазами и заговорил на непонятном языке:— Бултых булдыга! — Губы его щелкнули, как клепец, соломинка выпала.

Доминков отец нахмурился.— Кто тебя разберет!

Паренек продолжал улыбаться.— Бултых булдыга! Ну и налакался!

— Подыми соломинку да отчаливай!

Паренек поднял соломинку, хотел было сунуть ее в рот, но тут заметил конопатого мальчонку.— Поди сюда! — окликнул он его.— Ты тоже там был! Вы учились плавать в навозной жиже.

Мальчик показал ему язык и улепетнул.

И тогда петух запел в третий раз.

Ровно в двенадцать ударил самый большой колокол на новом, пока еще не освященном церковском храме. Мастер сделал движение, словно хотел снять шапку, но он снял ее еще утром — день был жаркий — и поэтому сейчас лишь огладил седую вспотевшую голову и не спеша перекрестился.

— Обед! — прозвучал Штефкин высокий голосок.— Милости просим обедать!

На обед была густая капустная похлебка, копченая грудинка с молодой картошкой и зеленый салат. За едой, да и после еды кое-что выпили, и на мастера навалилась усталость, у него стали слипаться глаза, и, не подымись он вовремя, кто знает, возможно, за столом и задремал бы.

— Что-то меня нынче сморило,— сказал он слабым голосом.— Верно, не надо так объедаться. Если хочешь, Имришко, посиди тут еще малость, а я пойду немного вздремну. Приходи к сушильням. Я полежу там. Эдак через полчасика можешь меня разбудить.

Имро сделал вид, будто и ему недосуг, будто он тоже собирается, но на деле рад был, что останется со Штефкой вдвоем. Он не подстерегал этой минуты, но коль уж так получилось, был очень доволен.

Как только мастер ушел, Штефка поднялась, принесла на стол лоханку с горячей водой, подлила туда холодной из белого эмалированного ведра и, поставив его на низкую деревянную скамеечку у двери, стала мыть посуду.

Имро это слегка покоробило. Он был задет, обижен, может, даже рассердился на Штефку. Разве не могла она ничего лучшего придумать? Что это ей вдруг так приспичило? Неужто именно сейчас надо возиться с кастрюлями и тарелками? Нельзя ему хоть минутку спокойно потолковать с ней?

Штефка поймала взгляд Имро и улыбнулась:— Не гляди на меня так, не то покраснею.

— Ты и так покраснела.

— Я всегда краснею. А если кто на меня долго глядит, я ужасно краснею.

— А ты и сейчас очень покраснела.

— Покраснела, но только немножко. Если бы ты на меня смотрел дольше... Нет, лучше не смотри!

Имро отвернулся и подумал: Штефка притворяется более робкой, чем есть на самом деле. Интересней хочет казаться, что ли? А может, из осторожности? Боится, что, если не будет достаточно осторожной, Имро позволит себе лишнее? Какие глупости! Ему такое и в голову не приходит. Штефка просто ломается. Да ведь порой это дорого обходится. Женщине нечего уж так выставлять свою робость — иного мужчину это может сбить с толку, он решит, что его подзадоривают, и захочет испытать эту робость.

В комнате сновала пчела. Возможно, влетела сюда через двери, когда уходил мастер, а теперь ужасно раздражала и докучала; пчела поминутно осаждала окно — оно было раскрыто, но затянуто сеткой от мух.

— Что ж ты молчишь? — спросила Штефка.

— А что говорить? Жара несусветная. Пойду-ка и я в холодке прилягу,— ответил Имро, но продолжал сидеть.

Штефка сказала:— Успеешь, времени хватит.

— А хочешь, помогу тебе,— сказал Имро и пододвинул тарелку, к которой она тянулась.

Вместо улыбки Штефка скорчила рожицу, она часто так делала, порой без причины, но обыкновенно тогда, когда хотела дать понять, что ни в какие разговоры пускаться не намерена; она сморщила нос и надула губы.

— Да тут всего ничего,— заговорила она чуть погодя, и лицо ее снова похорошело.— С тремя-то тарелками и ложками я и сама управлюсь.

Пчела все докучала им. Жужжанье ее звучало еще более зловеще.

Штефка подошла к окну, встала на цыпочки, откинула крючок, прикреплявший сетку к оконной раме, оттянула сетку и посторонилась, чтобы пчела могла вылететь.

Тут поднялся и Имро; он заметался взад-вперед и, размахивая руками, пытался выгнать пчелу.

Штефка рассмеялась.— Ну ее, она и сама вылетит! — Имро чуть смутился. Подошел к Штефке, а когда пчела вылетела, сказал: — Теперь можно закрыть! — и погладил ее локоть.

Штефка сделала вид, будто ничего не заметила. Она подступила к окну и, прижав сетку к оконной раме, укрепила ее стальным крючком.

Имро стоял рядом, ему показалось, что он мог бы и смелее ее погладить. Он опять невзначай протянул руку, положил ей на плечо, а другой обнял за талию.

Штефка удивленно оглянулась.— Ты что?! — Она вырывалась, но Имро не отставал от нее.— Ну тебя! Уходи! — Она отталкивала его, но Имро не сдавался, решив, что он просто не должен, не может ей уступить, и оттого делался все более напористым.

Кончилось все неловко. Штефка высвободилась, и видно было, что она сердится. Имро хотел хоть задним числом все обратить в шутку, но было поздно. Штефка разговаривала с ним сдержанно и гнала прочь. В конце концов и он понял, что пора уходить, но прежде чем уйти, наболтал Штефке всякого вздору, пытаясь хоть словами, коли не мог иначе, порядком обидеть ее.

Разумеется, потом его это мучило, но он силился сам себя убедить, что ничего не случилось. Работал рассеянно и неспокойно. Упрекал себя, что был недостаточно осторожен и дальновиден, не почувствовал даже, что может позволить себе, а что нет. Досадовал, что Штефка осталась к нему равнодушной, а ко всему еще и обиделась. Н-да, надо бы с ней как-нибудь поквитаться! А вот как? Того и гляди еще больше осрамишься!

В прошлом году — мы-то уж знаем, мы-то помним,— в прошлом году сама, можно сказать, на шею ему вешалась! Правда, в прошлом году она была еще в девках, стало быть, прошлый год не в счет, но при надобности Имро и на прошлый год может сослаться и хоть отчасти себя оправдать.

Нет, это не дело! А ну как Штефка подумает, что он уже с прошлого года по ней сохнет?

Еще чего! Этого только не хватало! Конечно, она ему нравилась, но чтоб он испытывал к ней более серьезное и прочное чувство — боже избавь! Он просто подумал так: выходило же в прошлом году, почему бы и нынче не попытаться? Да вот не вышло. Просчитался. И поделом!

5

Дома, при Вильме, он о Штефке забыл, но на другой день, проснувшись, вспомнил, что нужно идти в имение, и у него опять испортилось настроение. Завтракать — аппетита не было. А Вильма не хотела без завтрака его отпускать — ради нее он перекусил, но при этом очень досадовал, что даже в таких мелочах приходится ей уступать. Поел мало и потому, дойдя до имения, проголодался, и настроение у него еще больше испортилось, хотя он и не мог признаться себе, что это из-за еды. Вовсе нет! Его не покидало предчувствие чего-то тягостного.

Киринович, который вчера и позавчера об эту пору был весь в трудах, сегодня слонялся по дому, и оттого Имро еще больше встрево-

жился. Не странно ли это? Уж не проболталась ли Штефка? Не нажаловалась ли мужу?

К счастью, Киринович не заставил себя долго ждать. Пришел поздороваться: оказалось, опасения Имро были напрасны.

— Ну что, мастера? — скалил он свои зубищи.— Поздно встаете, поздно молодуха вас будит. Не пойму, как можно так долго спать. Что нового? Как жизнь?

— По-всякому,— отвечал мастер, потом обратился к сыну: — Имришко, скажи, мы когда встали?

— А я почем знаю? В пять? Не то раньше?

— В пять? — загоготал управляющий.— Боже мой, и не стыдно такое говорить! Я-то сегодня уже успел всю деревню обегать.

Мастер на это: — Так тебе и надо. Думаешь, мне охота по деревне мотаться? Нет, я не такой полоумный. Что ж, бегай, коли ноги скорые.

Управитель надулся, но минуту спустя — опять смешинка в глазах.— Да разве в ногах дело? Сперва надо встать, а потом можно и бегать.

— Не мельтеши тут! — замахнулся на него мастер.— Прямо под руку лезешь. Знаю, что ты не сидел. Сиднем сидел, хило бы бегал. Может, разбежаться и то не сумел бы.

Управитель, поняв, что мастер над ним издевается, схватил его за грудки.— А ну пошли! Пошли! Увидишь, кто быстрей бегает.

— Отвяжись! — мастер вырвался, пригрозил управляющему топором.— Дурья башка, хочешь, чтобы я промахнулся! Враз коленку тебе подшибу!

Управитель внезапно сделался серьезным. — Послушайте! А что скажете о тех двух мужиках?

— Каких двух? — спросил Имрих.

— Да о тех солдатах.

— Каких солдатах? — заинтересовался и мастер.

— Да вы разве их не видали? — удивился Киринович, но тут же вспомнил: — Ах, да, вы же ушли, не могли их видеть. Вчера вы только ушли, пожаловали двое. Солдаты.

— Солдаты? А что им понадобилось?

— Дезертиры.

— Неужто?! Дезертиры?! Ты что, говорил с ними? Откуда тебе известно, что дезертиры?

— Бежали они. Я говорил с ними. Бежали из трнавского гарнизона.

— Ну, ну! И что ж они хотели? Должно быть, поесть?

— Ага. Жена дала им. Это я велел им чего-нибудь завернуть.

— Ну!

— И представьте себе! — говорил Киринович.— Только они ушли, тут сразу же обыск.

— Не говори! Обыск! Значит, шли по следу!

— По следу. Прямо по пятам шли. Я и с теми толковал.

— Ну и что? — поинтересовался мастер.— Те-то двое небось на фронт должны были идти?

— На фронт. Наверно, должны были на фронт идти.

— Ну, ну.

— Изловят их,— предсказал Имро.

Киринович покачал головой: — А мне сдается, что их вовсе ловить и не собираются. Да, люди добрые, и это называется армия! Клянусь богом, сроду такую армию не видал! Что там не говори, насильно нельзя воевать!

— Только насильно и можно,— возразил мастер.— Война, она и есть насилие. И когда отбиваешься, и когда наступаешь... Ты ведь был

солдатом, знаешь, что солдату и на плац вылезать неохота. Его туда гнать приходится. Кто ж добровольно пойдет воевать? Я? Да я был бы последним идиотом. Ты? Я бы первый наплевал на тебя!

— А все же такой армии я и впрямь не видал,— продолжал Киринович.— Свет не слыхивал о такой жалкой и непослушной армии. Каждый не ведает, что творит. Поминутно кто-нибудь да драпает, бежит в горы либо домой. Все время кто-то бежит. Все бегут. И удивляться нечего, чему тут удивляться? Пускай бегут, пускай себе бегут. Ей-богу, и я бы удрал. Вот увидите, где по двое, где по трое — все разбегутся, и армии крышка. Прячутся всюду, и тут и там, кто по домам, кто в горах, а на фронте перебегают к противнику. Просто смешно, люди добрые! А потом в правительстве кто-то вдруг схватится за голову: где наши ребята, где наша армия? И какой-нибудь генерал, а может сам министр, не будет знать, что и ответить. А то и сам драпанет в горы либо загогочет всем прямо в лицо. Да, кстати, что вы делаете в воскресенье? — спросил он вдруг.

— В воскресенье? Дома сидим. Ведь праздник. В воскресенье мы не работаем. А что, хочешь магарыч поставить?

— Не бойся, за магарычом дело не станет! Не провозитесь же вы с сараем до воскресенья? Сарай должен быть готов раньше, и магарыч поставим раньше, на воскресенье я кое-что другое наметил.

— Ишь ты! Что же именно?

— Дебаты.

— Гм-м! — мастер тягуче захмыкал.— Дебаты? А о чем же ты хочешь дебаты вести? Не знал я, что ты так охоч до дебатов.

— А разве поговорить не о чем? Вы разве не знаете, что творится?

— А что творится?

— Слушай, Гульдан, ты хоть не строй из себя дурака! Оба не стройте из себя дураков! Им и у нас уже достается, крепко достается!

— Кому? Мне еще ничего не досталось.

— Ну и дают им, ох и дают!

— А что, что дают? Кому?

— Немцам! — взревел Киринович.— Гульдан, да ты несусветный болван! Честное слово, несусветный болван!

— А что? Я ничего не знаю. Ей-ей, ничего!

— Не перебивай, тата! — Имро осадил отца.— Лучше помалкивай!

— Ох и достается им! — скалил зубы Киринович.— От нас тоже! Черт побери! Ну и дела, ну и дела! Такие дела творятся!

— И я слыхал,— вмешался Имро,— свояк у меня в жандармах. Служит в главном управлении. Он и раньше говорил, что на востоке и в Центральной Словакии беспорядки.

— И это называется беспорядки? — надулся Киринович.— Люди добрые, это же война!

— Какая еще война? — мастер поморщился.— Ну да, война, известное дело!

— Только это настоящая война,— не сдавался Киринович.— И северяне осмелели! Клянусь богом, и на востоке, и на севере люди осмелели! Знаете, надо бы и нам что-нибудь делать!

Мастер в ответ: — А что тут можно делать? Ну что? Плохо тебе, что у нас мало немцев? Взгляни-ка на карту, только взгляни! Ты думаешь, я полезу в драку? Чтоб мне пинка дали? Лучше буду помалкивать. Не то и опомниться не успеем, рта открыть не успеем, как они навалятся на нас.

— И до каких пор ты молчать собираешься?

— До каких?! Иные знают, до каких. Или ты решил, что дело только во мне или в тебе?

— Ты их вроде бы возлюбил!

— Я о тебе могу так же сказать! Только не в нас двоих дело, это тебе не какая-нибудь афера, за которой маячит шинок или табачная лавка.

— Послушай, зачем ты мне все это говоришь? — Киринович пытливо уставился на мастера.— Уж не думаешь ли, что...

— Я ничего не думаю,— мастер покачал головой,— вон, — он показал на оструганные балки,— о твоем сарае радею.

— О моем сарае? О нем радеть нечего. Его уже давно надо было закончить.

— Закончим. Видишь, перевязку начали. Готовь магарыч.

— Гульдан, а теперь шутки в сторону! Приходите в воскресенье после обеда в имение! Надо потолковать!

Мастер с минуту раздумывал, потом сказал, что не придет, а Имро обещал.

6

В воскресенье пополудни в имение сошлось много народу. Собрание должно было быть тайным и происходить в канцелярии управляющего, но вышло иначе — народу собралось больше, чем полагали сначала. В канцелярии все бы не уместились.

На своих людей Киринович не рассчитывал. Ему и в голову не приходило, что на собрание явятся батраки. Из них он выбрал одного кузнеца Онофрея, а потом приглянулся ему еще и Ранинец. Ранинца он считал человеком надежным, степенным; в работе был совестлив, никогда не воровал, если в чем когда и нуждался, всегда договаривался с управителем и так, по-хорошему, достигал своего. И еще было у него одно ценное качество: умел держать язык за зубами, даже когда напивался. Онофрей — дело другое. Толковый мастеровой был, но больше, чем умелость, Киринович ценил в нем злость и вспыльчивость, так и бьющую из глаз. Киринович ладил с Онофреем, но желчных глаз его всегда побаивался. Понимал, что кузнец — бузотер, не ведающий в гневе границ. Время лихое, ненадежное, кто знает, что сулит завтрашний день? Киринович полагал разумным и выгодным привлечь такого буяна на свою сторону — не то Онофрей мог бы оказаться и против него. Правда, на самом деле кузнец не был таким уж неистовым и опасным, каким казался. Бывало, рассвирепеет из-за сущей безделицы, но укротить его не стоит труда. Достаточно улыбнуться, ласковое слово сказать, и опять полный порядок. А батраки вообще его не боялись. Зато знали, что управляющий его опасается, и были этим очень довольны.

Киринович собирался было позвать и Габчо, отца Доминко, но вскоре мысль эту выкинул из головы. Решил: Габчо такой же негодяй, как и Онофрей, а уж двоих негодяев сводить вместе не годится — глядишь, еще и сойдутся на какой-нибудь подлости и натворят ужасных неприятностей управителю. Где Вельзевул, к чему туда тащить еще и Люцифера? Останется Габчо в стороне — будет надежное равновесие. А вздумай он бузотерить, так именно Онофрей и найдет на него управу.

Но получилось не так, как замышлял Киринович. Он полагался прежде всего на людей пришлых, считал, что все они будут по крайней мере на должном уровне, понимая, что такое конспирация, но, к сожалению, он ошибся.

Раньше всех заявился Штефкин отец, которого никто не звал. Это

было первое разочарование, весьма неприятная и досадная неожиданность.

— Что тут затевается? — допытывался тесть, и по нему было видно, что он недоволен и как бы даже сердится, что ему пришлось сюда заявиться.— Слыхал я, тут должно быть какое-то собрание, и ты его организуешь.

— Какое собрание?! — Кириновичу хотелось тестя поскорее спровадить — он опасался, что нагрянут приглашенные и услышат разговор, который может уронить его в их глазах.— Я просто позвал кой-кого из друзей. Воскресный день, хочется поболтать, сыграть в марьяж.

— Так ты их ради марьяжа позвал! Уборка в разгаре, а у тебя есть время для марьяжа и болтовни!

— Ха! Уборка в разгаре! — надулся Киринович.— Она и у меня в разгаре. Вчера начали косить яровой ячмень, а на будущей неделе примемся за рожь.

— Послушайте! Да не ругайтесь же вы! — вмешалась в разговор Штефка.— Хоть в воскресенье, пожалуйста, не ругайтесь. Я собралась в Церовую, а вы тут ругаетесь. Коли ругаться сюда пришли, тата, так лучше уходите!

Конечно, Штефка придумала все это сейчас: она и сама поняла, что отец пришел не ко времени. Она вовсе не собиралась в Церовую. Знала, что в имение приедут гости, Йожо ее заранее об этом предупредил. Даже объяснил, зачем приедут и почему, но для нее это было не так уж и важно. Главное — приедут люди и дом их хоть капельку оживет! Она обрадовалась и приходу отца — он давно не был тут, и Штефка поначалу надеялась, что он решил помириться с Йожо и что посторонние этому будут только содействовать. Но сейчас она поняла, что это пустая затея, и потому старалась отца поскорее выпроводить.

Йожо догадался о ее добром умысле и был ей благодарен, но в голосе его особой благодарности не чувствовалось.— Хочешь, иди! — огрызнулся он.— Тебя никто тут не держит!

— Я с татой пойду. Подожду его.

— Кто сюда приедет? — настаивал отец.— Что за сборище затеяли?

— Приедет доктор Салус,— сказал Киринович.

— Какой такой Салус? Что еще за Салус? Почему ему в городе не сидится? Что это за доктор, если ему охота переться в такую даль ради марьяжа? Неужто в городе приятелей не стало? Ну, о чем этот Салус может толковать с крестьянином, или батраком, или, скажем, с таким управителем, как ты?

— Что еще за оскорбления!

— Тата, ты опять за свое? — налетела на отца и Штефка.— Только ругаться сюда приходишь.

— Я хотел бы знать, кто такой Салус,— повторял отец.— Хотел бы знать, что у него на уме. Да и с остальными я не прочь познакомиться.

Киринович раздраженно тряс головой.— Но почему я обязан тебе об этом докладывать? Кого хочу, того и зову. У меня свои дела, у тебя — свои, мы не обязаны друг с другом откровенничать.

— Ты уже запамятовал, как стал управителем,— Штефкин отец вновь за свое.— Когда-то именье принадлежало еврею, и ты еще год назад ненавидел евреев. Ты их честил, я защищал. Тогда я думал, что ты просто дурак, а нынче вижу, что нет. Вспомни, как год назад ты ругал евреев.

— Ну что тебе от меня нужно? Почему ты приплел и это сюда? Может, злишься, что я их уже не ругаю?

— Какое там злюсь! Просто знать хочу, насколько ты изменился. Хочу знать, что ты за человек!

— Почему ты меня всегда в чем-то подозреваешь? Клянусь честью, это меня начинает бесить! Почему я должен терпеть! Что я, маленький? У меня свои понятия, их я и держусь.

Штефкин отец перебил его: — Но у тебя и моя дочь. А у нее мои понятия и мой нрав. И если она забывает напомнить тебе, что для меня важно, приходится самому это делать. Я не против собраний. Только уж, ежели надо с кем-нибудь встретиться, я хочу знать, кто он такой, о чем с ним буду толковать и сможем ли мы договориться друг с другом. Я люблю договариваться. Я с каждым бы охотно договорился. Со всеми людьми жил бы в полном ладу. И поучиться готов. Хоть я и твердолобый, а поучиться готов. И вот когда землю пашу, всегда гляжу под ноги да вперед, слежу за тем, чтобы плуг не подскакивал или чтоб я случайно картошку не выпахал, что я незадолго до того посадил. Но тебе этого не понять. Потому не понять, что ты никогда не был ни батраком, ни землеробом, а вышел только на свою должностишку и доволен: доволен ею, когда бегаешь по полям, доволен и собой, если видишь, что земля щедра к тебе. Ты убежден, что понимаешь землю, хотя она тебе никогда ничего не сказала, потому как и ты ей никогда ничего не сказал. Глухонемой может думать, что и остальные глухонемые, что весь мир глухонемой. Тебя волнуют только гектары, выручка, цифры. Ты все умеешь перевести в цифры и нанести на бумагу, да ты и сам только цифра, которой клочок бумаги помог раздобыть местечко, сделал из тебя управителя. Знал бы ты плуг от рождения, пришел бы от плуга к бумагам, ты иначе смотрел бы на эту бумагу, у тебя перед глазами была бы земля, и цифры бы тебе казались другими, скрип пера напомнил бы тебе, может, плуг, и ты бы вновь к нему воротился. Но ты ко всему пришел с другого конца. Ты родился на свет, но еще в детстве забыл спросить, для чего ты родился. Ты умный, очень умный, наверно, ты и в детстве был себе на уме, вот оттого и стал так торопиться; ты сразу же занялся числами, особенно своим счастливым числом; ты искал его так же, как ноль ищет единицу или двойку, как двойка — тройку или еще двойку и единицу, тебе, должно быть, хотелось сразу перескочить на целую сотню или хотя б на десятку. Ты нашел счастливое число, а может, и много счастливых чисел; подчас мне кажется, что ты и сам счастливое число и оттого время от времени куролесишь: то ты делаешь из себя двойку, то тройку, потом из тройки восьмерку, а уж из восьмерки и... Ты должен все время меняться, ведь счастливое число тоже меняется, оно каждую минуту другое. Тебе приходится меняться ради местечка — до тебя был тут другой,— а не изменишься вовремя, не перехитришь самого себя, чтобы и остальным замазать глаза, однажды откроешь, что кто-то и тебя заменил, какое-то иное счастливое число; теперь уже он будет знать, сколько у него в имении батраков и плугов, но сам-то не сумеет как следует взяться за плуг и проложить им не только восьмерку, но даже самую обыкновенную борозду, в конце которой другой счастливый глухонемой идиот, что никогда не ведал и не нюхал земли, занесет свое число в блокнот.

Киринович несколько раз порывался перебить тестя, оборвать его, но удалось ему это только тогда, когда тот остановился на миг, чтобы перевести дух.

— Послушай, ты с кем сегодня встречался? Говоришь, точно Карчимарчик. В самом деле, так рассуждать может один Карчимарчик!

Киринович сказал это наобум, просто хотел тестя унизить и высмеять. Он и думать не думал, что еще сегодня придется толковать и

с самим Карчимарчиком. Спор длился еще минуту, другую. Потом тесть сказал:

— Ну, я пошел. Ухожу, чтобы ненароком не спутать ваших планов.— И, насупившись, двинулся в путь.

Штефка ушла вместе с ним.

7

Гости стали сходиться. Как было сказано, поначалу предполагалось, что соберутся одни пришлые, но вскоре выяснилось, что без батраков дело не обойдется.

Не успел уйти Штефкин отец, как в имение заявился какой-то школяр и еще какие-то подростки из Церовой, и от них батраки узнали, что в имении что-то затевается.

Все вмиг переполошились. Люди один за другим вылезали из своих домов и спешили к канцелярии управляющего. А иные побежали будить мужиков, что забрались в сараи и амбары:

— Вставайте, сонные тетери!

— А что стряслось?

— Собрание будет!

— Собрание? Какое?

— А бес его знает. Там поглядим.

Ленивцы — не ленивцы, сони — не сони, все в два счета оделись. Каждому — почет и уважение! Уж коли в именье собрание, все должны в нем участвовать, это уж точно.

Киринович пытался растолковать им, что речь вовсе не о собрании. Он спокойно уговаривал их разойтись, но они стояли на своем: — Уж раз мы тут, чего расходиться? Нынче воскресенье, спать нам больше не хочется, торопиться некуда. Собранье не собранье, а коли народ сходится, значит, что-то да есть, что-то наверняка затевается. Подождем, поглядим, что за дело такое, а то и послушаем, о чем разговор; а случись, говорить не будут или мало будут и это нам не понравится, так можно в разговор и вмешаться.

— Ребята, не валяйте дурака! — уговаривал их управитель.— Сами посмотрите! Как ни старайся, а в конторе все равно не уместимся. Всех позвать не могу. Разойдитесь спокойно! Право же, это дело вас не касается.

Люди не перечили, но и не расходились: — Да уж давайте постоим, подождем. Разве кто чем недоволен? Мы все довольны. А кому неохота ждать, пусть уходит. Либо сядет на землю — и на земле посидеть можно. Было бы и впрямь глупо, кабы все мы лезли в контору к управителю.

А некоторые рассуждали иначе. Те, что перестали доверять Кириновичу. Они переглядывались, кривили губы, морщились и между тем или при этом о чем-то шушукались. Только и было слышно: шу-шу-шу. А временами — может, кое-кто шептать не умел, или недослышивал, или, может, просто не знал ни стыда, ни совести и хотел, чтобы и другие зря-то не совестились, не краснели,— какие-то слова звучали и громко: — Как же так? Онофрея касается, а нас нет? Ранинец может быть на собрании, а мы нет? Где же справедливость?! Где порядок?! Ведь и Ранинец — батрак, ведь и у него мозги обыкновенные, батрацкие. А мы заодно с нашим Ранинцем и Онофреем, и отсюда ни на шаг!

Притащились и жены с детьми, и тут управитель, поняв, что ни добром, ни силком от них не отделаешься, решил:

— Ладно уж! Быть по-вашему! Устроим собрание прямо на свежем воздухе, тут всем места хватит. Кроме женщин и детей, разумеется. Женщинам и детям на собрании делать нечего, уж это вам придет-

ся признать. Начнут галдеть или еще что-нибудь выкинут. Сами знаете, какими дети бывают мерзкими и противными. Позаботьтесь о женах и детях, и мы тут же приступим!

Конечно, это был другой разговор. Мужики тут же с маху подскочили к женам. Каждый позаботился о своей: — Ступай отсюда! Проваливай, голова садовая! Ступай прочь! Чего тебе тут околачиваться, глаза пялить! Не поняла, что ли? Ступай прочь, не дури, потом можешь сюда незаметно и шмыгнуть.

Вишвадер позаботился о детях: — Катитесь отсюда, паршивцы вы эдакие! Вот сниму ремень, от вас мокрое место останется.

— Ладно, бог с ними! — распорядился Киринович.— Женщины и дети пусть останутся здесь, а мы переберемся в другое место! — И он указал, куда надо перебраться. Тут как раз вернулась со станции дрезина, на которой обычно ездил Мичунек, но на сей раз на ней сидел Ранинец, а рядом с ним два крестьянина из Церовой. «Быдло, могли бы и пешком допереть! — Киринович немного сердился.— Говорил же я этому Ранинцу: на крестьян и сопляков наплюй! Возьми только тех, кто приедет на поезде». Сопляки пришли пешком, а крестьяне прикатили на дрезине. Там были еще портной Гриц и доктор медицины Йозеф Салус, студент Янко Микес, Лойзо Хрестек и Лойзо Мелезинек — торговцы среднего, а то и чуть меньшего калибра, но в глазах окрестного люда оптовики: один промышлял вином, другой спекулировал древесиной. Все они, кроме церовских крестьян и Ранинца, «вечного путаника», были родом из ближнего городка, и это сразу бросалось в глаза: ведь «опытный человек в момент отличит горожанина от деревенщины».

Ранинец откатил дрезину в холодок, и, пока отпрягал лошадей, подошли остальные: управляющий с батраками, потом Имро с мясником Фашунгом из Околичного. Уселись на дрезине или около. Вскоре объявилась и бутылочка, из которой, разумеется, досталось каждому.

У студента был фотоаппарат, и ему сразу захотелось всех сфотографировать. Мужчины приготовились, приосанились, но кто-то из оптовиков — неважно, Хрестек то был или Мелезинек,— закричал:— Минутку! — И порывшись в кармане, вытащил пригоршню сигар: одну сунул в рот, остальные раздал. Пошумели недолго, а потом надулись больше прежнего.

Студент поднял палец: — Так, а теперь внимание! — и щелкнул. Он отщелкал всю пленку. Впрочем, возможно, и пленки-то никакой не было, а может, это был такой аппарат, что фотографировал без пленки, в таком случае пришлось бы нам сказать, что аппарат испортился, похоже было на то; поначалу студент щелкал и щелкал, а потом часа два жаловался:

— Все! Честное слово! Все на вас выщелкал.

А в тот момент, когда управляющий открывал собрание, прикатил на велосипеде и жестянщик Карчимарчик.

— Этого еще кто сюда звал? — спросил управляющий, встретив Карчимарчика неприветливым взглядом.

Мясник Фашунг, водивший с Карчимарчиком дружбу, предположил, что вопрос управителя относится к нему, и потому тихо возразил: — Я не знаю. Я его сюда не звал.

По счастью, Карчимарчик никакой неприветливости не заметил. Многие ему тепло улыбались.— Ты опоздал! — говорили они.— Мы уже сфотографировались.

Студент Микес печально подтвердил: — У меня была целая пленка, вся вышла.

Киринович подготовил длинную речь; трудился над ней несколько дней, но положение дел изменилось, и пришлось от нее отказаться;

поначалу сдавалось, что ему даже не о чем говорить, он едва жевал слова, а потом вдруг в сердцах, но не без остроты, выдал ex abrupto, то есть без подготовки, приветственную речь, которую можно было бы назвать и основным докладом. Он оценил политическую и военную обстановку и, прежде чем кончить, предупредил, что к его словам не надо относиться чересчур серьезно.— Мы тут все друзья и знакомые,— говорил он,— и речь идет о свободной дискуссии и обмене мнениями. Так, пожалуйста, и отнеситесь к этому. Мы все знаем, что сейчас война и тянется она уже долго; но мы не знаем точно, когда и как она кончится, хотя некоторые вещи можно уже сегодня отгадать и предвидеть. Но как бы война ни кончилась — так либо эдак, мы обязаны следить за тем, чтобы у нас дома все шло наилучшим образом.

— Да оно так и идет,— проворчал Габчо.— Разве что не ладится?

— Я не говорю, что не ладится,— Киринович возмутился в душе, но виду не подал.— Я говорю, что каждый из нас должен выполнять свой долг, чтобы нам не пришлось стыдиться друг за друга ни сегодня, ни в будущем.

Люди во все уши слушали.

Мясник Фашунг кивал головой.— Так, так... А дальше? — он вопрошающе поглядел на Кириновича.

— Что дальше? — Киринович внимательно изучал отдельные лица, пытался понять, что за ними скрывается, но минутами его одолевало желание заорать на кого-нибудь из батраков, а то и на всех: «Катитесь вы ко всем чертям! Чего так по-дурацки уставились?» Но он сдерживал себя.— Мне лично кажется,— говорил он,— что люди мало встречаются и сравнительно мало знают сами себя. А уж друг о друге мы вообще ничего не знаем и еще меньше знаем о том, что делается на свете. Круг замыкается! Всюду идет война. Круг замыкается, и мы в нем. Вы понимаете меня? Уясняете себе?

Мужики хмыкали. Один передернул плечами, другой, третий. Подал голос Мичунек: — Война есть война, война — дело известное. Хотелось бы что и поновее услышать.

Отозвался и Карчимарчик: — Можно мне сказать?

— Говори! — поддержали его церовские крестьяне.— Хоть весело будет.

Некоторые заулыбались, так уж было заведено: когда говорил Карчимарчик, обыкновенно люди улыбались; иной раз — как, например, сейчас — он и сам улыбался, будто подбадривал улыбкой других: ну что же вы, смейтесь надо мной!

— Йожко,— он обратился сперва к управителю,— говорит, что мы все хорошо знаем друг друга и могли бы еще лучше узнать, кабы чаще встречались. Я к вам не навязываюсь, хотя думаю, если бы и навязался, вы меня, наверное, не прогнали бы. Сегодня же вот не прогнали, еще и говорить позволили, хотя похоже на то, что я малость и навязался. Пришел, хотя меня и не звали. Решил сюда забежать, вот я и здесь, вот я и выслушал Йожо, и могу сказать, что он говорил почти хорошо. Но мне кажется, что он мог бы говорить и лучше. Когда люди вот так встречаются — этим надо пользоваться.

Доктор медицины Йозеф Салус чуть привстал и вытянул шею.— Вас как звать, скажите на милость? — спросил он учтиво.

— Карчимарчик. Жестянщик Карчимарчик.

Доктор Салус поблагодарил кивком головы. Карчимарчик ответил и на его невысказанный вопрос, который должен был звучать так: «Кто вы и чем занимаетесь?»

Мужики ухмыльнулись; может, им показалось, что Карчимарчи-

ку следовало бы сказать вместо «жестянщик» — дротарь[1], звучало бы это тогда выразительней и более по-словацки.

— Спасибо,— на этот раз доктор поблагодарил его вслух.— Продолжайте, пожалуйста!

— Продолжай! — проткнул его Киринович взглядом.— Говори. Ведь и я сказал, что тут можно поговорить. Ты только повторил мои слова. Тут каждый может смело и свободно высказываться. Разве я о чем другом говорил?

Карчимарчик удивленно улыбнулся и тряхнул головой. Слова управляющего ему не понравились и еще больше не понравился ему его взгляд. Поэтому он спросил: — Почему же так сердито, Йожко? Ты вроде гневаешься на меня!

— Говори, говори! — торопил его Киринович и колол взглядом.— Договаривай! Не обо мне речь!

Карчимарчик хотел продолжать, разумеется, хотел речь свою кончить, но прежде попытался объяснить управителю, что вовсе не думал его оскорбить или как-то задеть — и уж во всяком случае не злым словом. Разговор застопорился: спорщики растолковывали друг другу, что они говорили или что собирались сказать. Киринович был взбешен и распалялся все пуще; невольно вспомнился ему тесть, который сегодня, как и обычно, «усластил» ему жизнь и убрался, но теперь все — управляющий сыт этим по горло, переполнилась чаша. Держись, дротарь, ты за это поплатишься!

Мелезинек вытащил из кармана сигару и, прежде чем закурить, мигнул в сторону сцепившихся, раскукарекавшихся петухов и шутя заметил: — Вот вам, пожалуйста! Говорят о войне, а она уже тут!

А эта война была и впрямь занятной. Карчимарчик, поскольку не охоч был до острых споров и свар, пытался пойти на мировую. Говорил примирительно и приветливо: — Ну, Йожко, давай поладим! Не сердись! Коли обидел тебя, извини.

Но Киринович, словно бы вежливость дротаря только распаляла его, злился еще пуще, фыркал, подскакивал и все резче, раздраженней размахивал руками и при этом — мы чуть было не упустили — колол и стрелял глазами, ведь вокруг было полно слушателей, свидетелей, ему хотелось привлечь их внимание, пробудить в них гнев и главное — мы-то знаем — убедить их, что нападающая сторона не он, а Карчимарчик, этот спесивец и растяпа, которого никто не звал, но который всюду-всюду втирается и навязывается. Он бы и за пазуху влез к человеку, лишь бы надоедать ему, выводить из себя.

А Карчимарчик не сердился; не рассердился он и тогда, когда Киринович стал его оскорблять. Он только огорченно улыбнулся и сказал:

— Кажется, Йожко, мы не поймем друг друга. Мне не хочется ссориться. А коли думаешь, что тебе станет легче, выскажись начистоту! Я на тебя сердиться не стану.

Доктор Салус возмущенно вертел головой и несколько раз громко вздохнул: — Ужасно, ужасно!

Никто так и не понял, к кому эти слова относились: к Карчимарчику? К Кириновичу? Пожалуй, к Карчимарчику.

Остальных мужчин ссора уже перестала забавлять. Они стали обмениваться меж собой мнениями, причем каждый — с ближайшим соседом.

Один спросил: — Что вы думаете о Лондоне?

Мичунек поморщившись сказал: — Ничего. Мы же не лондонцы.

— Как? — Мелезинек удивился.— Вы не слушаете Лондон? Ведь в Лондоне новое правительство.

[1] Ремесленник, оплетающий проволокой глиняную и фаянсовую посуду. В прошлом один из самых распространенных промыслов в Словакии.

— Какое правительство?

— Чехословацкое.

— Чехословацкое? — Габчо громко захмыкал, потом махнул рукой.— Оно у нас уже было.

— У нас всякое было и еще будет,— пустился в рассуждения церовский крестьянин.— Мой тата имел плуг, я получил его по наследству, а от правительства получил фигу. Их у меня уже три.

— Плуга? — спросил Гриц.

— Еще чего, плуга! Три фиги! — Крестьянин оголил желтые зубы.— Я о фигах говорю. От каждого правительства я получил по одной. Глядишь, и четвертая достанется.

— А разве оно плохо? — спросил Вишвадер.

— Зачем же плохо! — сказал крестьянин.— Работы у меня хватает. А когда есть время, да и когда нету, считаю фиги. Иной раз захочется и фиги отведать.

— А сушеная дуля тебя не устроит? — осклабился другой крестьянин.

— Я фиги больше люблю. Фига — это все-таки фига. Если у человека есть плуг, он и фигу возьмет, а там уж пусть все целуют его в зад.

— Бог тебя поймет!

— Бог-то поймет.

— Зачем тогда фиги поминать?

— Зачем, зачем! Хвалю правительство, чтобы не вести антиправительственные разговоры.

Имро немного поразвлекся, потом все эти речи стали его раздражать. Жалко, Штефки нету. То, что произошло на неделе, она ему простила, стало быть, опять все в порядке. Встретиться бы с ней! Почему нет ее? Почему она ушла? Этот балаган становится нудным!

Студент размахивал фотоаппаратом.

— Эх, обидно, что у меня нет еще одной пленки.

Онофрей, Ранинец и Мичунек галдели все вместе.

Юнцы, подростки должно быть, уже перестали полагаться на старших: отойдя в сторону, они пытались придумать что-нибудь свое. Один из них окликнул студента:— Да брось ты свой аппарат! Все равно у тебя там ни шиша нет!

— Перекручу-ка пленку. Я всю ее уже выщелкал.

Один из церовских крестьян нагнулся к доктору и, понизив голос, сказал:— Пан доктор, иной раз, когда я вечером обряжаю скотину и лошадей, я сам от себя нос ворочу! И от жены жуть как воняет, даром что чистоплотная. Не знаю, отчего бы? А что до правительства, то должен вам сказать, оно смердит больше всего, вот потому я до сих пор от любого правительства нос воротил и ворочу. Вам понятно? Я крестьянин и другим уже не буду, не изменюсь, пусть меня хоть повесят. А если бы меня и в самом деле стали вешать, знаете, что бы я сделал? Пан доктор, вам-то я скажу. Думайте обо мне что хотите, но коли стали бы меня вешать, я бы что есть силы зажал нос и крикнул напоследок: тут смердит! Смердело и смердит! Жуть до чего смердело! Пан доктор, ведь я и от тех вещей нос ворочу, какие иным приятны...

8

Когда все, то есть «самое худшее», как полагал управляющий, было уже позади, когда все уже вволю выговорились и излили свою желчь, он собрание закрыл и распустил. А некоторых — конечно, тех, кто сподобился этого,— пригласил к себе в дом на легкую закуску.

«Так! Теперь все и начнется!— ликовал Киринович.— Теперь самое время для настоящего разговора! До сих пор и потолковать-то серьезно было нельзя. Что тут поделаешь, батрак есть батрак, всю жизнь только и смотрит лошади в зад, откуда ему смыслить в конспирации?!»

На этот раз он решил быть осмотрительным. Каждый должен быть осмотрительным. И выбор с самого начала должен быть более точным! Оно так и вышло. Ни Онофрей, ни Ранинец сквозь это решето уже теперь не просеялись.

Карчимарчик с Фашунгом собрались было домой вместе, но Фашунга Киринович задержал: — Подожди немного! Поговорить с тобой надо.

Потом оказал честь и Имро:— И с тобой, Имришко.

Карчимарчик остался снаружи, но то и дело заглядывал в окно.— Мишко, идешь?— окликал он Фашунга.— Подождать тебя?

— Сейчас! Сейчас приду!— унимал его Фашунг.

И Карчимарчик терпеливо ждал. Ему было немного не по себе: похоже, будто он околачивается под окном только затем, чтобы управитель и его зазвал в дом. Ему было неловко, но он не уходил. Карчимарчик — человек терпеливый. Он и сговорчивым может быть, а надо, и товарища может долго ждать. Он и сейчас подождал бы, но тут вышел Киринович, которого, кстати, Карчимарчик тоже почитал за приятеля.

— Матуш!— окликнул Киринович жестянщика по имени.— Ну что ты пристал? Ты что — еще не наприставался? Чего тебе, собственно, надобно? Кто тебя сюда звал? Чего ждешь? Что ты на нервы действуешь?

Карчимарчик не знал, что и ответить, он робко улыбнулся, улыбнулся как несмышленый солдатишка, когда к нему обращается командир. Но потом все же отыскал несколько слов:— Да ухожу, ухожу, Йожко,— сказал он.— Я думал, что и Фашунг... Не серчай, Йожко, я не хотел тебя нынче обидеть.— Он опять наклонился к окну и крикнул Фашунгу:— Мишко, ну я пошел! Слышь, Мишко! Мне не ждать тебя? Ну счастливо, Мишко! Бывай, Рудо! Привет, Мишко! Привет, Имро! Ухожу! Мишко, ухожу! Счастливо оставаться! Йожко, бывай...

Он сел на велосипед и укатил.

9

Имро еще чуть задержался. Толковали о самом разном. Хмельное придавало разговору особый смак. Выпившие для куражу мужчины высказывались свободнее, легче: если у кого и заплетался язык, другой тотчас подхватывал мысль, уточнял ее, развивал. То и дело кто-то откалывал шутку, затем слышался смех, порой даже топот и причмокивания. После удачной шутки мужчины любят топать и причмокивать. Словом, было занятно, занятно хотя бы потому, что разговор, который то и дело возвращался к войне и политике — о войне и о политике ведь можно болтать сколько угодно,— был нацелен в будущее. Будущее! Бу-бу-бу-буду-у-щее! Кого же оно не занимает? Каждому, конечно, хотелось что-то сказать, выразить свое мнение, поделиться раздумьями на этот счет, вместе все обсудить, выговориться, похвастаться, блеснуть, изложить свои представления о будущем и сравнить их с представлениями другого, сделать вывод или хотя бы утвердиться в том, что голова работает справно и что в общем можно быть вполне довольным собой. Будущее! Ох! Как так «ох»? Почему же «ох»? Хо-хо-хо! Некоторые представляли себе будущее в радужном свете. Им казалось, что будущее уже совсем близко, можно сказать, под самым носом: они видели его, слышали

и, более того, чокаясь рюмками, были уверены, что именно его по капельке цедят, потягивают. Оттого-то они так счастливо улыбались и чувствовали себя в самом деле прекрасно.

Но Имро все это приелось. Разговоры наскучили — их уже было больше, чем нужно. В голове все время вертелась Штефка. Да он и пришел сюда, в общем-то, ради нее. Он пытался убедить себя, что это не так, но с той минуты, как пришел в имение и увидел, что Штефки нет дома, испытывал досаду. Если б он знал! А может, он пришел сюда и по другой причине? Но по какой? Неужто из любопытства? Нет, его, пожалуй, не занимали ни Киринович, ни эти умники, что сейчас сидят тут и состязаются в красноречии! Иные, опасаясь, как бы не забыли об их званиях и чести, выражаются учено, уснащают и раздувают каждую фразу, так что она сверкает и парит, а другие, менее образованные — я не говорю, что совсем необразованные, они все же ловки читать, писать, а главное, считать, ловки и постоять за себя, как, например, сейчас,— когда не могут отыскать в памяти чужое слово, чтобы блеснуть и обогатить чужую мысль, пускают в ход шутку, свою или чужую, не все ль равно, чья она, шутка есть шутка, ее можно и присвоить, а потом всю жизнь повторять, потому что и затасканной шутке всегда кто-нибудь посмеется или сам остряк нагло загогочет вам в лицо. Но в доме управителя восседают, верней, восседали — Имро видел их там, а сейчас вижу их я, хотя меня там не было, я видел их за минуту до этого, когда о них говорил иначе, пожалуй, чуть лучше: я-то их всегда вижу, только временами стараюсь смотреть глазами Имро, а бывает, навязываю и ему свои взгляды,— итак, там восседали и такие, что не были ни образованны, ни находчивы, ни воспитанны, ни даже остроумны, однако самонадеянно щурились, требуя к себе уважения, поскольку обладали толстой мошной и набитым бумажником. Пожалуй, они не были и так уж глупы, а только прикидывались. Вот именно! Это — народ толковый. Не знаю, отчего мы — и особенно те из нас, что вечно без гроша в кармане, ибо не умеют ни оценить, ни удержать его,— привыкли состоятельных людей ставить ниже себя, считать дураками. А может, они поумнее нас с вами и о жизни знают все, что положено. Поэт (я не причисляю себя к таковым — боже сохрани!) витает в облаках, а верткий человек (опять же это не про меня, я медлительный) и на земле неплохо себя чувствует. У него как бы иная, ну, что ли, земная расторопность и сметка. Но не о том речь! Мы не разделяемся на умных и глупых! Просто вспомнился кошелек — да и как о нем забудешь, когда он так много может рассказать нам о людях! Отнимите у кого-нибудь кошелек — и вы, поди, даже не узнаете, что тем самым уничтожили, убили человека. А встретите другого, захотите его убить, а он тут же сам запустит руку в карман и скажет: вот тут кошелек и в нем все, что имею! А хотите, так я для вас еще и последние штаны сниму! Подаст он вам руку и по-дружески засмеется. Вопрос, стало быть, ставится так: чему больше доверять, что предпочтительнее — кошелек или мысль? Ну и святая простота! Хорошую, мудрую мысль может выдать любой, случается, она и сама лезет в голову, а то из книги ее выудишь или поймаешь на улице, а вот с кошельком или бумажником многие и во сне не расстаются и на улице сжимают деньги, до того крепко — аж рука немеет. Добрый совет, говорят, золотого стоит! А я б его и за пятак уступил, да кто польстится? Кто мне этот пятак даст? Дай мне кто дельный совет, я бы и кроны не пожалел, а то и двух, только, конечно, не сразу бы отдал — в последнее время я наделал долгов. И немалых! Нет, я лучше не скажу, сколько я задолжал! Счастье еще, что добрые советы даются и за спасибо, люди только

и знают, что одаривают друг друга добрыми советами! Что ж, тащите их сюда! Обменяемся! Слово за слово!

Я, конечно, не хочу сказать, что слово весит больше, чем деньги. Как бы не так! Стану я такое болтать! Долгие дни и ночи, из которых складываются недели, месяцы, годы, да-да, многие годы философ роется в книгах, изучает, просвещается, философствует, размышляет о себе и о людях, о земном шаре, что миллионы лет вертится вокруг солнца так же, как иная планета несется вокруг какого-нибудь иного солнца, ведь во вселенной много солнц, много солнечных систем, много рождающихся и догорающих звезд, огней, и тлеющего пепла, и светящихся и темных туманностей, и облаков, и белых карликов, и черных гигантов; и на это на все взирает из жалкой, задымленной конурки человечек, которому хочется узнать, где же, собственно, находится эта его крохотная конурка, на какой орбите, на какой дороге, в какой части вселенной! Может быть, в центре? Или с краю? Вот найти бы ему этот центр, найти бы и край, поглядеть туда и сюда! Может, тогда бы он и себя лучше постиг, а станет ему тоскливо (ведь философам тоже иногда бывает тоскливо), так выберет он какую-нибудь из звездных орбит и махнет по ней, а там, глядишь, набредет и на другую орбиту, ведь во вселенной столько дорог! А раз много дорог, наверняка и много людей! Их надо только искать... И вот пока философ (любезный читатель, конечно, уже догадался, каков он, этот философ!) воспаряет мыслью, тот, кто держит в руках кошелек — а может, и главную торбу, из которой платят и философам, и ученым, и художникам, и им подобным, и прежде всего тем, кто ловок отвешивать поклоны,— небрежно и самодовольно усмехается, ибо знает, что и у философов урчит в животе, а значит, и философ однажды явится к кошельку на поклон. Так кто же после этого глуп? Кто больший дурак, скажите на милость?! Философ видит далеко, но при пустом кошельке далеко не уйдет. Хотя бывает, конечно: начнется война, оденут философа в военную форму — и двигай! Топай, философ, познавай мир!..

Вот и опять это пространное словоблудие! Кого же теперь винить? Кому его приписать? Имро? Автору? Придется, наверное, обоим! Уж мы как-нибудь с ним поделимся.

10

Когда Имро уходил из имения, начало смеркаться. Из квартиры управителя несся громкий хохот — мужчины изрядно выпили и совсем распоясались.

Управляющий вышел проводить Имро.— Уже уходишь, Имришко? — кричал он с порога.— К чему такая спешка?

— Уже поздно. Пойду. Жена ждет.

Имро был не в духе. Он жалел, что не ушел раньше. Мог ведь уйти еще с Карчимарчиком, к тому же — и он, пожалуй, обязан был это сделать — мог за него и вступиться. Почему же он не вступился? Сидел тогда у окна и слышал, как Киринович разговаривает с Карчимарчиком, как гонит его. Гонит, словно мальчишку. И Карчимарчик послушался. Еще извинялся перед управителем. Как можно было стерпеть, чтобы Карчимарчик извинялся перед таким дураком и тупицей!

Имро злился и на Кириновича и на себя. Потом вдруг подумал: уж не злится ли он на управителя по какой-либо иной причине,— но тут же отогнал эту мысль.

Уходя, он заметил в дверях конюшни трех батраков. Они курили и о чем-то разговаривали. Между ними стояла плетенка для сечки.

Один из них злобно пинал ее ногой.— Провались они ко всем чертям! — кипятился он.— Собрание вздумали устраивать, а меня турнули с него, я, мол, только... для чего я, а? Для дерьма, для работы, черт подери! А они? Свиньи поганые! Буржуи! Пришли сюда нажраться да надраться! Сфотографироваться, видите ли, пришли... Так их перетак! И управителя и эту житуху! Дома куснуть нечего, все сидят голодом да дохлятина жена вечно кхекает, а я должен идти за этих бар подыхать, немца на себя науськивать, чтоб любая свинья поганая нынче или после войны могла на мне ездить?.. Мать вашу! Погодите, погодите, я еще погляжу на эту вашу войну! Погляжу и на управителя, и на торговцев, и на этого вонючего, сопливого доктора, мне бы только винтовку добыть! Все разнесу! Погодите, вот увидите, мне бы только винтовку, это дерьмо в руку, бах-бах-бах, как шарахну, как раздолбаю все в пух и прах...

Имро с минуту прислушивался. Невольно по спине забегали мурашки. На миг ему показалось, будто эти слова и к нему относились.

Потом он улыбнулся и зашагал прочь. Радовался, что ушел из имения. Но домой не хотелось. Вдруг мелькнула мысль: раз Штефка еще сегодня должна вернуться из Церовой, то, значит, можно ее и подождать где-нибудь и подкараулить. Можно и навстречу пойти. Лишь бы знать, как она пойдет — тропинкой или по дороге?

А потом? Ну встретится с ней, а потом что? Что он ей скажет? Что ему от нее надо? А Вильма, как же она? Вдруг догадается? Не будет ли он виноват перед ней?

Он долго раздумывал. Штефка теперь казалась ему роднее, чем Вильма. Мысль возвращалась к ней все настойчивей, в голове все время вертелось: «Надо с ней увидеться! Надо с ней увидеться!»

11

Штефка шла по тропинке. Она не спешила, помнила, что в имении гости, но теперь они совсем не занимали ее. Встречаться с ними ей не хотелось.

Хоть бы разошлись все!

Но она знала, что Йожо будет удерживать их и некоторые, позволив себя уломать, останутся в имении до поздней ночи или уйдут домой только под утро. Лишь бы не упились сильно — Штефка не выносила пьяных. А пуще всего боялась, что и самой придется выпить — заставят, а потом до самого утра притворяйся веселой, чтобы Йожо не упрекал ее, будто она не умеет подлаживаться, не умеет вести себя в приличном обществе.

Но ей теперь любое общество безразлично, ни под кого неохота подлаживаться, и уж вовсе не занимают ее какие-то дурацкие или скользкие речи. Нынешний разговор между Йожо и отцом ее очень встревожил. Удивило, что в речах отца не было ни злости, ни раздражения, ей даже сперва показалось, что можно с ним согласиться, но потом она уловила в его голосе что-то чужое, придающее словам какой-то особый смысл, особое значение, и она не была уверена, что точно улавливает этот смысл и что вообще хорошо понимает отца.

Идя с отцом в Церовую и раздумывая над тем, что случилось в имении, она вдруг ни с того ни с сего расплакалась в голос.— Чего ты не поделил с Йожо? — сквозь слезы спрашивала она отца.— Почему ты все время его донимаешь? Скажи, почему пристаешь к нему?! Он же муж мне...

Отец молча шагал рядом. Возможно, он ждал подобных наскоков, но не думал, что они обрушатся так внезапно. Он даже не мог

второпях найти слов, чтобы хоть как-то защититься. Он вздохнул раз, другой, потом сказал:

— Я знаю, что он муж тебе, знаю.

— Почему же тогда пристаешь к нему? — не отступала она.— Ты ненавидишь, презираешь его. Презираешь, это точно. Я поняла это сегодня. Чего ты от него хочешь?

Отец слегка оробел.— Разве я что-нибудь такое сказал? Не помню. Я хотел поговорить с ним по душам. Кому ж и поговорить с ним начистоту, как не мне?

— Да, но как ты с ним разговариваешь? Всегда только оскорбляешь его. Ведь он тебя уже сторонится, а ты его вечно отыскиваешь.

— Я и не думал его оскорблять. Честное слово! Ну не плачь! Тебе, должно быть, примерещилось.

— Вовсе не примерещилось. Что он тебе сделал, скажи?! Зачем ты пришел его задирать?

— Право, не знаю. Я не хотел его оскорблять. Не плачь! Тебе просто показалось. Сказал то, что думаю. Ты дурно это не истолковывай. Не плачь, Штефка! Ты уж больно чувствительная.

— А как же не быть мне такой, скажи?! Думаешь, я слепая? Ты почему его презираешь? Что тебе в нем не нравится?

— Он мне не нравится.

— А еще говоришь — не плачь! Не плачь! В прошлом году ты мне этого не говорил!

— Ну ладно тебе, Штефка! Не реви! Образумься!

— Вот буду реветь! Я же знала, я же видела. Ведь я давно знала, давно видела, что он тебе не нравится...

— Да ты хоть выслушай меня, прошу тебя! Дай договорить, выслушай! Ведь в общем-то я его и не знаю. Может, и не плохой он, вовсе не плохой. Может, мы просто не понимаем друг друга. Потому я и сказал, что он мне не нравится. Люди-то разные. Люди есть люди! Не можем же мы во всем понимать друг друга. Разные мы.

— Я знаю. Думаешь, я не знаю?

— Возможно, я виноват. Вполне возможно. Может, я не такой, как он. У каждого свой характер. Я искал подходящее слово, да не нашел, не попал в точку.

— Ты к нему придираешься.

— Какие там придирки! Не плачь! Это не придирки! Я только хотел доказать ему, что у человека должны быть свои собственные взгляды и в них надо верить. И у Йожо они должны быть. Иначе какой же из него управляющий? Мне кажется, он слишком часто меняет свои взгляды, а это никуда не годится — у кого нынче одно мнение, завтра другое, кто нынче служит одному хозяину, завтра другому, а там, глядишь, все новым и новым, тот обычно и хорошим слугой не бывает, такой человек подчас и сам себе даст пинка, сам себя лягнет, как подонка, чтобы, выслуживаясь, доказать, что вчера был подонком, а нынче стал еще большим. У одного есть убеждения, у другого — нет, он и без них обойдется. Я не такой, мне не обойтись. А у подонка их много, их у него всегда тьма, потому как он их ворует. Сегодня скачет на белой лошади, завтра на гнедой, послезавтра трусит на кобыле да еще кричит по-ослиному: иа! иа! А вдруг осел кому случайно понадобится — он и им сумеет представиться.

Штефка неожиданно рассмеялась, хотя в глазах еще стояли слезы. Отец обрадовался.

— Вот видишь,— сказал он,— ты и повеселела. Я ведь не желаю Йожо плохого. Бывает, и поворчу не в меру, да разве нельзя в своей семье поворчать? Проснешься ночью, всякое лезет в голову, а сказать некому. Днем в работе забываешь, о чем ночью думал. А иной

раз и за работой страх возьмет! Ведь кругом война, а мы посередке! Когда-то я был солдатом, теперь-то не воюю, зато о войне много думаю. Порой мне кажется, что войны оттого и бывают, что у людей нет собственных взглядов, что они так легко перенимают чужие. Да к чему я это говорю? Нынче и так наболтал с три короба.

Штефка немного успокоилась. Они заговорили о будничном и в Церовую пришли почти в хорошем настроении.

Но по дороге в имение она заново все передумала, и ей опять стало тоскливо, и, погрустнев, она грустнела все больше. И не удивительно! Отец просто хотел утешить ее, а мнения о Йожо не изменил, может, никогда и не изменит. Он вечно в чем-то подозревает Йожо, считает его человеком ненадежным, уверен, что он никогда не вел чистой игры. Почему он так о нем думает? Почему всегда взывает к его совести? Ведь Йожо пользуется уважением, его любят, не считают хуже людей; свои обязанности он исполняет исправно, работы не боится, не отлынивает от нее, об имении и обо всем, что с ним связано, печется как положено, и батракам часто идет навстречу. Конечно, он не безгрешен, у каждого свои слабинки, и у него тоже. Штефка знает о них, знает и о тех, что скрыты от чужого глаза и какие по большей части только ей и приходится выносить. Иной раз завяжется между ними ссора и, ей-богу, может по-всякому кончиться; порой Штефке приходится и уступать: прикинется она глупой и позволит Йожо немного поучить ее уму-разуму. Что говорить, замужество тоже школа, а в школе иной раз проходят трудный материал и методы обучения бывают крутыми и действенными. И Штефка знает, что иногда из школы надо хоть на минутку, да выпорхнуть. Она обычно так и поступает, как только заметит, что Йожо, ее муж, туже сжал кулак или схватил полешко; Штефка шасть-шасть, сперва к дверям, из дверей во двор, управитель — шасть за ней, да вдруг в дверях остановится; надо же, именно в эту минуту в школу входит Мичунек, или Галис, или какая-нибудь бабешка — ну вечно сыщется поблизости какой-нибудь дьявол или искупитель; чаще всего — это Ранинец, он сперва опешит, потом добродушно ухмыльнется и скажет: «Развлекаетесь, развлекаетесь?» Штефка смеется, и управитель показывает зубки, хотя на самом-то деле у него зубищи, но на сей раз он показывает только зубки: «Развлекаемся. А что же нам делать?» В руке он держит буковое полешко, а зачем его прятать? Поигрывает эдак с полешком, словно из удальства или шалости ради собирался плиту или печку поколотить. «А я как раз затопить думал». Он улыбается и кивает жене: «Что же ты, Штефка, ступай ужин готовь!» Правда, до сих пор Киринович Штефку ни разу не тронул. Даст бог, этого и не случится. «Чтоб жену бить? Да какой же интеллигент станет жену бить!» Замахиваться-то он на нее замахивался, раза два даже малость тюкнул. Но чтоб полешком?! Упаси боже! Не полоумный же он! Интеллигент — и полешко?! Этого еще не хватало! Полешко — это такое учебное пособие для острастки, что случайно время от времени само прыгает в руки... Да, замужество тоже школа, а школы бояться нечего, даже букового полешка не надо бояться — нужно только знать, когда отшвырнуть его в сторону, а когда поднять и подкинуть в огонь.

Именье было близко. В легких, еще прозрачных сумерках, заволакивавших край, желтели, как бы излучая неяркий трепетный свет, приземистые обшарпанные стены, однако их обшарпанность сейчас сглаживалась, была почти незаметна, потому что белые и се-

роватые пятна мягко сливались с желтой окраской, которая так же медленно догорала, обретая все более блеклый оттенок. Сквозь кроны неказистых акаций, что сейчас казались могучими, образуя перед строениями молчаливую защитную ограду, просвечивали стрехи житниц, конюшен, хибар и даже коньки сушилен и амбаров. Потяни чуть ветер, он, может, донес бы оттуда запахи аммиака и свеженадоенного молока, запахло бы ромашкой и полынью, а потяни он резче, дошли бы, наверно, и запахи хвои, так как неподалеку чернел уже знакомый нам лес, в котором так приветливо, а сейчас, пожалуй, еще приветливее и обольстительнее, чем днем, белели редкие березы.

Но ветер не тянул. Стояло безветрие. Раскаленная солнцем земля, не успев еще достаточно поостыть и набраться влаги, дышала сушью; где пахло клевером, где травой, а где отдавало чабрецом, но сильнее всего благоухало хлебами, которые вот-вот уберут и свезут на подводах под песни жнецов и жниц и вечно сиплых возчиков и кучеров; а потом во дворах, на гумнах, на токах близ амбаров или прямо в амбарах их обмолотят на молотилке или тяжелыми веселыми цепами, чтобы вдосталь хватило муки на пирог и на пахучий хлебец, от которого можно будет по справедливости отрезать ломоть и вволю наесться.

Из леса, с полей еще доносился птичий грай. Свистел дрозд, куковала кукушка, там-сям летали и суетились скиталицы-ласточки: жалко, не к кому в гости слетать! С земли поднялся, вспорхнул жаворонок: попробую-ка еще раз! Он пел и пел, спать ему не хотелось. А вдали — куркур, куркур — горлицы исполняли ноктюрн. Воробьи, поскольку они всегда в большинстве, пожалуй, немного и портили общее впечатление, но, однако, и они устроили настоящий концерт; да все только переругивались, перебивали, высмеивали друг друга; а какой-то злыдень, возмущаясь на лету, сурово честил свою разболтавшуюся подругу, упрекал ее в чем-то и от ярости чуть не клевал. Разошелся и сорокопут-дождевик; не зная второпях, кому подражать, он запел просто так, по-любительски, но при этом замечательно трелил, свистел, жаловался, заливался, протяжно улещивал, вытягивал шею, изображая порой и нежность, а потом вдруг выдал стаккато и, выпалив всю обойму, презрительно фыркнул: эй вы, артисты плевые, слыхали?! На ячменное жнивье, поужинав, вышел фазан — прогуляться и, наверно, покрасоваться перед не зрячими днем совами, козодоями и нетопырями своим гребнем и, уж конечно, пестрым, по-петушиному нахохленным хвостом; он издал короткий, но выразительный крик, потом щеголевато огляделся и гордо проследовал дальше. Отозвались и куропатки; может быть, за минуту до этого их кто-то вспугнул с какой-нибудь межи или клевера, или всполошились они на дороге, по которой бегали стайкой, склоняя друг к другу головки, переваливаясь и косолапя. А может, им просто захотелось взмыть ввысь, ведь они свободны, из-за этой-то беспредельной свободы они и раскачались, разбежались, затем ускорили бег, развеселились, и тут же у них заработали, затрепетали крылья, и когда птицы взлетели, из стайки вдруг сделалась стая; радуясь и шаля, они, опустившись, плюхнулись все в разных местах; сперва перекликались, а потом умолкли — из хлебных колосьев вытряхивалось, осыпалось зерно — вот уж и впрямь хорошо! Да, лето — отличная штука! Что бы мы, куропатки, без лета делали?! Наклевавшись досыта, они клюют теперь лишь бы клевать, без охоты, без интересу, зобики у них уже полные, но кто знает, может, какое зернышко еще и поместится. Нет, не поместится? Тогда пошли! Они снова скликаются, но тем, кто до отвала наелся или боится, что у них из клювика зернышко выскользнет, не хочется отвечать. Идите

спать! Что, что? Никак и перепелка к нам затесалась? А почему бы и нет? Но ведь у нас своя дорога! Спать идите, спать! Идем, уже идем! Куропатки, идите спать! Не кричи, мы не глухие! Думаешь, мы не слышим тебя? Да если бы и не услышали, мы же знаем, где мы, знаем эти ржи, и это поле, и то, и еще вон то, и знаем, что мы друг от друга совсем неподалеку. Будь здорова, перепелка, мы пошли спать!

Вдруг Штефка насторожилась; заметив, что кто-то идет навстречу, она чуть выпрямилась, вскинула голову и вскоре с удивлением обнаружила, что это Имрих. Сперва она даже немного обрадовалась, а потом ее охватило беспокойство.

Откуда он тут взялся? Куда под вечер наладился? Неужто в Церовую? Но почему сейчас? И почему этой дорогой?

Она опять поглядела на тропку, сердце у нее застучало сильнее. Она невольно остановилась: не ее же в самом деле он тут дожидался?

Остановиться все равно бы пришлось: они уже стояли нос к носу, мешая друг другу пройти. Имро улыбался, а Штефка почувствовала, как ее бросило в жар. Должно быть, она вся красная, и Имро это видит, хотя она и улыбается, скрывая смущенье: господи, побыстрей бы все кончилось! И чтобы приблизить этот момент, она заговорила первая; спросила Имро, куда он идет, куда путь держит.

Он выпятил нижнюю губу и, склонив голову к правому плечу, полушутливо подвигал им; он тоже волновался, правда меньше, но волновался — уж если об этом можно писать тут, то почему не признать? Да, он волновался, а двинул плечом, только чтоб немного себя ободрить.— Я был у вас в имении,— ответил он почти спокойно.— Да вот ушел, надоело.

— Правда? — взгляд Штефки оживился; выражение лица сделалось другим — и от неожиданности и от радости, что разговор наконец завязался.— У нас был? А кто там? Остался еще кто-нибудь?

Имро сказал, что гостей еще много. Назвал несколько имен. А потом, верно, для того чтобы Штефка не задавала лишних вопросов, обронил еще фразу, другую; сказал и о том, о чем она не спрашивала.

Помолчав, он чуть перевел дыхание и вновь заговорил о себе: — Я пошел туда поглядеть: хотел знать, о чем толковать будут.

Штефка смотрела на него с любопытством. Иногда взгляд ее отскакивал в сторону имения, оно виднелось шагах в двухстах, самое большее — двухстах пятидесяти.

Птицы, будто по чьему-то велению, притихли и улеглись спать, только изредка что-то попискивало, а в вечернем воздухе даже промелькнула ласточка и коротенько прочиликала «доброй ночи».

— Я думал, что ты дома,— сказал Имро,— знал бы, что тебя нет, и не пошел бы туда.

Штефка недоверчиво улыбнулась и сказала: — Не завирай! Все равно не поверю. Только что ты говорил совсем другое.

— Не вру я! — Взгляд Имро становился все вкрадчивей, и соответственно окрашивался и голос, Имро вдалбливал ей, убеждал, что он на самом деле пошел в имение ради нее.— Я весь день тебя дожидался, да так и не дождался.

Штефка снова, чуть смущенней, огляделась. А что, если кто-нибудь из имения увидит их? Не к чему ей тут с Имро стоять.

— Я была в Церовой.— сказала она.— Сегодня задержалась там дольше обычного. Йожо еще рассердится на меня.

— Не думаю,— заметил Имро.

Но Штефка, покачав головой, твердила свое.— Ну да ладно,— улыбнулась она.— Найду какую-нибудь отговорку.

Подумала, подумала и как бы извиняясь: — Ну, мне пора!

И неторопливо пошла вперед. Не решаясь удерживать ее, Имро двинулся следом.

Но Штефке это не понравилось. Не могут же они заявиться в имение вместе! Тут же пойдут сплетни, пересуды.

Поэтому, сделав несколько шагов, она остановилась.— Знаешь что? — предложила она.— Давай повернем назад. Походим немного.

Имро приятно удивился такому предложению. «Добрый знак!» — удовлетворенно подумал он. Они повернули и вскоре сошли с тропки.

Штефка объяснила: если бы их увидели из имения, получилось бы очень неловко. Имро согласился, но в душе радовался, что на свете бывают и неловкие вещи, иной раз они даже кстати. На этот счет, конечно, у него были свои соображения, но он оставил их при себе.

Они шли на приличном расстоянии друг от друга, и Имро с удовольствием сократил бы его, а то и вовсе свел бы на нет, но все не осмеливался. Тут рубить сплеча не годится, можно случайно навредить делу.

Хуже всего, что не ладился разговор. Как только не распинался Имро, но Штефку, казалось, это мало трогало, во всяком случае не так, как ему бы хотелось. Она была вся не своя, рассеянная, встревоженная; то и дело останавливалась и все твердила, что ей нельзя так надолго отлучаться из дому, что еще подымется шум.

Но Имро уверял ее, что никакого шума не будет: в имении дым коромыслом, мужчины уже под градусом и все еще пьют, и пьют, и тараторят, и веселятся, и кончать вовсе не собираются. Едва ли кто из них способен сейчас думать о времени.

Он хотел намекнуть, что и Йожо изрядно подвыпил и, верно, уже покачивается за столом либо, спотыкаясь, бродит по горнице и старается перекричать всех, но такое замечание могло бы обернуться и против него. Штефка могла б усмотреть в нем скрытое ехидство, злонамерение, предубежденность по отношению к Йожо и из этого вывести, что Имро не испытывает к ее мужу особо дружеских чувств.

Нет, нет, Имришко! Прикуси язык! Любишь ли ты Йожо, не любишь, это твое личное дело, откровенничать ты ни с кем не обязан, думать можешь как хочешь, но язык не распускай! Никаких намеков и пересудов! Нечего Йожо чернить! Обидится она — и прощай! Беги потом за ней, втолковывай, убеждай: голубушка, не убегай, не глупи, выслушай меня, ведь я не то хотел сказать! Нет, Имришко, негоже! Сам должен соображать! Уж лучше похвали Йожо, что тебе стоит, похвали его, а там увидишь — может, тем ты и задобришь Штефку!

Нет уж, дудки! Охота была ему Кириновича хвалить. Просто надо подольше тянуть разговор, а там видно будет!

— Чего зря тревожиться,— говорил Имро, кивая головой, собственно, даже всем телом — от самых ступней он покачивался медленно, мерно, переваливаясь при каждом шаге и при каждом втором клонясь все ниже, все ближе к Штефкиному плечу, должно быть, просто затем, чтобы она лучше слышала.— Для гостей у вас все приготовлено. Йожо о них отменно заботится. У вас весело. Все довольны, всего хватает.

— Но все равно! — тянула Штефка свое.— Надо хоть показаться гостям.

— Ну и покажешься,— заверял ее Имро, смирясь с этой мыслью и довольный тем, что не обронил о Кириновиче худого слова.— Времени хватит, сегодня воскресенье, куда им торопиться. Не разойдутся они так скоро. Кстати, и время еще не очень позднее.

Они продолжали путь, Имро тараторил без умолку, растягивая беседу; он старался произвести на Штефку впечатление, войти к ней в доверие, поэтому все заговаривал с ней и пытливо всматривался, находят ли его слова отклик. Штефка слушала внимательно, но особого интереса к разговору не проявляла; если и вставит словечко, то вскользь, словно лишь затем, чтобы подтвердить то, что уже отметила кивком головы, а в основном только кивала. И по лицу ее многого не отгадаешь, хотя она и пыталась порой улыбнуться, однако это была не та улыбка, что могла бы Имро подбодрить и разжечь. А если и разожгла отчасти, то отчасти и смутила. Имро был слегка подавлен, он никак не мог обрести легкости и сосредоточиться на беседе, сосредоточиться настолько, чтобы говорить непринужденно и занимательно. В голове у него роилась уйма мыслей, но самые прекрасные не находили выхода, он не мог найти для них слов, они застревали в горле, липли к языку и вместо них наружу вырывалось нечто другое: слова прыгали друг за дружкой и складывались во фразы совсем иные, чем ему бы хотелось. Штефкина молчаливость словно сковала его. Он болтал, порол всякую чушь, беда да и только! Временами он и на себя сердился — сам себе казался смешным. Вдруг ей надоели его речи? И чему удивляться! Ведь могла бы она подладиться, разговориться — не только же ей все слушать да слушать. А она в душе, поди, и смеется, ну конечно, смеется над тем, как он неловко коверкает и перевертывает слова и некоторые — как раз самые главные — никак не может выговорить. Вот уж и правда — беда! А все равно ему хорошо! Хотя зачем он все это выдумал? Что ему, собственно, надо? Чего он от нее добивается? Почему задержал ее по дороге? В самом деле! Разве у него какие сложности? Разве он Вильму не любит? Нет, сейчас он об этом не думает! Просто сегодня Имро какой-то невыносимый, тупой, нудный, ни одного умного слова не вымолвит. Просто дурак дураком! И все же будем надеяться, что Штефка от него не уйдет! Будем надеяться!

Постепенно он, правда, осмелел, расстояние между ними потихоньку сократилось, и некоторое время они уже шли плечо к плечу. Вдруг Штефка опять остановилась.— А куда же мы идем? — спросила она каким-то испуганным голосом.— Посмотри, как стемнело!

Дорога, по которой они шли, раздваивалась, одна вела в лес, другая — в имение, но лес можно было и обойти, если бы Имро не рассчитывал обойти имение; и тут, когда Штефка внезапно остановилась, словно испугавшись чего-то, его и вправду охватил страх, страх перед своим умыслом, добрым ли, злым ли, а по существу невинным умыслом, и от этого страха, о котором он, правда, тотчас забыл, он не успел затормозить шаг, но поскольку до этого немного отстал, то казалось, будто шагнул он с намерением прижаться к Штефкиному плечу. Испуг, если это действительно был испуг, длился недолго. Имро, почувствовав в голове жар, чуть неловко и смущенно обнял Штефку. Она мягко отстранилась, но его рука осталась у нее на талии.

Какую-то минуту они недвижно стояли. Потом Штефка печально заметила: — Господи, мне же пора домой! Не надо было сюда и идти!

Имро глубоко вздохнул, потом тихонько сказал: — Штефка! — и привлек ее к себе, чтобы видеть ее лицо. Он долго глядел на нее и, кажется, хотел поцеловать, но заметил, как задрожали ее губы.

А в глазах стоял страх. Поэтому он только ближе наклонился к ней и тихо спросил: — Ты боишься меня?

Она покачала головой, должно быть, хотела сказать, что не боится, но губы у нее еще сильней задрожали, и она не смогла выговорить ни единого слова. Он погладил ее по лицу, от виска вниз, и вдруг у нее на глазах заблестели слезы, а потом ее даже затрясло в плаче.

Имро смутился. И не Штефкины слезы смутили его, удивило ее поведение. Трудно было поверить, что эта живая и веселая девушка, какой он знал ее до замужества, казавшаяся ему такой же и после того, как вышла замуж, могла вдруг так перемениться. Такой он Штефку не знал, такой никогда не видел, не мог бы даже представить себе. Он гладил ее волосы, спину, плечи, но она плакала все громче. Он чувствовал, как у него намокает рубашка. В чем дело? Что все это значит? Почему она так плачет? Он говорил с ней, успокаивал, но не знал, чем объяснить ее поведение. Встревожился даже, что ее плач могут услышать.

Внезапно Штефка подняла голову. Кусая дрожащие губы, она заглянула ему в глаза.— Я люблю тебя, Имришко! — сказала она сдавленным, надломленным голосом и, опустив опять лицо, стала дрожащими губами целовать рубашку Имро, словно хотела проникнуть сквозь нее.

Эти слова поразили Имро. Поразило прежде всего то, как она произнесла их. Такие же слова вертелись и у него на языке, но он не решался их выговорить, а сейчас, когда она сделала это, он просто-напросто испугался. Но вскоре им овладела бурная радость, мир вокруг зашатался, закружился, стал будто даже ломаться. Имро внезапно почувствовал, что и в нем что-то ломается. Радость разлилась по всему телу, проникая в каждую мышцу, жилку, а вместе с радостью росла в нем и жалость. Имро приподнял лицо Штефки. Посмотрел ей в глаза. Потом обеими ладонями погладил ее по голове и поцеловал в лоб, хотя мог бы поцеловать и в губы. И снова погладил.

А больше ничего не было. Он тихо вздохнул и сказал:

— Пошли!

И они действительно потихоньку двинулись в путь.

Шли молча. Молчал и Имро. Два раза они остановились, но только на миг, поглядели друг на друга и опять пошли дальше.

Недалеко от имения остановились в третий раз. Долго-долго смотрели друг на друга, и Штефка опять прошептала: — Я тебя люблю!

Имро покивал головой: это могло означать то же, что сказала она, а может, и то, что он об этом знает, но могло означать и гораздо большее.

Потом он быстро поцеловал ее, на этот раз в губы. Нашел и сжал ее руку.

— Спокойной ночи!

Штефка подняла брови, взглянула на него еще раз и прошептала то же самое.

Он стоял на тропинке и смотрел, как она уходит все дальше.

12

Все последующие дни Имро прожил словно в горячке. Ходил как лунатик. В голове гудело, точно в улье. Он утратил душевное равновесие, покой, способность трезво думать, бороться с собой. Штефка неотвязно стояла перед глазами, но он не хотел признаться себе, что влюблен в нее, убеждая себя, что все это досужие вымыслы, что он скоро опять забудет о ней, и, однако, при всем при этом мечтал с нею встретиться.

Он чувствовал, что Вильма о чем-то догадывается, хотя сохраняет вид равнодушный; может, выследить его хочет, а уж как выследит — шуму не оберешься.

Такие мысли томили Имро постоянно. А что, если довериться Вильме?! Разве он уже не любит ее? Хотя нет, доверяться ей ни к чему. Толк-то какой? Только себе навредит, и Вильма зря будет терзаться, а потом всю жизнь бросать ему в лицо его же слова, попрекать, что он перед ней согрешил.

Согрешил? Не согрешил? Знать бы! А может, он любит и одну и другую, хотя сейчас ему кажется, что к Штефке его тянет сильнее, во всяком случае он так чувствует, и оттого он такой несчастный, несчастный и потерянный, ведь он никак не может справиться с этим. Бессилен даже владеть собой, воли не хватает, вот и ходит сам не свой. А то и вздохнет украдкой: господи, что же мне делать? Что мне делать? Боже, что мне делать? Что мне, наконец, делать?

Было бы хоть с кем поделиться! Но с кем? С Вильмой разговаривать он не станет, она не поняла бы его, отец и тот в толк не возьмет. Боже всемилостивый, до чего сложна жизнь! До чего жизнь сложна и запутанна! И поговорить-то не с кем! И поплакаться-то не перед кем! И пожаловаться некому!

Имро убежден, что самый несчастный, самый непонятый, самый истерзанный на свете человек — это он. Некоторые мужчины любят изображать из себя страдальцев. Имро к таким не относится, и все же сейчас он никак не совладает с собой. Что с ним стряслось? Сколько раз его одолевало желание бежать к Штефке, уверить ее, что он свою жену по-настоящему любит, но, когда удавалось встретиться, он забывал о Вильме и вел себя со Штефкой так, как ведут себя все влюбленные, все потерявшие голову люди.

Киринович дважды в месяц ездил по служебным делам в Братиславу, где у него, как он сам говаривал, было много работы и всякой хлопотни. Слово «работа» он часто заменял словом «обязанности». А порой для пущей важности пускал в ход все три слова: «У меня много работы, обязанностей и всякой хлопотни». Конечно же, хватило бы и одного из этих слов, но Киринович предпочитал много слов. На слова он никогда не скупился. Всякий раз перед дорогой он с печалью в голосе предупреждал жену, что обязанности и всякие хлопоты займут у него по меньшей мере день! «По меньшей мере» означало, что это будет не день, а два. Ведь в «обязанности» управитель включал и встречи с приятелями, а их у него в Братиславе было видимо-невидимо, и время от времени он любил с ними встретиться, немного потолковать, а то и кутнуть. Ведь кто знает, сколько у такого управителя обязанностей, хлопот или сколько их еще может быть? Словом, что было, то было! Главное — без него в имении на время воцарялся покой.

Покой! Опять же всего лишь слово! А на слова особенно полагаться не стоит. Кто-нибудь возьмет да скажет: покой! И тут же обнаружится, что это сплошное надувательство: подлинного покоя-то и нет. Есть на свете люди, которые не знают покоя, не могут даже представить его, вообще не понимают, что это такое. Вы, к примеру, скажете: покой! И при этом еще улыбнетесь, чтобы ясно было, что вы себе, да и другим, действительно от души желаете подлинного покоя. Но есть и такие, что после этого слова охотно заехали бы вам в рожу. Всякие на свете бывают люди! Однако слово есть слово, и в разных устах оно звучит по-разному. Иной раз — как угроза: «Помалкивай! Оставь меня в покое! Не разоряйся тут, ни звука больше, не то вздую как следует». Иногда говорят для острастки: «Тихо!

Спокойно! Кто-то идет! Минутку покоя! Тсс!» Оно может означать и равнодушие: «Оставьте меня в покое! Я не хочу и слышать об этом. Хочу покоя — только и всего!» Иногда это просьба вместе с молитвой: «Боже, пошли мне покоя! Прошу вас, люди, помогите мне, дайте покой мне! Боже, пожелай мне покоя! Услышь меня!» А тот, кто не любит кричать и не любит молиться, поскольку и молитва кажется ему притворной и тщетной, ни о чем не просит, никого ни о чем не просит, терзает самого себя, и сам себе платит дань, и что ни день у себя же требует платы, чтобы иметь чем обелять других или хотя бы обмениваться с ними улыбкой. Но если день скудный — бывают ведь скверные и скудные дни,— тогда и ему придет на ум слово, которого он так избегал и которое многие легковесно перемалывают во рту,— забьется он куда-нибудь в угол, уткнется головой в подушку или спрячет лицо в ладони и шепнет тайком то, что боится произнести вслух: покоя, покоя, покоя!.. Вновь и вновь повторяет он это слово, играет им и улыбаясь обливает его робкими слезами.

Покой! М-да, настоящий покой это как теплая, уютная комната. И это действительно комната: встретятся, к примеру, чех и словак и не будут больше друг на друга ворчать, поскольку поймут, что хоть оно так-то и так, а малость и не совсем так, и что хоть оба они чуточку правы, на свете есть бóльшая правда, чем у них у обоих; и засмеется один добродушно и скажет по-чешски: «Не горячись, брат, ступай в мой покой, там такая тишина! Ведь в Словакии я тоже как дома. Взойду на Татры, боже мой, до чего же хорошо, тихо! Чувствую себя как дома, как в собственных покоях. Вот отведай пирожка! Будь тут как дома».

Кое-кто, пожалуй, может заметить, что все это к делу не относится, что мы уж слишком часто отвлекаемся, затягивая ход событий. Но что ж тут такого! Разве это уж так важно? Кого это занимает? Да и на что они, эти события? Тот, кого занимают только события, может перескакивать через страницы, а то пусть возьмет другую книжицу почитать. А о том, что должно быть в этой книге, решаю как-никак я.

Кибиц, заткнись!

Когда мужа не было дома, Штефка еще засветло запирала квартиру и, уходя из имения, говорила: — Ключ возьму с собой. Пойду навещу своих.— Так она говорила. А иной раз, правда, это случалось редко, как бы невзначай добавляла: — Может, сегодня и не вернусь.

Но потом обычно сердилась на себя. Слишком поздно ей приходило на ум, что она в общем-то и не обязана никому ничего говорить. Верно, думала: и почему я должна батракам и батрачкам докладываться?

Кстати — и об этом, пожалуй, надо сказать,— со всеми в имении она жила в добром, поистине добром согласии; муж подчас даже упрекал ее, отчитывая за то, что она, мол, не умеет держаться на подобающем расстоянии от этой вонючей, грязной, тупой, отсталой и никчемной, воровской и гнусной своры. Право слово, он действительно упрекал ее в этом. При муже Штефка старалась держаться подальше от людской, но стоило ему выйти за порог, как она уже шныряла по батрацким лачугам. Она знала обо всем, что делается в имении: вникала в каждую свару, в каждую неувязку. Выведывала даже то, что батраки старались утаить. Бывало, пропадет мешок ржи или пшеницы, управитель ругается на чем свет стоит, рыщет по всему имению, сыплет угрозами, всех подозревает. Батраки прячутся по углам, спрашивают друг друга: «Кто бы это мог быть? Вишвадер? Голошка? Шумихраст? Илечко? Слобода? Мигалкович? Мруш-

кович? Или Зеленка? Илья Зеленка? Или это Галис? А мог быть и Габчо. И Мичунек. И Лойзо, и Людо, и Вило, и Винцо, и Шане, да и Йожо тоже вор. Все воры». А Штефка пороется в мужниных бумагах, а может, и перепишет что или только перечеркнет, бог ее знает! И вдруг оказывается, что мешок-то и не исчез и вовсе никогда не исчезал, что даже и мешка-то такого век не было, стало быть, и пропасть он не мог. И управитель жене верил, хотя скреб затылок и восклицал: «Все равно они мерзавцы! Все мерзавцы! Мерзавцы и жулики!» Но люди успели уже привыкнуть к этим словам. Хвалили управителя, хвалили и его жену. «Что ж, управитель наш по крайности такой, каким ему положено быть. А жена у него ловкая! Ловкая бабенка. А глаз-то у него какой! Ну и глаз! А жена-то, жена! Вот это женка! Словно создана для него. С той поры, как Штефка стала пани управительшей, в имении все ладится. А разве не так? Право же, ладится! Все идет как по маслу. Пусть кто посмеет сказать, что не ладится». Штефка знала, что ее любят. Муж мог злиться на нее, сто раз укорять, да ей и самой было в чем себя укорять — и даже очень,— но одно было ясно: мимо тех, кто нас любит, проходить молча нельзя.

— Ключ возьму с собой. Пойду проведаю своих. Может, сегодня и не вернусь.

Имро ждал ее. О встрече они обыкновенно уславливались заранее, уславливались и о месте встречи. В имении Имро не показывался, чтобы случайно не привлечь внимания, не возбудить подозрений. Будь он менее осторожен, могла бы случиться беда и похлеще. Управитель, к примеру, мог бы в последнюю минуту по какой-нибудь нежданной причине поездку в Братиславу отложить или вернуться оттуда до срока. Достаточно было и капли беспечности, и Имро мог нос к носу столкнуться с ним. Ну было бы дело! Лучше нам об этом не думать.

Впрочем, Имро не приходилось ни размышлять, ни изворачиваться, все получалось как бы само собой: между имением и Церовой столько тропок и дорог, столько славных укромных местечек! Они словно сами предлагали себя...

А ну как однажды все всплывет наружу? Что тогда?

13

Только Агнешка с дочкой перебрались в Околичное, как Вильма тотчас прибежала, вся запыхавшись, здороваться с ними: затискала, зацеловала и одну и другую, чуть не ошалела от радости.— Агнешка, золотко, не представляешь, как я тебе рада, как я рада, что ты тут останешься. Уж до чего рада, что ты останешься тут, что вы обе останетесь. И маме теперь будет веселей, и я сюда хоть когда заскочу, вот увидишь, каждый день тут буду.

— Этого еще не хватало! — сказала со смехом мать.— Ты и так тут всегда. Прямо как гиря на шее. Дохнуть не даешь.

— Мне же тоже хочется иногда посудачить,— рассмеялась Вильма.— Вот увидите, каждый день буду у вас. Прибегу, посудачим.

Мать всплеснула руками.— О, владыка небесный! Так тебя тут и ждали!

Но Вильму не собьешь с толку.— Могу прийти и помочь вам. Как накопится у вас работенки, я и помогу. Постираю, выглажу, а захотите, и сготовить могу. Все для вас сделаю.

— Ты дома делай! — охладила мать ее пыл.— Дома-то у тебя мужики!

— Да у меня тут и нет ничего,— засмеялась Агнешка, роясь в чемодане, где было кое-что из белья и одежды.— Взяла-то я всего ничего, лишь бы донести. Остальное Штефан по почте вышлет.

Штефан работал в главном жандармском управлении, и ему пришлось остаться в Штубньянских Теплицах. Агнешку это очень огорчало, но она утешалась тем, что это временное решение, война все же кончится, не будет же она длиться целую вечность. Должен же когда-нибудь кто-то выиграть ее или проиграть, или люди как-то иначе договорятся, война ведь всем давно очертела, а как наступит мир, главное управление опять переведут в Братиславу и опять будет порядок. Только когда же, когда это случится? Штефан говорил, что ждать, пожалуй, и не стоит, что лучше он попытает другой путь: напишет заявление, чтобы его освободили от должности в главном управлении и перевели в какой-нибудь жандармский участок на западе Словакии. Может, тут поблизости какое свободное местечко и найдется. Господи, был бы он уже тут! Только бы его просьбу уважили!

— Ведь там просто ужас,— рассказывала Агнешка,— почти каждый день тревога! Сперва-то были учебные, а теперь что ни день — все хуже: партизан в горах тьма, а Штефан и не заикается о том, и мне заказал, мол, не моги, и не смей, и знать не знай, да я вообще-то ничего и не знаю о партизанах.

— Господи Иисусе, да почему же? — заудивлялась мать.— Кто же о партизанах не знает? И когда Галис утащил у Кулиха окорок, все ругали партизан.

— Только там-то их видимо-невидимо, знаете, сколько их там?! А ночью, ночью всюду затемнение...

— Да знаю я,— сказала мать.— Дело известное, их там уйма, видимо-невидимо всяких прохвостов. А каково же бедному да глупому, да хоть, к примеру, такой дуре, как я, глупой-преглупой, ведь вот тоже целый год по бедности кормлю свинью, а как потом опять же по бедности свинью выкормлю, нагрянет какой-нибудь прохвост да в один присест мою свинью-то и слопает!

— Ой, мама, дались тебе эти прохвосты,— говорит Агнешка.— Речь ведь о том, чтобы Штефана перевели. Знаешь, как там ужасно? Что ни день — тревога, что ни день — тревога. Поначалу были одни учебные, а теперь ужас, просто ужас! Ничего вы не знаете! Верьте не верьте, а их там видимо-невидимо!

— Совсем как тут,— мать вновь ее перебила.— Нынче везде затемнение. Думаешь, уж больно тревожусь из-за этого? Ничуть. Бумаги мало, что ли? Заклеила окна и двери, теперь мне покойно, по крайней мере покойно, хотя, что говорить, покой я могла себе и иначе устроить, зачем мне для этого затемняться. Лягу чуть пораньше спать, вот и свет сберегу. А люди часто думают, что у меня свет горит, что у меня дома свет горит. Фигушки горит, вообще ничего не горит, вообще ничего. Только и бывает, что маленькую лампочку зажгу, а то и не зажгу вовсе, и свечки у меня даже нету, только та освященная громница [1] с прошлого года, только та и есть у меня, а к чему ее зажигать? Жалко, ей-богу, жалко ее зажигать. Нашарю впотьмах постель, да ее и шарить не надо, лягу себе и сплю. Свет берегу.

— Мама,— обратилась к ней Вильма,— не все же ложатся спать с курами.

— Больше всего я самолетов боялась,— Агнешке позволили, наконец, вставить словечко.— Ой, как я этих самолетов боялась. Иной

[1] Свечка, которую зажигают во время грозы.

раз и ночью, и ночью иной раз такой страх найдет, такой ужас! Ей-богу, не вынесла я, взяла да убежала.

— Я бы вынесла,— засмеялась мать.

— Гула я не вынесла,— сказала Агнешка.— А здесь самолеты так же гудят?

— Ой-ой-ой! Еще как! — отозвалась опять мать.— Чай, и у нас воздух есть. Или думаешь, воздуха тут нету? Еще сколько его! По воздуху они и летают, летают по воздуху, отсюда да туда. Сколько раз мы на них с Вильмой смотрели, сколько раз их считали! Мы уже к этому гулу привычные.

— Я тоже привыкла,— сказала Агнешка.— А страшно, страшно там, знаете, как страшно?! Там еще страшнее. Там горы, Штубньянские Теплицы в горах, в самых-самых горах. Кругом одни горы. Бывало, и Штефан пугается. Ой, как летят они, как летят, мы все бегом в убежище, а Штефан, бывало, совсем напугается. И он сказал, что по крайней мере теперь, когда я в положении, мне нельзя там оставаться.

— Нууу! — Обе тут же стали ее оглядывать.— Правда? Ты ведь даже ничего не сказала, ничего не написала.

— А зачем было писать? Вы разве не знали? Да неужто не знали? А я-то думала, вы знаете, что уже узнали.

— А откуда! Ведь ты нам не сообщила, не написала!

Вильма поглядела и сказала оценивающе: — И не заметно совсем.

Агнешка, почти оскорбленная: — Ага, еще как заметно! Гляди, какая я! — Она выпрямилась, чуть оттянула, одернула платье.— Видите, какая я?

У матери был глаз наметанней, зорче: — Заметно. Ну как, видишь или не видишь? По крайности будет прибавление семейства. Опять ребятенок. Завтра же в передней горнице приберусь.

— Мама,— поддела ее Вильма,— ты же там вчера прибиралась!

— Вот! — Мать переглянулась с Агнешкой, пальцем указала на Вильму: — Вот видишь, как она меня вышучивает!

— Ай-ай-ай, да вы все такие же дурашливые, что одна, что другая,— заудивлялась на них Агнешка.— Все еще друг дружку поддеваете? Неужто вас это еще забавляет? Ведь и я прибираюсь, и я наводить порядок умею. Боже, Вильма, до чего же ты глупенькая! Ведь и ты у себя наводишь порядок!

— А как же, навожу,— похвасталась Вильма.

— Ей Гульданы помогают,— выдала ее мать.— А как помогут, так у нее и времени хоть отбавляй, вот она и таскается сюда что ни день.

— У меня всегда время есть,— смеялась Вильма.— Его у меня всегда вдоволь. Ну как, убрать тут? Как бы я вам тут все порасставила. Так, значит, у нас будет маленький?! — Она весело тряхнула головой, глаза у нее засверкали.— А Зузка? Где Зузка? Ой, малышка уже глазки заводит! Конечно, устала с дороги! Пойду-ка уложу ее в задней горнице! Либо ты, мама, ступай и уложи ее там поудобней.

14

Несколько дней кряду, радуясь Агнешкиному приезду, Вильма не могла ничем толком заняться, слонялась из угла в угол, хваталась за одно, за другое, но все валилось из рук.

«Боже, да я ни на что не гожусь!» А выпадало немного свободного времени, она спешила к сестре. И опять разговорам не было конца.

Раз, а то и два в неделю Агнешка получала от Штефана письма; всякий раз убегала в переднюю горницу и там втихомолку читала их. Мать заглядывала к ней, хотела знать, что пишет Штефан, но Агнешка артачилась, утаивала письма.

— Глупая! — настаивала мать.— Жалко тебе почитать, что ли?

— Не могу.

— Ну почему ты такая глупая? Я же никому ни-ни. Вильме и то словом не обмолвлюсь. Дай сюда! Не хочешь читать, так дай его мне! Одним глазком взгляну и тут же верну.

Вильма обычно не входила, а врывалась в комнату.— Агнешка, не таись! Знаю о письме, мне почтальон сказал. Быстро читай! Я хочу знать, что пишет Штефан.

— Какие вы противные! И что вы такие любопытные? Чего пристаете? Разве моя вина, что вам никто не пишет? Да там и нет ничего такого. Кланяется, вот и все.

— А как кланяется? Ну читай же, Агнешка! Мы хотим знать, как он нам кланяется.

— Зачем мне читать? Я и так все помню. А хотела бы, могла бы и присочинить.

— А ты лучше не присочиняй!

— Да не могу я прочесть. Правда!

— Почему не можешь? — В Вильме росло любопытство.— Видишь, какая ты? Теперь уж я от тебя не отстану, потому что мне сделалось еще интересней.

— И мне интересно,— призналась мать.— Где письмо? Куда его спрятала? Немедля покажи! А некоторые места можешь и пропустить.

— Лучше не надо! Пусть ничего не пропускает.

Наконец Агнешка сдалась.

Письма Штефана были красиво и аккуратно написаны, аккуратным и обстоятельным было и их содержание; он сообщал Агнешке, не упустив ничего, обо всех новостях, событиях, о разных забавных, повседневных мелочах и всегда в письмах было множество вопросов, советов, примеров, наставлений, приветов и поцелуев на долю каждого. Иной раз, право, было даже трогательно, как он умудрялся всех и все держать в памяти, упоминать и о том, и о сем, спрашивать об одном, другом, третьем, а то и о совсем уж далекой родне и слать поклоны именно тогда, когда было нужно.

По поводу каждого письма Штефана начинались бесконечные толки. Порой в разговор приходилось вступать и Имро — Вильма всегда обо всем ему докладывала.

Имро любил свояка, но, случалось, и злость брала на него, и тогда начинал он ворчать: — Черт возьми, ни о чем другом и не говорите, все только о Штефане. Вы что, думаете, он там пропадет? Съедят его там, что ли? Сапоги ему были нужны, да? Ведь я его туда не посылал, я ему сапог не навязывал. Хотел быть жандармом, хотел носить форму, пусть теперь ее и носит. Думаете, ему кто поможет? Кто ему теперь поможет? Ждать надо! Ждите конца войны, а там, глядишь, что-нибудь да проклюнется! До некоторых вещей человек своим умом дойти должен. Хочешь носить сапоги и форму, топай, маршируй, слушайся, повинуйся, маршируй и слушайся. Я за него топать не собираюсь. О таких делах надо было раньше думать. Что в армии, что в жандармах — никакой романтики уже не осталось. А может, ее никогда и не было. А хоть и была бы, теперь каждый, у кого голова на плечах, плюет на романтику. В форму человека можно только впихнуть. А того, кто лезет туда из-за денег либо ради сапог, мне не жалко. Всяк умный, пока все хорошо, а когда плохо,

да-да, когда потом туго приходится, вздыхать поздно. Раньше надо было вздыхать! Ведь когда плохо, так всем уже плохо. Каждый сам должен с бедой справиться.

15

У Имро, правда, были иные заботы. Он встречался со Штефкой два, три раза в неделю и всякий раз цепенел от страха при мысли, что Вильма что-то почувствует, даже, может, почувствовала, но еще не уверилась в этом.

Однажды Штефка спросила его: — Вильма ничего не знает?

— Ничего,— сказал Имро.— Откуда ей знать? Или ты думаешь, я ей исповедуюсь?

— Даже ни о чем не догадывается? — выпытывала она.— Не подозревает тебя?

— Думаю, нет, навряд ли,— Имро старался убедить Штефку, а главное, себя.— Наверняка ничего не знает. Откуда ей знать?!

Помолчали, а потом Штефка опять заговорила, должно быть, ее мучила совесть: — Знаешь, я иногда чувствую свою вину перед Йожо, а вот как подумаю, то сдается мне, что я вовсе и не виновата.

Имро поглядел на нее с любопытством. Нельзя ли понятнее выразить свою мысль?

— Знаешь, я тебя еще раньше любила,— продолжала Штефка.— Очень любила. Но чувствовала, что ты ко мне равнодушен, что тебе дела нет до меня. Обидно было. До сих пор обидно. Сперва я на тебя даже немножко злилась. Ты, конечно, был обручен с Вильмой, я понимала, но все же и со мной можно было обходиться поласковей, помягче. Это как бы задевало меня, обижало. Хотелось отомстить тебе, а как — не могла придумать. Йожко я не любила, возможно даже ненавидела, и знала, что ты его не выносишь.

Имро перебил ее: — Я такого тебе не говорил.

Но Штефка стояла на своем.— Ты намекнул,— сказала она с улыбкой.— Но не в этом дело. Я хотела тебе отомстить и не знала как. Вот я и уступила уговорам Йожо. Знаю, что глупо. А ты что об этом думаешь?!

— Что мне думать? Ничего я не думаю. Могу только сказать, в каком я был тогда положении.

— Нет, не надо. Не надо ничего говорить. Хотелось бы просто знать: что ты обо мне думаешь.

— Говорю же: ничего не думаю.

— Ты, должно быть, не понимаешь меня. Я отдалась Йожо гораздо позже, чем ты думаешь. Просто так, ни с того ни с сего. Из упрямства. Не могла тебя переупрямить — тебе же было на меня наплевать,— вот я и решила себя обмануть и обманула.

Имро молчал. Свои мысли он держал про себя.

— Только Йожко обидел меня больше, чем ты думаешь,— продолжала она.— Не представляешь, какой он был грубый. Но я сама виновата. Конечно сама виновата, сейчас-то я понимаю, но тогда, когда ты меня сторонился, а Йожо ходил за мной по пятам, я ужасно злилась и со злости, может, и отдалась ему. Случилось это вечером, и я тогда очень переживала, не могла и слова вымолвить, не знаю, что со мной тогда сделалось, а в нем-то уже была уверенность, он знал, что взял верх, все время шутил, болтал, но хоть это были и шутки, а все равно в них было много грубого и обидного. Представляешь, что он мне сказал под конец? Он сказал: думал я, что ты еще девушка, а ты обыкновенная курвочка. И еще ржал при этом. Я просто не знала, как защититься. Тогда-то я действительно была

еще честной, действительно была девушкой, а он дурак, кругом дурак, господи, что за дурак, он даже не понял, что я была девушкой! Правда, потом он изменился, стал относиться ко мне лучше, и сейчас он гораздо мягче, совсем другой, но о том я не забыла, просто не могу забыть, как он тогда со мной обошелся и что сказал. А знаешь, что я ему сказала? Я была девушкой, но ты этого так и не понял, и потому, Йожко, если представится случай, я тебе изменю, чтобы ты оказался прав. И может, только потому я с тобой первый раз и легла.

— Только потому? Значит, только потому ты со мной встречаешься, что злишься на Йожо?

— Не только потому. Я же говорю, что любила тебя, вот именно, любила и люблю до сих пор. Долго меня мучила совесть, правда, я корила себя еще и за то, что перед тобой провинилась. Ведь Йожо я видеть не могла. И после свадьбы он был мне противен. Теперь я вроде притерпелась. А вот люблю ли, трудно сказать, в самом деле трудно сказать. До сих пор не знаю. Отец говорит, что Йожо всегонавсего управляющий, и не больше. По-моему, сказано в самую точку. Он старательный, все, что нужно, достанет. Иной раз начнет уверять, что я для него очень много значу, слова всякие подыскивает, чтобы меня убедить, отблагодарить, но мне-то сдается, что он говорит об этом так же, как о табаке или кукурузе.

А бывало, она рассуждала и так: я его чуточку даже люблю. Правда вроде чуточку люблю. В нем есть и хорошее, даже много хорошего. В каждом есть что-то хорошее. Иной раз и упрекаю себя: это же мой муж! Или мне просто захотелось стать пани управительшей? Что ж, я же знала, должна была знать, за кого выхожу. Теперь-то все стало совсем, совсем по-другому. И потом, человек должен придерживаться каких-то твердых правил. Каждый человек. Да, каждый! Кривда может когда-нибудь и против нас обернуться.

Благих намерений у Штефки было многое множество, но в жаркие минуты она всегда забывала о них: все свои мысли и чувства она тратила на то, чтобы доказать Имро, как она с ним счастлива.

16

И все-таки Вильма учуяла неладное. С Имро что-то творится. Он сам не свой в последнее время. И с каждым днем это заметнее.

А ведь прежде был спокойный, веселый, всегда шутил, смеялся, смеялся и ее шуткам, а теперь все по-иному: часто рассеян, настроение поминутно меняется, ни с того ни с сего раздосадуется, а почему — никогда не скажет.

Имро явно от нее что-то скрывает. Надо непременно обо всем разузнать. Только уж больно он теперь осторожничает. Не раз пыталась она потолковать с ним, но он всегда отвечал уклончиво, болтал, болтал, пожалуй, больше, чем нужно, но из его болтовни так ничего и нельзя было вызнать.

Конечно, она не подозревала его ни в чем дурном, ей и на ум прийти не могло, что у него какие-то свои, тайные тропки. Она думала, думала и сама себя успокаивала: скорей всего это просто недоразумение, вот-вот оно выяснится, разрешится. А может, это то самое, что порой накатывает на человека и что нельзя ни понять, ни отбросить, то тяжкое чувство, что нам всем так знакомо, ибо мы не раз его испытали и даже нашли для него подходящее слово — возможно, каждый свое, и еще знаем: как оно пришло, так и уйдет. Хоть бы поскорее ушло! Ведь тяжесть эта прилипчива, иной раз всю семью

истерзает, и уменьшить ее или совсем сбросить можно, только если с кем-нибудь ею поделишься.

Чудной он какой-то! И есть стал как попало. Говорит, не хочется, хотя еще недавно уплетал за обе щеки! Все, бывало, сглотнет без разбору, все с тарелки подчистит, а теперь только раскрошит, расковыряет и сидит, сидит, о чем-то, верно, думает, не приведи бог потревожить его! Иной раз вымолвишь слово, а он уже хмурится, а то и заворчит. Не смей его ни угостить, ни спросить.

Мастер над ним головы не ломает, ничего и не замечает, должно быть, а если и замечает, так относится к этому совсем по-другому. Бывает, и скажет: — Чего насупился? Чего лоботрясничаешь и дуешься? Делать нечего, так ступай в сад, там найди дело. Вильме подсоби! Либо в горнице что-нибудь почитай! Не торчи тут как пень.

Только мастер говорит это так, невзначай вроде. Лишь бы что-то сказать, а в общем-то Имро его мало заботит. И Имро к его словам не больно прислушивается. При отце он немного даже сдерживает себя, притворяется. При отце сдерживается, а остается с Вильмой с глазу на глаз — опять прежний. Вот это ей и кажется странным и очень уж подозрительным, вот это и настораживает ее, тревожит. Иногда приходит мысль: не провинилась ли она в чем, не допустила ли промашки, которая Имро огорчила и огорчает, вот он и злится. Неужто в этом дело? Но она никакой вины не сознает за собой, никакой промашки, ни о чем таком даже припомнить не может.

Что бы Имро откровенно с ней поговорить? Так нет же, скрытничает, избегает ее. Иногда ей кажется, что он избегает даже ее взгляда. А вечером нарочно уходит из дому и возвращается совсем поздно, чтоб не ложиться к ней.

А она его ждет. Каждый вечер. Глаз не смыкает, покуда он не придет. Он является домой часто пьяный, тихонько ворчит, но Вильме сдается, что он и тут ее обманывает, больше притворяется, чем пьян на самом деле, а то и вовсе изображает очень пьяного, лишь бы от нее отвязаться.

А зато и она иногда его обхитрит. Шмыгнет в его постель с вечера и ждет, дождаться не может.

Наконец Имро приходит, вслепую раздевается и, подойдя к постели, вдруг замирает, стоит, переминается с ноги на ногу, никак не может решиться. Потом откинет перину, потихоньку хмыкнет и скажет в шутку: — Гм-м, гм-м! Никак я ошибся.

Славная получается встреча. Вильма улыбается, и улыбка ее все краше и краше, даже впотьмах видно. Конечно, стоит ждать в мужниной постели!

Сладко спится ей возле Имришко.

17

Но потом настает новый день, за ним еще один, а пройдет больше дней, и Вильма вдруг уверится, что ее подозренья оправданы.

Имро и впрямь стал другим. День ото дня все более хмурится. Нередко придирается к ней без всякого повода, правда, не сказать, чтобы очень, все больше словечком, оброненным вскользь или ненароком, но Вильме из всего этого ясно, что она не ошиблась: Имро гложет затяжная какая-то злость, и он от нее не умеет или не может избавиться. Оттого она и ходит угрюмая, разнесчастная, однако и виду не подает, никому не жалуется, боится, как бы еще хуже не стало. Того и гляди, у мастера тоже испортится настроение, подымется шум во всем доме.

А вдруг Имро возненавидел ее именно за эту угрюмость? Смехом, конечно, что хочешь прикроешь, но вдруг Имришко смеха-то ее и не терпит? Уж не смеялась ли она лишку? Вперед будет осторожней,

меньше будет смеяться. Можно же научиться. Вильма понятливая. Да вот какой толк от этой понятливости? Какая от нее радость? Уж никак и ей притворяться? Обоим притворяться? Не лучше ли откровенно спросить его: ты что-нибудь имеешь против меня?

Нет, она не спросила его, не попрекнула ничем, чтобы, не дай бог, еще не подумал, будто она в чем-то подозревает его. Несколько раз только украдкой поплакала. Чуть помогло. А потом испугалась: не заметит ли он? А ну как заметит? Бегом к зеркалу: у зеркала с минуту дивилась, в самом деле дивилась: а я-то и в слезах хороша! Что ему во мне не нравится? Может, веснушки? Но я же и прошлый год была такая, и прошлый год, и всегда была весноватая. Веснушки мне к лицу, любой скажет. Я всем нравлюсь, да и сама вижу, что хороша, вижу, какая я красивая. И сейчас, когда плачу, красивая. И тут же засмеялась. Утерла слезы. Хоть пока его дома нет, посмеюсь! Она подумала так, и в зеркале появилась улыбка, только чуть-чуть другая, поосторожнее. Может быть, она даже не понимала, что это улыбка, которой хотела или должна была научиться: улыбка для Имришко.

18

Лето кончалось. Август был на исходе. Про жатву почти позабыли. Только из амбаров да с гумен еще доносилось резвое «цупи-цупи»: люди молотили цепами то, что не взяла молотилка. Жнивье уже по большей части вспахали, кое-где засеяли свеженьким летним клевером — он уже дал зеленые всходы. В иных местах на почве проклюнулись листики осенней репки; еще два-три дождичка — и дети, а главное, чабаны, что пасут скотину на подножном корму, смогут поживиться, полакомиться.

Хозяин, может, этого и не заметит, а заметит — ругнется, заохает, а то и смажет двум-трем сорванцам, и опять все ладно. Хватит на зиму корму, хватит и скотинке, хватит и свиньям! И крестьянин доволен, будет и ему чем прокормиться. Война войной, а есть надо! Есть должен крестьянин, есть должен и сыночек, который на востоке разряжает винтовку и то и дело замирает от страха, что и его кто-то возьмет однажды на мушку и под ним закачается, разверзнется земля, и после, после, когда солдатик уже ни о чем знать не будет, кто-то заплачет о нем. А кто-то другой, может именно тот, у которого прицел оказался вернее, сглотнет горькую слюну и обронит: «Еще одним подонком и олухом меньше!»

Бедный солдатик! Как же должно быть тоскливо тебе! Тоскливо в могиле, тоскливо и до могилы!

А другой марширует по Италии, треплет словацкие башмаки, обдирает ими итальянскую землю. Он затягивает то и дело ремень, частенько подкидывает заплечный мешок, в котором, как говорят, каждый солдат носит пресловутый маршальский жезл. Так, стало быть, добро пожаловать, маршал словацкий, добро пожаловать. Италия тебя приветствует!

Маршальский жезл впивается в спину, у маршала урчит в животе. Эх, был бы я теперь дома! Да, настал бы войне конец, очутился бы я дома, в Липтове либо в Турце, а то под самой Трнавой, откуда видны Нитрьянские горы, Зобор и Жибрица! Эх, и показал бы я тогда вам, каков словацкий маршал у себя дома, на нашей словацкой ниве!

Тоскливо в Италии. И дома тоскливо. Кибиц, а тебе каково?

Тоскливо, братец, тоскливо. И мне тоскливо. Иначе разве молол бы я такие глупости?

Минул август. Мастер с Имро стали рыть на гумне траншею. Набежало зевак, множились речи.

— Что-то больно замахнулись,— заметил кто-то.— Нечто горницу себе ладите? На кой ляд вам такая яма?

— Под картошку,— отшутился мастер.

— Была бы только! — заметил Кулих.

— Как будет лихо,— продолжал мастер,— залезу в траншею и начну во все стороны картошкой швыряться. Картофельную войну затею.

— Гляди, чтоб тебя не зашвыряли! — пригрозил кто-то. Кто — неважно.

— Понадеялись на немцев, вот и получили. У них у самих земля горит под ногами. И над нами сгущаются тучки. Вот ужо запрыгаем, увидите.

— Кто это на них надеялся? А на кого другого нам было надеяться? На кого? Может, на чехов? Или на венгров? Не думаете ли вы, что будь мы в каком-нибудь протекторате, мы бы Гитлеру хуже служили? Что ж, по-вашему получается — во всем зле, что накатило на Европу, мы виноваты?

— Мы тоже.

— Мы тоже! Ишь ты, мы тоже! Уж не потому ли, что не хотели дать себя слопать? Смешно слушать! Народ, который вечно был под сапогом, вдруг должен спасти всех?! Выходит, французы и англичане герои, а мы трусы?! Чехи — бедолаги, а мы подонки?! Неужто мы только для того, чтобы нас любой мог прибрать к рукам или раздавать, как гостинцы? Сильные державы сперва отскочили в сторону, а теперь, когда такая каша заварилась, будут удивляться, что в горшке оказался и горох?! Или, если иначе сказать, к стаду свиней прибавилась еще одна?! Что ж, пускай оно так!

— Эка нагородил! В эту яму и то всего не вместишь!

— Отстань от него! Он хочет картофельную войну затеять. Слыхали, что Бенеш говорил?

— Тс-с! Сейчас всюду уши.

— Бенешу в Лондоне хорошо говорить.

— Думаешь, в Лондоне не стреляют?

— Ну и пускай. Мне-то что до него? Бенеш — маленький господин.

— Маленький, но и большой. Думаешь, он укатил в Лондон в гольф играть? В два счета сюда пожалует. Опять будет тут мозги вправлять.

— Ребята, у вас часы отстают! Война-то уже у порога. Под самым вашим носом!

— Плевал я на Лондон и на Бенеша,— сказал Кулих.— Кончится война, возьму тюк кожи и отправлюсь в Одессу. Словак с русским легко столкуется. Думаете, я их боюсь? Я против них не воевал. Дойду с этой кожей до самого Владивостока, буду русским сапоги тачать.

— Дубина! Думаешь, у русских кожи нету?

— Так без кожи пойду. По крайней мере, веселей идти будет. Дело-то не в коже, а в Бате. Станет он увязываться за мной, я им и скажу: этого сюда не пускайте! И они уже под Медзилаборцами пнут его в зад.

— Пнут Батю — могут пнуть и Кулиха, на кой им этот старый болван? Вот и потопаешь обратно от самой границы и будешь рад-радехонек, добравшись до Околичного...

19

Имро весь день работал с отцом. Вечером во дворе умывался, Вильма была дома, у нее гостили мать и Агнешка с дочкой.

Окна были раскрыты, женщины громко разговаривали. Толковали о каком-то письме, которое нынче пополудни принес почтальон. Письмо было от Штефана, и Агнешка снова заставляла себя уламывать — ни за что не хотела сестре и матери его прочитать. Наконец они все же уговорили ее.

«А с пятницы на субботу опять была у нас учебная тревога. А узнали мы про нее уже после. Проснулся я в двенадцать часов от собственного кашля и вдруг слышу — сирена. Доносится еле-еле. Подбежал я к окну и спрашиваю у ночного дозора, что как раз проходил мимо, никак тревога? Была, говорят, да вся вышла. Тогда я обратно улегся в постель. А утром узнал от женщин, которые толпились на улице, что сельский пастух Малина как заслышал ночью сирену, со страху и удавился».

— Господи Иисусе! — вздохнула Вильмина и Агнешкина мать.

Вильма одернула ее: — Мама, не перебивай!

Агнешка продолжала читать: «Прихожу в канцелярию, а там сразу изволь объяснить, по какой причине ночью не был на учебной тревоге. Я сказал, что на Нижней Штубне сирену вообще не было слыхать. То же втолковывали и другие. Крику было порядком, да на том дело и кончилось. А в тот самый день, стало быть в пятницу, только поздно вечером, вдруг заявляется Анча, с ней Амалька и пан Худа из Топольчан, вроде торговец не то портной. Анча интересуется, могут ли они у меня переночевать, а я не посмел перечить. Боялся ее, а почему, сама знаешь. Надумали они сразу, что надо идти в Теплицы звонить. Повстречали Гаспрунара, а тот им говорит: чего ради идти в Теплицы? Ступайте к нам в комендатуру! Будто в комендатуре телефона нету! Пошли, а их там сразу застукал пан Игринг; Тайцнару, Гаспрунару и командиру поста повелел явиться с рапортом и Анче наговорил такого, что ей хватило сполна. Утром ребята явились с рапортом и, в общем, все обошлось. Сразу следом за ними пошел я к пану Игринку, а он меня спрашивает: так как же насчет этой Пеньяжковой? Налицо там оказался и коллега Скарчак, поэтому я пана Игринга спросил: что, если остаться нам с глазу на глаз на минуту. Скарчак ушел, а пан Ингринг говорит: теперь будем с тобой беседовать не как высший с низшим, а по-товарищески. И я ему на все вопросы ответил прямо, неуклончиво, то есть с моей стороны ни одного слова вранья не было. Надеялся я кое-что вызнать, только пан Игринг хотя и имел поведение товарищеское, а выглядел очень сдержанным, на все как-то удивлялся, и это меня сильно огорчило.

Не соображу, узнал ли он от меня такое, чего дотоле не знал, а про себя скажу, что я такой же умный или глупый, каким был прежде. Мне уж вроде казалось, что он задумал на что-то намекнуть, но именно в ту самую минуту отворилась дверь и в канцелярию вступили трое мужчин; один из них даже шляпу не снял, мол, некогда. Из ихнего разговора я понял, что это художники, по видимости, живописцы. Все трое пану командиру были хорошо знакомые, по крайности, мне так показалось. Я ушел, чтобы дать им поговорить. Да вот дела! Покуда я сидел у пана Игринга, Анча с Амалькой отправились в гостиницу пообедать. Обедали в Гранде, а оттуда видать в окна пана Игринга, там-то они меня и углядели и, должно, согласились на том, что раз я там так распрекрасно и долго рассиживаюсь, то пан командир узнает все возможное. Ну скажи, Агнешка, что уж такое он мог от меня прознать?! После обеда заявился ко мне Тайцнар и говорит: Пишта, пошли Анчу с Амалькой проводим до станции. Идем. По дороге к нам присоседилась и та самая троица, которую я имел честь видеть в комендатуре. Сперва они о чем-то шушукались с Амалькой, а потом набросились на меня. Один-то был правда живописец, а двое только

прикидывались, изо всех сил корчили из себя художников. Который живописец, стало быть, тот, настоящий, вдруг и говорит: мы с вами уже знакомы или ошибка вышла? Никакая не ошибка, говорю, виделись мы нынче в комендатуре. Он чудно так усмехнулся, а следом заговорила Анча: знаю, Штефанко, что ты у командира наболтал и нажаловался. Мне все выложил один офицер. И давай меня песочить. Чего только не наболтала. А еще такая ерунда: пост, который нес утреннюю службу, остановился в комендатуре, а урядник Гозлар мне говорит: пан главный, у вас в гостях Пеньяжкова, а она должна была в течение суток прописаться на жительство. Мы обязаны определить ей штрафу, по крайности, в сто крон. Что тут поделаешь? Ну, мог я сказать, что она не у меня? Потом он меня спрашивает: пан главный, а не знаете, что она делала сегодня утром в казарме? Почем мне знать? Слово за слово, от Гозлара я узнал, что часовой пробовал ее задержать, только она ведь наверняка думает, что он ей не указ, взяла да его и не послушала... Агнешка, прости, что я так расписался! Больно меня разозлили. Всю дорогу они меня шпыняли да шпыняли. Довели до того, что я им напомнил: я-то ведь сам куда приезжаю, хочу не хочу, а прописаться в жандармском участке на жительство должен. А Анча говорит: кто должен, а кто и нет! Художник, так тот сказал, что и он на жандармов кладет. Все на меня накинулись. Анча сказала, что я обыкновенный фискал. Вдруг вытащила из сумки тысячную банкноту, да так зло, по-барски и хлопнула меня ею по лбу: вот тебе, Штефко! Чтоб ты не говорил, что за Пеньяжкову сотню пришлось выложить! А на железнодорожной станции людей несметная сила. Все нас видели. От стыда я чуть сквозь землю не провалился. Я сказал: всего вам наилучшего! И сразу пошел прочь. Агнешка, слава богу, что ты отсюда уехала. И я постараюсь отсюда куда-нибудь перевестись, не знаю только, удастся или нет. Всему виной эта проклятая война. Одна надежда, что она долго не протянется и мы ее в благополучии выдюжим. Агнешка, главное, чтоб человек всегда поступал честно и чтоб понапрасну никому обид не чинил. А которые люди зараз за двумя зайцами гоняются, таких я не терплю. А вообще как живете? Самочувствие у тебя хорошее? Что днем поделываете? Вильма еще никого не дожидает? Имро ее слушается? Мама здорова? Хорошо ли ей живется? Сообразила бы ты мне какую посылку. Не посылочку, а дожидаю посылку: помидоры, перец и фрукты. Эх, вы там и живете! Вареную кукурузку жуете. О том, что я тут написал, никому ни слова и это письмо сразу же сожги!

С тем всех вас горячо целую и шлю поклон.

Ваш отец, зять и свояк Штефан».

Имро выслушал почти все письмо. Пропустил только начало, так как сперва не прислушивался. Редко когда его занимало, о чем женщины судачат. А теперь, когда Агнешка письмо дочитала и все трое принялись умничать, каждая на свой лад, он стал на них немного сердиться, а больше всего на Агнешкину дочку, которая хныкала все и что-то клянчила: «Мама, дай! Ну, мамочка?! Мамочка, еще дай!»

Имро это злило. Хотелось подойти к окну и крикнуть: дайте ей, чего она хочет, пусть только не визжит.

Но потом подумал: какое мне до вас дело, черт вас дери! По крайней мере быстрей смотаюсь отсюда. А с другой стороны, письмо было занятное. И заинтересовало Имро. Он злорадно захмыкал: «Хе, у пана главного урядника тоже свои проблемы! Поделом ему! Хотел носить форму, а теперь ему в ней уже несподручно. Носи, жандармишко, носи!»

На другой день отец стал его совестить: — Послушай! Ты куда каждый вечер таскаешься?

— Таскаюсь? — защищался он.— Да я нигде не был. Или уж и на кружку пива сходить нельзя?

— Пожалуй, зашибаешь лишку,— пенял ему мастер,— что-то стал изрядно закладывать. Думаешь, это геройство?

— Кто говорит, что геройство? А пиво все же выпить могу. Уж никак хозяйка на меня жаловалась?

— Только ее не касайся! Вильмы ты не касайся! Не жаловалась, а могла бы. Я бы вовсе не удивился. А вот тебе нечего каждый божий день будто телок нажираться. Иные мужики на войне, а ты тут зашибаешь. Считаешь, это все, этого с тебя хватит? Хотел жениться, так, стало быть, дома сиди, о жене думай!

— Ну ладно, ладно! Буду при ней сиднем сидеть. Пожалею ее, чтобы тебе больше не плакалась.

20

Однако тех, кто тогда сохранял ясную голову, было немного. В Околичном — и того меньше. Их, пожалуй, по пальцам можно было бы перечесть — одной, от силы двух рук бы хватило. Позже, после войны, таких стало больше. Куда как поприбавилось. Когда все позади, всегда находятся светлые головы и, уж конечно, герои, что горазды другим мозги вкручивать и хотя бы задним числом войти, так сказать вписаться, в историю. Только у истории своя правда и своя справедливость. Проходят годы, нет-нет да и родится простак, который не лезет в герои, не мнит себя даже умником, но любит людей и, поскольку хочет любить их еще больше, роется в учебниках, а значит, и в учебниках по истории, нередко встречает там забытые имена и пытается с ними познакомиться, ближе сойтись, однако мы-то знаем, до чего убоги учебники, а учебники истории — те и вовсе: зачастую они ужасно отрывочны, пережеваны, так и сяк перетолкованы и искажены. Начнет любознательный ученик сравнивать такие учебники и сразу заметит, что они не ладят друг с другом, не ладят и с историей, словно хотят его убедить, что история всего лишь забавные плутни и в нее с одинаковой легкостью могут протиснуться и прохвост и святой, ибо двери ее распахиваются при заклинании: «Дуди в свою дуду»; со временем из прохвоста станет святой, а святой может превратиться в прохвоста, однако всегда тот перетянет, кто войдет в историю с большей пышностью или хотя бы большей кровью. А что, разве не так? Или наш простак ошибается? Но надо заметить, да мы и не преминем заметить, что ученик тут ни при чем, огрехи в самих учебниках. Иной раз ему и вовсе покажется, что учебники истории нарочно созданы для того, чтобы поглупеть от них еще больше. Но как уже сказано, простачок любит людей, и оттого все человеческое представляется ему замечательным и занятным, замечательны даже мошенничества и обманы, что уносят в потоке истории имена не только святых, но и прохвостов, имена доблестных и мерзавцев, имена благодетелей и воров, героев и предателей, а вот имена обыкновенных, самых обыкновенных людей, что никогда не помышляли стать святыми или героями, предаются забвению, после них остаются щели, ужасно много щелей, которые мы ловки затыкать словами «рабы», «солдаты», «крепостные», «крестьяне», «рабочий класс». Имя крестьянина, что тысячелетье назад выращивал хлеб, неведомо нам, но имя того, кто хлеб этот грабил или губил его мечом и дубиной, блещет во всей красе, и горе тому школьнику, который его не запомнит! Не одному школьнику взгрустнется на уроках истории. Грустит он, возможно, и после, когда улизнет или вырвется насилу из школы. Снова и снова роется он в учебниках, листает страницы старой и новой исто-

рии, ходит по музеям, разглядывает всевозможные ружья и сабли, просматривает старые письма и грамоты и ищет в них забытые имена, уже утратившие смысл и даже звучание; он был бы рад оживить их, и прежде всего тех, о ком не знает вообще ничего, как не будут знать и о нем, он представляет себе лица людей, которых никогда не видал, но знает, что здесь они были, трудились, хлопотали, выращивали хлеб и, если везло, спокойно озирали отчий край, которым теперь любуется он, порой блуждали по нему измученным взглядом, а порой на их лицах мелькала улыбка, и кто-то, верно, обрадовавшись, ловил ее и в свой черед такой же улыбкой одаривал кого-то другого, радуя и его; возможно, в самом деле так и было, кто знает... Проходят годы, и ученик — иной им остается всю жизнь — потихоньку старится и понимает, пусть с опозданием, что учебники истории читал зря, особого ума от них не набрался. История всюду, ее открываешь на каждом шагу — но меньше всего из учебников. Кто хочет постигнуть историю, тот должен уметь читать ее на земле, да-да, на земле, в природе, на дорогах, родных и чужих, на берегах рек и морей, в больших и маленьких гаванях, близ железнодорожных станций, на обветшалых улочках городов и столиц, в селах, городах и местечках — некоторые из них позабыты настолько, что их нет уже и на карте,— в фасадах домов и лачуг, на их облупленных стенах с осыпающейся штукатуркой, на лугах и полях, где среди хлебов торчала забавная древняя башенка, а теперь уже совсем развалилась, ибо некому было подправить ее, на горах и холмах, куда из года в год взбираются на выгоны отощалые коровенки, обдирая рога и бока о широкую, покореженную стену какого-то странного белокаменного венца, которому никто не дивится — ведь он тут от века, и пастуху, что гонит коров и лихо хлещет кнутом, даже на ум не приходит, что он миновал ворота старого языческого городища, над которым слегка повевает теплый ветерок и тихо шелестят листвой вековые деревья; а под их скрюченными сучковатыми корнями ржавеют стародавние мечи, копья и стрелы, щиты и шлемы безвестных воинов, павших тут несомненно очень, очень давно, и, должно быть, пали они бесславной смертью, ибо никому не хотелось ни хоронить их, ни даже ограбить. Только земля — а она куда старше, чем человечество, и история ее гораздо богаче — была к ним справедлива; засыпав пылью, а позже прикрыв травой и кустарником, она снова ласково их обняла: все вы дети мои! Но человек, покуда жив, не мирится с подобной правдой. Мнится ему, что он для этого слишком умен, довольный собой, он беспрестанно твердит, что он один тут хозяин, один волен распоряжаться землей, менять ее лик, нарушать законы и так и сяк ее ворошить. Отчасти это и удается ему, но что толку? Пустое! Тут только ее законы извечны, только она, материя, умеет приноравливаться и сносить любую разумную, а порой и неразумную игру — и в этом ее величие, несравнимо большее и куда более совершенное, чем дано понять человеку. А уж что говорить о красоте и совершенстве вселенной, в которой земля — лишь смешная, неприметная, хотя и не совсем ничтожная частица. Так к чему заноситься? Заносится лишь тот, кому доступна только малая, а то и вовсе глупая игра (заносчивого, самовлюбленного человека устраивает ведь какая угодно глупость, да он и сам себя устраивает), он не смыслит и не хочет смыслить в большой игре, в которую втянута вся вселенная, и человечество с незапамятных времен силится постичь ее и участвовать в ней подобающим, достойным образом. Большая и мудрая игра для большого и мудрого человека. Тот, кто не знает правил игры, не может менять их, и нечего ему заноситься, ибо с таким же успехом мог бы заноситься и червь, которому удалось подточить и до времени сбросить с дерева яблоко.

Что же добавить еще? Напомню, пожалуй, то, о чем уже говорил: историю нужно искать и читать на земле и чутко прислушиваться, ибо никогда не знаешь, что земля тебе может поведать.

Оглянитесь вокруг и, может, вы увидите перед собою развалины, что уже заросли или зарастают чащей, травой, и вы вообразите себе или, возможно, от кого-то услышите, что в отдаленные времена прошел здесь герой или безумец, который никогда ничего не построил, но зато словчил уничтожить и разрушить великое множество зданий, построенных другими, и таким путем пролез в историю, даже в учебники; вот его-то заслугами и его славным именем послушные и терпеливые учителя забивают и морочат головы послушным и доверчивым ученикам. А что, если один из них спросит: «А кто построил это здание?» Допустим, речь идет о крепости или замке. В ответ могло б прозвучать: «Подданные».

«Подданные? А как их звали?»

«Трудно сказать. Их много там было. В истории о них не пишут».

В один прекрасный день любознательный ученик совершает экскурсию, отправляется к старым развалинам и долго бродит вокруг, со всех сторон их разглядывая. Озирает он и окрестности, любопытствует, как они смотрелись из замка. И вдруг замечает вдалеке пахаря, и кажется ему, что пахарь этот с незапамятных времен тут ходит и пашет. Может, только время от времени гати[1] меняет, да разве дело в гатях? Он вглядывается в него издали, потом подходит ближе и, когда убеждается, что с пахарем и поговорить можно, пристраивается к нему — он ведь в самом деле чуткий и любознательный мальчик, он знает, что пахарь пусть какой ни есть говорливый, а останавливать плуг посреди борозды не любит. Поэтому они ходят рядышком и разговаривают.

«Долго вы уже пашете?» — спрашивает мальчик.

«Долго, сынок, долго»,— отвечает старик.

«А с каких пор?»

«С утра».

«С утра? И вчера вы тут были?»

«Был и вчера. Но вчера я не пахал. Да я тут всегда обретаюсь. Пашу иль не пашу, мотаюсь по полю!»

«А когда пропашете, что делать станете?»

«Садить буду, садить».

«Картошку?»

«Должно быть».

«А почему ее сразу не садите?»

«Ай нет! — схватывается крестьянин.— Картошку, знать, нет. Лучше что посею».

«Что же посеете?»

«Пшеницу».

«А чье это поле? Ваше?»

«Конечно,— тянет крестьянин.— А чьим ему быть-то?»

«Я только спрашиваю».

«И то дело. Спрашивать надо».

«А до этого? До этого чье было поле? Всегда было ваше?»

«Всегда. Пожалуй, и так можно сказать. Мой отец на нем трудился, а нынче тружусь я, так оно и должно быть. Я пришел вслед за ним. После меня, может, уже некому будет прийти».

«Почему?»

«Да так. Шучу. Думал, ты возьмешься. Сумел бы пахать?»

«Я еще не пробовал».

---

[1] Широкие полотняные штаны.

«Еще попробуешь. А чей ты? Не знаю, к кому тебя и причислить. Ты не нашенский?»

«Нет. Мне хотелось поглядеть на замок, вот я и пришел сюда».

«Вот! Вот! Ну как, оглядел?»

«Оглядел».

«А я опять пашу».

«Дедко,— мальчик снова заговорил.— А вы где живете?»

«А что? Где же мне жить? Дома живу. Вон там! В той деревне. Там мы всегда жили, там я и нынче живу. А зачем тебе это?»

«Знать хочу».

«Так, так! Живу в той деревне. Ты один был в замке?»

«Угу. Один».

«И я туда ходил. Я там часто бывал!»

«Дедко, а что вы там видели? Кто там тогда жил?»

«Ничего я там не видел. Это старый замок. У него много было хозяев. Да я их не знал. Зато мой отец о замке всякое ведал».

«Расскажите мне!»

«Да я уж позабыл!»

«А отец ваш?»

«Нету его. Помер».

«Дед, дедко мой,— улыбается пахарь,— нынче-то и я уже дед, так вот он знал о замке еще больше. Многое в голове носил. Память ему не отказывала. Крепкая у него была память».

«А что говорил?»

«Не больно разговорчив был. Скажет что, а потом опять ничего. А жалко. У меня не та голова. Будь я тогда поумнее, мог бы кой-чего и упомнить. Хороший был замок! Мой дедко иль то прадедко был? Оба пахали. Пахали тут, ясное дело, еще на хозяйской земле и тогда этот замок еще вполне хорошо гляделся. Да он и нынче глядится. Славный замок, и впрямь славный замочек! А когда-то, должно, он тут и вовсе красив был».

«Вы же говорили, это было ваше поле»,— напомнил ему мальчик.

«Как? Поле? Ага, поле! Мы его пахали. Господа не пахали. Кто-то должен пахать. Отец, дедко. Завсегда кто-нибудь да пахал. Нынче я».

«Дедко, а кто был старше? Замок или ваш дед?»

«Как? Который дед? Мой дедко? Ась? Замок. Разумеется, замок. Замок был куда старее. Только мой дедко тоже имел деда, которого я самолично не знал. Да и знать даже не мог, но, верно, так было, знаю, так оно водится. У каждого деда есть свой какой-нибудь дед. Нынче и я дед, пашу себе помаленьку. Хочешь еще что знать?»

«Хотел бы знать, кто этот замок построил».

«Кто построил? Дедко построил. Какой-нибудь мой дедко, вместо которого нынче я пашу. Я об этом никогда не раздумывал — дурная моя голова, но я всегда к этому так подходил, всегда я так на замок смотрел: вон тот славный замок построил мой дедко либо прадедко. А кто его разрушил, откуда мне знать, да оно и ни к чему мне. Знаю только, мой дедко его не разрушал. То был, верно, хорош дурак, хорош герой, что спалил и разрушил такой славный замок!»

«Дедушка, а вас как зовут?»

«Зачем тебе?»

«Знать хочу».

«Все-то знать хочешь. Зовут меня Гирко. Мы все Гирко».

И когда мальчик, простившись с пахарем, идет домой, он знает то, чего не мог узнать в школе: один из тех, что строили замок, звался Гирко.

Был бы этот мальчик постарше да побогаче, может, он исходил бы все края и все как следует осмотрел бы, обо всем порасспрашивал.

Может, и до Египта дошел бы и, остановившись у пирамид, оглядел бы и их, а потом и людей, каждому бы в глаза заглянул, в каждого бы всмотрелся и до тех пор внимательно бы всех изучал и слушал их речь, пока не нашел бы своего брата, отца, деда, чей дед или прадед был когда-то рабом и строил пирамиды во славу бессмертных и смертных фараонов, а также во славу себе, поскольку и он был достаточно славен, хотя считался рабом, и ему славы хватало, он щедро мог ее раздавать, чтобы тысячелетья спустя всем его детям и всем его братьям, богатым и бедным, во всех бедных и богатых краях перепало от этой славы, от горькой славы его, заточенной в пирамидах и развеянной горячими и студеными ветрами во все концы земли, которая так же щедра, как и он, щедра и ласкова, любит умных и простаков, богатых и бедных, праведных и грешных, искренних и лгунов; снисходительная и терпеливая, земля упорно ждет, научится ли чему-нибудь у нее человек, совершит ли он что и каким войдет в ее прах; она ждет потому, что у нее своя мудрость, своя правда, своя справедливость, земля вновь и вновь рождает ее, ею обновляет, направляет, омолаживает и озаряет жизнь, да, жизнь — и нашу конечно, которую потом, когда мы потихоньку состаримся или до времени окончим ее, увенчает все той же правдой, мудро и справедливо: все вы дети мои!

Аминь, кибиц! Пошли теперь дальше!

21

События бурно менялись. Каждый день приносил ворох новостей. Одни были действительно новые, другие в пути состарились. Всякой всячины люди могли повыудить и из газет, но газеты теперь читали с пятого на десятое. Люди охотнее прислушивались к словам писаря, священника или учителя, но и те знали ничуть не больше остальных. Голов было много, но мало кто разбирался в положении настолько, чтобы рассортировать поступавшие новости, создать из них правдивую картину.

Немцы всюду отступали. Десантные войска союзников вытеснили их из Франции. Союзники взяли город Сен-Ло и, продвигаясь вперед, освободили Авранш, Ренн, Нант, Анжер и устремились к Парижу. Париж был освобожден.

На Восточном фронте тем временем наступает Красная Армия. Немцы оттянули свои войска за реки Вислу, Неман, Сан. Фронт с юга, запада и востока сужается, все больше приближаясь к границам великогерманской империи.

В короткий срок была освобождена Польша. А 23 августа, когда парижане, стремясь приблизить день свободы, подняли восстание, Румыния подписала договор о перемирии и два дня спустя объявила немцам войну.

Забурлила и Словакия. Красная Армия на границе. В горах полным-полно партизан. Деревенские пророки сеют страх и панику. Женщины вздыхают и причитают. Каждый вечер ходят со священником в костел молиться. Зато дети и в костеле все еще озорничают, вплетая в молитвы слова «мессершмитт», «юнкерс», «хейнкель», «фокке-вульф», «кондор»... А мужчины то и дело опасливо вслушиваются в гул авиамоторов, смотрят на небо, потом, спокойно повертев головой, хмыкают и продолжают беседу: — Приближается, уже и к нам приближается!

— Я давно знал,— замечает один,— что дело серьезное. Я сразу это понял. В самом начале.

— Хлебнем лиха. Увидите, достанется нам и от русских и от немцев.

— Ясно, достанется. А тебе больше всех.

— Почему именно мне?

— Потому что у тебя блат был, потому что помпон на шапке носил. Понял, болван, для чего ты свои сапоги таскал? Для чего в трубу дул? Для чего ты эти гардистские сапоги драил?

— А ты потише! Не кричи, еще не конец!

— Думаешь, мне конец нужен? Не знаю, что ли, какой будет конец? Форму подальше запрячь! А лучше закопай ее, как закопал сало и сахар.

— А кто ж не закапывал?

— Румыны уже повернули против них. Слыхали?

— Румыны? А как?

— Просто. Повернули и стали в немцев стрелять.

— Надо же! Кто бы подумал, что румыны так ловки поворачивать?! А наши ни с места!

— Как ни с места? Тоже тужатся, тоже кинулись.

— Опять? А на кого? Ей-богу, не хотел бы я быть сейчас на Пьяве[1].

— Черт возьми, ребята, да оглянитесь вокруг! Чего Пьявой стращаете? Разве тут не на кого кинуться? Застрелили Отто[2], какого-то большого военного начальника, что возвращался из Румынии и нес либо вез в Германию какую-то миссию, что ли. Что точно — не знаю.

— Какую миссию? Что еще за миссионер?

— Генерал. Немецкий генерал. И еще какие-то военные господа. Говорят, их была целая туча.

— И что?

— Убили их.

— Как?

— Щелчком.

— Ребята, не валяйте дурака! — вмешался в разговор жестянщик Карчимарчик.— Говорите толком! Тут не до шуток, ребята! По мне, так больно много мы себе позволяем.

— А они что делают? Они могут себе позволять?

— Я не о них, я о нас говорю. Если кому охота дичать, пусть прыгает, брыкается, только у себя дома, а не за мой счет: мне моя жизнь дорога, да и жизнь других.

— Ну уж и впрямь!

— Ребята, это не смешно! Что тут смешного! Или вы думаете, мне хочется, чтобы немцы прикончили меня?

— Караул, братцы, караул! Дротаря у нас забирают!

— Живо на помощь!

— Говори, Карчимарчик!

— Вы идиоты!

— Вот уже и досталось!

— А они могут? Они все могут, да? Немцы все себе могут позволить?

— Карчимарчик, говори!

— Ребята, я им советов не давал, не давал им советов. Не было меня в правительстве ни после первой, ни перед второй войной, я не решал, кто может себе что позволить, а кто нет.

— Карчимарчик не решал!

— Конечно я не решал!

---

[1] Река в Италии, на которой происходили бои в первую мировую войну.

[2] Расстрел немецкой миссии во главе с генералом Отто, возвращавшейся из Румынии в Германию через Мартин, явился одной из первых акций Словацкого национального восстания.

— Чего же тогда выставляешься? Боишься немцев, так садись на велосипед и кати домой! Двигай газеты читать! Либо послушай радио, может, о немцах что и узнаешь.

— Мне радио не требуется. Я и без радио знаю о них. Знаю и почему боюсь их. Господи боже мой, ребята, я вас не понимаю, совсем не понимаю вас!

— Не кричи, не кричи! Не надрывайся! Не надрывайся, Карчимарчик! Когда шли против евреев или против русских, ты тогда небось не надрывался!

— Я и тогда кричал. Карчимарчик и тогда кричал. Я кричал, да вы уже не помните. Память у вас коротка. Я кричал, только никто не послушал, как и сейчас вы не слушаете.

— Говори, Карчимарчик!

— Послушаем дротаря.

— Никто не хотел слушать. Никто не хотел слушать. Вы скорей какого олуха или безумца послушаете. В два счета кого хочешь обсмеете, как меня обсмеяли, а вот о собственной глупости и о собственном безумстве не задумываетесь. Одно знаете — зубы скалить. Смеетесь, а спохватываетесь, только когда задымится под задом, когда все уже либо сгорело, либо здорово подгорело, и тут уж вы сами над собой причитаете, годами причитаете, вдыхая собственный смрад, и детей из поколения в поколение также приучаете смрадом дышать.

— Ну это ты круто замешал. Едкий крепачок! Такого, поди, даже Гульдан не вынесет.

— А совершит кто добрый поступок или, может, просто безумный, вам все одно, вы все равно дружно каждого высмеете, а годы спустя прославите его и возвеличите. Стоит указать: вон того прославьте! — и вы тут же: ура! ура! Горе тому, кто не пожелает вопить и горланить вместе с вами! Горе тому, кто будет чуть иначе горланить или осмелится пойти чуть другим путем, хотя вы-то и собственного пути не видите, ибо не видите дальше своего носа, вы хотите быть и тут и там, сперва тут, потом там, вы за все и против всего, за каждого и против каждого, против евреев, против русских, против Польши и против венгров, на время с чехами, на время против чехов, с немцами и против немцев, с Лондоном и против Лондона, того самого, что начхал на вас в беде и, может быть, еще сто раз начхает на вас, вы за Англию и против нее, за Америку и против Америки, за все Америки и против всех Америк, за все власти и против всех властей, но сами за себя вы еще никогда не были, вы всегда были только против себя, поскольку в общем-то ничего о себе и не знаете, а может, это вам и неважно, вас заботит только кадушка с маслом, на худой конец, даже пустая кадушка либо соседская свинья — как бы ее выкрасть из хлева; годами ведете вы потешные споры и тяжбы, не жалеете друг друга, всегда у вас была и будет тьма ненавистников, вы только и знаете, что ищете их, они повсюду у вас, а дома — больше всего, вечно между вами раздор, собственного голоса вы не слышите, может, вы и впрямь не народ, не доросли еще до народа, повинуетесь и всякий раз вытягиваетесь в струнку перед любым чужеземным болваном. Болваны меняются, вы — никогда. Все так же подскакиваете и вытягиваетесь в струнку. Бараны! Ослы! Идиоты! Ошалелые бараны, ошалелые ослы!

— Эй ты, дротарь! Тебе еще никто не надавал по морде?!

— Идиоты! Идиоты на потребу себе подобным: ослы — ослам, дураки — дуракам, убийцы и самоубийцы — убийцам и самоубийцам...

Тут Карчимарчик вдруг осекся. Было заметно, что некоторым мужикам речь его не по вкусу, иные, правда, все еще улыбались.

Он удивился: — Вы не поняли! Вы совсем ничего не поняли...— Он обвел их взглядом, потом понурил, по обыкновению, голову и сказал: — Извините!.. Может, я ошибся... Извините!.. Не сердитесь!..

Он сел на велосипед, склонил голову еще ниже. И не спеша покатил восвояси.

А был уже конец августа. В садах дозревали сливы, алели яблоки. Близилось начало учебного года, и родители волновались: дети пойдут в школу, надо будет их одеть-обуть. Ах, дети, дети! Было бы только что есть — и теперь и зимой, кончилась бы только война!

И вдруг в один прекрасный день люди услыхали по радио — в Околичном было всего четыре репродуктора — такую весть: «...партизаны подрывают основы нашего государства, уничтожают плоды нашего труда, нападают на наши деревни, грабят наше народное достояние и вероломно убивают наших людей. Враг намерен продолжать свое преступное и дьявольское дело для того, чтобы нас поработить и погубить нашу столь дорого оплаченную свободу и государственную самостоятельность... Ввиду сложившегося положения в Словакию направляются части немецкой армии...»

Люди слушали затаив дыхание, потом стали спрашивать друг друга: — Слышали? Вы слышали? Немцы пришли. Что это значит?

— Что значит?! Пришли устраивать Schutz [1]. Пришли шуцовать. Освобождать нас от партизан.

— От каких? Разве они до сих пор о них не знали? Ведь партизаны тут давно Всюду партизаны.

— Как всюду? Я их не видал. Ни одного не видал.

— А ты на меня погляди! Как следует погляди! Может, я и есть партизан.

— Ну с тобой я бы и сам легко справился. Для таких партизан немцы нам не нужны. Ей-ей, этот немецкий шуц занимает меня.

— И меня. и меня.

— Всем бы только шуцовать! Уж больно этот немецкий шуц занимает меня. Ребята, да ведь они на нас идут. Это нас пришли они утюжить и изводить.

— Сдрейфил? Чего тебе их бояться? Они и до сих пор были тут. Кишмя кишат в Братиславе. Не видал, что ли, как они там маршируют? И каждый думает, что сапоги и фуражка — это уже все, что главнее его уже и нет никого. Ну и пусть себе маршируют, коли нравится. Чихал я на них, я их совсем не боюсь.

— Я знал что так будет. Это за ту миссию и за того генерала, которого два месяца назад кокнули на востоке, и за ту военную автоколонну.

— Какую автоколонну?

— За те машины с бензином, что сгорели вместе с солдатами. Нужно нам это было. да?

— Почему нам? Ведь это русские сделали. Русские с ними воюют. А что, по-твоему, они должны были пропустить колонну в Россию или на Украину, чтобы немцы у них еще больше деревень подпалили?

— Но это было на нашей земле. И наши, говорят, помогали русским. Там и наши были.

---

[1] Защита, оборона *(нем.)*.

— Русины.

— Русины и словаки. Может, они вовсе не знали, что там бензин был. Ну и пекло же, наверно, там было, люди добрые!

— Ну было. Ясное дело, было. Иному и взглянуть на такое страшно.

— Смелость нужна тут, смелость нужна.

— Смелость нужна, это точно!

— Какая такая смелость? Кинул спичку — и вся недолга.

— Гм, гм! Хотел бы я на тебя посмотреть.

— А хоть и две спички!

— Взрывчатку. Там наверняка была взрывчатка. Либо зажигательная бутылка. Кто-то и кинул ее.

— Может, оно и так!

— Именно так, а иначе ничего не получится.

— Как это не получится?!

— Ужас что было! Огнище до самого неба. Все полыхало и взрывалось. Бензин шипел, горел, хлестал во все стороны.

— Так, именно так. Значит, был человек, нашелся для такого дела человек. Ох и зол был на них, верно...

— Ясное дело, зол, без злости тут не обойдешься. А что же дальше?

— Вот и я говорю, вот и я говорю. Дальше-то что? О таком огне, о таком-то полыме забыть нельзя. Божья кара, огнь кромешный, Содом и Гоморра! Все сгорело дотла, все сгорело. Пепла не осталось. Милые мои, пепла и то не осталось. А от людей, от немцев, ни следа. Все сгорело. Какие страшные взрывы! На востоке все это слышали. Бензин взрывался, пламя полыхало аж до самого неба. Винтовочной пальбы и то слыхать не было. А мужики, выходит, партизаны эти — среди них, говорят, и дети были, мальчишки,— носились вокруг огня да кричали, жуть какая-то. Ужас, люди добрые, ужас!

— А ведь они могли там и задохнуться. Все там могли задохнуться, испечься.

— Даже ума решиться, ей-ей, даже спятить могли, ей-ей! Ужас, ужас, ужас! Небо заполыхало. Уж кто-нибудь там наверняка ополоумел, ошалел, творилось что-то страшное, все дотла сгорело. Ни один немец в живых не остался. Все сгорело, пепла не осталось. Люди добрые, ведь это даже слушать было невмочь, не для моих ушей это, и теперь слова из глотки не лезут, это же ужас какой-то, от них и пепла не осталось, слышите, люди, пепла не осталось, ни горстки пыли, ни пылинки. Господи Иисусе, люди добрые, язык отнялся, прямо язык отнялся, ни слушать, ни сказать не могу.

— Привыкнешь. Немцы тебя еще многому научат. Будет, по крайней мере, у тебя хорошая школа.

— Господи боже мой, вы только подумайте, люди! Только подумайте! И подумать об этом страшно. Такое в башке не уместится, в башке не уместится, прямо язык отнялся, слов нету...

— Кто от черта наберется, тот и до черта доберется!

Итак, пришли немцы, немецкая армия! Все говорят, что позвало их братиславское правительство, чтобы они навели у нас порядок, ибо сами мы порядок навести не умеем.

Увидим то, что видно будет. Увидим, каков он, этот порядок.

Что сказать на это? Что думать об этом?

Немцы наводить порядок умеют, опыт у них богатый, сколько раз они уже наводили порядок и дома, и за границей. И нас уже

подучили, и нам кое-что присоветовали, да вот теперь хотят поучить нас еще лучше, обстоятельнее, оттого и пришли — явить нам свой немецкий порядок.

Что ж, приготовимся встретить немецкий порядок!

В Околичное они еще не заявились, но люди уже цепенеют от страха, гадают, что будет, как будет. У всех поджилки трясутся, немцы, говорят, теперь лютые,— еще бы не лютые! — говорят, страшно им,— еще бы не страшно! — лютые они и страшно им, потому что их отовсюду гонят в шею.

Мужики ворчат, кто в одиночку, кто сбившись в кучку, прикидывают, прикидывают, как бы обхитрить немцев и как бы защититься от них.

— Я, ей-же-ей, ума не приложу, что будем делать,— говорит один.

— А ну как сюда к нам нагрянут? — спрашивает другой.— Целый год свинью откармливаю, а теперь, когда ее путем откормил, ни за что не отдам немцу. У меня свои рты, свои дети. А у кого рот, тому есть надо. А ежели кто за едой меня в задницу пнет, то эдак я могу и аппетит потерять.

— Так я и позволю им себя пинать! — храбрится третий.

— Думаешь, тебя спрашивать будут? С нами в два счета расправятся. Долбанут тебя, и очухаться не успеешь. С востока на них жмут, с запада вытуривают, а тут еще румыны и другие народы начинают поддавать им. Только мы с ними остались, в одной ловушке сидим: вы, мол, наши крестники, у вас, мол, самостоятельность, вот и слушайтесь крестного отца — ну, надо нам все это было? Твою мать... и немецкую и словацкую! Все подохнем, увидите!

Поскольку вести из Братиславы и Банска-Бистрицы были напрочь противоположны, некоторые не знали, куда податься, чью сторону держать, с кем быть. Вот бы наведаться в Бистрицу! Узнать бы сперва, как там дела обстоят! Нелишне было бы заглянуть и в Турец, заскочить в Мартин или Микулаш; побывать и тут и там, потолковать с людьми, порасспрашивать их, как они смотрят на вещи. С тех-то гор, наверно, дальше видно, оттуда можно и осмотреться — оттуда, наверное, и южан видать, хотя кто знает. Вот бы во всем самим убедиться!

Конечно, приход немецкого войска никого не обрадовал, всех взбудоражил, но речь шла не только о немцах, сразу надо было решить множество вопросов. Что будет с нами? Что будет со Словакией? Речь шла о многих вещах, над которыми ломали голову люди и поумнее, чем какой-нибудь мужичок из Околичного, речь шла о многих и многих вопросах, решение которых откладывалось со дня на день, а тут решать надо было быстро и быстро же действовать.

В Околичном не было тогда героев. Жили там всего лишь обыкновенные землепашцы да несколько ремесленников, и они не очень-то задумывались о геройстве. Возможно, им хотелось только выполнить долг и вести себя как положено, но большинство из них даже не знало, что такое долг. Да и почему именно им надо было знать? Ссорилось правительство, не ладили между собой и те, что были в новом правительстве и стремились управлять дальнейшим ходом событий; неудивительно, что и крестьяне обменивались мнениями и спорили друг с другом, каждый умничал на свой лад и соответственно этому и поступал. Двое сразу ушли в партизаны, просто исчезли из Околичного, ведь в Околичном не было партизан. Остальные раздумывали. Ждали, что будет дальше. Прислушивались к любой весточке, правдивой или ложной, а им счету не было; что-то доходило из Братиславы, что-то из Банска-Бистрицы — откуда только

не доносились слухи. Один был в соседней деревне и там что-то слышал, другой уверял, что был в Трнаве и собственными глазами видел там марширующих немцев, и все это выглядело вполне достоверным. Кое-что и сами присочиняли — тогда каждому хотелось быть умнее других.

Некоторые уверяли, что в Бистрицу перебежала часть братиславского правительства, что будто даже все правительство хотело повернуть против немцев и что об этом уже велись переговоры с русскими, но кто-то выдал все Гитлеру, и тот сразу же послал к нам свои армии.

Одна крестьянка из Церовой пришла в Околичное и рассказала, что немцы, мол, схватили президента, сцапали его, когда он выходил из своего дворца, а теперь держат его в каком-то большом немецком помещении, где ему даже есть не дают.— В этом большом немецком доме,— говорила женщина,— есть такое маленькое оконце, а как ушли немцы обедать, пан президент отворил оконце и заговорил с двумя мужиками, которые во дворе яму копали, и сказал, что не даст себя сломить и что нам тоже надо держаться, так как русские уже идут к нам на помощь и, выходит, страшиться уже нечего. Сталин пана президента заверил, что ни одна христианская душа не пострадает. Когда он говорил о христианах, он имел в виду и лютеран и католиков, хотя с этими лютеранами не все ладно. У них нет даже девы Марии в костеле! Лютеране, правда, языком зря не треплют, держатся дружно, небось не такие дураки, как католики. И мой олух с каждым готов сцепиться. Я прямо не знаю, с чего эти католики, набожные люди, так поглупели. Все же Сталин помощь нам обещал. Сперва, конечно, даже разговаривать не хотел. Спросил пана президента: — А до сих пор ты где был? — Где был? Сам знаешь небось, где я был. Не мог же я предать Рим, когда вокруг меня столько католиков.— А тот ему и говорит: — Ну и ступай себе в Рим, пусть они тебе помогают.— Только потом за нас какой-то лютеранин вступился. Нет, лютеране не дураки. Нам бы поучиться у них.

А в Омпитале, говорят,— это тоже дошло до Околичного — восстал из земли святой Ленгардт и спросил: — Что же вы, словаки-омпитальцы, сидите сложа руки?

— А что нам делать? Мы ничего не знаем. Мы всего лишь омпитальцы. Пахари и виноградари.

— Омпитальцы, да вы что, слепые? Ничего не видите? Люди гибнут, а вы ничего не знаете? Не знаете, кому помогать должны?

— Мы друг другу всегда помогаем. И раньше помогали. Юрай Фандли был тут настоятелем, может, он и родом отсюда, правда, пока это еще точно не установлено, мы из-за этого долгие-долгие годы с частовцами спорим, потому как они ремесленники и большие господа. Идут они к себе в Частую, а никогда не скажут: идем в деревню! Всегда только: идем в городок! И Фандли хотят присвоить себе, чтобы хотя не деревня, а люди вокруг признали, что у них городок. Ведь они там друг к другу только на «вы» и обращаются. Тут жил еще и Палкович, а кто такой Палкович, каждому известно. У нас много Палковичей. Я, к примеру, тоже Палкович. Зовут меня Палкович. Мы друг друга уважаем и друг другу помогаем, потому что у нас было много знаменитых предков, они дурному нас не научили.

— Омпитальцы, но сейчас речь идет о народе! Сейчас речь о народе и о его чести! Речь и о других народах!

— И мы народ. Мы всегда были народом, а понадобится, в обиду себя не дадим. Уж как-нибудь у себя дома спасемся и отобьемся.

И святой Ленгардт опечалился. Опечалился и ушел.

Был там еще мужичок из Штефановой, так тот после его ухода сказал: — Вовсе это не святой Ленгардт был, а партизан. Русский партизан. На шапке у него была звездочка.

Со стороны Частой бежал человек. Ночью остановился в Дубовой и стал стучать кому-то в окно: — Вставайте! Слышите? Проснитесь, вставайте! Некогда толковать с вами, живо вставайте и ведите меня на Бабу!

— И это называется разговор, да?!

— Некогда лясы точить! Быстро одевайтесь и отведите меня на Бабу, не то худо будет.

Кто бы это мог быть? Опять же партизан.

Через Яблоницу бежал другой человек. Дело было днем, и он спешил в Сеницу, но не хотел в этом открыться и потому спрашивал дорогу на Брадло: — Скажите, пожалуйста, я правильно иду на Брадло?!

— Правильно, правильно. Вот идите на Сеницу, а там за ней будет и Брадло.

А потом спросили его: — А зачем туда идете? О такую-то пору в Брадло не ходят.

— А я вот иду в Брадло,— ответил человек.— Иду в Брадло. Я еще весной решил, что в начале осени схожу туда, а теперь вот иду.

И яблоничане улыбались.— Так идите, значит. Идите в Сеницу. Оно, конечно, еще не совсем начало осени, да это уж ваше дело. Если хотите попасть в Брадло, ступайте в Сеницу, а оттуда и попадете!

А в Околичном Карчимарчик ходил по деревне и убеждал людей: — Слушайте, люди, надо идти, ничего не попишешь.

— Ага, глядите-ка на него! Что это с ним стряслось? Да что с тобой стряслось, ты же во как распекал нас, а теперь по-другому заговорил?

— Положение изменилось,— отвечал Карчимарчик.— Немцы уже тут, все мы знаем, что это значит. В Центральной и Восточной Словакии дерутся. Там наши, надо помочь им. Положение изменилось, надо идти.

Он заглянул к Фашунгу, но тот отказался: — Не серчай, Матуш, я не пойду. У меня характер не тот. Убить корову либо теленка — это куда ни шло, но смотреть, как люди мрут, не могу. Не серчай, Матуш! Сходи к Кириновичу, авось его уговоришь.

Карчимарчик наведался и к Гульданам. Мастер был дома один. Имро с Вильмой пошли проведать Агнешку, утешить ее — события последних дней сильно напугали ее. Она ничего не знала о Штефане и тревожилась за него. Несколько раз ходила на почту, думала дозвониться, но всякий раз ей говорили, что линия повреждена.

Мастер, правда, получил телефонный вызов и припустился на почту, но соединили его только на следующий день. Невестки сообщали ему, что Якуб и Ондрей ушли к партизанам. А до этого, говорили они, мужья получили повестки, вступили в армию, но и обжиться-то не успели в казарме, как начался переполох; командир, дескать, на линейке прямо так и сказал солдатам: положение очень серьезное, вот-вот нагрянут немецкие части, захватят казарму, а потому разумней, не дожидаясь их, разойтись и рассеяться. Кто хочет,

может вернуться домой к семье, однако в таком случае пусть действует на свой страх и риск. Остальные же по двое, по трое, а то и бо́льшими группами пусть попытаются перейти к партизанам. Якуб с Ондреем выбрали этот путь. Один их товарищ, из тех, что вместе с ними прибыли в казарму, предпочел другое: он помчался домой, оповещая каждого встречного о том, что случилось в казарме, рассказал обо всем и Ондровой жене и Якубовой и передал от мужей им поклоны. Невестки вздыхали и хлюпали в телефон, и мастер все хотел их утешить, но так и не успел — связь оборвали и больше не наладили.

Сейчас мастер с озабоченным видом ходил по горнице и раздумывал, что делать. Сесть за стол и написать что-нибудь невесткам? Или отправиться к ним и заодно навестить того, кто принес эту новость? Может, он знает больше того, что мастер услышал по телефону. Или чуть обождать? Может, Якуб с Ондреем отзовутся. Только когда? Когда они отзовутся?

Карчимарчику он обрадовался. И тут же выложил все в надежде, что приятель посоветует ему что-нибудь дельное.

Карчимарчик внимательно выслушал его, порасспросил о том о сем, а под конец робко сказал: — Гульдан, а ведь я пришел и тебя позвать с собой.

Гульдан удивился: — Позвать? А куда? Ты что, уже забыл, что твердил раньше.

— Нет, не забыл,— ответил Карчимарчик.

— Ты же ненавидишь войну. Твердил, что и слышать о ней не можешь. Ты еще намедни об этом кричал.

— Забудь про то!

— Как так забыть? Небось не о пустяках речь. Два моих сына уже ушли, где они — неизвестно. Захоти я разыскать их, так не знал бы даже, в какую сторону и податься.

— Зачем тебе их искать? — спросил Карчимарчик.

— Зачем?! У них жены, дети,— ответил Гульдан.— У тебя нет семьи, тебе легче о таких вещах рассуждать. Да и боюсь я, что все это одни шатания. Вряд ли добром это кончится.

— Если мы все будем вот так бояться, добром, конечно, не кончится.

— Ну вот, видишь? Мы и то уже не совсем понимаем друг друга. А ведь еще недавно отлично столковывались. Теперь, когда дело приняло такой крутой оборот, и мы думать начинаем по-разному.

— Может, тебе кажется, что я изменился,— сказал Карчимарчик.— Но это не так. В главном я не изменился. Я ненавижу войну, всегда ее ненавидел. Но многое изменилось, вещи вдруг обрели совсем другой смысл.

— Вдруг? Почему это вдруг?

— Дело не в слове. Сейчас не время играть в слова. Слова можно всяко перевертывать. В тридцать восьмом нам хотелось сохранить по крайней мере то, что можно было сохранить. А получилось вдруг так, будто у нас был камень за пазухой против чехов. Я много думал об этих вещах, и мне не по себе нынче. Тут немцы, хочешь не хочешь, с этим надо считаться.

— Они были тут и раньше.

— Были. Но это так не бросалось в глаза. Теперь уже ясно — надеяться не на что. Много было зла, и за него мы тоже в ответе. Как ни ловчи, ни изворачивайся, мол — не наша вина, но мы тоже несем свою долю, никто другой не взвалит ее на себя, хотя и то правда, что у нас не было особого выбора. Выбирали мы из того, что имели, и пытались то сохранить, что можно было сохранить, но

наделали кучу ошибок, а сохранили меньше, чем сперва считали возможным; ошибок столько, что у нас едва хватит сил вынести их, но все равно надо признаться во всем и попытаться исправить то, что еще можно исправить,— мы должны доказать заграница, а главное, самим себе, что мы на самом деле народ, а не только прохвосты.

Мастер ухмыльнулся и немного погодя спросил: — Ты полагаешь, мы немцев выгоним? Думаешь, это удастся?

— Одни не выгоним,— ответил Карчимарчик.

— Зачем же тогда вербуешь людей? — спросил Гульдан.— Раз нет уверенности в успешном исходе, никто не имеет права вербовать людей. Кто вербует, тот несет и ответственность.

— Мы все должны нести ее,— сказал Карчимарчик.

— Это ты так говоришь,— сказал Гульдан.— Может, и другие так говорят, каждый по-своему толкует ответственность, каждый по-своему ее и несет. Главная наша беда в том, что мы не едины, никогда не держимся вместе, не уважаем друг друга, мы недоверчивы, мечемся от одного к другому, срамим соседа, а тот срамит нас. Вечно унижаем кого-то и вечно ищем виновного — и не только сейчас, даже в мирное время, когда всюду покойно, мы меж собой непрестанно воюем. Какая уж тут ответственность? Вечно мы кого-то судим, часто не разобравшись, была ли промашка, не узнав, чем она вызвана. Собственных ошибок боимся, боимся настолько, что не смеем назвать их подобающим словом, а скорее прикрываем лозунгом, подсунутым кем-то чужим из добрых ли, злых побуждений, а может, просто потехи ради. Смешная она, наша ответственность! Почти все, что делаем, смешно и комично, но мы и смех свой скрываем — такой он убогий и горький,— боимся, как бы и он не сделал нас посмешищем перед другими народами.

— Это не совсем так.

— Именно так. Гордости у нас нет. Ни гордости, ни сплоченности. Будь мы о себе лучшего мнения, будь мы сплоченней, мы бы и с чехами легче столковались. Но мы вздорили с ними до последней минуты, пока вокруг нас не затянулась петля. В конце концов нами стали торговать: французы и англичане, на которых мы так надеялись, скрепили подписью приговор, который придумала и вынесла кучка мерзавцев. Что нам оставалось? Шинель порвалась, спасай штаны! Да вот беда — штаны оказались чересчур тесны. Сперва-то казалось — мы в выигрыше, по крайней мере себя сбережем, но с каждым часом положение ухудшалось. И повсюду так. Плодилась глупость, беда шла за бедой. Пала Польша, пришел черед Франции, и она пала, Англия оказалась на краю катастрофы, были разбиты и многие другие страны, а сколько погибло русских и украинцев, никто и не знает, сколько погибло их и сколько еще может погибнуть, хотя уже наступил поворот. И даже теперь мы не едины. Кто за самостоятельность и на стороне братиславского правительства, кто за самостоятельность и на стороне партизан, а кто мечтает о старой Чехословакии, где иным и неплохо жилось; но большинство за новую, лучшую Чехословакию, где слово чеха и слово словака будут равны. Некоторые слушают Лондон, получают оттуда приказы, другие вострят уши на восток, ждут оттуда помощи. А почему бы нам и впрямь не дождаться русских, Советского Союза? Почему заранее было не договориться с ними?

— Откуда ты знаешь, что не договаривались? Может, оно и было.

— Мы против них воевали, так что правительство не могло вести с ними переговоры, во всяком случае открыто. Но это уже нас не касается, теперь недосуг рассуждать. Пришло время действовать.

— Нет, я не пойду,— сказал мастер.— И Имро не позволю идти.
— Кто знает, может, и пожалеешь,— сказал Карчимарчик.
— Не пожалею.
— Как знаешь. А все же подумай, подумай еще!
На том они и расстались.

22

А Киринович опять подался тогда в Братиславу. Перед уходом из дому — хотя обычно он этого не делал — предупредил жену, чтоб была осмотрительна. И еще посоветовал ей не оставаться на ночь в имении, а пойти лучше в Церовую и там заночевать у родителей.

— За меня не тревожься! — успокаивала его Штефка. Стоя у дверей, она провожала мужа веселой улыбкой.— Я еще ни разу не потерялась, до сих пор меня никто не украл, не украдет и теперь, за меня не тревожься!

Но управляющий для верности забежал еще и к Ранинцу и попросил его, как самого толкового и здравомыслящего человека, присмотреть за женой, коли понадобится.— Вы, Ранинец, человек разумный и надежный,— старался он улестить его,— знаете, как нынче дела обстоят, объяснять вам не надо. У меня, как обычно, сегодня в Братиславе по горло всяких хлопот. Не знаю, удастся ли к вечеру воротиться. Поэтому, прошу вас, приглядите, если понадобится! Нечего тут разводить партизанщину! Кто хочет партизанить, пусть отправляется в горы, на север, там места вдосталь! Главное, Габчо и Онофрея надо держать в узде, да и не худо бы за Вишвадером приглядеть. Не нравится он мне, особенно в последнее время не нравится. Сами знаете, каковы они! Надо, чтобы в имении был порядок. Ведь ежели сами тут не удержим порядка, никто не станет его наводить. Смутное время нынче, поистине смутное! Положение серьезное, к тому же неясное, сам черт рога сломит. Съезжу-ка в Братиславу, может, что и поразнюхаю. Потом вас обо всем извещу. А пока меня не будет, приглядите, чтоб тут ничего не стряслось. Вы меня понимаете?!

— Понимаю, понимаю, конечно понимаю.

— И еще кой о чем. Видите ли, жена тут моя. Да что я вам толкую? Одно слово — женщина.— Управитель заглянул батраку прямо в глаза: — Женщина, а вы умный человек. Вижу, вы меня понимаете. Более толкового и понятливого человека тут не найти.

— Пан управитель, положитесь на меня! Смело можете положиться!

— Сегодня лучше вам даже никуда не ходить. Оставайтесь-ка в имении. Тут житницы, у нас еще зерна порядком. Наведайтесь в конюшни, обойдите хлева. И следите за Габчо! Следите за Вишвадером! А заблажит вдруг Онофрей, так и с него глаз не спускайте! Иной раз и слова достаточно, Онофрей вас слушает, я заметил, что слушает. А потребуется — поговорите с ним!

— Так-так! Ей-богу, схожу к нему, пан управитель. Сейчас же схожу к нему поговорю.

— Зачем же так торопиться, Ранинец? Я только к тому, чтоб тут был полный порядок. Уверенность — это все же уверенность.

— Это точно,— согласился Ранинец.— Уверенность есть уверенность.

— Значит, я могу на вас положиться?

— Смело можете положиться.

— А что до моей жены...

— Пан управитель, и тут будьте уверены.

— Не сказать, чтоб она боялась. Она не робкого десятка.

— Смелая женка! Истинно смелая женка, пан управитель! Право слово, посмотрел бы я на того, кто посмел бы ее изобидеть!

— Я не о том, пан Ранинец, знаю, из здешних ее никто не обидит.

— И думать не думайте, пан управитель! Умная женка. Все ее уважают. И Габчо, и Онофрей тоже. Посмей кто ее обидеть, и Габчо и Онофрей тоже стали бы за нее горой. Честное слово! Поверьте моему честному слову!

— Теперь, знаете, ведь смутное время. Разные ходят слухи. В любую минуту может все измениться, повернуться, перевернуться. Не обязательно даже, чтоб с человеком невесть что и случилось, но всякие разговоры на него действуют, человеку впечатлительному и чуткому что угодно приходит на ум.

— И то сказать,— подтвердил Ранинец.— Пан управитель, в ваших словах великая правда!

— Знаете, иной раз бывает тоскливо. Бывают же такие минуты, правда?

— А как же, бывают.

— Тоска вдруг возьмет.

— Тоска возьмет, а как же!

— А женщины, они и вовсе впечатлительные. Иной раз и сами не знают, что с ними.

— Пан управитель, согласен с вами. Впечатлительные они. Иной раз и сами не знают, что с ними, не знают, что с ними. Вполне с вами согласен.

— Наведайтесь к ней!

— Наведаюсь. Пан управитель, скажу вам как на духу: я очень уважаю вашу хозяйку. Мы все ее жалуем. С удовольствием к ней наведаюсь. А хотите, могу и поговорить.

— Что ж, можно, лишь бы ей не было скучно. Лишь бы вечером ей не было боязно.

— Понятно, понятно.

— А в остальном, строго между нами, только между нами.

— Только между нами. А что — в остальном?!

— Ну если она случайно захочет идти вечером в Церовую, чтоб переночевать у родителей, проводите ее!

— Проводить? И проводить даже? И это можно, что ж, можно и проводить.

— Авось и не понадобится. Сами увидите, как сложится обстановка.

— Толково. Уж я-то разберусь в обстановке. Можете положиться на меня, пан управитель. Смело можете положиться.

Разумеется, Киринович на сей раз отправлялся в Братиславу не только ради своих служебных обязанностей. Возможно, сейчас они не бог весть как и занимали его. Куда больше его волновали события последних дней, к которым он до сих пор не определил своего отношения.

Киринович был человеком осмотрительным. В привычной обстановке он умел принимать решения сравнительно быстро, иной раз пускался в дело очертя голову, подгоняя еще и других, но если речь шла о чем-то серьезном, сложном и запутанном, он пороть горячку не любил, не корчил из себя ни ловкача, ни героя, а трезво обдумывал, что делать, как поступить, не полагался только на собственный разум, а изучал и чужие мнения, и, надо признать, изучал основа-

тельно. Потерянное время не удручало его, ибо Киринович, уж если он достаточно осмотрелся и извлек для себя полезный урок, всякий раз наверстывал упущенное и догонял, а то и обгонял тех, кто действовал более решительно и быстро.

Положение отнюдь не казалось ему утешительным. Приход немцев его не обрадовал. Он слыхал, что немцы разоружают словацкую армию, некоторые гарнизоны — говорили — уже не существуют, но в Банска-Бистрице и в других городах словацкая армия соединилась с партизанами, и народ туда валом валит. Слыхал он и то, что якобы в Бистрице новое правительство, которое объявило немцам войну, и у него уж было созрело решение махнуть туда поразнюхать, да он тут же одумался. Семь раз отмерь, один отрежь! Нет, он все-таки не отправится в Бистрицу на разведку, чтобы там кто-нибудь его поучал: «Ага, товарищ, ты вовремя пожаловал, тут нам каждый кстати, и тебя прищелкнем!» В таких поучениях Киринович не нуждался. Сперва надо узнать, про какой такой «щелк» идет речь! Когда говорят так или эдак, это значит так или наоборот, но некоторые вещи могут иметь не два оборота, а еще и третий, хотя это вопреки логике. А вообще, что такое логика? Для чего она, эта логика? Жахнут тебя по башке, вот и конец логике, да хоть бы она и осталась, тычок-то у тебя все равно уже никто не возьмет! Прежде осмотрись, а потом и решись! Торопиться нечего, лучше поговорить с человеком, который разбирается в обстановке. В Братиславе такой человек определенно найдется, возможно, там найдутся и многие, что разбираются в обстановке. А пока Кириновичу ясно одно: дела обернулись несколько иначе, чем он полагал. И это злило его. Когда он ехал утренним поездом в Братиславу, он был очень зол, весь мир его бесил. «Все вверх дном! — думал он.— Все перепуталось! Черт дери эту кашу! Ты вот решил, что настала пора заниматься тихой подпольной работой, что все мало-помалу выкристаллизуется и изменится, а вот на тебе — вперлись сюда немцы, и иди теперь добывай винтовку! Добывай винтовку или хватай рогатину, и именно сейчас, когда работы по горло. Правда, с зерном уже вроде управились: часть сбыли, другая сушится в житницах. Да ведь еще остались картофель, табак, а там, глядишь, и кукуруза поспеет. Если мужики по одному, по двое утекут в Банска-Бистрицу или еще куда в горы, тут и сбрендить недолго. Ведь не стану же я сам кукурузу ломать?! Или, может, немцев звать на поденщину?! Черт дери, кто мог все так развалить?! Вот тебе и подпольная работа, вот тебе тихий, мирный переворот! Хватай винтовку и иди, иди бей немцев. Вот ты и бей, коли заварил это и выдумал! Я не клюну на такое геройство, на такую авантюру! Не оставлять же мне именье на произвол, на авось! Я и так делаю что могу. И народ сплачиваю к тому же. А тот, кто постарался все развалить, пусть теперь и пожинает плоды. Я за это отвечать не намерен. А там кто знает?! Кто знает, как в действительности дела обстоят?! Пожалуй, и правда нелишне поговорить с человеком умным и сведущим!..»

23

А Имриху вновь удалось ускользнуть из дому и встретиться со Штефкой. Они вновь провели вместе вечер, один из тех вечеров, которые Имрих (и не только он) много раз потом вспоминал, пытаясь один отличить от другого и каждый представить себе каким-то особенным и, главное, выделить этот последний, но, как он ни старался, и этот вечер казался ему таким же, как остальные: все вече-

ра, проведенные со Штефкой, были пронизаны одним настроением, одним дыханием.

Время способно все переплести, спутать, связать воедино. Время соединяет все.

Спустя годы вспыхнет вдруг что-то в памяти, ты посмеешься, а то и спросишь себя: неужто правда? И это случилось со мной? В самом деле так было? А когда? Когда это было?

Иной раз припомнится какая-то смешная безделица, которая когда-то казалась совсем незначительной, может, всего-то раз мы на нее и обратили внимание, а то и вовсе ни разу или, может, заметили ее только случайно и нас привлекла именно ее незначительность. А потом мы вдруг понимаем, что она живет в нашей памяти гораздо глубже, чем то, что когда-то представлялось значительным, и именно с этой-то малостью мы связываем массу вещей, предметов, множество забытых минут, вечеров, недель и даже годов.

Вспомнилась, к примеру, душистая вика. Или вам сказали о ней, может, произнесли одно слово: вика. И вы ее сразу увидите. И тут же в мыслях всплывает изгиб тропки возле нее. Чья была эта вика? Куда вела эта тропка? Куда я шел тогда? Когда и где это было? Куда — туда? Куда — назад?

Или вдруг вспомнится ключ. Что это был за ключ? Где я его потерял? Почему он снова воскрес в моей памяти? От чего он был? От каких дверей? Эх, был бы этот ключ снова у меня в руках, уж я бы нашел те двери, которые им отпирались.

В саду береза вихляет коленом. Мальчишки с ума по ней сходят. А я уж давно вырос из коротких штанишек и не способен даже стих накропать — вот оттого потихоньку и забавляюсь прозой.

Зачем я тут об этом пишу? Бог знает! Почему-то мне кажется это уместным.

Кибиц, поди прочь. Не искушай!

Ну ладно! Поведем речь об Имро. Мы же о нем говорили. Поговорим об Имро и Штефке! Вот именно!

Стояли чудесные вечера. Пахло смолой. Лес дышал. В свете месяца блестели затемненные окна. Тогда всюду были затемненные окна.

Имро в тот вечер задержался со Штефкой дольше обычного. В Церовую уже притарахтел последний братиславский поезд и тут же оттарахтел дальше, а они все еще продолжали гулять. Бродили возле имения; через каждые пять-шесть шагов останавливались и взглядывали на дорогу и тропку, прислушиваясь, не идет ли кто. А что, если Йожо еще сегодня вернется из Братиславы? Не хватает только, чтобы он их застал! Нет, такое не может случиться, нет, нет, ни за что не случится! Если бы кто показался или они бы увидели, услышали что подозрительное, Имро немедля бы скрылся. А Штефка быстро и тихо юркнула бы в дом и там бы уж представлялась вовсю, чтобы Йожо ничего не заметил!

Время текло, вокруг царило спокойствие, и только тихо и однозвучно стрекотали сверчки. Но Имро настораживало это спокойствие, оно казалось ему каким-то ненастоящим. Он то и дело вглядывался и прислушивался, то и дело замирал в напряженности. Имро считал, что этой напряженности и так многовато, зачем же ее еще продлевать? Да и поздно уже, пора, пожалуй, домой. Зачем рисковать и подвергать себя лишней опасности? Ведь и завтра день, и послезавтра; через два-три дня они же опять могут со Штефкой увидеться!

В самом ли деле он об этом подумал?

По всей вероятности, да. Во всяком случае, он вполне мог об этом подумать. Скорей всего ему пришли на ум такие слова и, конечно, пришли потому, что он хотел их высказать Штефке. А хотел по многим причинам.

И прежде всего потому, что, уходя из дому, он открыто признался Вильме, куда он идет: на сей раз действительно (какая откровенность!) признался ей в этом. Сказал, что идет в имение, повидать Кириновича: тот нынче утром (какое точное предположение!) уехал в Братиславу и сегодня же (Имро, правда, имел в виду завтра) должен вернуться и привезти свежие новости — вот потому-то Имро и хочет с Кириновичем (провались он, этот Кириновичl) встретиться и потолковать.

Вот как умеет Имро обманывать! А что, если Вильма не спит? Вдруг еще ждет? Он сказал, что в имении долго не задержится. А теперь что он скажет? Где был так долго? Какую небылицу, какую отговорку он еще выдумает?

— Йожо уже не придет! — сказала Штефка.

— Откуда знаешь? — пробормотал Имро.

— Знаю. Он уже бы пришел.

Помолчали. Прислушались. Стрекотали сверчки. Потом Имро подумал об отце и следом — о братьях. Где они? В самом деле, где Ондро и Якуб? Что они делают?

В мысли его затесался и свояк Штефан, муж Агнешки. Агнешка, да и Вильма тоже вечно теперь над ним причитают, тревожатся, будто с ним что-то случилось. Может, зря и тревожатся. Просто застопорилась где-то почта, задержались Штефановы письма. Почта сработает, и глядишь, завтра-послезавтра опять придет почтальон, заглянет во двор и, смеясь, крикнет: «Срочное! Заказное!» И опять все будет в порядке. Может быть. Поглядим. Надо надеяться! Да и что может случиться со Штефаном? Агнешка наладилась было к нему, да мать с Вильмой отговорили. Имро предложил свои услуги, но, верно, сказал это не очень-то веско и убедительно — женщины отнеслись к его предложению несерьезно. А может, он и предложил несерьезно.

Стрекотали сверчки. Штефка прижалась к Имро и, склонив голову ему на плечо, сказала:

— Как тут светло! Я бы на всю ночь тут осталась!

Она ждала ответа, но Имро молчал. И Штефка придумала новую фразу, показавшуюся ей, правда, довольно мудреной, но она все равно ее изрекла, причем даже как-то торжественно, чуть выпрямившись: — Как скупится это лето на темноту!

Имро недвижно стоял, обнимая Штефку одной рукой, но тут протянул и другую, обвил ее талию и, слегка нагнувшись, стал целовать губы.

Вскоре они двинулись. Штефка сказала: — Йожо сегодня уже наверняка не придет.

— Все равно надо идти. Уже поздно. Тебе надо выспаться.

— Ты чего на меня валишь?

— Я не валю. Нам обоим надо выспаться.

Стрекотали сверчки. Штефка о чем-то говорила, но Имро не мог вникнуть в ее слова, хотя и пытался, пытался, но все больше его одолевали собственные мысли, он хотел их отогнать, не думать, хотя бы пока не простится со Штефкой, но мысли были сильнее его, он просто перестал Штефку слушать, шел рядом, но не воспринимал ее слов и словно бы даже забыл о ее присутствии; перед ним вдруг возникли другие лица, хорошо знакомые лица его ровесников и одно-

кашников, многих он не видел уже давно, но сейчас они были как бы и впрямь перед ним, они беззвучно, один за другим, обращались к нему, но он не понимал их, да и не очень-то хотел понять. Он спрашивал их или ему казалось, что спрашивает: где вы и что делаете? И задавал он им этот вопрос прежде всего потому, что боялся, как бы они в свой черед не спросили его: «Что ты делаешь, Имро?! Где ты и что делаешь?». В самом деле! Что, если многие годы спустя его спросят: «Имро, а ты, где ты был? Что всю войну делал? Как тебе удалось от нее отвертеться? Кто тебе это обстряпал? Почему ты не был с нами? Почему тебя не призвали ни в ударные части, ни в части прикрытия? Мы разрушали лачуги, поджигали сараи, амбары, а ты сидел дома, корчил из себя героя, а может, и смеялся: «Вот воюют, не зная за что!» Мы уничтожали, взрывали мосты, а когда нам самим нужен был мост, который взорвали у нас под носом другие, тогда мы оглядывались и спрашивали: Имро, ты где? Почему нам не поможешь? А однажды мы нарубили деревьев, сбили плот и спустились по течению Дона под стены Ростова; да, словацкие хлебопашцы-плотовщики шли на Ростов, а потом помогали немцам грабить и изводить советскую пшеницу! А где ты был, Имро?! Что ты делал, герой?! Мы надрывали глотки под Липовцом, но твоего голоса не слыхали. Может, ты и сочувствовал нам, жалел нас, сидя где-то в Словакии, но мы этой жалости не заслужили. Мы видели тысячи тысяч людей, живых и мертвых, солдат и не солдат, толпы пленных и раненых, полчища оборванных и голодных цивильных, с ними мы так легко могли б столковаться, и они, верно, с радостью приветили нас в своем доме, если бы мы его не разрушили и не заставили их, бездомных, скитаться с подушкой под мышкой и с пустым котелком на спине по бесконечно долгим дорогам.

А мы все шли, ворча, плелись за немецким сапогом, под защитой немецкого штыка, увертываясь от пуль красноармейцев, дошли до самого Кавказа. Мы спрашивали себя: пахарь словацкий, что ты делаешь, что ищешь ты на Кавказе? Имро, где ты тогда был?! Что ты делал? Многие из нас перешли на сторону красноармейцев, но мы и там тебя не нашли. Напрасно мы озирались вокруг, там тебя не было. А в сорок четвертом, что делал ты в сорок четвертом? Отвечай, храбрец! Скажи, что ты тогда выдумал? Какие тогда у тебя были заботы? Какое ты принял решение и как себя вел? Что совершил?

Стрекотали сверчки.

Имро проводил Штефку домой. Хотелось поскорей с нею расстаться, но пришлось еще подождать, пока Штефка отомкнет дверь. Стоя рядом, он говорил себе: «Поцелую ее и пойду». Но Штефка словно нарочно затягивала время. Ключ был уже в двери, стоило только его повернуть, но она не торопилась. Она посмотрела на Имро, слегка поежилась и сказала: — Брр! Опять в эту комнату! Не представляешь, как я ненавижу затемненные окна!

— Ведь их и приотворить можно. Почему они у тебя ночью закрыты? С раскрытыми окнами куда лучше спится.

— Если б я не боялась!

— А чего? — спросил Имро. Потом улыбнулся рассеянной, безучастной улыбкой, словно бы даже не связанной с тем, о чем говорил, и подумал: «Сейчас я и вправду пойду!» Осмотрелся: метнул взгляд на сушильни, на дома батраков, но в ту самую минуту, когда он хотел обнять Штефку на прощание, она снова повернулась к дверям.

Отомкнула. Сразу открыла дверь и вошла. Имро, нерешительно потоптавшись, двинулся за ней.

Двери остались приоткрытыми. Имро шагнул к ней и как бы безотчетно положил ей на плечи руки и нежно привлек к себе.— Мне пора,— шепнул он ей в волосы.

Она кивнула.— Ага. Сейчас пойдешь.— Она медленно подняла голову, заглянула ему в глаза.— Сегодня я задержала тебя. Еще будут неприятности дома.

— Почему ты думаешь?

Она ладонью погладила его по щеке, в другую — поцеловала.

— Я же мог уйти,— Имро улыбнулся.— Хотел бы, мог бы уйти домой еще вечером.

— Я тебя задержала.

— Задержала? — он все еще улыбался.— А почему?

— Просто так. Ты сегодня какой-то чудной.

— Чудной? Чем?

— Не знаю.

— Чего тебе не показалось во мне?

— Право, не знаю.

Он крепче обнял ее. «Ведь я люблю ее! Конечно люблю. Зачем же все время повторять это?»

Она прижалась к нему, но потом вдруг отпрянула. — Обожди, Имришко, запру, так спокойней.

И заперла. В комнате стало темно. Имро опять обнял Штефку и потихоньку стал ее раздевать. Но это, думается, дорогого читателя уже не занимает. А там — кто знает? Может, иному это показалось бы самым занятным. Пожалуй, оно и было занятно. Кое-кто, поди, все страницы бы обслюнявил.

Да, треклятые окна!

24

Вдруг Штефка вздрогнула. И Имро разом вскочил: что такое? Что случилось?

Он хотел быстро скрыться, да в панике никак не мог найти одежду — они со Штефкой вырывали ее, дергали друг у друга и расшвыривали в стороны.

Гул моторов усиливался. Имро пытался на себя хоть что-то набросить, но Штефка толкала его к дверям: — На дворе оденешься! — А потом снова оттащила от двери.— Обожди, уже поздно, увидят тебя! Боже милостивый! Что делать?

— Через окно нельзя?

— Беги в горницу! Погляжу, кто это. Может, не к нам,— Штефка пыталась сама себя успокоить. Она натянула платье прямо на голое тело и босая металась в испуге по кухне. Искала свечу — с лампой долго возиться.— Кто это может быть? Йожо на машине еще никогда не привозили.

Машина остановилась, но мотор продолжал тарахтеть. Хлопнула дверь. Послышались шаги и мужские голоса.

Штефка, зажигая у стола свечку, говорила: — Господи, как я дрожу! Имришко, оденься пока! Приду потом в горницу, отворю окно.

Снаружи — топот ног.

— ...и туда.

— Вон туда! Йожо, ты спишь?

Стук в дверь.— Вставай, Йожо, вставай!

— Кто там?

— Это я. Партизан. Йожо дома?

Громкий хохот. Кто-то шепнул: — Пошли отсюда! Не мешай...

— Йожо нет дома. В Братиславу уехал.

— Правда? Йожо, вставай! Не увиливай! Это я, Карчимарчик. Хозяйка, откройте!

— Йожо нет дома. Его сейчас нету. Завтра вечером вернется.

Все ушли, за дверями остался один.

— Хозяйка, прошу прощения! Это я, Карчимарчик!.. Жестянщик! Ведь вы меня знаете. Жестянщик Карчимарчик. Я пришел к Йожо. Голубушка, не сердитесь.

— Он в Братиславе. Я одна дома. Йожо в Братиславе.

— Прошу вас, откройте! Поговорить кой о чем надо.

— Я одна. Сейчас я совсем одна. Приходите завтра! Завтра и муж будет дома. Сейчас я... Я едва держусь на ногах, я даже не знаю, сколько времени... Приходите завтра!

— Всего два-три слова. Голубушка, на часы лучше и не глядите. Знаю, мы разбудили вас, конечно, мы пришли и громко кричали. Не сердитесь, голубушка! По голосу вашему чувствую, что вы малость сердитесь. Я пришел к Йожо. Йожин товарищ, Матуш! Неужто вы меня не помните? Матуш Карчимарчик! Откройте — сразу меня узнаете.

Мотор заглох. Воцарилась полная тишина, нарушаемая только отдаленным шарканьем ног.

— Хозяйка! — Голос стал чуть глуше, но звучал так, будто жестянщик уже протиснулся внутрь.— Я пришел к Йожо. Надо поговорить с ним.

— Господи боже мой! Ведь его нету сейчас! Я ничего не знаю, ничего не решаю. Приходите завтра! Сразу же после обеда и приходите. Приходите завтра! Пожалуйста!

— Голубушка, завтра меня уже тут не будет. Кто знает, где завтра я буду. Мы тут на машине. Оттого я и хочу с Йожо потолковать — мы тут на машине. Я Карчимарчик! Ничего не бойтесь! Чего вам бояться? Хотя Йожо и нет дома, все равно не бойтесь. Спокойно одевайтесь! Знаю, что вы уже спали, одевайтесь спокойно! Карчимарчика бояться вам нечего.

— Я страшно боюсь, я до ужаса перепугалась. Муж в Братиславе. Еще утром уехал, а сейчас в Братиславе. Я устала, я до смерти перепугалась. Сами слышите, я вся дрожу! У меня даже голос другой, меня всю трясет...

— Золотко мое, ведь это же я, жестянщик. Вы меня, что ли, так напугались?..

— Ужас как напугалась, просто ужас.

— Голубушка, я же никому зла не сделал, я никого еще и пальцем не тронул.

— Я вас ужасно боюсь.

— Карчимарчика?

— Господи боже мой, меня трясет всю, я даже заикаюсь.

— Хозяйка, меня же тут завтра не будет. Я иду в Бистрицу, хотел и Йожко позвать с собой. Думал, он станет у нас командиром. Мне не хватать будет Йожо! От души вам скажу: мне не хватать будет вашего Йожко, хотя я ему, может, был и не нужен. Теперь я поведу людей. Карчимарчик поведет. Голубушка, по крайней мере передайте ему, что мы тут были. Передайте, что тут был и жестянщик. Очень прошу вас, вы меня слышите?

— Конечно слышу. Как я могу вас не слышать?

Но кроме слов Карчимарчика до слуха ее доносился и галдеж от батрацких домов. Поднялось все имение. Беспрестанно хлопали двери. Мужики бегали, мельтешили по двору, шепотом переговаривались,

громко зевали, кашляли, там-сям прорывалось и слово. Где-то заплакал ребенок. Кузнец Онофрей переругивался с женой.

— Хозяйка,— продолжал Карчимарчик,— передайте, что мы пошли, что уже ушли туда. Некоторые еще вчера ушли. Не хотели, пришлось их заставить, Карчимарчик заставил их. По одному, по двое посылал он мужиков в Бистрицу. Уговаривал именно тех, кто больше всего боялся. Отбирал не солдат, ибо и сам никогда не был солдатом. Как же это вы Карчимарчика испугались? Может, я всю жизнь буду мучиться, что разбудил вас ночью и напугал, но виноват Йожо, виноват и ваш Йожо, он должен был меня разбудить; еще вчера, позавчера, думал я, он придет меня разбудить; кто-то должен был нас давно, ужасно давно разбудить; мы обязаны были друг другу всегда говорить, что через год и через десять лет нам захочется спать, что даже через сто лет найдутся на свете люди, которым захочется выспаться. Мы давно должны были думать о мире, больше тревожиться за него и друг друга учить, что нужно себя уважать, себя и других, в каждом человеке открыть себя и почтить, ибо только такой человек может стать поистине непобедимым. И пусть бы он был как угодно унижен и беден или настолько не нужен, что мир и не замечал бы его, а умри он, его бы даже никто не хватился, он все равно пророс бы во все человечество, потому что хотел прорасти; стоило бы ему оглянуться, он нашел бы всюду знакомых, добрых знакомых, и, взвалив короб с жестью на спину, он легко зашагал бы по свету, поскольку везде встречал бы только друзей. Отправится на север — найдет людей с юга, вернется на юг — найдет северян. Пойдет с запада на восток, встретит людей с запада, а захочет повидать тех, кто с востока, отправится с коробом обратно на запад. А мог бы и изменить путь: пойти с юга на восток, с востока на север, мог бродить по земле как угодно и повсюду встречать только друзей. Иногда он подтрунивал бы над людьми, но только потому, что хотел и над собой посмеяться, а иногда брался бы оплетать негодный горшок, лишь бы он опять служил людям. Он увидит край света; он придет туда и, оглядевшись, даже сперва не поверит, что это край света, но потом он все же поймет, что это край света и что край света именно в его сердцевине, а сердцевина может быть где угодно, хотя она и единственная, из сердцевины можно идти куда хочешь и откуда хочешь к ней воротиться, а можно и в сердцевину пнуть носком башмака: здесь то место, откуда я вышел, тут я был и тогда, когда еще не был, и буду, когда уже не будет меня; я казался слабым, однако был сильным — ведь у меня во всем мире были друзья, я нашел себя даже в тех, кого никогда не видал, я стал самым сильным, так как врос во все человечество и овладел земным шаром, а через сто или тысячу лет я исхожу десяток новых планет или хотя бы на них притопну как следует — ведь я живу во всех людях, мне принадлежит будущее, я и сейчас уже на других планетах как дома, я покорил всех богов, я всем богам заглянул в короба, в любом человеке я могу открыть Будду или Христа, а то какого угодно иного бога, и, друг друга похлопывая по плечу, мы можем запросто разговаривать: — Привет, Будда. Как поживаешь, Христос? Тебя еще зовут Христос? — По-разному меня зовут. Зовут меня и Карчимарчик, и мне надо идти воевать, воевать против Карчимарчика. Понимаете, голубушка! Вы меня слышите?

— Понимаю, слышу. Но отчего там у вас такой гвалт?

— Мы идем в Бистрицу. Ребята собираются в Бистрицу. Был бы Йожо дома, он пошел бы с нами и был бы у нас командиром, а из меня — какой командир? Карчимарчик никогда не был солдатом. Он знал, где сердцевина света и где его край, повсюду мог найти друзей, но солдатом он не был даже тогда, когда носил военную форму. Он всег-

да был только ходок. Раз семь топал с винтовкой и наплечным ремнем из Вены в Верону и оттуда назад, но даже тогда, когда шел туда первый раз, казалось ему, что у него на спине короб и он идет в Верону горшки оплетать. Возможно, весь мир меня и считал дураком, но этот самый дурак чувствовал себя во всем мире как дома и всюду друзьям протягивал руку. Ей-ей, я хотел бы увидеть простого немецкого парня, в котором не сидел бы свой дурак Карчимарчик! Всю жизнь я убеждал в этом людей, а они убеждали меня, что это не так, что кроме дураков существуют, мол, еще и сверхдураки. И Йожо уверял меня в этом. А вот в последнюю минуту забыл про меня, и тут уже мне пришлось убеждать людей и за него и за себя. Сам не пойму, зачем говорю вам об этом. Может, потому, что многих ребят я уже послал в Бистрицу. воевать со сверхдураками, но ни одному из них я не признался, что с самим собой мне было труднее всего — ведь я-то знаю, в кого буду стрелять. Ежели сумею стрелять. Хорошо это знаю. Перед Карчимарчиком будет всегда Карчимарчик, какой-нибудь обыкновенный немецкий Карчимарчик, что хаживал из Веймара или Плауна мимо Лейпцига и Виттенберга в Берлин, а то и в Росток, может, какой-нибудь парень из Кёльна над Рейном, из Ганновера или Дортмунда, из Падерборна или Падерборнских предместий, что всю жизнь собирался в Гамбург поглядеть на залив, какой-нибудь рабочий или ремесленник, а может, крестьянин из безвестной немецкой деревни, что тысячу раз был уже ранен, тысячу раз топтал чужой, а значит и свой, хлеб и вынуждал других топтать свой, а значит и чужой, хлеб, хотя это был именно тот, что всегда по весне, опоясавшись фартуком и выйдя на поле, казался себе создателем, способным сотворить урожай, сотворить все урожаи на свете! Однако этот создатель, а может и царь создателей, забыл дома фартук, забыл кусок дешевой тряпки и горстку зерна, надел военную форму и пришел в чужое поле изводить урожай и таких же создателей. Пришел и себя извести. Ибо тот, кто предает свое поле, не может ждать, что чужое его защитит...

Меж тем суматоха росла. В батрацких домах хлопали двери. По двору, освещенном луной, сновали мужчины и женщины. Шум, гвалт!

Вдоль стены прошмыгнул полуодетый мужчина и остановился у одного из зарешеченных окон.— Яно, ты спишь? — крикнул он в комнату.— Слышь, Яно? Вставай!

— Не галди! Чего спать не даешь?

— Одевайся, Яно! Пошли!

— Одеваюсь.

А потом женский голос зашептал: — Не ходи никуда, Яно. Богом прошу, Янко, не ходи!

— Одевайся, Яно!

— Не галди! Ты-то хоть не галди! Одеваюсь я.

И опять женский голос: — Не ходи, Янко, никуда не ходи! Богом прошу, Янко, никуда не ходи! Доминко, вставай! Живо вставай, Доминко! Тата уходить от нас хочет, Доминко, убежать от нас хочет! Проснись, Доминко, проснись, Доминко!

Мужчины собирались у грузовика посреди двора. Некоторые пришли с Карчимарчиком, но вскоре местных стало больше. Они прохаживались взад-вперед, переглядывались, судили-рядили, что да как. Кого подняло с постели одно любопытство, а кто встал только для того, чтобы нагнать страха на жену. Жены, как и положено женам, ходили по пятам за мужчинами. А жена кузнеца Онофрея вдобавок еще и беспрестанно кричала. Но видя, что и это не помогает, напустилась

на всех: — Вы что, мужики, совсем спятили? Господь бог разума вас решил? Боже правый, да ведь у вас сопляки мал мала меньше, бог мой, ребятни-то у вас! Кто о них позаботится?!

— Угомонись! — одергивал ее кузнец.— Угомонись, не то двину тебя по роже!

Из окна раздался визгливый бабий голос: — Заткните глотки! Заткните глотки, вы, вислоухие, и катитесь подальше! Чего явились людей бередить? Даром детей разбудили! Всех детей разбудили! Дьявол вас унеси!

Коренастый шофер с округлым брюшком и кучерявыми волосами нервно переминался с ноги на ногу и поторапливал: — Прошу вас, люди добрые, не ругайтесь, не митингуйте тут! Чего мы, собственно, ждем? Господи, чего мы ждем? Где Карчимарчик? Поживей, люди добрые, не митингуйте! Поймите, ведь мне надо завтра домой воротиться!

Карчимарчик стоял у дверей управляющего. Вдруг за его спиной раздались шаги. Карчимарчик оглянулся.

— Никак ты тут молишься? — сказал подошедший. У рта его вспыхнула сигарета.

— Управляющего нет дома, — сообщил жестянщик.

— Знаю,— ответил мужчина. Он подошел к дверям и загремел ручкой.— Пани управительша, откройте!

Штефка узнала его по голосу.

— Это вы, пан Вишвадер? — спросила она.

— Я самый.

Установилась минутная тишина, потом звякнуло и щелкнуло в замке. Двери медленно приоткрылись.

Штефка, с опаской высунув голову, спросила: — Пан Вишвадер, скажите на милость, что происходит?

— Все что хотите,— батрак улыбнулся.— Даже больше чем все. И война и революция. Мне ключи нужны.

— Какие ключи?

— Железные. Начинаем реквизицию. Будем реквизировать.

Карчимарчик возмутился до глубины души.— Богом прошу тебя, оставь ты эту реквизицию. Что ты хочешь реквизировать? Что?

— Да хоть что. Допустим, свинью.

— Не понимаю вас.— Штефка переводила взгляд с одного на другого.— Ведь и у вас есть свинья, у вас тоже есть свинья.

Жестянщик вертел головой.— Господи Иисусе, господи Иисусе! Ты, Вишвадер, запомни, Карчимарчик ничего не реквизирует.

— Ну, ну, ну! А зачем же ты сюда пожаловал? Чего тут карчимарчикуешь? Чего передо мной карчимарчикуешь? Ты что, пришел сюда только в замочную скважину подглядывать, да?

Карчимарчик повернулся к пани управительше.— Очень прошу вас, голубушка, не обращайте на него внимания! Не слушайте его! — А потом запричитал: — Ах ты господи боже мой, у него на уме одна свинья, у него на уме одна свинья! Ключи ему подавай. Думает сейчас о ключах и свинье! Ну-ну, порадей о своих ключах и своей свинье! Балда, ты что думаешь, мы за немцами с твоей свиньей будем бегать?

Тем временем некоторые направились к сушильне за табаком. С минуту мялись, потом один подошел к двери и бухнул в нее задом.

Дверь отворилась, кто-то обронил: — Чистая работа!

Ранинец сбегал куда-то и принес мешки, которые тут же наполнили молодым, слегка подсушенным табаком.

Ведя за руку заспанного мальчишку, во двор вышла Габчова жена. Тут как раз появились мужики из сушильни, они шли гуськом, каждый с мешком. Восемь мешков. Доминкова мать могла бы сосчитать их, да

не сосчитала. Она заглядывала мужикам в лицо, искала среди них мужа.

Он шел последним, но без мешка.

Она подошла к нему и снова стала его уговаривать: — Яно, не ходи! Янко мой, одумайся, покуда время есть!

— Не дури! — оттолкнул он ее. Потом погладил своего сынка по голове и сказал укоризненно: — Ты чего его разбудила?

— Не ходи, Яно! Доминко, ведь нельзя ему уходить, нельзя уходить!

— Ты дура! Надо было тебе его будить, да? Чего ты его разбудила?

А подошли к машине, Габчова жена ухватила под руку другого парня.— Лойзо,—взывала она к нему,— уговори его! Прошу тебя, уговори! Попробуй его уговорить! Он тебя слушает, скажи ему что-нибудь!

— А что я ему скажу?

— Уговори его! Ничего для тебя не пожалею, Лойзо, ничего для тебя не пожалею!

Парень рассмеялся.—Да у тебя же нет ничего. Чего ты можешь не пожалеть для меня? Чего посулить можешь? Мне ничего не надо.

— Лойзо! Лойзо! Лойзо!

— Пустое! Сама ему скажи! Разве теперь уговоришь!

Мешки погрузили. Некоторые мужики уже сидели в машине. Остальные топтались возле.

Кузнец Онофрей бранился с женой.

Шофер по-прежнему торопил: — Поехали, поехали! Кто хочет ехать, пусть садится! — Он искал глазами Карчимарчика. И вскоре увидел его — жестянщик как раз возвращался с Вишвадером к машине, продолжая спорить.

Ранинец неторопливо двинулся им навстречу.— Поживей, ехать пора! — сказал он не останавливаясь, даже не повернувшись.

Подойдя к дому управителя, он буквально налетел на Штефку, так как она преградила ему дорогу: — Управляющего нет дома.

— Знаю, знаю,— ответил он спокойно.— Скажите ему, что я должен был уйти. Передайте ему привет и пусть не сердится на меня. Я должен был уйти с остальными.— Он потянулся к ручке двери, но Штефка опередила его, ему пришлось потихоньку ее оттеснить.— Можно?

Штефка остолбенела.— Вы что себе позволяете?

Но Ранинец словно бы и не слыхал. Он отворил дверь и крикнул: — Имро, выходи! Знаю, что ты тут! Давай выходи! Небось вдосталь повалялся!

Он распахнул настежь дверь — оставалось только чуть подождать.

Имро не спеша вышел. Постоял в дверях. Должно быть, ему понадобилось чуть оглядеться. Он посмотрел на Ранинца, потом на Штефку и, склонив голову, сказал: — С богом! Всего вам хорошего! Будь здорова! Будьте здоровы!

— Прощайте, Штефка! — сказал и Ранинец.— Всего доброго.— Потом еще раз повернулся к Штефке и добавил: — И не сердитесь! Только не сердитесь на меня!

Шофер уже сидел в кабине. Включал мотор. Женщины и дети громко причитали. Онофриха попыталась взобраться на грузовик и стащить мужа вниз.— Отвяжись! — кричал на нее кузнец.— Не лазь сюда, не то плохо будет!

Доминко, предоставленный самому себе, стоял чуть в сторонке и потихоньку хныкал. Он то и дело утирал нос или лицо, а то становился на цыпочки и заплаканными глазами искал в машине отца.

Ранинец остановился около него и сказал: — Не плачь, Доминко! Не бойся, ничего не бойся! Отец скоро вернется, конечно вернется! И принесет тебе медаль, вот увидишь, Доминко, принесет тебе медаль! И золотую, и серебряную. Две медали тебе принесет. Ведь ты уже большой. Доминко, ты уже большой! Не плачь, Доминко, не плачь. Может, и я тебе одну принесу, вот увидишь, Доминко, и я тебе одну принесу, еще какую медаль тебе принесу!

Имро уже влез в машину и искал себе место. Он приглядывался к ребятам, не зная, к которому подсесть.

— Поди сюда, Имришко! — кто-то вдруг схватил его за локоть. Имро оглянулся и увидел церовского причетника.

Причетник радовался.— Садись, Имришко! Хоть кто-то будет рядом сидеть. Гляди, сколько тут табака. Столько табака я сроду не видел. Столько табака, кажись, я еще сроду не видел!

Влез в машину и Ранинец и шмыгнул мимо Имро.— Порядок! Можем трогаться!

Имро осторожно оглянулся, даже вытянул шею, хотел видеть Штефку, но не увидел.

Причетник нагнулся к нему и зашептал ему в ухо, словно в чем-то оправдывался: — Знать бы, кто нынче на рассвете благовестить будет. Который-нибудь малыш зазвонит, конечно зазвонит, все умеют колоколить и звонить! Люди, может, и ничего не заметят.— И он как-то чудно, до того чудно засмеялся, будто именно сейчас, да, именно сейчас пан священник пообещал ему маленькую причетничью шапочку, которую он всю жизнь ждал и так и не дождался.— Знать бы, кто нынче на рассвете в колокола зазвонит.

■

Роман как образ родной земли

Историю нужно искать и читать на земле и чутко прислушиваться, ибо никогда не знаешь, что земля тебе может поведать.

В. Шикула

Винцент Шикула известен как талантливый новеллист, рассказчик, автор книг для детей. Однако с появлением романа «Мастера», первой книги обширного эпического замысла, все предшествующее творчество этого самобытного художника воспринимается как некое вступление, как подготовительный этап перед взлетом.

В чем сущность того нового, что принес своими «Мастерами» Шикула, автор камерных прозаических форм, рискнувший вступить на путь создания крупных эпических полотен? Конечно, роман во многом строится на принципах предыдущей прозы: скупые сюжетные средства, углубленное проникновение в действительность, предпочтительное внимание к человеку из народа, к миру его детства. Однако все эти характерные для художника особенности находят в романе еще более яркое воплощение благодаря активной позиции рассказчика, организующей всю структуру произведения. «Мастера» — это роман рассказчика. При этом Шикула выступает в двух ипостасях, искусно «смешивая» функции рассказчика и свое авторское отношение к нему, к повествованию и героям. Пожалуй, в нашей литературе найдется немного примеров такого искусного слияния автора и рассказчика, такого смелого их отождествления. Шикула — автор и рассказчик — отверг немало традиционных приемов старого и нового романа, но одно осталось у него незыблемым: реалистическое повествование, вбирающее в себя широкий мир человеческих отношений и разнообразные формы его воплощения. В романе все подчинено стихии повествования, она во многом определяет особенности живых, полнокровных характеров и то звучащее в романе народное многоголосье, которое порой приглушает даже голос самого рассказчика. Литература предстает здесь как чуткая выразительница народного опыта, нового отношения к нему, к его традиционным богатствам, к его историко-социальной и языковой специфике.

Еще в самом начале творческого пути автор «Мастеров» ясно осознал, что он должен делать, в чем его задача, что в литературе ему удается лучше других. Еще в самом начале он нашел свою собственную «закваску». Истинная увлеченность всем

«человеческим», при тонком понимании души простого человека, его жизненной и нравственной сути, в которой он прежде всего ощущает и находит это «человеческое», органически обуславливает характер шикуловской литературы, открытой для изображения всех социальных связей.

Своими «Мастерами» Шикула убедительно доказал, что возможности прозы, основанной на микроанализе, отнюдь не единственно перспективные для самых различных поколений прозаиков. Хотя Шикула искусно владеет техникой филигранного рисунка, он постоянно держит в поле зрения и широкий комплекс социально-политических, общественных проблем. В романе Шикулы изображена социальная действительность его родной западнословацкой деревни в период существования «самостоятельного Словацкого государства», та атмосфера, в которой жил наш народ до Восстания. Социально верно понятая — хотя и предельно нетрадиционно — картина этой жизни, отраженная в судьбе семьи мастера-плотника Гульдана и трех его сыновей, не воспроизводит в точности канвы исторических событий. Привычный образ эпохи здесь несколько «смещен», он схвачен как бы «сбоку». Шикуле нужны специфические черты того времени, его глубина, историческая достоверность, корни и связи с прошлым и будущим. Он обращается к конфликтам, противоречиям, мыслям, обозначившимся в кипении и неурядицах эпохи, они интересуют его прежде всего как опыт, как нечто непосредственно касающееся прошлого и настоящего, того, что умножает и обогащает жизнь, что запечатлелось в душах и мыслях людей. Не только то, что было в прошлом, но и то насущное, что необходимо и сегодня.

В романе Шикулы нет героев, наделенных уже готовым, зрелым классовым сознанием. Его занимают не сложившиеся герои, осознающие свои классовые интересы, а чаще всего несознательная масса и те процессы, которые ведут к обретению такого сознания. Время действия приурочено к периоду, когда борьба между Советской Армией и фашистскими ордами достигла наивысшего напряжения. Именно под влиянием этих событий в Словакии созревают силы антифашистского сопротивления, возглавляемого коммунистами, а следовательно, уже в то время возникает реальная общественная ситуация, зрелые перспективы действия и борьбы.

Западнословацкая деревня, изображенная в «Мастерах», находилась в стороне от основного русла исторического развития тогдашней Словакии. По известным причинам возможности революционного общественного движения были здесь крайне ограничены. Этот узкий мирок, отягощенный религиозными традициями (в романе о них сказано немало — им посвящены целые пассажи и главы, например, строительство костела, роспись нового храма библейскими сценами и так далее), сторонился политики, она представлялась ему этакой «господской затеей», игрой «сильных мира сего», которая никогда не приносила людям ничего хорошего. Многие его жители, пожалуй, даже были убеждены в правильности клеро-фашистского решения национальной проблемы («самостоятельное Словацкое государство»), не имея ни малейшего представления о возможности социальных перемен, они надеялись «обойти» войну, охватившую весь мир, укрыться от нее в костелах — как обещали им их деревенские пророки-священники. Сомнения одолевают только тех, чьи сыновья остались на полях Восточного фронта (фашистское правительство, как известно, посылало словацких солдат на братоубийственную войну против СССР). Автор хорошо знает эту «отсталость», «несознательность» своих героев, их мышление, взгляды. Именно поэтому он изображает рождение антифашистского Сопротивления на окраине страны, на периферии общественной жизни, среди тех, кто долго оставался лишь зрителем.

Вместе с тем автор рассматривает эти вопросы не только в свете конкретной ситуации в Словакии периода войны, но и в плане нашей национальной истории вообще. Ведь в течение долгих веков игнорировались элементарные национальные права словаков, более того, отрицалось даже их право на собственную историю. Частые авторские раздумья об унизительном чувстве исторической несостоятельности нации приобретают особое значение именно в контексте общенародного выступления словаков против фашизма. Кардинальный вопрос, который Шикула ставит в романе и развивает в образах, гласит: кто же принадлежит истории? Те, кто созидает страну, кто поддерживает жизнь в ней трудовой люд (мастера), или только те, кто в этой жизни благоденствует — прослойка господ, чьи псевдоисторические деяния попадают в официальные учебники истории? Хвала, воспетая Шикулой простому народу, хвала мастерам, их созидательному труду во имя людей относится к самым прекрасным партиям романа.

Марксистско-ленинские положения о том, что только массы творят своим трудом и борьбой историю, что революция начинается лишь тогда, когда массы берут дело революции в свои руки, когда они становятся субъектом исторического процесса, помогают нам осмыслить суть романа. Концепция художника строится на исследовании «медленных» социальных процессов, в ходе которых, однако, каждодневные дела и проблемы «маленьких» людей обретают большую историческую значимость и приводят этих людей к масштабным политическим решениям. В романе прослежен рост самосознания массы простых деревенских жителей — от пассивности, забитости, отчуждения от истории к постепенному постижению своих собственных возможностей. Этот процесс затяжной, исполненный сомнений, требующий, как известно, определенного толчка. Такой толчок могут дать только сознательные силы, несущие

революционность в массы. О присутствии таких сил в деревне Околичное в романе говорится мало, отрывочно. О том, что они там действовали, мы узнаем главным образом в заключительной части романа, когда в решительную минуту выступают на сцену батраки Онофрей, Ранинец, Вишвадер — это они поднимают и ведут людей на Восстание. Такое частичное изображение борьбы народа в романе допустимо только в том случае, конечно, если в поле зрения художника находится вся диалектическая связь этого ограниченного участка с общественной и, более того, даже интернациональной целостностью, в их взаимозависимости и взаимообусловленности. Если в литературе идет речь об одном полюсе, то обязательно предполагается и другой.

Шикула выбирает главным образом те социальные факторы, которые создают «лицо» человека, поэтому он так подробно описывает профессии. Роман заселен в основном деревенскими пролетариями, ремесленниками, мастерами. При этом идея мастера, мастерства обуславливает одну из важнейших сторон произведения. В этой идее художник воплощает принципиальную сущность родной земли, определяющей образ словацкой жизни, ее творцов. Во имя этого, во имя созидательных усилий народа он ведет своих героев на борьбу за новый мир, за прогресс, то есть ведет к сознательному социальному творчеству, видя именно в этом нравственный смысл Восстания.

Шикула раскрывает внутренний мир своих персонажей, не прибегая к излишней психологизации: проявляют они себя прежде всего в действии, в речи, в рассказе. Его персонажей мы рассматриваем как некую индивидуализацию коллективного героя родной земли, ее безымянного народа, чья неписаная история воскрешается на страницах романа. Народ выступает здесь наследником и продолжателем традиций и культуры, история для него — средство познания самого себя, и потому он не проявляет своей исторической воли, пока не найдет для нее твердой основы, твердой почвы. Мастерство в шикуловском понимании есть проявление всесилия человеческих способностей не только в ходе преобразования материального мира, но и в процессе созидания собственной истории. Участие в Восстании — это необходимость, обусловленная не столько общегуманными, сколько социальными, следовательно, политическими соображениями, и потому представляет собой конкретное претворение в жизнь глубокого смысла истории нашего народа. Народная масса открывает для себя в условиях антифашистской борьбы революционную социальную перспективу, которая является не только естественным выражением жизненных устремлений народа, но и свидетельством его способности воспринимать самые прогрессивные тенденции нашей эпохи. Так обретает окончательную форму идейная направленность романа, обращенного к важнейшим проблемам современности и ее истоков.

Уже этот широкий круг проблем, который предлагает роман Шикулы, говорит о том, что автору «Мастеров» картина народной жизни отнюдь не видится как некая изящная идиллия, как прототип замкнутой в себе гармонии родины. Социальное и одновременно политическое понятие родины как одной из центральных категорий нашей современной литературы у Шикулы резко противоположно тому, часто статичному и даже анахроничному литературному решению данного идейно-тематического комплекса, которое предлагают многие другие авторы.

Родина в «Мастерах» — это отнюдь не ограниченная территория, отличающаяся лишь местным колоритом и ценностями, лишенными общественной обусловленности и восприимчивости ко всему остальному миру, у нее своя «сердцевина», свой «край», своя «высота» («самый лучший дом тот, где ты родился, где наше начало; родина — это расширяющийся круг, у которого своя сердцевина... у родины есть и высота... и если бы ты понял ее, ты понял бы и сердцевину, а тогда ты уже не бежал, не предал бы собственной родины и не надругался бы над чужой; у кого есть родной дом, тот повсюду дома, любая родина его привечает, родина с родиной всегда заодно...»). Шикуловское отношение к историческим образам родины обусловлено этой диалектикой родины и мира («Мы давно должны были думать о мире, больше тревожиться за него и друг друга учить, что нужно себя уважать, себя и других...»)

С необычайной чуткостью уловил и воплотил Шикула картины деревенской жизни в прошлом, золотой, но и горькой поры далекого детства, его вкуса и запаха, его неповторимой атмосферы. Именно это воплощение прошлого в «Мастерах» — свидетельство роста шикуловской художественной и человеческой зрелости. В романе нет и намека на ностальгию, этого верного спутника нашей литературы, обращенной к прошлому деревни, к детству. Шикула здесь расстается и со своей собственной прежней печалью, проистекавшей из сознания того, что между мечтой о людском братстве и реальными человеческими отношениями лежит непреодолимая пропасть.

Авторская раскованность, свободное отношение к материалу выявляются и в других стилистических аспектах романа. Наша литература никогда не страдала избытком веселости. Она скорее склонна исповедовать аскетизм письма, аскетизм духа, причем даже там, где этого духа отнюдь не так много. Современной литературе прежде всего недостает для этого отстраненности. Веселость, легкость последнего произведения Шикулы выразительно определяют всю его тональность, общее звучание. Шикула сумел сочетать смешное с ощущением глубокой причастности; о серьез-

ном он предпочитает говорить с улыбкой, с грациозной иронией. Сфера смеха, как сфера отстраненности и одновременно причастности, гармонично уживается с его художественным замыслом. Шикуловский смех — это не смех сатирика (сатирик редко бывает веселым), он определен, как и все у Шикулы, той исходно теплой атмосферой жизненного чувства, которым отличается роман. При этом надо сказать, что для Шикулы юмор отнюдь не единственно действенная позиция, достойная человека. Шикула слишком ясно сознает суть юмора, чтобы ограничиться только им, чтобы отказаться от диалектической игры субъективного и объективного, веселого и серьезного; а смех отзвучит, мы вновь оказываемся лицом к лицу с реальностью, из которой мы вышли, лицом к лицу с неминуемостью бытия.

Каким действенным художественным инструментом становится смех в руках такого мастера, как Шикула, лучше всего видно в картине строительства церовского костела, этой эпической метафоры словацкого theatrum mundi [1], воплощающей государственно-политическую концепцию того времени и реальность этого «островка порядка»: посреди рушившегося мира строится новый костел, который должен был стать единственным укрытием от железной метлы войны.

Шикуловский освобождающий смех является составным элементом его глубокой связи с народным миром; его ухмылки, подковырки, насмешки несут в себе черты народного характера, народного гротескного реализма, фамильярной грубости, игры. Шикула вводит нелитературную речевую стихию, используя различные сферы народного языка. Поскольку все происходящее в мире для Шикулы существует преимущественно в плане словесном, повествовательном, в народной среде он ищет и свойственные ей словесные формы выражения, жесты. На этом исходном материале он и строит свой роман, на этой народности, на ее раскованности, доступности, на многообразии и гибкости ее словаря и синтаксиса, на ее импровизационности, живописности, сочности, широте, метафоричности, на ее жизненности.

Книга Шикулы прекрасна прежде всего тем, что все происходящее в ней — от жизни и для жизни; эта книга с лихвой возвращает жизни то, что взяла у нее. В романе нет концовок, которые ставили бы последнюю точку. Автор предоставляет читателю широкий простор для воображения, для дальнейших раздумий над судьбами мира, над его проблемами. Он смотрит на мир глазами живописца, неторопливо сосредоточиваясь всегда только на определенной части его многообразной совокупности. В этих акварельных теплых красках, где доминирует голубая и нет резких контрастов, мы находим не только частицу родной земли, но и самих себя.

[1] Сцена мира *(лат.)*.

ВИНЦЕНТ ШАБИК

Перевод со словацкого Н. ШУЛЬГИНОЙ

ТХАНЬ ТИОНГ. ВЬЕТНАМ
Рисунок

ВИНСЕНТЕ АЛЕЙСАНДРЕ

Стихи разных лет

С испанского

Детство

Блаженство на карусельном,
отчаянном, окрыленном,
крутом вираже. Упреки
родительские под кленом.

Видения. Нетерпенье.
Глаза в забытьи счастливом.
Зеленые — улыбаясь.
Ночами — с черным отливом.

Манящее многоцветье.
Рисунки как в лихорадке.
Реальность и сновиденье
на склоне горы в тетрадке.

На волю по галерее
стремительный бег. Свобода.
Рябящий простор. И ясный,
высокий кров небосвода.

1928

Перевод БОРИСА ДУБИНА

Бал

Неистовый шелест шелка,
и профиль картонной птицы,
и пурпур кровавых перьев,
и белая голубица.

Цветущую рощу миртов
цветистые тени застят.
Под мрамором бьется жилка
предвестьем грядущей страсти.

См. рубрику «Интервью» стр. 198.

Касаний, признаний, пауз
галантная амальгама.
Валькирия правит балом
и обморочная дама.

Мешая смычки и розы,
плетут паутину кудри,
и тонет весь дом в истоме,
и в пудре, и в перламутре.

И сладостно, и щемяще.
И люстры белы, как плечи,
и чувственной дрожью чертят
круги под глазами свечи.

Пыльца и порханье, взгляды,
мерцанье любви и лоска;
поют бубенцы-улыбки
печальную песню воска.

Смычки, рукава и крылья
танцующей круговерти,
и млечные млеют груди
при мертвенно-бледном свете.

И руки как поцелуи
на талии... фейерверки
подвесок и бус, а губы
лимонные ловят серьги.

И жар, на глазах густея,
о теле поет и поте,
пятная, как мох, изгибы
горячей и влажной плоти.

Русалочьи бедра, леность
ладьи на озерном лоне.
Цветут лепестки подмышек,
как розы, в росе ладони.

Дыханье щекочет щеки
любимые напропалую:
и обмороки, и шепот,
и тайные поцелуи...

Вся в бликах луны и тины,
как тихая заводь, зала,
казалось, в заливе сонном
кувшинку любви качала.

И скользкие платья в кожу
вросли чешуей сырою,
когда последнюю польку
забрызгал восток зарею.

1932

Человеческий голос

Ноет шрам солнечного луча,
болит тень зубов на земле,
все на свете корчится от боли —
даже башмак, унесенный рекой.

Болят петушиные перья,
у которых столько оттенков,
что кровавое оперенье заката
обжигает глаза.

Болит горькая горошина,
скользящая по щеке под проливным дождем,
когда слезы различимы только на ощупь.

Болит оса-шарлатанка,
прикинувшаяся под левым сосцом
сердцем и сердцебиеньем,—
серая, как сера,
как восковые руки мертвеца.

Словно грудная клетка, болит комната,
где голуби белее крови
воркуют под кожей, не задевая
крыльями губ, не ныряя
в нутро.

Болят полдень и полночь,
болит раненый ветер,
болят ярость и нож в ножнах,
болят поцелуи...

Скорбная боль. Болят белизна и бездна,
гранит и девичьи бедра,
стены, объятья и сам горизонт,
стиснувший виски мертвой хваткой.

И боль тоже болит. Я люблю тебя.
Все болит и болит. Я люблю.
Болят чернозем и ногти,
и лист, отразивший, как зеркало,
эти свербящие строки.

1934

Единство, обретенное в ней

Счастье, струящееся у меня в ладонях,
лицо любимой, вместившее мир,
в котором парят неуловимые птицы,
улетая в страну, где ничто не бывает забыто.

Абрис любимого тела, алмаз и рубин,
Солнечный луч, заключенный в объятья,

пропасть, влекущая вниз колдовским заклинаньем,
ворожащим призывом влажных зубов.

Я бросаюсь в нее, потому что хочу умереть,
потому что хочу воскреснуть в огне, потому что
воздух не для меня, я умею дышать
только пожаром, бушующим в бездне, который
золотит и сжигает мне губы...

Не закрывай руками лица, подожженного страстью,
обагренного пурпуром всей твоей жизни,
позволь мне проникнуть взглядом в нежные недра,
где, умирая, я возрождаюсь навечно.

Любовь или смерть, и любя, я хочу умереть,
стать тобою и кровью твоей, клокочущей лавой,
замкнутой в контуре этого терпкого тела,
текущей под кожей по самой границе жизни.

Поцелуй на устах у тебя как протяжная боль,
как брызнувшее зеркалом море,
как внезапная вспышка крыла,
а пальцы твердят наизусть твою кожу,
и волосы потрескивают искрами победоносного света,
луч или меч, занесенный над моим кадыком,
клинок, уже не способный рассечь
гордиев узел единства этого мира.

1934

Перевод СЕРГЕЯ ГОНЧАРЕНКО

Конечный огонь

Поди-ка сюда, слушай меня и молчи.
Крохотна ты — почти лепесток жасмина.
Мир полыхает, не слышишь, как воет пламя?
Ну, да ведь ты мала: чуть заметней пульса во сне.
Твои рыжие прядки все тянутся плыть по ветру,
тянутся реять и падать подобьем бриза,
не замечая огня, который хрипит кругом.

Любовь, любовь моя, мир уже на исходе.
Ты хороша, как надежда жить бесконечно.
Как вера, что будешь желанной и завтра, и послезавтра.
Нежная, как забытье этих июньских ночей,
когда лето на землю спускается прямо с неба.

Девочка, утешенье, любовь моя, жизнь моя,
Ты — обещанье перед обступившим пожаром,
обещанье жить май за маем,
жить неподвластной огню, что землю испепелит,
но не уничтожит тебя, о наимельчайшая искра.

Умрешь ты, наверное, как умирает свет,
чуть теплящийся огонек, который сметен пожаром.
Умрешь ты подобно крыльям, но не подбитой птицы,
а теплящегося света, который прикрыт ладонью.

Последние поцелуи прощающихся огоньков.
Любви твоей я не прошу и не прошу твоей жизни.
Я остаюсь с тобою. Мы будем единым светом,
как будто клинки во мраке, что перед огнем не дрогнут
и сплавятся воедино, когда обрушится пламя.

1950

Перевод БОРИСА ДУБИНА

Луису де Гонгоре

Что за державного зодчества строй
зиждется над естеством и над явью,
точным расчетом бурля и буравя
воздух — и свет замещая собой?

Четкость чекана. Но льнет по кривой
кромка к вершине, и в этой оправе
сущее к вящему слову и славе
дышит, вдыхая триумф и покой.

Гонгорианская поступь заката,
трепет звезды — этот ритм небосклона
не промахнется, продуман и тверд,

чтобы, дрожа в сопрягаемых звездах,
струнами ветра откликнулся воздух
и воцарил безупречный аккорд.

1953

Перевод СЕРГЕЯ ГОНЧАРЕНКО

Сновиденье

Есть минуты сиротства,
когда сердце оглушено, вдруг поняв, что уже не любит.
Встаешь через силу: такое мрачное утро.
А на твоей постели кто-то спокойно спит.
Может быть, ты... Но нет: ты по комнате бродишь.
Грустный, притихший. Все гуще дождь за стеклом.
Туманный, изверившийся рассвет. И до того одиноко!
Смотришь наружу. Свисающая одежда,
тяжкое небо, бьющие капли. И комнатушка
на зимней заре, сереющей за окном.

Сидишь, онемев, склонясь головой в ладони,
облокотившись на стол. Даже стул не скрипнет.
Только и слышно ровное чье-то дыханье,
той, безмятежной, красивой, забывшейся на постели
сном о тебе, разлюбившем, а ты — лишь ее сновиденье.

1954

Перевод БОРИСА ДУБИНА

Площадь

Как прекрасно, как просто и прочно,
как животворно это великое чувство:
ощутить себя вместе со всеми —
солнце над головой,
а тебя несет и толкает, влечет, увлекает
людская стремнина.

Не пристало человеку
вечно оставаться на берегу,
подражая гранитным плитам набережной
или старательно каменеющей ракушке.

Честнее позволить, чтобы тебя
смыла волна счастья —
счастья струиться вместе со всеми, теряясь
и обретая себя в ритме огромного сердца,
сложенного из тысяч сердец.

Не знаю, на каком этаже живет человек,
который только что вышел из нашего подъезда
и храбро погрузился в пучину толпы,
захлестнувшей его с головой.
И все же сердце его, влившись притоком
в общее сердце, не потерялось,
хотя самого его не было видно: крохотной каплей
он растворился в потоке и в нем растворил
свою решимость и веру, свою покуда
несмелую храбрость
и робкую немоту.

Эта открытая площадь пахла живой жизнью,
пахла распахнутым солнцем, всклокоченным ветром,
который, лохматя лучи и волосы,
проводил широкой ладонью по лбам,
одушевляя души.

Людская река змеилась,
как древний дракон, и хотя невозможно
было понять, в расцвете ли сил он
или смертельно ранен,
но был он явно живым, и земля дрожала
у него под ногами.

И каждый прохожий в нем отражался
и ликовал, узнавая себя в своем отраженье.

Поэтому знай: если под вечер ты заперт
в своем кабинете,
и тебя снедает тоска, и мучит вопрос,
который ты хочешь задать своему двойнику,—
не ищи его в зеркале,
не затевай диалога, в котором
твой истинный голос не слышен.

Лучше выйди из дома,
найди своего двойника в человеческом море,
сбрось чужую личину, слейся с людьми,
узнай в них себя.

Окунись в это море, войди в него осторожно,
словно купальщик, который сначала
пробует пену прибоя ногой,
потом позволяет воде коснуться коленей,
и вот он уже почти что решился,
шаг — и волна окатила его по пояс,
и все же ему немножко боязно, но
уже невозможно не вскинуть руки
и не нырнуть с головой.
И в это мгновенье он обретает себя, обретая
уверенность в собственных силах,— он рассекает волну,
пенит холодную воду, живую как жизнь,
и в ней молодеет,
ныряет и, вынырнув, пробует песней голос.

Итак, ступи босыми ногами в людское море,
окунись в человечий поток, выйди на площадь,
слейся с рекою, зовущей тебя,
и себя в ней обрящешь,
малое сердце, которое жаждет биться
в такт со всеобщим сердцем.

1954

По ту сторону моря[1]

Рафаэлю Альберти

Поначалу ты был тем парнишкой,
белокурым, как волны, гонимые солнцем,
или как дюны
в окрестностях Порта, объятого зримым зноем.

Помнишь? Ты был похож
на живописца, ибо ты был живописец,
ибо живой цвет поселился в твоем взоре;
ты был похож на факира с факелом, мальчик,
смело ступавший по пламенным бликам.

Я встретил тебя уже юношей. Ты
погружал свою кисть
в зеленую влагу листьев,
шелестевших в твоем сердце,
рисуя новорожденную розу:
мир. И смотрел на него.

[1] После поражения Испанской республики Р. Альберти покинул родину и долгое время жил в Аргентине. Под «морем», соединившим берега Испании и Аргентины, здесь имеется в виду Атлантический океан.

И узнавал. И доля твоя пыталась на ощупь
пробовать голос: голое горло, возглас и песня.
Эхо звонкого моря на суше [1]. Высокие мачты
и вымпелы. Юность пылала в костре вспененных волн.

Это были виденья, крылатые ангелы [2], смутные
вести. Но это не было сном. У меня на глазах
ты овладел этим голосом дружбы, который стучит
в груди человека. Объединяющий голос,
он громче удара молота по наковальне, парящая бронза,
общий воздух, которым дышат единоверцы.
И в нем ты обрел свое слово.

Брызнул свет и окрасился кровью.
Ветер, гроза, мертвецы. Ты, Рафаэль,
стал голосом мертвых, жизнь и земля багряного цвета,
морская пучина. Уплыть — это как умереть.

Но, брат сопредельный, отныне ты снова рядом.
Единоутробной кровью соединяет море наши с тобой берега.
Отовсюду тянутся ныне к тебе людские сердца и души,
и воскресает правда жизни твоей и судьбы.
И да вольется мой голос в этот могучий хор
необъятной земли, и да пребудет земля с тобою.
Свет, озаривший тебя, да высветит правду.

1965

Полуночный день

Юность моя, ты была королевной.
Правда, не долго. Влюбилась в Север.
Магнитная роза. Роза ветров. Повороты.
О полюбившая полдень.

Влюбилась в пучину. Перышко. И ястребиный ветер.
Влюбилась в полночь. Звезды в пучине.

Глубинный огонь голубых, глубочайших светил.
Звезда в океане. Горящая рыба в зените.
Ты, попирая созвездья, влюбилась в небо.
И опочила в пучине, когда в облаках почивала,
когда низвергалась каскадом и улыбалась пене.

Влюбилась в гармонию. В хаос ее обратила.
Взошла на вершину бездны, бросилась в бездну выси.
О неделимо цельный
день, оказавшийся ночью!

1968

[1] Первая книга Р. Альберти называлась «Моряк на суше».
[2] Одна из ранних книг Р. Альберти называлась «Об ангелах».

Поэт вспоминает свою жизнь

Скончаться. Сном забыться. Уснуть...
И видеть сны?..[1]

Гамлет.

Всю жизнь я видел сны.
А спать — не значит жить. Мир людям.
Жить — не значит вздыхать в тоске по словам,
которые нас населяют.
Жить в слове? Но слово не вечно.
Звук его сладок, но он умирает.
Как эта лунная ночь. Как давешняя заря,
как день, подытоженный последним лучом,
ударившим в очи.
Пусть же сомкнет он веки тебе поцелуем.
Спи.
Ночь очень долга, но она уже миновала.

1972

Перевод СЕРГЕЯ ГОНЧАРЕНКО

■

ФА КЕ АН. ВЬЕТНАМ
Народная милиция у моста Хам-ронг
Рисунок

[1] Перевод Бориса Пастернака.

Рассказы валлийских писателей

■

Перевод с английского А. МЕЛЬНИКОВА

Коротко об англо-валлийском рассказе

Валлийский — родной язык жителей нашего края — до сих пор остается основным средством общения для более чем полумиллиона валлийцев. Кроме того, каждый в современном Уэльсе говорит по-английски. Не станем здесь детально анализировать, почему это должно быть именно так; достаточно сказать, что жители Уэльса начали говорить, а значит, и писать по-английски еще в пятнадцатом столетии, и с тех пор из столетия в столетие все возрастающее число писателей-валлийцев пишут по-английски. В наш век таких писателей-валлийцев уже десятки. И вместе с тем литература на валлийском языке переживает сейчас период большого расцвета, венчающего более чем тысячелетнюю историю ее развития. Для того чтобы отличить создателей этой современной литературы, пишущих по-валлийски, от тех валлийцев, которые пишут по-английски, в применении к последним был предложен термин а н г л о - в а л л и й с к и е писатели.

С самого начала англо-валлийские писатели заявили о себе как авторы рассказов. Действительно, принято считать, что современная англо-валлийская литература началась со сборника рассказов «Мой народ», изданного в 1915 году. Его автором был валлиец Кардок Эванс (1878—1945), который обосновался в Лондоне и стал журналистом. В рассказах Кардока Эванса повествовалось о той части Уэльса, в которой он вырос,— о сельскохозяйственном западе, и созданные им образы обитателей этого прекрасного края поражают своей необузданностью. Но многие рассказы Кардока Эванса, несмотря на явную узость его видения, обладают необъяснимой притягательной силой и отличаются большим мастерством — вот почему они оказали заметное влияние на тех молодых писателей, которые следовали непосредственно за Кардоком Эвансом. Однако в наши дни его восприятие сельского Уэльса как края, населенного исключительно неотесанными и лицемерными крестьянами, садистски-жестокими, лживыми и распутными, окончательно отвергнуто, о чем свидетельствуют произведения писателей более молодого поколения.

Дилан Томас известен главным образом как поэт, но в начале своего творческого пути он посвятил также немало времени работе над рассказами. Его странные ранние стихи и его мятежные рассказы того же периода были, очевидно, плодом столь же безудержного воображения. Он высоко ценил произведения Кардока Эванса, но сам видел деревенский Уэльс, о котором писал, скорее глазами фантаста — кое-кто сказал бы: глазами сюрреалиста,— чем сатирика. Позднее он выпустил книгу автобиографических рассказов, написанных в более спокойном тоне, под названием «Портрет художника в образе щенка» (1940; название это перекликается с названием повести Джойса «Портрет художника в юности»). Вошедшие в сборник десять рассказов представляли собой более или менее непосредственные зарисовки происшествий — смешных, гротескных, обидных, озорных,— относящихся к его раннему детству, школьным дням и юности в промышленном порту Свонси, где он родился. В них — возможно, впервые в его опубликованных произведениях,— юмор играл весьма значительную роль.

Другой Томас — Гвин Томас (в Уэльсе бытует всего несколько фамилий — таких, например, как Джонс, Томас, Вильямс, Эванс, Дэвис) выпустил наряду с пьесами и романами несколько сборников рассказов. Он получил образование в Оксфорде, однако его рассказы почти исключительно посвящены шахтерским

долинам Южного Уэльса, в одной из которых он, сын шахтера, родился. Точно так же, как ограничена география его рассказов, ограничен и период, о котором он пишет; в основном он охватывает время Великой Депрессии [1], опустошившей промышленный Южный Уэльс в период между двумя мировыми войнами. Его герои — часто безработные шахтеры, их жены, дети, родственники, друзья и соседи, а общество, о котором он пишет, поражено безработицей и всеми бедами, из нее проистекающими: бедностью, эмиграцией, болезнями, скукой, социальным протестом.

Однако в этой мрачной действительности Гвин Томас старается увидеть комические стороны. Он — великий юморист, наделенный даром сострадания, и в его потрясающе ярком, исполненном жизненной силы стиле метафора и лукавая улыбка столь же привычны, сколь общепринятые обороты в повседневной речи. Автор делится со своими героями остротой ума и меткостью выражений; хотя его персонажи лишены прав и привилегий, они одарены каким-то неиссякаемым поэтическим красноречием, разящим или смешным, шутовским, а порою грустным.

Три названных видных писателя воплощают в своих произведениях многие характерные черты, присущие всем англо-валлийским рассказам как литературному явлению. Они в первую очередь обладают обостренным чувством английского языка, на котором пишут свои рассказы, поскольку все трое выросли в атмосфере властного и неослабевающего влияния другого языка, а именно: валлийского — языка их родителей. Огромная социальная гуманность Гвина Томаса, острота описаний, присущая Кардоку Эвансу, поэтическое видение и лиризм языка Дилана Томаса — вот главные черты многих англо-валлийских рассказов. Последняя черта нигде не проявлялась столь совершенно, как в рассказе «Белый голубь», в этой восхитительной и горькой истории ребенка, созданной Аледом Вогэном; рассказ в то же время намечает иные тенденции в развитии англо-валлийской короткой прозы. К сожалению, этот талантливый писатель из-за своей занятости (он — один из руководителей валлийского телевидения) сумел выпустить лишь несколько рассказов. Многие англо-валлийские писатели родились в промышленных, угледобывающих долинах Южного Уэльса и, естественно, пишут о них; именно в этом районе происходит действие доброго и жизненного рассказа Джорджа Эварта Эванса. Он показывает жизнь в этих долинах в ее типичных аспектах: тепло семейных отношений, сострадание, матриархальную силу женского характера. Тот факт, что происходящее видится широко открытыми глазами ребенка, тоже ни в коей мере не является необычным. «Человек с четырьмя ношами» — это весьма поэтически поданная история о маленькой обитательнице долин. Многие писатели-валлийцы, подобно Кардоку Эвансу и Дилану Томасу, отображают жизнь деревенского запада Уэльса, и здесь же, в хорошо известном ему районе, автор «Иордана» разворачивает действие своей истории.

В самые последние годы несколько молодых авторов рассказов, такие как Эмир Хамфриз, Лесли Норрис и Алун Ричардс, привнесли в этот жанр новые сюжеты, новое отношение к жизни и новое ее понимание. Англо-валлийский рассказ изменяется в нашем меняющемся мире, но он продолжает существовать.

Многие из нас в Уэльсе восхищаются повестями и рассказами, созданными в вашей стране,— речь идет о таких произведениях, как «Смерть Ивана Ильича» Толстого, «Ночь перед рождеством» Гоголя, «Душечка» Чехова, «Ася» Тургенева и другими. Надеюсь, публикуемые рассказы отражают то восхищение, которое испытывают многие из нас перед творческими достижениями ваших писателей, и явятся своего рода скромной благодарностью за то удовольствие, которое они нам доставили.

ГЛИН ДЖОНС

ДЖОРДЖ ЭВАРТ ЭВАНС

Пожитки

Спустя месяц после того, как умер мой отец, наш магазин был продан в счет уплаты долгов. Расходы нашей большой семьи, а также забастовки на шахтах привели наше бакалейное предприятие в полнейший упадок, так что после смерти отца оно тихо и незаметно скончалось. От всего нашего имущества после распродажи остались только коренастый пони да тележка. С пони моя мать не желала расставаться и клялась, что он принадлежит ей и за-

[1] Имеется в виду мировой экономический кризис 30-х годов. *(Здесь и далее — прим. переводчика.)*

писан на ее имя; но, будь даже это правдой, с молотка все равно пошел бы и пони, кабы она не потолковала крайне решительно с аукционистом, здоровенным малым с гладким лицом цвета дорогостоящего виски. Тележка осталась на прежнем месте, поскольку проку от нее не было. Мама не отходила также от старинного фортепьяно, передняя доска которого была затянута плиссированным шелком. Аукционист повертелся было возле инструмента, бормоча под нос, что за него можно бы выручить фунт-другой и что по закону он должен быть включен в торги вкупе с другими вещами, но мама и здесь не отступилась.

Дик — так звали низкорослую лошадку — жил с нами почти двадцать лет, и никто из нас не помышлял с ним расставаться. Он был членом нашей семьи. Кроме того, он был не просто пони, но лошадью благородных кровей. Мой дядя занимался разведением «кобов», коренастых валлийских лошадок для верховой езды, и Дик был их отпрыском. Когда он был помоложе, то, бывало, вез тележку с бакалейными товарами с таким видом, будто оказывал нам величайшую честь. Но подобная жизнь его вполне устраивала: он мог останавливаться где угодно и даже сам ждал момента, когда эти скромные, но желанные удовольствия окончатся или на него вскочит наш Том, чтобы прокатиться. Тогда можно было видеть его резво скачущим и гарцующим, как и подобало лошади, чьи двоюродные братья и сестры принимали участие в сражениях двух войн. Рост его не превышал ста тридцати сантиметров, и он многое умел делать, только что не говорил; а поскольку он усердно кивал головой, можно было предположить, что он настойчиво старался преуспеть и в этом.

Но перед самыми торгами, когда мама сказала, что намерена оставить пони себе, положение было несколько иным. Мой старший брат Том пытался урезонить мать.

— Что ты собираешься с ним делать, мама? — спросил он.

— А что я должна с ним делать? Пусть себе отдыхает! Он уже свое отработал. Кроме того, все вы скоро вырастете, разъедетесь кто куда, переженитесь, уйдете из дома. А старый пони останется — и мне не будет так одиноко.

— Не говори глупостей, мама! — упрекнул ее Том.— Кто собирается тебя покидать?

— Словом, я оставляю пони себе,— упрямо повторила мать,— а также фортепьяно. У Гомера — талант, так что этот старинный инструмент нам еще послужит.

Через некоторое время после распродажи Том снова попытался образумить мать. Пони томился в конюшне в полном безделье, и лишь изредка мы с Гомером удовольствия ради совершали прогулку в тарахтящей тележке.

— Придется нам продать Дика,— сказал однажды Том, вернувшись домой из шахты, куда он только что устроился работать.— Мы не можем себе позволить его содержать, мама. У нас нет денег.

Мать склонилась над штопкой; очки у нее съехали на кончик носа. Тогда заговорил наш Гомер:

— Про Дика спрашивал старьевщик Дандо Хэмер. Его осел совсем уже выдохся.

Но Гомер тут же пожалел о том, что раскрыл рот, ведь ему, как и мне, очень не хотелось расставаться с пони.

— Дандо Хэмер, говоришь? — переспросила мать, распрямляя спину.— Нашли кому сбыть пони! Он либо загоняет Дика до смерти, либо заморозит на привязи возле этой вонючей пивнушки «Борзая», где обычно напивается. А когда от Дика останутся кожа да кости, он тут же сплавит его на живодерню.

— Послушай, мама,— убеждал ее Том,— а почему бы нам не потолковать с Дандо Хэмером? Я приглашу его к нам, и если он предложит приличную цену, пусть берет пони. Лучше продать его Хэмеру — по крайней мере он будет у нас на глазах, а то попадет неизвестно к кому, бог весть куда, тут уж с него живо спустят шкуру.— Помолчав, он негромко добавил: — Не забывайте, сколько овса для него придется купить. Он уже почти прикончил то, что оставалось в ларе.

Доводы Тома были очевидны, однако мать еще долго размышляла, прежде чем сказать последнее слово. Наконец она отложила штопку в сторону.

— Ладно, Том, тебе виднее,— начала она, не поднимая головы.— Пожалуй, стоит повидаться и потолковать с этим Дандо. Я пошлю Гомера или Вилли, чтобы пригласить его к нам. И все же хочется, чтобы ты понял: без пони наша семья не будет прежней; это все равно что потерять ребенка.— И тут же упрямо добавила: — Но что бы ты ни говорил, с фортепьяно я не расстанусь. Я уберегла его от распродажи и сохраню, даже если в нашем доме не останется никакой другой мебели!

На следующее утро я отправился к старьевщику Дандо; так был сделан первый шаг к тому, чтобы продать пони. Я чувствовал, как между мной и прошлым вырастает глухая стена. А в этом прошлом не было дня, когда из конюшни не доносилось бы удивительно успокаивающего постукивания копыт нашего пони о булыжники в стойле; да разве можно было забыть, как он тыкался носом или в шутку прихватывал руку зубами, когда ему чего-то хотелось, а мы не торопились давать. Не забыть мне и тех дней, когда я был еще совсем юн, а дела нашего предприятия развивались стремительно, словно степной пожар; тогда-то наш Дик, украшенный розочками и ленточками, так высоко подбрасывал ноги на скаку, что его впору было принять за победителя рысистых испытаний. В то время мы, бывало, последним отвозили заказ в дом, расположенный на самом верхнем краю селения, на полпути к вершине крутого холма; затем Том усаживался на перевернутый ящик из-под сахара, отпускал вожжи и говорил только: «Домой, Дик!» — и старый пони устремлялся вперед, словно новорожденный — на свет божий; шея его была изогнута дугой, суставы ног работали, словно поршни, а наша тележка обретала сходство с летящей колесницей. И вот теперь, с тяжелым сердцем, я едва плелся к старьевщику; мне, как и матери, не хотелось продавать пони. Но я не мог не признать, что здравый смысл был на стороне Тома.

Дандо жил бобылем в старом каменном доме, в низине, у реки, на самом краю селения. Когда он, услышав мой стук, открыл дверь, я впервые увидел его без кепки,— волосы на голове старьевщика были всклокочены и спутаны, словно нутро старого матраса. Глаза его были похожи на красноватые сливы.

— Мама хочет, чтобы вы пришли взглянуть на нашего пони,— сказал я.

Прежде чем заговорить, Дандо беззвучно пошевелил губами. Мальчишки рассказывали, что старьевщик малость свихнулся: в обмен на старье он давал шары и бумажные вертушки. Однако в то утро все указывало на то, что Дандо довольно неплохо шевелил мозгами.

— Она его продает? — старьевщик вдруг приблизил ко мне лицо, заросшее щетиной, глаза его сузились.

— Не знаю,— осторожно ответил я, не доверяя этим хитрым, налитым кровью глазам.

Старьевщик осклабился и продел двухдюймовый гвоздь сквозь матерчатый пояс своих штанов — к нему он прикрепил петлю одной из подтяжек.

— Все будет в порядке, парень. Скажи ей, что я загляну нынче утром.— И когда я уже шагал назад, в деревню, он крикнул мне вдогонку пронзительным голосом, какие бывают только у уличных старьевщиков: — И если у вас завалялось какое-нибудь тряпье или банки из-под джема, искусственные зубы или жестянки — выволакивайте все! Дандо за ними придет!

Я заторопился вверх по дороге, радуясь тому, что расстался с этим привидением, которое, возможно, вскоре станет новым хозяином Дика.

Дандо появился в нашем доме в то же утро, едва мы с Гомером вернулись из школы. Гомер музицировал, сидя за фортепьяно, и Дандо, словно в трансе, застыл подле задней двери, он заглядывал в гостиную, прислушиваясь к звенящим звукам старого инструмента. Мама задержалась у стола и несколько мгновений наблюдала за Дандо. Затем неодобрительно прищелкнула языком и прошептала:

— Уже пьян — и это с утра-то!

Левая рука Гомера как бы споткнулась — музыка смолкла. Чары развеялись, Дандо пришел в себя и кивнул матери — он ее только сейчас заметил. Мама сказала ему про пони.

— Но мне не нужен никакой пони, миссис Причард,— молвил старьевщик, робко глядя из-под козырька своей кепки. Дандо побаивался маминых темных глаз и острого языка.

— Пожалуй, толку из нашего разговора не будет, а? — скороговоркой произнесла мать и сняла передник. Дандо прислонился к косяку двери и поскреб в затылке. Он следил за тем, как мать аккуратно сворачивает передник и укладывает его на полку кухонного шкафа. Когда она последним движением одернула юбку, он все еще молчал. Мать сказала:

— Если тебе не нужен пони, незачем нам терять время, понял?

Дандо казалось, обдумывал ее слова. Затем, качнувшись, оторвался от дверного косяка и поскреб плечо. Он заговорил негромко, осторожно, просительно, словно ребенок, не знающий, какое впечатление произведут его слова:

— Нет ли у вас, миссис Причард, старых тряпок, стеклянных банок, жестянок, искусственных...

— Нет!

Он снял кепку и принялся старательно разглядывать ее изнанку, затем снова нахлобучил на голову.

— Сколько лет сейчас может быть вашему пони, миссис Причард? — спросил он небрежно, словно только что прочел этот вопрос на грязной подкладке.

— Девятнадцать,— храбро ответила мать, делая знак Гомеру и мне не вмешиваться — пусть Дандо беспрепятственно на что-нибудь решится.

— Многовато для лошади,— заметил старьевщик, бросая на мать осторожный, испытующий взгляд.

— Многовато? Ерунда! Убирайся! Отец этого пони участвовал в сражениях и прожил до тридцати одного года. Почти до самой его смерти на нем ездил верхом, через горы в Пентр, пьяный фермер весом в тринадцать стоунов [1]. Если ты думаешь, что Дик стар,— она схватила сложенный передник и начала размахивать им перед носом у Дандо.— попробуй остановить его разок, когда он уже повернул к дому.

— Могу я взглянуть на пони, миссис Причард? — смиренно попросил Дандо.

---

[1] Стоун — мера веса, равная 6,35 *кг*.

— Конечно, если ты намерен его купить. В противном случае я не стану понапрасну терять время.— Она сделала вид, что колеблется, затем добавила:— Кроме того, я еще не решила, продавать его или нет.

Но мать показала пони старьевщику; при этом Дандо дали понять, что он созерцает нечто бесценное, видит принца в лошадином обличье; так оно в действительности и было, но только в глазах моей матери. Оба хитрили и торговались с полчаса, пока, в конце концов, Дандо не предложил на один фунт меньше против запрошенных матерью восьми. Мать согласилась, и на этом баталия закончилась.

Позже Том сказал, что сделка удалась, такую цену нам все равно нигде не дали бы. Но мать возразила:

— Хорошая это цена или нет, я не позволю Дандо взять пони из конюшни до тех пор, пока он не поклянется, воздев к небу все свои пять пальцев, что будет хорошо обращаться с Диком и ни за что на свете не отдаст его живодерам.

Дика увели — и опустевшая конюшня засквозила огромной дырой в стене дома. К этому времени Дандо Хэмер уже продал своего осла и теперь впрягал нашего пони в тележку, на которой возил старье и кости, однако никто из нас этого пока не видел. Как только на улице раздавался боевой клич Дандо, Гомер и я крадучись уходили в дом, не желая глядеть на то, как Дик влачит жалкий выезд Дандо.

Но у нас оставалось еще фортепьяно; и мама так часто наводила на него лоск, что оно сияло ярче кафедры проповедника; когда Гомер садился за фортепьяно, он мог видеть на его сверкающей поверхности отражение верхушек деревьев в саду и шеста, поддерживающего бельевую веревку. Понукаемый матерью, Гомер усаживался за фортепьяно по утрам и вечерам; и в доме, казалось, ни на минуту не смолкали звенящие аккорды «Абердовейских колоколов» [1].

Прошло несколько недель после продажи Дика, в доме установился новый распорядок, и я как-то забыл о существовании пони. Но мысли матери были постоянно заняты им. Всякий раз, когда на улице слышался пронзительный голос старьевщика, она выскакивала на крыльцо посмотреть, как выглядит наш питомец. Однажды она направилась к нему через улицу с яблоком в руке. Дик моментально узнал маму, поднял голову и немного оживился, как в старые добрые времена. Рассмотрев Дика вблизи, мама так же, как и мы, была удивлена, но не потому, что с ним было что-то неладно — придраться было решительно не к чему. Дик изрядно похудел, но пребывал в отменной форме. И все же казалось, будто он съежился: голову держал уже не так гордо, и шея утратила стройность. Он напоминал старого человека, достигшего того возраста, когда легче дышится открытым ртом. Мама запустила руки в гриву Дика — и глаза ее потемнели. Часто случалось, что какое-то чувство, завладев ею, неожиданно оборачивалось гневом; вот и теперь мама смерила старьевщика взглядом и резко сказала:

— Чтобы лошадь была в порядке, следует почаще браться за щетку и скребницу!

В ее словах не было ничего оскорбительного, но произнесены они были таким тоном и с таким видом, словно Дандо был никак не меньше, чем преступник, уморивший голодом собственных детей. Старьевщик косо взглянул на мать из-под козырька покрасневшими глазами, однако в то утро у него не хватило духу сказать, что пони ей больше не принадлежит.

Вскоре после этого случая на ноге у пони образовалась язва. Мама сразу же ее заметила и сказала Дандо, что сообщит куда следует, если

[1] Народная валлийская песня.

он не займется лечением лошади всерьез. Язва поджила, но было ясно, что за Диком не ухаживают. Большую часть дня Дандо проводил в пивных. Обычно он выезжал из дому на своей колымаге рано поутру, исполненный благих намерений, словно новоиспеченный миссионер; потом подкатывал к «Борзой» и бросал там якорь до конца дня, а в это время старый пони, понурив голову, стоял на улице. Там-то частенько и видел его наш Том, возвращаясь с работы после полудня, однако он ни словом не обмолвился матери.

Но однажды вечером мы поняли, что дело действительно обстоит скверно. Весь день шел проливной дождь, порывистый ледяной ветер гнал над долиной низкие облака. Лицо Тома оставалось сумрачным даже после того, как он смыл с него угольную пыль. Принявшись за еду, он вдруг с сердцем разломил краюшку хлеба, крутанул головой и выпалил:

— Дик стоит возле «Борзой» под дождем. Похоже, что он там уже целый день.

Мама убрала чайник на плиту и взглянула на Тома. Затем сняла передник и аккуратно положила его на кухонный шкаф. Готовились какие-то события.

— Ступай в конюшню, Гомер,— приказала она.— У нас на сеновале много папоротника. Набери охапку побольше и отнеси в конюшню, чтобы Дику было мягче.

— Что ты собираешься делать, мама? — спросил Том.

— Мы берем Дика обратно.

— Но это невозможно!

— Невозможно? — переспросила мать, оглядываясь в поисках пальто.— Посмотрим! Если никто из вас не пожелает за ним сходить, я отправлюсь сама.

— Ты не можешь это сделать, мама! Привести его обратно — значит украсть.

— Кто собирается его красть? Ведь он стоит возле «Борзой»?

— Да, привязанный к забору.

— Тогда остается только отвязать его! — глаза матери пылали гнеѓом.— Я знаю, к какому дому он повернет!

Все обстояло так просто, а никто из нас не додумался! Том встал из-за стола и взялся за шапку.

Мама остановила его:

— Нет, Том, пусть пойдет кто-нибудь из мальчиков. Это не будет выглядеть так... откровенно,— лукаво улыбнулась она.— Ты шагай, Вилли.— обернулась она ко мне.— Дождь льет как из ведра, на улицах — никого. Ты только отвяжи Дика, а сам отойди в сторонку. Вот, возьми для него сахар.

Мгновение спустя я был уже на тротуаре, лицо мое пылало от возбуждения, карман куртки был набит кусками сахара. Дождь лил сплошным потоком, и когда я добрался до Дика, он, видимо, промерз уже до костей. Голова пони свесилась почти до земли. Дорога превратилась в бурный поток, улица была безлюдна. Я протянул Дику сахар и назвал его по имени. Он слегка ткнул меня носом, как делал прежде, и попытался дотянуться до кармана. «Слава богу, жив,— подумал я,— и сможет идти». Я освободил ему уздечку, отвязав от нее веревку, идущую обычно на упаковку ящиков с апельсинами; улица по-прежнему была пуста. Дик повернул голову, словно разглядывал дорогу. И тогда я сказал:

— Домой, Дик!

Старый пони вопросительно уставился на меня. Я повторил. Тут уши Дика вдруг встали торчком — и несколько секунд спустя колеса повозки старьевщика закрутились быстрее, чем шестерни шахтной

клети. Тряпье и пустые жестянки, собранные Дандо еще до того, как он засел в пивной, градом посыпались на уплывавшую из-под ног мостовую. Пони стремительно понесся вверх по улице, увлекая за собой повозку, рассекавшую воду, словно быстроходный катер. Мама оказалась права: Дик безошибочно знал дорогу домой; больше того — он прибежал раньше, чем мы предполагали. Но его поджидали Гомер и Том, и когда подоспел я, Дик уже лежал, уютно устроившись на мягкой подстилке из папоротника, а его кормушка была полна овса.

Когда улеглось волнение, вызванное этими переменами, все снова собрались на кухне.

— Что будем делать дальше, мама? — спросил Том.— Хэмер явится сюда, как только протрезвится. Что мы ему скажем?

— Скажем, что такой хозяин Дику не нужен.

— Но ведь он купил лошадь,— забеспокоился Том.

— Да, но Дандо не сдержал слово.

— Для него это не довод, он ведь придурковатый.

— Нам не о чем с ним спорить. Я выкуплю у него Дика обратно.

— Выкупишь! А где возьмешь деньги?

— Деньги я достану. Мы продадим фортепьяно.

— А как же с музыкальными занятиями Гомера?

— Гомер выучится играть на флейте. Правда, Гомер? — мама обернулась к младшему сыну; она готова была его умолять. Но Гомер тут же кивнул в знак согласия: у него был легкий характер; ему бы и в голову не пришло надуваться из-за какого-то фортепьяно. Так или иначе, но дальше «Абердовейских колоколов» он все равно не продвинулся, и даже при исполнении этой вещи левая его рука обнаруживала отсутствие твердости.

Дандо Хэмер явился на следующее утро, довольно рано, но мать уже поджидала его. Мы с Гомером при сем присутствовали и надеялись славно позабавиться. Дандо был необычайно вкрадчив и застенчив.

— Доброе утро, миссис Причард,— приветствовал он мать.— Спасибо вам за то, что вы позаботились о пони.

Не произнеся ни слова в ответ, мать окинула его таким взглядом, что старьевщик начал беспокойно теребить козырек кепки.

— Все произошло чисто случайно,— продолжал он уже более оживленно.— Видите ли, меня задержали дольше, чем я ожидал.

— Дандо Хэмер,— сказала мать, вкладывая в эти слова все презрение, на какое только была способна,— ты недостоин даже чистить конюшню этого пони!

Дандо склонил голову в знак признания своего несовершенства.

— Можно мне забрать его сейчас? — спросил он, выждав несколько томительных мгновений.

Мать неторопливо сложила передник.

— Нет, нельзя,— изрекла она.— Пони остается у меня.

Дандо сделал над собой усилие, стараясь разъяриться. Он начал изрыгать поток бессвязных слов, сдобренных сильным винным перегаром. В этой мешанине прозвучало слово «полиция».

— Полиция! — невозмутимо повторила мать.— Поостерегись о ней упоминать, Дандо. Подумай лучше, что ты скажешь в свое оправдание, когда я приглашу ветеринарного инспектора осмотреть пони!

Дандо беззвучно пошевелил губами.

— Но как же я буду возить старье! — захныкал он.

— Дэви Протеро из магазина «Удачная покупка» только что приобрел автомобиль, так что его лошадь теперь без дела. Пойди к нему

и одолжи лошадь да прихвати свою старую повозку. Деньги за пони я тебе верну.

Дандо пристально посмотрел на мать. Ему-то хорошо было известно, что в нашем доме кубышек не водилось.

— Когда вернете, миссис Причард? — спросил он учтиво-издевательским тоном.

— Как только продам фортепьяно. А сейчас — убирайся! Мне некогда болтать по пустякам.

Лицо Дандо внезапно просветлело. Слово «фортепьяно» затронуло в глубине его души какую-то тайную струну.

— Вы говорите о фортепьяно с зеленой отделкой? — оживился он.— Продать его хотите?

— Да!

— Позвольте мне на него взглянуть?

Мать с недоумением посмотрела на Дандо, затем вспомнила, в каком трансе он стоял у задней двери и слушал игру Гомера, когда несколько недель назад впервые явился в наш дом. Мать жестом пригласила старьевщика следовать за ней в гостиную. Он остановился на почтительном расстоянии от старинного инструмента, сжимая в руке кепку; его маленькие серые глазки, полуприкрытые гривой седых волос, вдруг забегали.

— А оно в порядке? — шепотом спросил старьевщик.

— Разумеется,— с оттенком презрения в голосе ответила мать.— В руках нашего Гомера оно поет!

Она провела рукой по пожелтевшим от времени клавишам, и водопад звенящих звуков заполнил гостиную. Растроганный старьевщик застыл перед фортепьяно, словно перед алтарем. Меланхолическое эхо медленно угасавших звуков всколыхнуло в нем нечто давно забытое. Дандо весь переменился, словно человек, которому было дано услышать ангелов. Чуть погодя, очнувшись, он неожиданно выпалил:

— Возвращаю пони за инструмент — и даю один фунт в придачу!

От матери не укрылось возбужденное состояние старьевщика.

— Пони и два фунта в придачу! — парировала она.

Дандо снова окинул фортепьяно оценивающим взглядом.

— Смелее, не теряй времени,— подбадривала мать.— Осмотри его хорошенько со всех сторон.

Старьевщик робко шагнул вперед, провел рукой по шелковой отделке и с благоговением дотронулся до полированного красного дерева. Пальцы его застыли над клавишами, но он отдернул руку, так и не прикоснувшись к ним. Затем, не отрывая взгляда от фортепьяно, сказал:

— Вы правы, миссис Причард. Это замечательный инструмент! Даю за него два фунта и пони. Я увезу его к себе прежде, чем вы сядете пить чай. Вот для начала деньги.

И он широким жестом выхватил из внутреннего кармана две фунтовые бумажки. Старьевщик положил их на фортепьяно и тут же заторопился к Протеро одолжить лошадь. Неведомое сочетание сладостных, забытых звуков так подействовало на Дандо, что он весь преобразился: теперь в его жизни была сияющая цель.

Видя, как он заторопился прочь, мама улыбнулась.

— Господь да хранит нас! — воскликнула она, качая головой.— Дандо собирается выучиться играть сам, без посторонней помощи!

Немного погодя, усадив нас за стол, она сказала Гомеру:

— Думается мне, с флейтой ты лучше управишься. Это старое фортепьяно уже порядком расстроено, да еще требует хлопот: каждый день приходится наводить на него лоск.

Дандо по совету матери одолжил лошадь у Протеро и в тот же день увез фортепьяно к себе. А Дик остался в своем прежнем стойле и вскоре снова вошел в тело. Никто из нас особенно не огорчался из-за того, что мы лишились фортепьяно. Его треньканье наскучило нам, словно школьный звонок; и прежде чем мама собралась купить Гомеру флейту, он утешился тем, что начал играть в футбол. Том приволок домой карточный столик, который выиграл в лотерею, а мама поставила его в гостиной, дабы не пустовало освободившееся место: и вскоре все мы забыли про фортепьяно.

Во всяком случае, мы так думали до тех пор, пока однажды утром мама не вошла в гостиную, чтобы протереть нашу немудреную мебель. Трудно сказать, что ей напомнило о фортепьяно. Возможно, когда она нагнулась, вытирая пыль, ей послышался какой-то печальный отзвук; а может быть, она просто заметила темный силуэт на выцветших обоях. Как бы там ни было, мама выпрямилась и сказала так, что было слышно нам с Гомером, хотя мы находились в кухне:

— Интересно, как там наше фортепьяно. Умеет ли Дандо с ним обращаться? Пока у меня еще есть силы, придется мне пройтись до дома старьевщика и хоть одним глазком взглянуть на фортепьяно. Жаль будет, если оно отсыреет, это его погубит — такой прекрасный инструмент!

Тут я взглянул на Гомера и увидел, что лицо его жалобно искривилось,— точь-в-точь как это бывало, когда он старательно извлекал из фортепьяно переливчатые ноты «Абердовейских колоколов».

АЛЕД ВОГЭН

Белый голубь

Была суббота — в детстве этот день всегда кажется волшебным. Никаких школьных занятий, и в твоем распоряжении вся округа — можно шататься сколько влезет. Втайне я воображал себя капитаном футбольной команды высшей лиги, самолично забивающим все до единого гола, так что на поле лишь поражаются моему натиску и умению. А иногда я превращался в одного из последних королей Уэльса, укрывшегося после жестокой битвы с англичанами на освещенном лунным сиянием торфянике, покрытом лиловатым вереском; одинокий король огромными шагами мечется по вереску, он планирует новую кампанию, которая должна стереть неприятеля в порошок. Тогда верные мои соратники поднимут меня — победителя! — на плечи и понесут вдоль нашей деревни; на ходу я собью с головы директора школы Эванса безукоризненный черный котелок и сброшу его в самую грязь, потому что на прошлой неделе он всыпал мне шесть ударов розгами за то, что я вырвал с корнем две лучшие яблони в школьном саду, чтобы смастерить себе ходули.

Но в тот день и час, о котором пойдет речь, я играл на гумне, возле дома, со своим лучшим другом Эмиром. Сказать по правде, Эмира со мной не было, а зря, поскольку между нами проходило состязание в меткости — предстояло выяснить, кто первый попадет в пустую банку из-под лосося, которую я надел на кол садовой ограды. Эмир — это моя левая рука, и у него шесть камней; я — это

моя правая рука, и у меня тоже шесть камней — за исключением тех случаев, когда я начинал проигрывать. Тогда я взглядывал исподлобья на небо и украдкой швырял еще один камень. Большей частью выигрывал я, потому что я привык все делать правой рукой.

— Какой ты меткий! — вынужден признать Эмир.— Ты попал в банку целых четыре раза! А мне удалось всего разок.

— Я практикуюсь почти каждый вечер,— скромно ответил я.

— Я тоже,— признался Эмир.

Мне нечего добавить. Я пожал плечами и застенчиво улыбнулся. Потом я попал в жестянку два раза подряд. Сердце мое забилось от волнения.

Был серый полдень. Темные тучи так низко плыли над долиной, что едва не задевали за нашу трубу; кусок шифера, укрепленный над ней, не позволял ветру загонять дым обратно в печь. Небо было широкое и плоское. Оно придавило горы. Зеленую траву на полях покрывала копоть, а деревья казались неведомыми чудовищами, пропоровшими небо обнаженными, сухо поблескивавшими рогами. Два-три увядших листочка, жадно цеплявшихся за ветви, походили на настороженные уши. Все это напоминало картину, висевшую у нас в классе, на которой был изображен один из эпизодов Столетней войны; всякий раз, когда я на нее взглядывал, внутри у меня будто что-то обрывалось и весь я покрывался потом. На этом полотне были вперемешку, друг на друге намалеваны кони, люди, ружья, штыки — на фоне льющейся крови и пылающего пламени.

Внезапно я почувствовал, что слева от меня никого нет. Эмир исчез. Банка из-под лосося превратилась в каску немца, выглядывавшего из-за бруствера окопа, а сам я был французским фельдмаршалом, направлявшим огонь артиллерии.

Трижды были отмечены прямые попадания, однако немец все еще был жив, и в тот момент, когда я почувствовал, что мне надоело быть французским фельдмаршалом, из-за черных туч вдруг беззвучно и стремительно вынырнул белый голубь и стал круто спускаться к земле. Сделав три плавных круга над гумном, он легко взмахнул крыльями и уселся высоко на перекладине амбарной крыши.

Я весь преобразился. Теперь я уже не мальчишка с двумя руками, ногами и головой. Я стал землей, стал всем сущим, я был повсюду — и, словно онемев, ходил вокруг амбара, не отрывая взгляда от белого голубя. Он настороженно примостился на крыше — вылепленная из снежинок ослепительная вспышка света, насмехающаяся над этим мрачным миром. Его безукоризненно белая грудка ровно вздымалась и опускалась, бросая уверенный вызов грозному небу. Время остановилось, я очутился в центре вечности.

Грозный порыв ветра с завыванием пронесся над черно-серой долиной. Он с силой хлестнул голубя по боку. Грациозный белый силуэт вдруг расплылся, перья встали дыбом, будто в ужасе, крылья распахнулись в немом крике. Мое всеведение сжалось в комок: я вновь ощутил, как мрачен этот день.

Птица снова обрела свою ослепительную красоту, но мое внутреннее равновесие было нарушено. Время снова двинулось вперед и уже требовательно напирало на меня. Мною овладело непреодолимое желание коснуться голубя руками, заслонить его собой. Чтобы вновь обрести душевное равновесие, мне нужно было обладать птицей, защитить ее, всегда иметь при себе. Я бросился под навес, где стояла телега; горячее желание придало мне силы, и я сумел подтащить длинную лестницу и прислонить ее к стене амбара. Когда я добрался до крыши, голубь все еще сидел там, казалось, до него можно было дотянуться рукой. Радостное ощущение вернулось ко

мне, но оно не было уже таким спокойным и уверенным, как прежде. Я взобрался повыше, рискованно балансируя на верхней перекладине и упираясь коленями в жесткий край черепичной крыши. Но я не ощущал грозившей мне опасности: присутствие голубя притупило чувство осторожности. Ласково маня его — раньше я и не подозревал, что язык мой был способен издавать подобные звуки,— я протянул к нему руку, почти касаясь прохладной черепицы. Птица повернула голову и разглядывала мои крадущиеся пальцы своими круглыми, плоскими глазами, по цвету напоминавшими новенькие однопенсовики. Затем, когда я уже почти коснулся ее, тихо вспорхнула, устремляясь вверх по крутой крыше, и влетела прямо в раскрытые двери амбара. Я ухватился за черепицу. Внезапно она ощетинилась зазубренными краями, торчавшими словно клыки из раскрытой звериной пасти. Вниз по лестнице я спускался, уже соблюдая всяческие предосторожности.

Голубь уселся под крышей амбара на стропило, и когда я закрывал тяжелые двери, отрезая птице путь к отступлению, я знал, что совершаемое мною граничит с преступлением.

Издревле заложенный инстинкт подсказывал мне, как добраться до птицы. Но она примостилась высоко, я знал, что мне туда не дотянуться, как и то, что лестница слишком высока и крыша амбара помешает поставить ее прямо. Затем порочное влечение целиком завладело мною, и я перестал ему противиться. Я выскользнул во двор, огляделся по сторонам и, убедившись, что свидетелей нет, набрал полный карман камней. Потом вернулся, затворил двери и прицелился. Сначала я промахнулся. Камень с грохотом ударился об оцинкованную железную крышу, а голубь склонил головку, прислушиваясь, и словно спрашивал о чем-то. Но второй камень угодил в цель, и мой пленник начал бессильно биться о крепкую стену амбара, ставшего для него тюрьмой. Я ликовал. Но было нечто ужасающее в том, что птица не издала ни единого звука в тот миг, когда ее настиг камень. Я снова запустил в нее кругляшом, и в суматошном стремлении спастись она ударилась о стальную балку. Когда голубь упал в мои подставленные руки, его крылья нервно подрагивали.

И — о, светлая радость обладания! — как приятно было ощущать в ладонях птичье тельце, покрытое мягкими, слегка пружинящими перышками! Сердце голубя билось как сумасшедшее, словно жизнь его готова была выскочить наружу, коснуться меня и раствориться во мне. И он преуспел в своем стремлении, ибо вскоре мы стали единым целым, и это был момент ослепительной вспышки счастья, когда, казалось, мы могли свободно парить над нагромождениями нашего мира или исследовать небесную ширь. Содеянное зло исчезло бесследно.

— О, мой любимый, любимый, любимый голубь! — нараспев произнес я.— Мой прекрасный белый голубь!

Я вынес его из темницы. Как только он увидел небо и простор полей, он сделал попытку освободиться. Он начал вырываться из моих рук, и его испуганные глаза при этом тревожно мигали. Я весь внутренне сжался от горя. Он не хотел быть со мной, он меня не понимал.

— Я не сделаю тебе больно,— зарыдал я, держа его прямо перед собой, чтобы он все понял по выражению моего лица.— Я не сделаю тебе больно! Я буду лучшим твоим другом! Я буду проводить с тобой все вечера, все субботы и воскресенья, я буду кормить тебя!

Он снова начал вырываться, так что пришлось крепко его держать. Чувства мои смешались: с одной стороны, мне претило делать

что-либо против его воли, с другой — не хотелось его отпускать. Вдруг он затих, и мне показалось, что он понял мое желание быть его другом, но тут клюв его приоткрылся, и крохотная капля крови скатилась с бледного язычка и растеклась по тыльной стороне моей ладони. Ошеломленный, я наблюдал, как эта теплая капля стекала по моему запястью. Затем ко мне пришло душераздирающее раскаяние.

— Прости меня! Прости! — закричал я, прижимая к груди его маленькое, теплое тельце.— Я не хотел сделать тебе больно! Я хотел стать твоим другом! Ты простишь меня? Ты простил?

Я поднял руку, державшую его, и разжал ее; втайне я надеялся, что, если верну ему свободу, вина моя будет искуплена и, если он не улетит, это будет означать, что он меня прощает. Но едва мои пальцы разжались, как он взмахнул крыльями и беззвучно взмыл ввысь,— белый силуэт вознесся к темным тучам. Он исчез.

В единый миг мир превратился в бездонную пропасть — а я был один, затерянный в нем, одинокий, как море в штормовую ночь. Сердце мое не выдержало — горько рыдая, я помчался к серому дому.

ГЛИН ДЖОНС

Человек с четырьмя ногами

Маленькая девочка сидела за кухонным столом и рисовала огонь, который был похож у нее и на букет роз, и на чашу с вином, и на огненный метеор. Она была совсем одна — если не считать фигурок двух собак из белого известняка, которые стояли на каминной полке,— но отнюдь не боялась, хотя дом был на отшибе, а за окном, на фоне гор, в сумеречном свете дня кружился снег. Посреди стола лежал большой почерневший железный ключ от входной двери; с девочкой в доме оставался один-единственный друг — рыжеволосый огонь в камине, хранитель седых преданий.

Когда девочка склонялась над кубком и вспышкой метеора, из треугольного выреза платья выглядывала шейка с ее подстриженным затылком. Большие глаза ее были словно коричневый фарфор, в них отражалось яркое пламя очага, а в уголке рта, в складке между пухлыми губами, виднелась небольшая коричневая болячка, словно середка маргаритки. На ней было светло-желтое шерстяное платье с вышитыми на рукавах лилиями, а в волосах торчало малинового цвета перо.

Ветер пронзительно завывал в ветвях буков, уносясь к невзрачным на вид горам, а девочка вспомнила слова бабушки, что это — Rhys-y-Mynydd [1]. Кончик языка исчез, девочка посмотрела на часы с медными стрелками, которые постукивали на стене. Пора было готовить еду; проходя мимо окна, она увидела старого человека, который медленно спускался по склону сквозь густую завесу снега. Она взглянула на него поверх плотных занавесок с бледно-желтыми нарциссами, но тут же забыла про старика на завьюженном склоне и

[1] Человек-Ветер *(валлийск.)*.

про холодную крышку чайника, которую держала в руке. Неистовствовавшие снежинки, роясь, мчались в конец долины, и первый, серый, словно нарисованный карандашом, снег мягким пластом уже лег на округлые вершины. Ежевика в бабушкином саду напоминала спутанный клубок молочно-белой шерсти, а трава с хохолками у садовой ограды была словно медвежья шкура, припорошенная снегом. Среди бесновавшихся снежинок порхала крохотная малиновка с красной грудкой.

Когда старик постучал в дверь, девчушка подпрыгнула, достала со стола ключ и отперла замок. Она распахнула дверь, и сквозь широкий проем в кухню, словно белые мухи, зигзагами влетели три снежинки, а ледяной бриз пчелой зажужжал в упругом пере в ее волосах.

— Мама дома? — спросил старик.

— Нет у меня мамы,— отвечала девочка.

Она поняла, что незнакомец был бродячим стекольщиком, он таскал на спине ящик на ремнях с большими квадратными кусками стекла, похожий на огромное окно. Девочка засмеялась, увидев, что его шляпа-котелок и длинное черное пальто сплошь занесены снегом, словно их покрыли толстым слоем известки. Лет старику было порядочно, он был щуплый, а ростом — чуть повыше девочки, хотя к подошвам его башмаков пристали толстые пласты снега. Сморщенное лицо старика было желтым, под глазами — мешки, которые, казалось, оттягивали нижние веки, так что девочка видела, какие они красные изнутри. Нос стекольщика был тонкий и костистый, словно острый розовый коготь, загнутый вниз, как шип розы, а его отвисшая нижняя губа была одного цвета с веками. Редкая бородка топорщилась серым клубком поверх застегнутого ворота; старика била мелкая дрожь, и эта дрожь передавалась бородке, шляпе и пальто. Малышка усадила старика в плетеное бабушкино кресло — его тяжелая ноша осталась в саду — и при этом заметила, что на его руках, лежавших на подлокотниках, набухли толстые вены; эти руки были похожи на оборотную сторону листьев ревеня, только очень волосатые.

Болезненная гримаса то и дело появлялась на маленьком трясущемся лице старика, полуприкрытом полями шляпы, и от этого девочка вдруг почувствовала себя несчастной и начала гадать, кто этот пришелец. А поскольку он казался таким печальным, то она подумала, что, возможно, это Rhys-y-Mynydd, Человек-Ветер, стон которого эхом отдается в горах. Девочка велела старику надеть очки и взглянуть, как она нарисовала пылающий огонь, чашу с вином и стремительно падающую звезду. Он поднес бумагу к розовой закорючке носа, склонился над рисунком и дрожал так, что девочка забеспокоилась, как бы его глаза не выпали в стекла очков, но при мысли об этом она снова рассмеялась.

Старик ничего не сказал о рисунке, поднял голову и спросил:

— Что за smotyn' у тебя на губе, крошка!

Девочка тронула языком болячку.

— Моя бабушка называет это a cusan bwbach — поцелуем домового,— сказала она.— А теперь — можно? — я тебя тоже кое о чем спрошу. Почему ты дрожишь возле огня и на лице твоем — морщинки, словно отпечатки листьев?

Старик поднял голову и взглянул на девочку, дрожь его не унималась. Одно стекло его очков треснуло посередине.

— Дрожу я потому, что вынужден влачить бремя четырех нош,— ответил старик, протягивая к огню растопыренные пальцы.

— Но сейчас ты ведь ничего не несешь,— удивленно возразила девочка.— Твоя ноша со стеклом осталась в саду.

Красные губы старика тронула слабая улыбка.

— Я несу груз, который в четыре раза тяжелее этой ноши,— ответил он.

— Покажи мне свое бремя, расскажи о ноше, которая в четыре раза тяжелее твоего груза! — воскликнула девочка.

Верхняя губа старика дернулась, словно веко. Он сунул очки в карман и коричневым носовым платком вытер влажные глаза.

— Моя первая ноша зовется бедностью,— сказал он.

Девочка направилась в кладовую и вынесла хлеб в подоле платья.

— Я отрежу тебе свою любимую горбушку от молочного хлеба,— сказала она.

— Горбушка не облегчит мою вторую ношу, которая зовется одиночеством,— отвечал старик.

Девочка пошла к двери и вытащила из замка большой железный ключ.

— Я дам тебе ключ от кухни моей бабушки,— предложила она.

— Ключ не сделает легче мою третью ношу, которая зовется болезнью,— возразил старик.

Девочка помнила, как бабушка, бывало, соскочит с кресла, проглотит какую-то горошину и потом снова чувствует себя хорошо.

— Я помогу тебе встать и поддержу, когда ты соскочишь на коврик,— сказала она.

— Прыжки не избавят меня от моей четвертой ноши, которая зовется старостью,— ответствовал стекольщик.

Малышка вспомнила слова бабушки о том, что часы приносят на стрелках дни рождения.

— Я вырежу циферблат часов, а мой огонь сожжет его,— предложила она.

Огромный ком снега скатился с крыши и упал в сад; старик поднялся и медленно открыл дверь. Метель давно прекратилась, и ветер почти утих, оставив след лишь на ребристой поверхности застывшей лужицы посреди садовой дорожки. Сад казался недвижным под ровным покровом снега, вишня была похожа на белую торчащую из земли кость, а ветви буков, под которыми стоял стеклянный груз старика, прогнулись под тяжестью снежного бремени, большие сучья походили на белых змей, и каждая крошечная веточка, не длиннее реснички, тоже удерживала свой мизерный груз снега. Квадратный ящик со стеклом был покрыт толстым слоем снега; девочка утопила в нем ладошку, дотронулась до холодного стекла и указательным пальцем начертала широкий крест — две перекладины под прямым углом через весь белый пласт.

— Помни про хлеб, крошка, и про ключ, и про прыжок, и про циферблат,— молвил старик и, повернувшись, медленно побрел прочь из сада.

— До свидания, Человек-Ветер,— пролепетала вслед ему девчушка, и ей вдруг стало грустно оттого, что старик с таким трудом шел по дорожке. Она следила, как он мучительно-медленно поднимался по склону холма, направляясь к молочно-белым горам; на спине его на белом фоне отчетливо виднелся большой черный крест.

Когда старик скрылся из виду, девочка вернулась в кухню, ощупывая языком уголок рта. Она почувствовала, что болячка исчезла. Малышка зажгла свечку и полезла искать болячку под столом.

Иордан

Меня одолевает беспокойство. Сегодня, бреясь, как всегда, бритвой с белой ручкой, я порезал себе подбородок, но кровь не пошла. Точь-в-точь как это случилось у моего друга Дэнни. Было время, когда мы вместе зарабатывали на хлеб на ярмарках и рынках в том далеком краю, где нет ничего, кроме ферм и часовен. Места те были еще малоосвоенные. Тогда-то я изобрел прекрасный товар — особый кубик, верное средство против мух, отгонявшее их от мяса, а Дэнни предлагал покупателям зубную пасту в небольших круглых коробочках. Несколько фунтов этой пасты — зеленоватой и дурно пахнущей — Дэнни соскреб с отвала мокрой глины. Пасту он держал в жестяной миске и иногда продавал в качестве средства от мозолей. Стараясь привлечь внимание публики к товару, разложенному на прилавке, Дэнни обычно раздевался до черного трико и начинал прохаживаться взад-вперед, держа в зубах на коротком ремешке увесистую гирю весом в пятьдесят шесть фунтов. Делалось это для того, чтобы продемонстрировать, какие у вас станут прекрасные зубы, если вы будете употреблять пасту Дэнни. Только в такие минуты лицо Дэнни утрачивало привычную бледность и розовело. К нему приливала кровь — потому что Дэнни прохаживался на руках, стоя вниз головой, а его худые ноги в черном трико колыхались в воздухе.

Дэнни был щуплым и маленьким. Если я позволял себе шутить по поводу худобы его ног, он обиженно опускал глаза и говорил: «Оставь меня в покое». Он был очень ранимый. Дэнни сам смастерил себе трико из чулок, которые выкрасил в черный цвет, оно не всюду плотно прилегало к телу, словно скрывало внутри большие пустоты. У Дэнни было тонкое лицо с прозрачной кожей, лицо часто недоедавшего человека, хранившее покорное, животное выражение. Если и было в его облике что-то безобразное, так это уши. Большие и желтые, они торчали под прямым углом к голове. Анфас они выглядели так, будто их ввинтили в голову, причем одно вошло намного глубже другого. Рыжеватые невьющиеся волосы Дэнни, длинные и густые, были зачесаны назад. Когда он ходил вниз головой на полусогнутых руках, зажав в зубах гирю весом в полсотни фунтов, волосы его копной свешивались вниз и подметали булыжную мостовую. Дэнни очень гордился своими зубами. Он был о них такого высокого мнения, что никогда не показывал. Никому не довелось видеть, как Дэнни улыбается.

Я предлагал покупателям свое изобретение — белые кубики против мух. Кубики я лепил из свечей, предварительно разминая их пальцами. Установив прилавок в гуще рыночной толпы, я выставлял на тарелке ломтик мяса, а сверху клал один-два белых кубика. В тех краях на рынках всегда было множество крупных синих мух, они роились вокруг ларьков со сладостями и над кучами конского навоза, но ни одна из них ни разу не села на мое мясо, когда на нем лежали белые кубики. Случалось так не потому, что мухам не нравились кубики, но по той причине, что тарелку с мясом я ставил на блюдечко с керосином.

Как-то вечером мы с Дэнни сидели на кровати в своей ночлежке. Это было грязное, мерзкое заведение, мы ловили на его стенах клопов, нанизывая их на иголки, и одного за другим предавали безжалостной смерти в пламени свечи. Дэнни был сильно не в духе. Ярмарка закончилась, но фермеры не пожелали расстаться со своими медяками. И погода была скверная, сырая и ветреная; нас одолевал холод. Дэнни сказал, что мы здесь вроде первооткрывателей и что местные фермеры — дикари, которых не заботят нечищеные зубы и загажен-

ная мухами пища. Отвратительное было у него настроение. За последние дни ему не часто доводилось есть досыта, так что в промежутках между громкими вспышками, в которых гибли в пламени клопы, можно было слышать, как урчит его пустой живот. Мне тоже было здорово не по себе. Предстояло где-то раздобыть деньги, чтобы расплатиться за ночлежку и за места в конной линейке, которая отправлялась из города на следующее утро. Я предложил Дэнни прогуляться по городу и попытать счастья, но он отказался. Сначала он сказал, что на улице слишком холодно. Потом сослался на то, что ему нужно заштопать трико. В конце концов я отправился один.

Над городом только что прошел очередной ливень, так что насчет холода Дэнни был прав. Продвигаясь по темной и безлюдной главной улице, я чувствовал, как в дырах моих башмаков гуляет ветер. Многие питейные заведения были закрыты, повсюду было тихо — ни души. Я заглянул в трактиры к Беллу, к Фитерсу и к Глиндуру, но они были пусты. Сквозь стекло вращающейся двери в харчевне «Черная лошадь» я вдруг заметил рослого широкоплечего человека, который одиноко сидел в баре. Больше там никого не было. Человек расположился у огня, спиной ко мне. Внутренний голос подсказывал мне, что выставить его на выпивку будет так же просто, как потереть руки. Сомнений быть не могло, ибо на голове у незнакомца красовался рыжий парик, который скрывал воротник его пальто, а ведь парики, как известно, носят только одинокие люди.

На столе перед посетителем стоял стакан виски; в руках он держал черную книжечку. Незнакомец заглядывал в нее и распевал по-валлийски церковный гимн. Гимн был похоронный — печальный, но необыкновенно торжественный. Я стоял в дверях бара и слушал. Изнутри харчевня «Черная лошадь» выглядела тесной и угрюмой. Я колебался, проходить ли мне дальше. Судя по размерам шеи и плеч, человек был могуч, и от малейшего движения огромная масса его плоти начинала колыхаться. Стоило ему замереть — и колыхание прекращалось. Я проскользнул в бар мимо незнакомца и остановился у огня, по другую сторону стола.

Очутившись лицом к лицу с этим человеком, я вдруг почувствовал, как внутри меня словно что-то оборвалось. Лицо его было отталкивающим. Казалось, его вначале исполосовали чем-то острым и содрали кожу, а потом кое-как сшили и приживили ее на прежнее место. Кожа была красноватого оттенка, обезображенная длинными белыми шрамами, похожими на расходящиеся веером хрящи. Страшной участи избежал лишь нос этого человека. Крупный, темный, испещренный множеством дырочек, он торчал словно большая, изъеденная червями деревяшка. Человек был до того смугл, что казалось, на него падает тень, и я даже поднял голову, чтобы удостовериться, не тень ли это в самом деле от потолочной балки, по другую сторону которой висела керосиновая лампа, освещавшая бар. Лицо незнакомца было начисто лишено какой-либо растительности: ни малейших признаков усов или бровей, зато парик был яркий, словно перья рыжей курицы. Он был сдвинут назад, на середину лысого черепа, а хрящевидные шрамы спускались из-под него, бороздя лоб и скулы. На человеке был опрятный черный костюм, одна нога обута в добротный, хорошо смазанный ботинок на толстой подошве. На месте другой ноги из складок брюк торчала массивная железная труба с крепким деревянным наконечником. Железная нога незнакомца была повернута к огню.

Если у вас нет при себе наличных, которые вы тут же можете выложить на стойку, то лучше всего наговорить собеседнику всяких небылиц. Я опустился на скамью, стоявшую у огня, сунул под нее но-

ги и начал с того, что отрекомендовался торговцем. Мы с Дэнни без труда могли бы уложить все наши пожитки в коробку из-под табака, однако я тут же представил дело таким образом, будто у меня хороший выбор подержанных товаров. Незнакомец закрыл черную книжечку и заговорил со мной. Он назвался Иорданом и сказал, что служит в этом городке у старого врача. Я извлек из жилетного кармана отполированный кроличий позвонок и протянул Иордану. Кость по форме напоминала миниатюрный коровий череп, даже рога там были. Мой собеседник неторопливо рассмотрел ее со всех сторон; плоть его при этом не переставала колыхаться. У Иордана были большие мягкие ладони, ногти — зеленые, словно трава. Я сказал Иордану, что он может оставить кость себе. Он заказал виски на двоих.

Я потягивал виски из стакана и не без удовольствия расхваливал свой воображаемый товар. Получалось, что у меня была небольшая переносная фисгармония, очень подходившая для исполнения валлийских гимнов, была она в полном порядке, только в одном месте порваны мехи; новейшее приспособление для извлечения пробок из бутылок — вот таким манером! — неплохой выбор кожаных кошельков, к каждому из которых прикладывался бесплатный сувенир — медный ключ для завода часов, восьмой номер, или набор булавок со стеклянными головками; пара крепких кожаных сапог, как будто специально для Иордана, поскольку оба сапога на одну ногу. Маленькие глазки моего собеседника были полузакрыты, но внимательно следили за мной, изредка двигаясь. Нагретая пламенем очага, одежда Иордана источала резкий запах. То был неистребимый, обволакивающий запах всепроникающей сырости, какой исходит обычно из заплесневелого угла старой церквушки, откуда-нибудь из-за органа, где, как правило, стоит катафалк. Неожиданно Иордан весь подался вперед и приблизил ко мне изуродованное лицо. Я смолк. Подрагивая всем телом, он негромко произнес:

— Меня интересует один-единственный товар.

Словно загипнотизированный, я вдруг почувствовал, что язык меня не слушается. Подобное случается со мной не часто. Я вопросительно поднял брови.

Иордан выдержал паузу. Маленькие глазки обшарили пустой бар. Затем губы его шевельнулись, и с них слетело слово, которое меня потрясло. Я вперился в него взглядом. Рядом с пылающим очагом меня мгновенно прошиб озноб. Иордан утвердительно кивнул и повторил одними губами то же самое слово. Это слово было:

— Трупы.

Воцарилась мертвая тишина. В баре громко стучали часы, словно длинноногая лошадь цокала копытами по безлюдной улице. Тут я заставил свое лицо исказиться гримасой боли и выжал из глаз слезу. Перекрестившись, я предложил слуге медика тело моего брата. Назавтра как раз исполнится неделя с тех пор, как я его похоронил.

Иордан нахлобучил шляпу и извлек из угла палку. Палка была увесистая с намотанным на нее солидным веревочным концом, а шляпа — черная, широкополая. Когда Иордан поднялся, мне показалось, что рядом вырос гигант. Он был намного выше, чем я предполагал. Иордан еще раз внимательно взглянул на крохотную кость, которую я ему подарил, затем швырнул ее в огонь. Мы вышли на улицу. Его железная нога ударялась о тротуар и поскрипывала, словно жестяное ведро, несомое в руке. Иордан намеревался показать мне место, куда следовало притащить труп, а мне предстояло управиться между полуночью и рассветом.

Вскоре мы миновали городские окраины. Было темным-темно, дальше дорога пошла через росные поля. Было все так же холодно, но

я этого уже не чувствовал. Иордан с его единственной здоровой ногой был так стремителен, что я, обливаясь потом, с трудом за ним поспевал. Во время ходьбы все тело его непрестанно колыхалось, однако он не производил впечатления человека слабого. Иордан скорее походил на могучую машину, мчавшуюся во весь опор и мощью своей заставлявшую вибрировать до самого основания все свое машинное отделение. Я трусил за ним, с трудом переводя дух. Он был так поглощен пением валлийского похоронного гимна, что за всю дорогу не сказал мне ни слова.

Проселочная дорога в конце концов привела нас к деревянным воротам. За ними виднелся фермерский дом, погруженный в темноту. Иордан перестал петь и крикнул — раз, другой. Ответа не последовало. Он снова запел. Затем крепко уперся в землю железной ногой и палкой, служившей ему опорой при ходьбе, а здоровой ногой изо всех сил пнул ворота. Они грохнулись оземь. Все так же торопливо мы начали пересекать двор фермы. Из темноты с лаем, угрожающе скаля белые зубы, выскочила огромная овчарка. При ее силе и свирепости она могла легко разорвать нас на куски. Однако Иордана это не остановило, я же предпочитал держаться за его спиной. Собака подскочила к нам, припала к земле и начала красться, изготавливаясь для прыжка. Затем грозно зарычала и стремительно кинулась на Иордана, стараясь вцепиться ему в горло. Однако Иордан оказался проворнее: изловчившись, он с размаху ударил собаку палкой по голове. Удар был нанесен двумя руками. Собака рухнула на мелкую гальку, устилавшую двор фермы, и издала звук, походивший на вздох облегчения. Больше она не шевельнулась. Здоровой ногой Иордан встал на тело собаки и принялся раз за разом ударять ее палкой по голове. Он не успокоился до тех пор, пока не вылезли собачьи мозги; все это делалось под громкое пение похоронного гимна. Я покрылся холодным потом. Наконец с собакой было покончено, Иордан вытер палку о траву у изгороди и с пением направился дальше через двор.

Показался большой дом с освещенными окнами.

— Запомни этот дом,— сказал Иордан.— Труп принесешь к черному ходу, с обратной стороны. Доброй ночи.

И он ушел в темноту, гигант в широкополой шляпе. Я вытер пот со лба. Иордан растворился в ночи, но я все еще слышал, как он распевает гимн и как поскрипывает его железная нога. Гимн был неторопливый и печальный, однако он не вселял в меня страха. Было иное ощущение — будто во мне оборвалась жизнь.

На обратном пути я столкнул убитую собаку в канаву.

Дэнни никогда не позволял себе роскошь оставаться без работы. Поднимаясь по лестнице нашей ночлежки, я неожиданно встретился с ним взглядом: Дэнни наблюдал за мной сквозь решетку лестничных перил. От нечего делать он практиковался в стойке на руках. Мне пришлось немало потрудиться, уговаривая его сыграть роль трупа. От него требовалась самая малость — притвориться мертвым, а уж я вместе с чернокожим парнем, жившим этажом ниже, как-нибудь дотащу его до докторского дома. После того как мы получим деньги и все в доме уснут, он сможет улизнуть через окно нижнего этажа. Мы будем поджидать его поблизости. А на рассвете покинем город и — ищи ветра в поле! Дело верное. Осечки быть не может. В конце концов Дэнни согласился.

В полночь мы втроем отправились к дому Иордана. Мы — это я, Дэнни и Марки. Марки был полукровка — длинноногий худощавый парень, кожа которого отливала матовым блеском пушечного метал-

ла; он был торговец случайным товаром — распродавал остатки сгоревшего при пожаре имущества, акции обанкротившихся компаний и прочую дребедень. Был он осторожен и старался сразу же разобраться в намерениях собеседника, но обычно за два-три пенса делал все, о чем его попросят. Мы шагали напрямик через поля, неся с собой свернутый мешок и доски, служившие мне прилавком на рынке, пока не подошли к дому, возле которого я уже побывал вместе с Иорданом. Дэнни разделся под деревом — снял и спрятал трико и другую одежду. Он натянул на себя старую фланелевую ночную рубаху кремового цвета, которую Марки отыскал среди разного хлама. Затем мы зашили Дэнни в мешок и уложили на доски. Было холодно и темно, хоть глаз выколи, снова пошел мелкий дождик.

Дом старого врача был погружен в темноту. Мы обогнули его и подошли к узкой, заостренной кверху деревянной двери в задней стене сада. Я шепотом спросил Дэнни, все ли у него в порядке. И получил разом двойной ответ — мой приятель застучал зубами, а в саду отрывисто, с подвыванием, залаяли собаки. Мысль о собаках мне и в голову не приходила. Что же теперь делать?

В тот же миг я услышал, как за стеной заскрипела железная нога и голос Иордана пророкотал: «На место, Фарв! На место, Энго!» Узкая, стрельчатая дверь распахнулась, и в ее проеме мы неожиданно увидели Иордана, обнаженного до пояса, без парика. Он выглядел таким огромным, сильным и уродливым — торчащий нос, плотное, сплошь иссеченное тело,— что я со страху чуть было не выпустил ношу. За спиной Иордана нетерпеливо повизгивали три гончие — черные, лохматые, величиной с теленка, они старались проскользнуть мимо хозяина и наброситься на нас. Иордан строго прикрикнул на них, и мы, наконец, смогли внести Дэнни в сад. Он был почти невесом, словно на досках лежал мешок с сеном. Иордан разговаривал только с собаками. Нам он сделал знак следовать за ним и, припадая на одну ногу, пошел по усыпанной гравием дорожке, направляясь через двор к каким-то видневшимся в темноте службам. Гончие бежали рядом, не переставая обнюхивать мешок, скуля и роняя слюну.

Помещение, в которое мы вошли, пахло конюшней. В нем было темно и пусто; на гвозде, вбитом в невысоко расположенную балку, висела керосиновая лампа. Мы положили Дэнни в деннике, как раз под этой лампой. Пока мы его укладывали, Иордан со своими повизгивавшими собаками оставался возле двери конюшни и не спускал с нас глаз. Взгляд его жег мне спину. Тело у Иордана было очень смуглое, грудь топорщилась толстыми сосками поверх скрещенных на ней могучих рук. Весь торс, как и лицо, носил следы ужасающих ран. Исполосовавшие его длинные блестящие шрамы походили на сверкающие прожилки, какие можно заметить на изломе камня. Лысая голова имела форму широкого купола, кожа на ней тоже была покрыта шрамами. Обнаженное тело Иордана, усеянное мелкими каплями дождя, блестело, словно покрытое прозрачным лаковым глянцем.

Мы оставили Дэнни на досках, положенных поперек денника, отступили к двери и попросили расплатиться. Иордан не торопился с ответом. Из переднего кармана брюк он извлек большой складной нож и раскрыл его. Затем, приказав собакам не двигаться с места, проковылял мимо нас туда, где лежал зашитый в мешок Дэнни. Казалось, Иордан шел бесконечно долго. В конюшне воцарилась тишина. Когда он прошел мимо, мы заметили в его спине черное отверстие, в которое без труда мог войти кулак. У меня мурашки забегали по телу. Собаки подступили к Марки и начали его обнюхивать, бедняга хватал

ртом воздух, глаза его вылезли из орбит. Я огляделся и заметил стоявшие в углу вилы с коротким черенком. Наконец Иордан добрался до Дэнни и снова взглянул на нас. Лезвие раскрытого ножа подрагивало в его кулаке. Потом он отвернулся от нас и распорол стежок на мешке в том самом месте, где находилось лицо Дэнни. Я едва дышал. Освещенное керосиновой лампой лицо Дэнни было настолько бескровным, что мне показалось, будто он действительно преставился. Волосы у меня на голове встали дыбом. У Денни отвалилась челюсть и открылся ряд сверкающих белоснежных зубов; в свете лампы блестели белки его полуприкрытых глаз. Он был бледен и неподвижен, словно и на самом деле отдал богу душу. Иордан склонился над Дэнни, изучая его взглядом; нож он по-прежнему сжимал в кулаке. Лампа освещала его влажную спину. Страх обуял меня, но если бы у Дэнни застучали зубы или заурчало в животе, я бы пустил в ход вилы, чтобы выбраться из этой переделки. Наконец Иордан обернулся. Он впервые нарушил молчание.

— Хороший труп,— похвалил он.

— Это мой брат,— заверил я его.

— Где вы его раздобыли?

— Выкопал.

Иордан кивнул. Он оставил раскрытый нож в деннике и приблизился к нам. Снова запустил руку в передний карман брюк и вытащил оттуда большой кусок мешковины. Потом развернул — там оказалось три золотых соверена. Большими, трясущимися руками он протянул мне монеты, а затем грубо выставил нас наружу. Вернувшись, он задул лампу, и мы оставили Дэнни одного в темноте конюшни. Иордан закрыл дверь, гончие, ворча, трусили рядом с нами; мы покинули сад через знакомую узкую дверцу.

— Доброй ночи,— сказал Иордан.

— Прощай, брат,— сказал я.

Мы бесцельно бродили по полям, стараясь согреться и скоротать время в ожидании момента, когда можно будет вернуться и вызволить Дэнни. Марки замерз, как ледышка. Я волновался, особенно из-за этих псов. Пропустить бы хоть капельку спиртного! Наконец, нам показалось, что все успокоилось и наступил долгожданный момент, мы вернулись к садовой стене, желая убедиться, что пришло время подать сигнал Дэнни. Сверху стена была усеяна намертво пристывшими осколками стекла; я набросил на них пиджак и подтянулся на руках. В окне первого этажа докторского дома я разглядел горящую свечу, а в ее свете — Иордана, который расхаживал по комнате в ночной рубашке и колпаке. Свеча вскоре погасла, и все погрузилось во мрак.

Неподалеку на дереве жутким голосом закричала сова. Перепуганный Марки тоже взобрался на стену, чтобы быть поближе ко мне. Собак в саду как не бывало. Сидеть на стене без пиджаков было невыносимо холодно. Ветер был ленив: вместо того чтобы обходить нас стороной, он пронизывал нас насквозь. Дождь прекратился. В разрывах туч очень высоко показалась луна, такая далекая и крошечная, что могла сойти за мелкую монету.

Мы ждали довольно долго, содрогаясь от холода и боясь проронить хоть слово. Глаза Марки сверкали, как стеклянные шарики. Наконец, что-то задвигалось в темноте возле конюшни. Сердце мое бешено заколотилось. Марки ухватился за меня дрожащими руками. Перед нами возникла фигура в белом, кравшаяся вдоль стены. Это был Дэнни. По-видимому, ему удалось выбраться наружу сквозь окно конюшни. Я тихо свистнул ему — и тут собак словно прорвало. Откуда ни возьмись выскочили три гончие и с отчаянным лаем и рычани-

ем огромными прыжками понеслись через двор к Дэнни. На мгновение я оторопел, не зная, что предпринять. Собаки тем временем готовы были навалиться на Дэнни. И тут вдруг он сделал стойку на руках и пошел на собак. Ноги его болтались в воздухе, а рубаха опустилась до земли, закрыв ему лицо. При виде столь необычного перевоплощения собаки оцепенели. Потом разом повернули и, взвыв от страха, понеслись прочь, в темноту. Дэнни не мешкая добрался до стены, мы крепко ухватили его под руки и рывком втащили наверх. Вскоре мы были уже в ночлежке. Утром мы расплатились с хозяином и с возницей, истратив на это один из соверенов, полученных от Иордана.

Мне не везло. Остаток лета выдался дождливый, и мух было очень мало. Я пробовал торговать собственноручно изготовленными амулетами якобы из слоновой кости, которые гарантировали удачу, но урожай случился плохой, так что в конце концов у меня их и задаром не брали. Дэнни с каждым днем все больше худел и становился молчаливее. Просто в былинку превратился. Говорить ему не хотелось. Да и особенно нечего было, ведь в его голове вообще-то было пустовато, если не считать корней собственных волос. Никак не мог забыть, что однажды уже был трупом. И точно он был похож на труп — ведь мы частенько спали с ним в одной постели,— такой он был холодный, с выпиравшими отовсюду костями. Дэнни утратил интерес ко всему на свете, даже к стойке на руках.

Мы побывали на ярмарках во многих провинциальных городах, но всюду нам не слишком везло. В один из ярмарочных дней мы сидели в харчевне. Это было хлипкое сооружение из деревянных планок, сколоченное специально для ярмарки и стоявшее на отшибе, на задворках главной улицы. Столы и скамейки располагались прямо на траве, поскольку пола в харчевне не было. Здесь за медяк можно было получить тарелку бобов и чашку чая. Теперь Дэнни был безразличен к еде, даже когда она у нас бывала. По случаю ярмарки харчевня была переполнена. Народу набилось — не продохнуть, повсюду вились осы. Посетители вокруг нас, разложив перед собой еду в газетных свертках, болтали по-валлийски.

Неожиданно сквозь шум я услышал у входа тяжелые шаги и поскрипывание. Я весь похолодел, словно меня облили ушатом ледяной воды. Огляделся по сторонам — выбраться из харчевни не было возможности. Затем послышались звуки похоронного гимна. Минуту спустя в проеме двери выросла фигура Иордана. Он казался огромным, больше прежнего, он загородил собой всю входную дверь. В одной руке у него была палка с веревочным концом, в другой — черный молитвенник. На голове красовалась широкополая шляпа, надетая на этот раз не на парик, а на покрывавший череп желтый шелковый платок с завязанными на концах узелками. Звуки гимна смолкли, Иордан застыл в дверях, отыскивая взглядом свободное место. Сидевший за нашим столом человек только что прикончил свои бобы и поднялся. Иордан увидел освободившееся место и заковылял к нам. Улизнуть мы уже не могли. От его гулких шагов, казалось, содрогалась земля; он прошел сквозь толпу и опустился за нашим столом, напротив нас.

В первый момент я не знал, на что решиться. Дэнни никогда прежде не видел Иордана и потому спокойно разглядывал масляные разводы, плававшие в его чашке с чаем. Я попытался сделать вид, будто ничего не случилось, и продолжал совать в рот ложку с бобами, однако есть больше не мог. Иордан смотрел на меня в упор через стол. Я не в силах был сдержать дрожь, и он мог заметить это. Тогда я притворился, будто отгоняю ос. Я непрестанно ощущал на себе его неподвиж-

ный, пронизывающий взгляд. Иордан положил на стол свои толстые локти и весь подался вперед. От страха я просыпал бобы. Дальше так продолжаться не могло. Я опустил ложку и поднял на него глаза. Вблизи Иордан был настолько уродлив, что меня едва не стошнило. Огромная черная глыба его носа, вся в червоточинах, была нацелена на меня; лицо его выглядело так, словно однажды с него сдирали кожу крюками. Но Иордан улыбался.

— Иордан,— промямлил я сухим, как пробка, языком.— Господин Иордан.

Он кивнул.

— Вы вернулись,— сказал он.— В каких краях путешествовали?

Казалось, вся харчевня содрогалась от его движений. У меня было такое ощущение, будто я очутился внутри нагревшегося чудовищного органа, и меня оглушает грохот ходящих ходуном деревянных частей конструкции. Я принялся заикаясь что-то объяснять Иордану. Сказал, что был необыкновенно занят. Дела вынуждают постоянно кочевать с места на место, так что я много ездил. Деревянные стены харчевни перестали вдруг пропускать воздух, внутри стало душно, как в парнике. Я взглянул на Дэнни. Казалось, кто-то сделал надрез на его коже, и вся кровь вылилась наружу. Даже желтые уши моего приятеля стали белыми словно мел.

Иордан снова кивнул, зловеще улыбаясь.

— Птенчик, рожденный в аду, возвращается в пламя,— сказал он. Слуга медика не сводил с меня глаз; надо лбом у него торчал узелок желтого платка. Дэнни он вообще игнорировал. Его глазки довольно поблескивали, словно отполированные.

— В тот раз мы обстряпали неплохое дельце,— улыбаясь продолжал Иордан.— Великолепное. Все вышло очень удачно.

Я опасался, что он услышит, как гулко ходит, вверх-вниз, мой кадык,— казалось, это можно было уловить сквозь шум голосов.

— Очень рад, я сделал все, что от меня зависело,— выдавил я из себя.— Я всегда стараюсь обставлять все наилучшим образом.

— Мой хозяин остался доволен,— сказал Иордан. Он еще сильнее подался вперед и поманил меня пальцем. Я придвинулся ближе и склонил голову, готовый слушать; нос-деревяшка коснулся моего уха.— Труп был прекрасный,— прошептал он.— Внутри — сплошное разложение. Злокачественные опухоли и метастазы. Как раз то, что было нужно моему хозяину. Труп так удачно расчленили...

Дэнни издал громкий вздох. Когда я обернулся, его на месте не оказалось. Он сполз под скамейку и лежал распластанный на траве. Люди, сидевшие рядом, повскакали с мест, столпились вокруг. Кто-то замахал руками, закричал:

— На воздух его, он сомлел. На воздух!

На минуту Иордан перестал для меня существовать. Я сказал людям, что Дэнни — мой друг. Его вынесли из харчевни и опустили на траву, на обочине дороги.

— Расстегните ему ворот,— посоветовал кто-то.

С Дэнни сняли рубаху и надувной резиновый жилет, под которым было черное трико. Вокруг быстро собралась толпа — словно мухи слетелись на варенье. Наконец Дэнни открыл глаза. Кто-то принес ему воды. Он сел, низко опустив голову, и закрыл лицо руками, будто плакал. В этот момент я увидел нечто такое, чего раньше не замечал. На макушке у Дэнни, среди его густых рыжих волос, зияла большая плешина. Вид у Дэнни был болезненный. Но вскоре он смог подняться на

ноги. Я затолкал в карманы резиновый жилет и рубаху и отвел приятеля в ночлежку. Сколько я ни оглядывался по сторонам, но отыскать в толпе Иордана так и не смог. Дэнни провалялся в постели целую неделю. Окончательно он уже не выздоровел. Сказать хотя бы, что, если ему доводилось порезаться во время бритья, кровь у него не шла. Из пореза вытекала лишь какая-то желтая жидкость.

Я похоронил Дэнни в тот же год. Погода стояла ненастная, и он простудился, расхаживая вниз головой, полураздетый, в своем трико на ярмарках и рынках. Вскоре он слег в постель в очередной ночлежке, где мы ютились под самой крышей. Потом начал бредить, впал в беспамятство. Все ночи я проводил в кресле у его постели, в нашей комнатушке, освещенной единственной свечой, прислушиваясь к его дыханию.

Как-то ночью меня сморил сон, и проснулся я от криков Дэнни. Ему приснилось, что Иордан хочет отрубить ему ладони и заставить ходить на обрубках. Крики Дэнни повергли меня в ужас. Свеча погасла, на крыше дома оглушающе завывал ветер. Я поспешил зажечь свечу; сердце мое молотом стучало в груди. Дэнни продолжал кричать — мне никак не удавалось его успокоить. Через несколько минут, издав душераздирающий вопль, он умер. Бедняга Дэнни. На него слишком подействовало то, что однажды он уже был трупом. Он так и не смог освободиться от бремени воспоминаний.

На следующий вечер в ночлежку явился человек из местного прихода. Он спросил, не будут ли меня мучить угрызения совести, если я похороню своего друга в столь неподобающем виде. Он имел в виду обросшее лицо Дэнни, который не брился целую неделю. Тусклая свеча освещала лицо Дэнни, утратившее теперь привычное угрюмое выражение; его сплошь покрывала растительность цвета хорошо надраенной меди. Когда человек из прихода ушел, я принялся брить труп. Делать это при одной свече было не так-то просто. Орудуя бритвой где-то возле уха, я, видимо, был недостаточно осторожен и порезал его, ибо Дэнни открыл один глаз и укоризненно взглянул на меня. Я старался больше не плошать. Не дай бог было порезать ему вену: говорят, у покойников они полны вшей.

Утром в день похорон я одолжил у хозяина ночлежки черный галстук. Прикрепил к гробу венок с лентой. Он был очень красив: сделанный из множества белых цветов на проволочных ножках, по форме он напоминал маленькое кресло. К прутьям каркаса была прикреплена карточка со словами: «Спи спокойно»; надпись была сделана из цветов незабудки. Дэнни нравилось все выдержанное в религиозном духе, вроде этого венка.

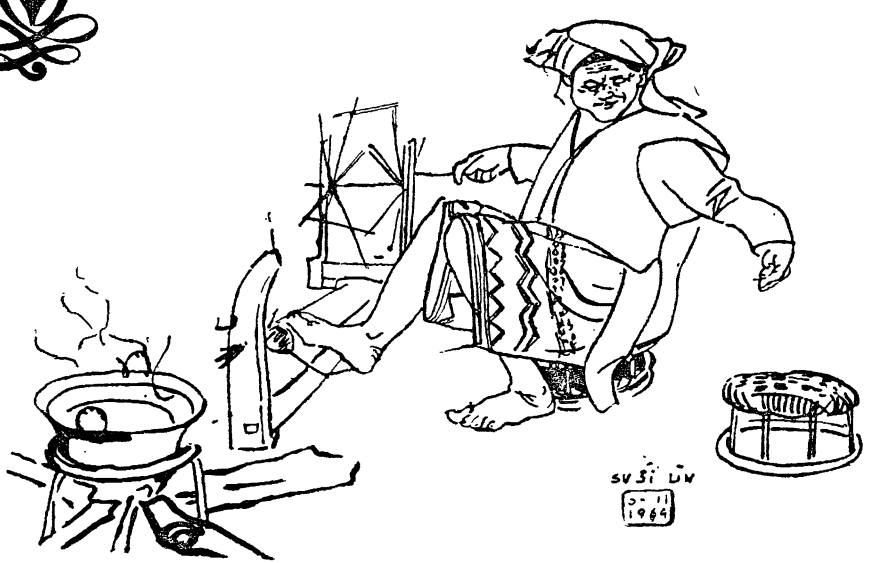
На похоронах не было никого, кроме пастора, меня и двух могильщиков. Был ненастный, ветреный день поздней осени. Под напором ветра высокая трава на кладбище полегла. У кладбищенской стены стояло несколько плакучих ив, почти полностью опавших, лишь отдельные листочки продолжали держаться на тонюсеньких веточках, словно гниды в волосах. Пастор — щуплый человечек — в раздуваемых ветром одеяниях выглядел богатырем. Он бормотал молитву под громкий шелест сухих листьев, похожих на отрубленные ладони с перепончатыми пальцами, ветер нес их по гравию дорожек. Мне хотелось сбежать. Могильщики опустили Дэнни в могилу и ушли. Вместе с пастором мы затянули похоронный гимн. Сквозь вой ветра я различил вдалеке еще один голос, вторивший нам. Он был едва слышен. Я ждал, что этот человек придет. Излишне было оглядываться — так

знакомы были и этот голос, и поскрипывание железной ноги. Они становились все отчетливее. Вскоре пение стало оглушительным, траурный гимн загрохотал так, словно рядом низвергался водопад. Иордан подошел к нам вплотную и стал между мною и пастором. Он раскачивался, словно гигантское дерево, противостоящее буре. В руках его был маленький черный молитвенник. Даже при столь сильном ветре я ощущал исходивший от него стойкий запах плесени, холодный, влажный дух могильной глины. Казалось, Иордан стал еще огромнее. Поля черной шляпы простирались над моей головой, словно крыша. Когда Иордан стоял рядом, у меня было ощущение, будто он поглощает меня. Он опустил мне на плечи руку с зажатой в ней палкой. Мне чудилось, будто я постепенно растворяюсь в его огромном теле. Земля вокруг меня растаяла, кладбищенская дорожка быстро-быстро, словно бурливая река, побежала мне под ноги. Охваченный ужасом, я попытался крикнуть. И потерял сознание.

Придя в себя, я увидел рядом пастора. Мы сидели на выброшенной земле рядом с разверстой могилой Дэнни. От пережитого страха я был весь в холодном поту. Когда я заговорил с пастором об Иордане, тот поспешил успокоить меня.

Случилось это две недели назад. Вчера за бритьем я порезался, но кровь у меня не пошла. Показалась лишь капелька желтоватой жидкости. Теперь я долго не протяну. Моя песенка спета. Никому больше не посоветую пытаться перейти Иордан.

■



ДАНГ ДЫК. ВЬЕТНАМ
Пряхи
Рисунок

ФРАНСИС БЕБЕЙ

Три юных чистильщика

ПОВЕСТЬ

Перевод с французского А. КАРЛОВА

— Чистить, мсье...
— Чистить, мсье...
— Чистить, мсье...

Было лишь восемь утра, а уж кому только три юных чистильщика не предлагали свои услуги.

— Чистить, мсье,— выкрикивал один; двое других тут же подхватывали, и если прохожий снисходительно не подставлял им свою запылившуюся обувь, эхо их голосов преследовало его, пока он не исчезал за углом.

Респектабельного вида господин вышел из отеля и тотчас угодил в засаду троицы служителей сапожной щетки. Так случалось с каждым прилично одетым человеком, в какое бы время дня он здесь ни оказался. Трое мальчишек, как и многие их собратья, давно подметили, что возле отелей всегда попадаются люди с достатком. Они устроили здесь своего рода рабочее место и до конца дня его не покидали. Многочисленные торговцы сувенирами — подделками под африканскую старину, тоже дневавшие и ночевавшие около отеля, пытаясь всучить свой товар постояльцам, отнюдь не были к ним благосклонны. Напротив, ведь мальчишки, буквально набрасывавшиеся на людей, не давали торговцам развернуться, и зачастую те вовсе оставались без покупателей. Но время бежит, наши герои в своей борьбе за хлеб насущный не сидят сложа руки, вернемся к ним.

Респектабельный господин в синем галстуке с белыми горошинами, оттенявшем его легкий светло-серый костюм, забыл перед выходом на улицу почистить туфли. Это было для чистильщиков подарком фортуны. Они набросились на незнакомца и, величая его патроном, начали доказывать, что не пристало ему становиться публичным посмешищем из-за своей грязной обуви, тем более что все остальное в его облике говорило об изысканном вкусе.

Мужчина остановился, глянул на ноги и подумал, что тут в самом деле есть над чем поработать. Он улыбнулся юнцам с застенчивостью покупателя, не решившего еще, какой ему выбрать товар. Мальчишки застыли в ожидании: они блистали своей темной кожей и живописными лохмотьями, глаза на эбеновых лицах светились лукавством, губы не то улыбались, не то умоляли.

— Чистить, мсье, чистить, патрон! Я так начищу твои туфли, патрон, что ты станешь неотразим, вот увидишь. Ставь-ка свою ногу.

— Нет, ставь ногу сюда, патрон. Я тебе говорю — сюда, ставь сюда!

— А я говорю: это мой патрон. Я начищу тебе туфли, правда, шеф?

— Правда, правда,— ответил мужчина.— Во всяком случае, каждый дождется своей очереди. Сегодня это будешь ты!

— Я? Ты сказал «я», патрон?

— Да, сегодня ты. Но скажи мне прежде, как тебя зовут?

— Меня зовут Маму. Его — Ньясса, а это — Абдель.

— Хорошо, Маму. Сегодня почистишь ты. Завтра...

— Я, Ньясса.

— Хорошо. Завтра Ньясса, а послезавтра Абдель.

— А потом опять я — Маму.

— Договорились. Каждый день будете меняться.

— Только чур без обмана, ладно? — бросил Маму товарищам.

— Никто, Маму, не будет обманывать. Ну, а теперь поторопись, я спешу.

Ньясса и Абдель не стали им мешать и вернулись к дверям отеля, терпеливо поджидая других клиентов.

Маму, пройдясь щеткой по правому полуботинку, стер пыль. Потом покрыл кожу тонким слоем черного крема. Руки мальчика двигались в такт песенке, которую он тихо насвистывал. Клиент не успел проверить, убежали его часы вперед или отстали, а три легких удара щетки по ящичку-подставке уже предлагали сменить ногу. Песенка не стихала, и столько в ней было оптимизма — забывалось даже, что это труд ради куска хлеба. «Сколько пар обуви вычистил Маму за свою жизнь?—подумал клиент.— Счет все же не на тысячи, он еще так юн... Сколько лет ему? Пятнадцать, не больше...»

— Маму, ты ходишь в школу?

— Нет, патрон.

— Почему?

— Не знаю, патрон, это слишком трудно.

— Что слишком трудно?

— Школа, патрон. Трудно это, а потом, я уже взрослый.

— Ну, не такой ты и взрослый, сколько тебе лет?

— Ох, патрон, трудно это.

Три отрывистых удара предложили клиенту снова сменить ногу. Теперь надлежало навести глянец. Маму извлек из глубины ящичка большой квадратный лоскут шерстяной ткани, сложил вдвое, дернув за концы, растянул вширь, шерсть скользнула по смазанной коже, и та сразу заблестела. Продолжая насвистывать, Маму старался побыстрее кончить, но мужчина снова стал его расспрашивать:

— У тебя есть отец, Маму?

— У каждого человека есть отец, патрон. Дома у нас говорят, что без отца не может быть ребенка.

— Конечно, конечно. Но у тебя-то отец есть, я хочу сказать, он жив?

— Да, патрон.

— Он работает?

— Нет, патрон.

— Почему?

— Потому что я работаю, патрон.

— Как? Ты работаешь, а твой отец...

Три отрывистых удара — готово.

Маму быстро уложил в ящичек свои причиндалы и, глядя на клиента, поднялся. Тот машинально потянулся к карману пиджака, пошарил, вытащил монету и уронил ее в протянутую мальчиком ладонь. Маму опустил глаза и увидел, что получил пятьдесят франков, впятеро больше обычного. Он горячо поблагодарил и, взбудораженный такой щедростью, тоже задал вопрос:

— Господин, ты иностранец?

— Почему ты так решил, Маму? — улыбнулся клиент.

— Просто ты здорово платишь, патрон. Я буду тебе чистить туфли каждый день.

— Ну, нет, Маму, ты разве забыл, о чем мы только что сговорились: сегодня ты, а завтра — один из твоих товарищей.

— Верно, патрон, верно, ты хороший человек. До свиданья!

— Не спеши так, Маму. Я хочу, чтобы ты рассказал мне кое о чем.

— О чем, патрон?

— Почему ты работаешь, а твой отец ничего не делает?

— Он делает, патрон, кое-что делает.

— Вот как? Что же он делает?

— Веревки вьет.

— Веревки? Какие веревки? Почему же ты сказал, что он не работает?

— Я хотел сказать, патрон, что мой отец никуда не ходит. А дома — разве это настоящая работа!

— А почему он не ходит на работу?

— Потому что не может, патрон.

— Не может?

— Да, патрон, он слепой. И я сказал ему: «Я не пущу тебя просить милостыню, лучше сам буду работать».

Больше клиент не стал задавать вопросов. Он поблагодарил и, уже попрощавшись, добавил: «Удачи тебе, Маму!» От других клиентов парнишка никогда не слыхал таких слов.

— Вам повезло, ребята,— сказал он Ньяссе и Абделю.

— Почему? — спросили те в один голос.

— Потому что завтра один из вас получит от этого господина пятьдесят франков. Он здорово платит, смотрите...

Они смотрели и восхищались, надеясь на такую же удачу. Вдруг Абдель скорчил гримасу:

— Вот дурень! Думаешь, до завтра он не узнает, что больше десяти франков не платят?

— Посмотрим,— ответил Маму.

— В самом деле, посмотрим, Абдель,— добавил Ньясса.

— Чистить, мсье...

— Чистить, патрон, я хорошо тебе почищу...

— Чистить, мсье...

Из отеля вышел еще один человек. Он с надменным видом прошагал мимо мальчиков и даже не глянул на них, не оставив ни малейшей надежды, что, может, в другой раз, когда не будет так спешить, воспользуется их услугами. Перейдя улицу, он подошел к стоявшей у тротуара спортивной машине, открыл дверцу, сел, включил зажигание и вихрем сорвался с места.

— Нет, вы полюбуйтесь на него! — сказал Ньясса.— Думает, если у него шикарная машина, можно себя вести так, будто он — сам президент.

— А ты видел, как он вышагивает? — спросил Абдель.

— Ага. Не человек, а истукан,— ответил Ньясса.— Ты не заметил, Маму?

— Да нет, я все видел.

— А видел, так почему молчишь?

— Но ведь вы уже сказали все, о чем я подумал.

— Врешь, Маму, вовсе не потому ты молчишь.

— Да, да, Абдель прав. Ты, небось, что-то скрываешь.

— Ничего, Ньясса, я не скрываю. Ну, видел я, как прошел этот человек. Ходит как ему нравится. Пусть себе задается, мне-то что? И чего вам приспичило, чтоб я говорил о нем?

— Видишь, Ньясса, все время он к нам придирается, я давно заметил.

— А чему ты удивляешься? Он и клиентов умудряется находить таких, что платят пятьдесят франков вместо десяти.

— Нет уж, его лучше не троньте! Этот клиент, что платит лучше других, такой же мой, как и ваш. Ты будешь чистить ему туфли завтра, а ты — послезавтра. Да и какая вам разница, кому дали пятьдесят франков, все равно вечером поделим.

В отношениях трех юных чистильщиков трудно было разобраться. Не думаю, чтоб выпускник какой-нибудь знаменитой экономической школы Запада смог объяснить подобную форму кооперации — сочетание непримиримой конкуренции с бескорыстным сотрудничеством. Но в эту минуту Абделя переполняла лютая зависть. И он подзуживал Ньяссу. До полудня дружки Маму делали все, чтобы не допустить его к клиентам. Они даже кричали, будто Маму не умеет чистить обувь и клиентам не стоит рисковать своим временем и деньгами.

Солнце, продолжая свой путь по небу, скоро остановилось в зените. У людей, у деревьев и домов исчезли тени. Для христиан полдень— приглашение к обеду. Но Маму, Абдель и Ньясса выросли в мусульманских семьях, и ноябрь этого года был для них тяжким испытанием. Немногие их сверстники находили в себе мужество работать в дни рамадана[1] с утра до вечера. К полудню перед отелем становилось пустынно. Безлюдье и дававшая себя знать усталость побуждали и торговцев, и чистильщиков сделать перерыв. Он стал бы обеденным, если б не рамадан. А затем начиналась сиеста. Как и его друзья, Маму выбрал себе местечко на противоположной стороне улицы — там позднее должна появиться тень, улегся прямо на тротуаре, подложив под голову ящичек, закрыл ладонями лицо и непорочным агнцем вступил в дивную обитель снов.

Во мраке убогого существования вспыхнули искорки радости — Маму видел сон. Отец Маму вдруг снова обрел зрение, и люди пришли отпраздновать рождение света в его глазах. Они надели нарядные костюмы для танцев, улыбающиеся маски. Они подожгли для богов мешки с мелкой трухой, которая пахла скошенной, уже подсохшей травой. Они громко распевали обрядовые песни давно забытых времен. А потом пришел тот самый иностранец, который так настойчиво допытывался, чем занимается отец Маму. Он появился внезапно, будто спустился с другой планеты. Он принес с собой аппарат, записывающий звуки, начал подсовывать его отцу и расспрашивать, что чувствует человек, когда после долгой жизни во тьме вновь обретает зрение. Но тут вмешалась вся деревня, соседи стали доказывать, что есть секреты, раскрывать которые нельзя, тем более если их собираются записать. Отец Маму и сам воспротивился: «Я долго жил без глаз. А се-

[1] Рамадан — девятый месяц мусульманского лунного календаря, в течение которого мусульмане соблюдают от восхода до захода солнца строгий пост. Рамадан выпадает на разное время года. *(Прим. переводчика.)*

годня ты являешься со своей злой машиной и хочешь забрать у меня голос. Зря тратишь время, я его тебе не отдам. Ведь если ты запишешь мой голос, я его потеряю. Скажи, ты сам согласился бы исцелиться от слепоты и в тот же день онеметь?» Тут ударили в праздничный тамтам. Он звенел сильно-сильно, рассказывая, как человек, так долго живший в темноте, сохранил мудрость мужчины. Маму появился на деревенской площади в великолепном костюме и новых туфлях. Он вошел в круг, танцующие расступились в восхищении, а посередине площади пылал большой костер радости, разбрасывая лопавшиеся на лету искорки счастья.

— Эй ты, балбес, хватит храпеть, поднимайся. Небось, думаешь, что ты в постели?

Ньясса легонько пихал Маму ногой в бок. Маму подумал, не начался ли теперь плохой сон? Потом приоткрыл глаза и убедился, что все это самая что ни на есть правда. Он лежал на краю тротуара, рядом с какой-то машиной, вдыхал пыль и смрадные запахи отравлявших воздух моторов. Он спал в ожидании часа, когда снова можно будет попытать счастья у случайных людей. Маму медленно поднял голову, сел и наткнулся взглядом на свои башмаки.

Грязные, дырявые, если разобраться, они недостойны были даже называться обувью. Как до сих пор он в них ходил?! Правда, только что во сне он щеголял в таких красивых туфлях, все восхищались ими. Но сон — это сон. Как же так получалось, что человеку, постоянно чистившему чью-то обувь, никогда даже в голову не приходило подумать о своей собственной. Маму, еще не очнувшийся окончательно, никак не мог разобраться в загадочных кознях бытия. Он решил, что лучше в них и не вникать. Одно лишь он понял ясно: отныне ему будет стыдно ходить в дырявых башмаках, глядя с утра до вечера на красивые туфли клиентов. «Обязательно наскребу немного денег и куплю новые»,— пообещал он себе и вскочил на ноги.

Абдель и Ньясса стояли рядом.

— Помнишь того мерзкого типа, которого мы видели утром?

— Ну, помню.

— Знаешь, что мы с Абделем решили?

— Нет, а что?

— Если он когда-нибудь захочет, чтобы ему почистили туфли, мы не станем этого делать.

— Да?

— Да.

— Значит, вы не хотите больше...

— Постой, постой, не вы, а мы! Ты разве не с нами?

— Я-то всегда с вами, не пойму только, почему мы будем отказывать клиенту, если нам не понравились его замашки?

— Так, значит, ты против нас?

— Да вовсе я не против вас, втроем и работается веселее, и заработать можно побольше.

— А денежки тебе тоже нужны?

— А как ты думаешь, чего б я иначе здесь торчал?

— Ну вот, значит, ты с нами заодно — не надо работать на этого типа,— сказал Ньясса.

— Понимаешь,— продолжил Абдель,— если мы будем работать на кого попало, нам никогда не стать благородными людьми.

— Но до сих пор,— возразил Маму,— мы работали на кого попало, я не понимаю, чего вы привязались к этому человеку?

— Не придуривайся, сам знаешь, этот тип нас оскорбил.

— Оскорбил? Когда? Чем?

— Когда? Да сразу, как вышел из отеля. Чем? Да ведь он и взглянуть на нас не захотел!

— Взглянуть не захотел? А чего ему на нас смотреть?

— Слушай, Маму, если бы ты был богачом и жил в таком отеле, неужто ты тоже прошел бы мимо нас с надутым видом, неужто ты стал бы задирать перед нами нос? Даже белые с радостью принимают наши услуги и благодарят нас, любезно улыбаются!

— А... Так вот в чем дело...

— Наконец до тебя дошло. Ты, видно, слишком крепко спал. Ну, ничего, скоро проснешься. Значит, согласен?

— И да, и нет.

— Это не ответ. Говорят или «да», или «нет», а не то и другое сразу.

— Сейчас объясню вам, что я об этом думаю.

Но едва Маму приступил к объяснениям, из отеля вышли не один, не двое и даже не трое, а сразу четверо мужчин и с ними еще дама. Троицу как ветром сдуло.

— Патрон, чистить... Чистить, мсье... Чистить, патрон...

Приятелям повезло, компания любезно остановилась, и каждый получил в свое распоряжение по паре туфель. Только один мужчина вместе с женщиной скрылись, унося на ногах пыль, собранную с утра, а может, и с вечера. Что ж, тем хуже для них.

Через несколько минут трое друзей вновь собрались вместе. Лица, только что сиявшие при виде полученных монет, опять стали серьезными: предстояло решить, как же быть с «надутым типом»,— и решить единогласно.

— Я думаю,— сказал Маму,— раз нам нужны деньги, нечего так привередничать. Человек, который нас...

— Вот-вот... Было бы странно, окажись ты с нами заодно. Я и не ждал от тебя другого ответа. А ты, Абдель?

— Я тоже.

— Дайте хотя бы договорить, потом будете спорить.

— Что ты можешь еще сказать? И так ясно, ты будешь чистить обувь кому попало, даже если этот человек тебя ни в грош не ставит. А мы не желаем — и все! Будешь стоять на своем, между нами все кончено! Понял?

— Я не хочу отделяться от вас,— сказал Маму,— но надо же быть справедливыми. Будь этот человек белым, разве заметили бы вы, что он задирает нос?

— Это другое дело: белые всегда задирают нос.

— Значит, на них вы не обижаетесь, а вот если нос задирает черный, вам не нравится?

— Ладно, Маму, хватит зубы заговаривать, говори прямо: что ты собираешься делать?

— То же, что и всегда, постараюсь заработать немного денег. Ничего другого.

— И ты будешь чистить обувь этому человеку, если он тебя попросит?

— Успокойтесь, сам я к нему во всяком случае не подойду. Знаю, что он, если и посмотрит на нас, так только чтобы сплюнуть в нашу сторону. Но если он когда-нибудь подойдет сам и подставит туфли, я не стану отказываться. Для меня он такой же клиент, как другие.

— Слышишь, Абдель, слышишь? Он говорит: «такой же клиент, как другие».

— Чего удивляться, Ньясса, ты же давно знаешь этого предателя, ты же знаешь...

— Эй, полегче! Не тебе обзывать меня предателем...
— А кто же ты, скажи, сукин сын?
— Сейчас я тебе покажу, кто я. Получай!

Бац! Маму перешел к кулачным доводам. Абдель отлетел и ударился спиной о стоявшую рядом машину. Он закричал, призывая Ньяссу на помощь. Тот подскочил к Маму:

— Иди сюда, Абдель, сейчас мы научим его, как себя вести! Врежь ему, не жалей кулаков, врежь! Увидишь сейчас, сукин сын!

Мальчишки бросились на своего товарища, оттеснили его к краю тротуара. Маму защищался, как мог, но сила была не на его стороне.

— Ай! — кричал Маму.— Ай! Они убьют меня! Помогите!

Торговцы сувенирами наблюдали за этой сценой с другой стороны улицы, но вместо того, чтобы вмешаться, заухмылялись: «Ох уж эти сорванцы, теперь они дерутся. Не будем им мешать, пусть как следует поколотят друг друга, может, здесь, наконец, станет потише». И, глядя, как достается бедному Маму, они весело смеялись.

К счастью, подъехала машина, из нее вышли двое и направились в отель. Этого было достаточно, чтобы положить конец драке, в которой Маму явно не везло.

— Чистить, мсье! Чистить, патрон!

Маму не пошел предлагать свои услуги. Он еще не оправился от жестокой трепки.

— Трусы! — крикнул он приятелям.— Не стыдно нападать вдвоем, трусы! Если вы мужчины, давайте возвращайтесь по одному, тогда посмотрим.

Но те были заняты, они убеждали приехавших почистить обувь. Мужчины переглянулись, отрицательно покачали головами, потом один из них сказал:

— Как подумаешь, что мы могли бы здесь чистить туфли десятки раз в день!

— Стоит лишь соглашаться на все предложения,— сказал другой и тут же добавил: — Какая нищета! Какая нищета! Столько попрошаек лишь в одном городе! А сколько их по всей стране?!

— Нет, Жорж, тут я совсем с тобой не согласен,— возразил первый.

Они гордо прошли мимо торговцев и чистильщиков. На лестнице, поднимаясь к себе в номер, они продолжали спорить о «попрошайках», и чем дальше, тем оживленнее. Поэтому, пока они шли до четвертого этажа, большую часть их разговора можно было расслышать.

— Тут я с тобой не согласен. Эти мальчишки — не попрошайки.

— Как же тогда называть людей, которые умоляют тебя дать им немного денег?

— Послушай, они ведь не просят у тебя денег просто так, а предлагают взамен обслужить тебя. Что до меня, я считаю их весьма мужественными людьми, они отнюдь не попрошайки.

— Тебе они нравятся?

— Что значит нравятся?

— Тебе нравится агрессивность, с которой они осаждают тебя и просят денег?

— Давай, Жорж, внесем ясность: попрошайка — это тот, кто протягивает руку и умоляет тебя положить туда монету...

— Или две!

— Или две. А в данном случае речь идет о молодых людях, желающих заработать деньги собственным трудом. Ты платишь им за труд.

— Мне стыдно за них и за себя тоже.

— Не понимаю почему?

— Да потому что достойные люди так себя не ведут, потому что они посланы на улицу родителями, которые тем временем бьют в деревне баклуши, потому что они делают невыносимой жизнь прохожих. А потом мне, например, стыдно, что негритенок чистит мне туфли, будто я паша, а он мой невольник.

— Какой ты сложный, Жорж. До того сложный... Разве ты не видишь, что эти чистильщики...

Поль открыл дверь номера. Они вошли, и дальнейших слов уже нельзя было расслышать за закрывшейся дверью. Однако аргументация Поля не так уж сложна, его доводы можно себе представить: «Разве ты не видишь, что эти чистильщики невольно дают урок мужества своим соотечественникам? Кто-кто, а они уж во всяком случае не бьют баклуши, не попрошайничают. Пусть их работа не самая прибыльная и, по мнению таких, как ты, даже унизительная — с последним, заметь, я совершенно не согласен, но, несмотря ни на что, они берутся за работу и не важно, что их чрезмерное рвение шокирует тех, кто не может относиться к жизни просто. Знаешь, Жорж, этот континент на всех уровнях нуждается в таких юных чистильщиках...»

Детям ничего не стоит и подраться, и помириться. Под градом ударов Маму пережил очень неприятные минуты. Друзья оскорбляли друг друга, обзывали сукиными детьми, трусами. Но вот наступил вечер, и, как обычно, они опять собрались вместе, чтобы в согласии разделить поровну дневную выручку. А потом расстались добрыми товарищами, обещая друг другу, что завтра дела у них пойдут еще лучше.

На следующее утро клиент, который «здорово платит», сдержал слово. Выйдя из отеля, он сам подошел к мальчикам. Им даже не пришлось предлагать свои услуги.

— Чья сегодня очередь?

— Моя,— ответил Ньясса.

— Давай!

Ньясса засвистел, щетка стирала пыль с туфель клиента. А его товарищи преследовали других прохожих. В этом уголке города мимо ребят не могли пройти не только постояльцы отеля — здесь бывали и другие «приличные» люди, одержимые, как считали наши друзья, тайным желанием навести глянец на свою обувь.

Вскоре Ньясса присоединился к друзьям. Вид у него был недовольный.

— В чем дело? — спросил его Маму.

— В чем дело, в чем дело! — ответил Ньясса задиристо.— А в том, что твой дружок только тебе дает много денег.

— И сколько он тебе заплатил?

— Смотрите.

— Двадцать франков,— произнес Абдель, глядя на монетку.— Двадцать, не пятьдесят.

— Ладно, чего нам жаловаться? — сказал Маму.— Двадцать франков — это все-таки больше, чем платят другие, разве не так?

— Тебе хорошо говорить,— возразил Ньясса,— отхватил вчера пятьдесят, теперь тебе наплевать на то, что другим дают меньше. Скажешь, нет?

— Но ты все равно получил больше, чем стоит твоя работа.

— Что ты хочешь сказать? Что я чищу хуже тебя? Говори прямо!

— Я этого не говорил, но если на то пошло, может, клиент остался не очень доволен твоей работой, иначе он дал бы тебе пятьдесят франков, как вчера мне.

— Да я вас вчера предупреждал,— вмешался Абдель,— за день он наверняка узнал, что пятьдесят франков не платят.

— Раз так, Абдель,— заявил Маму,— не советую тебе связываться с ним завтра, рискуешь получить всего десять франков.

— Ехида ты, Маму, ну и ехида. Это же несправедливо.

— Вовсе я не ехида, Абдель, просто я пытаюсь рассуждать. Если клиент сегодня платит пятьдесят франков, а завтра только двадцать, что ты прикажешь о нем думать?

— Может, он решил тебе одному давать пятьдесят франков, а...

— А вам только по двадцать? Объясни тогда почему?

— Э, ребята, не стоит терять время. Смотрите-ка лучше.

Из отеля выходили Поль и Жорж.

— Чистить, мсье... Патрон, чистить... Патрон, всего минута, раздва — и я сделаю тебя красавцем, шеф, вот увидишь.

Поль согласился. Жорж, отмахнувшись от этих предложений, быстрее зашагал прочь. Ньясса уже пристроился, на губах — песенка, в руке —щетка, символ мужества. Абдель и Маму бросились в погоню за Жоржем. Но тому удалось спастись. Он сел в машину и захлопнул дверцу. Тщетно они настаивали, он махнул им рукой: уходите — и обескураженные тем, что «клиента» не удалось уговорить, ребята побрели назад.

— А с виду вроде человек симпатичный,— сказал Маму.

— Симпатичный? Тогда почему он отказался? Будь он действительно симпатичным человеком, он бы понял, что...

— Абдель, не все же обязаны принимать наши услуги.

— Ну конечно, ты никогда не согласен с тем, что говорят другие. Ты еще за это поплатишься, вот увидишь.

И кого они в этот момент увидели? Им навстречу шел человек, так возмутивший их вчера своим высокомерием. Казалось, он решил бросить им вызов. Шагал он не так быстро, как накануне, явно не спешил. К тому же машину ему пришлось поставить гораздо дальше от отеля, не так, как вчера — пересек улицу, сел за руль, хлопнул дверцей, и все.

Заметив, что он направляется прямо к ним, Абдель и Маму переглянулись. Друг другу они ничего не сказали, но в глазах Абделя Маму мог прочесть: «Это он! Вспомни, о чем мы говорили вчера. Ни слова ему, Маму, ни слова!»

Они шли так, будто никого перед собой не видели. А поодаль, позади идущего им навстречу человека, стоял Ньясса. Он только что управился с туфлями Поля и с интересом наблюдал за этой сценой. Как поведут себя его друзья? «Только бы они не унижались перед этим типом, ведь он вчера и не глянул на нас, только бы не упрашивали его почистить туфли...»

А человек приближался. Вдруг он остановился и начал шарить в кармане брюк. Маму и Абдель поравнялись с ним и стали его обходить — один справа, другой слева. Они не сказали ему ни слова — никаких: «Бонжур, патрон», «Чистить, мсье», никаких: «Я хочу сделать тебя красивым, шеф». Они прошли мимо с независимым видом отпрысков состоятельных семейств, которым ничего не нужно от чванливых владельцев спортивных машин. «Это здорово,— подумал Ньясса.— Это здорово, что они с ним не заговорили». А потом окликнул их:

— Эй, друзья, как поработалось?

— Прекрасно! — ответил Абдель.

— Очень хорошо,— согласился Маму.

— Молодцы! Я вижу, вы славные парни. Мне тоже повезло. Идите-ка сюда, смотрите...

— Что? Сто франков?

Абдель не верил своим глазам, Маму тем более.

— Видишь, Маму, вот так — я тоже умею работать, попробуй теперь сказать, что лучше меня чистишь обувь.

— Сто франков...— протянул Маму,— вот ты и заработал себе на целый день, тебе больше нечего делать тут: можешь хоть сейчас идти домой, небось, до завтра тебя не увидим.

Ньясса и Абдель весело рассмеялись. Один из торговцев хмыкнул:

— Если вы будете и дальше зарабатывать столько денег, вы скоро купите себе большую машину...

— Ага, мы купим большую машину, будем жить и каждый привозить тебя сюда со всем твоим хламом и всей твоей семьей.

— Мило, очень мило! Нет, вы только полюбуйтесь на этих сукиных детей, они позволяют себе насмехаться надо мной, моими масками и моей семьей. Да если еще раз кто-нибудь из вас подойдет к моим маскам, руки-ноги переломаю! Попомните мое слово!

Но внимание трех юных чистильщиков было приковано к их «высокомерному» обидчику. Тот пошарил сначала в одном, потом в другом кармане, двинулся было дальше, но вдруг увидел свои туфли и решил, что ему не мешает их почистить. Да-да, этот человек, которому, казалось, было совершенно безразлично, существуют на свете трое чистильщиков по имени Маму, Ньясса и Абдель или нет, внезапно повернулся и крикнул:

— Эй, ребятишки!

Мальчики сделали вид, что не слышат.

— Эй, ребята! — еще раз позвал мужчина.

Ньясса посмотрел на товарищей: «Будьте стойкими, не уступайте!»

— Послушайте, чистильщики, я хочу, чтобы кто-нибудь почистил мне туфли, да побыстрей, я спешу, а никто из вас даже не шелохнется. В чем дело?

Ни один из троих не двинулся с места.

— Вы что, оглохли? Я хочу, чтобы кто-нибудь почистил мне туфли. Чего вы тогда торчите здесь со своими ящиками? Эй, ты, иди-ка сюда, почисть мне туфли! Слышишь?

— Я? — спросил Ньясса.

— Ну да, ты или любой из вас.

— Ни за что!

— Ни за что! — повторил за Ньяссой Абдель.

Незнакомец ничего не понимал. Однако один из трех не отказался наотрез.

— А ты, Маму? — прошипел Абдель.— Ты не можешь сказать этому человеку, что он для нас не клиент? Ну же, говори!

— Да он ко мне и не обращался, с чего я должен ему отвечать?

Человек понял, что в троице нет согласия. Он решил этим воспользоваться и, подойдя к Маму, спросил вполне вежливо:

— А вот ты не хотел бы почистить мне туфли?

— Раз уж ты, господин,— ответил Маму,— так меня просишь, я не могу тебе отказать. Ладно, я почищу тебе туфли.

— Подлец, подлец! — закричали разом Ньясса и Абдель.— Стыда у тебя нет, подлец ты, и больше никто!

Они набросились на него, стали обзывать, бить, плевать ему в лицо. Клиенту пришлось вмешаться и разнять их. Отведя Маму в сторону, он спросил швейцара отеля, почему не принимают никаких мер

против таких вот обормотов, которые отнюдь не украшают репутацию заведения.

Маму вытер лицо тыльной стороной ладони и, погрозив Абделю и Ньяссе кулаком, крикнул:

— Я все равно почищу туфли этому господину. А если кто из нас и подлец, так это вы — сами из-за какой-то ерунды работать не желаете да еще лезете вдвоем на одного с кулаками.

— Ладно, ладно,— отвечали приятели,— это еще не все, увидишь, что тебе будет. Почисть ему туфли, почисть, потом получишь свое.

— Вы воображаете, что я и дальше буду с вами работать? Нет уж, хватит, между нами все кончено. Раз вы не даете мне спокойно зарабатывать на жизнь, мне нечего делать в вашей компании. И не ходите больше за мной.

— Давай, паренек, давай,— нетерпеливо сказал клиент.

Они отошли к углу здания, и Маму принялся за дело. Напевать, как обычно, настроения у него не было. К тому же клиент стал задавать ему вопросы:

— Послушай, приятель, что происходит? Почему твои товарищи сами не пожелали чистить мне туфли да еще и тебе помешать пытались?

— Это трудно объяснить, патрон. Я и сам-то не очень хорошо понимаю.

— Давай-ка расскажи. Что произошло?

— Не знаю, патрон. Это ты виноват.

— Я виноват?

— Да, патрон. Ты вчера прошел мимо и даже не глянул в нашу сторону, будто нас там и не было, сразу забрался в свою машину, не оглянувшись на нас, и сорвался с места, будто ты сам президент. Вот в чем дело, патрон.

Выслушав его, человек расхохотался, да так громко, что Маму опешил. Он поднял голову и посмотрел на клиента.

— Почему ты так смеешься, патрон? Разве я сказал тебе неправду?

— Самую что ни на есть, дружок.

— А что же тогда случилось вчера, патрон?

— Вчера? Вчера... Да я и не помню. Подожди, что же было вчера? Вроде ничего особенного! Да мне и в голову бы не пришло ничего того, что ты сейчас рассказывал. И из-за этого твои товарищи рассердились? Неужели они из-за этого били тебя, обзывали?

— Да, патрон, из-за этого.

Мужчина покатился со смеху, а потом окликнул двух других чистильщиков. Те поразились, услышав вежливое обращение.

— Эй, мальчики, подойдите сюда, пожалуйста!

Ньясса с Абделем переглянулись.

— Ты слышал, Абдель? Он зовет нас.

— Что ему надо?

— Мальчики, мне нужно кое-что сказать вам.

Маму, встав, закричал тоже:

— Да, да, трусы, идите сюда, никто вас не съест. Мой патрон не тот, за кого вы его приняли, нечего корчить из себя гордецов.

— Идиот,— ответил ему Ньясса,— мы ведь ради твоего же блага не хотели, чтобы ты на него работал.

— Идите, идите сюда,— позвал мужчина еще раз.— У меня к вам дело.

Ньясса и Абдель снова переглянулись, как бы молча спрашивая друг у друга совета, и решили подойти. Через мгновение они стояли перед Маму и его клиентом.

— Похоже на то,— сказал мужчина, глядя на них с высоты своего роста,— похоже на то, будто вчера я не заметил вас и обошелся с вами неуважительно, вел себя так, словно вас и не существует. Это правда?

— Да, шеф, поэтому мы не хотим на тебя работать.

— Так вот, я вас позвал, чтобы принести свои извинения. Я не нарочно вас не заметил, просто вчера я был... несколько занят. Но я вовсе не делал вид, будто вы для меня не существуете. Ну как, принимаете мои извинения?

Секунды три юные чистильщики держали безмолвный совет, потом, ничего не говоря, утвердительно кивнули.

— Идиоты,— тут же выпалил Маму,— говорил я вам вчера, что это хороший человек, он ничего плохого нам не сделал, он...

— Ладно, ладно, мы знаем, ты у нас всегда прав.

— А теперь,— продолжал мужчина,— теперь, когда мы все уладили и вы на меня больше не сердитесь, я надеюсь, всегда смогу пользоваться вашими услугами, хорошо?

— Конечно, патрон,— ответили ребята.

— Тогда продолжим, вернее, давай заканчивать, э... я ведь даже не знаю, как тебя зовут. Вот тебя, кто чистит?

— Меня, патрон, зовут Маму. Это — Ньясса, а это — Абдель. А тебя как зовут, патрон?

— Меня...— замялся мужчина, не испытывая особого желания называть свое имя.

К счастью для него, появились новые люди, и Ньясса с Абделем бросились за ними вдогонку. Это произошло так неожиданно, что Маму, склонившийся было опять к ногам клиента, застыл со щеткой в руке. Потом поднял голову и крикнул:

— Ньясса, если будешь приставать к моему патрону, берегись! Это мой патрон, понял?

— Послушай,— сказал мужчина, обеспокоенный тем, что Маму забыл про его туфли,— ты ведь взялся за дело, не так ли?

— Прости, патрон, прости, я сейчас кончу. Знаешь, какой этот Ньясса. Вечно бегает за чужими клиентами.

От души позабавившись, мужчина заплатил «очень здорово»: стофранковая монета, нежданно-негаданно оказавшаяся у мальчика на ладони, не только вознаградила его за труд, но и скрепила зародившуюся между ним и клиентом симпатию.

— Спасибо, большое спасибо, патрон! Знаешь, я буду каждый день протирать твою машину.

— Если хочешь, Маму.

Мальчишка ему определенно нравился.

— Если хочешь,— повторил он.

— Но только, патрон, это буду делать я, Маму, не другие,— уточнил чистильщик.

— Хорошо,— ответил клиент.

— А еще я буду сторожить твою машину. Знаешь, здесь часто воруют.

— Ты будешь сторожить мою машину? Как это?

Мужчина несколько забеспокоился: похоже, Маму собирался вторгнуться в его жизнь дальше, чем ему того хотелось. Чистить обувь — хорошо, пройтись время от времени тряпкой по машине — на это тоже можно согласиться, но сторожить ее — пожалуй, будет чересчур.

— Ты хочешь сказать, Маму, что будешь караулить машину и днем, и ночью?

— Что ты, патрон, ночью — нет! Ночью я дома, вместе с отцом.

— А когда же ты в таком случае собираешься сторожить мою машину?

— Днем, патрон. Днем здесь полно людей, которые могут залезть в твою машину, стоит им углядеть что-нибудь внутри. Забудешь ты сигареты, деньги, любую вещь... А если я буду рядом, я догоню вора.

— Понятно, понятно.

Мужчина сделал серьезное лицо, какое бывает у людей, задумывающихся перед принятием важного решения, и сказал Маму:

— Хорошо. Я согласен, чтобы ты сторожил мою машину все время, пока я буду здесь.

— А когда ты уезжаешь, патрон?

— Как только закончу свою работу.

— А что у тебя за работа, патрон?

— Ну, паренек, ты чересчур любопытен. Сегодня я тебе этого не скажу. Но если ты будешь разумно и серьезно относиться к своему делу, я обещаю показать тебе перед отъездом то, что из моей работы получится. Тем более ты подсказал мне сейчас замечательную идею.

Маму, само собой разумеется, не понимал, о чем идет речь. А когда мужчина вдруг радостно заулыбался, стал понимать еще меньше. Чего это он? Да, очень странный человек: то он такой важный — и не подступишься, то, наоборот, запросто открывает свое сердце и кошелек, а потом еще объявляет, будто ему подсказали замечательную идею, и радуется, словно кто-то сделал ему ценный подарок. «Кто он такой?» — подумал Маму. А клиент был уже в машине. Она тронулась с места и сразу исчезла в уличном потоке. Счастливый Маму присоединился к своим товарищам, показал им, что заработал, и пересказал разговор с тем, кого они посчитали было мерзким типом.

— Ты был прав, Маму,— признал, наконец, Абдель.— Да, ты был прав. Он хороший человек.

На время в троице воцарилось согласие. Они караулили клиентов и весело болтали, когда делать было нечего. Торговцы сувенирами, видя, что ребята мирно разговаривают друг с другом вместо того, чтобы ссориться и драться, как обычно, изощрялись в издевках: «Сейчас-то они друзья, а вот приходите через час, застанете обычную картину. Полюбуйтесь на эти грязные хулиганские рожи... Ишь как воркуют, будто и в самом деле друзья!»

Предвечернее солнце бросало на землю короткие тени. Проснувшись, Маму увидел, что машина человека, которого он называл теперь своим другом, стоит совсем рядом. «А, вот она где»,— сказал он про себя и подошел к ней. Красивая белая машина с черной отделкой внутри. «Господи, почему же тут только два сиденья? Как этот человек возит свою семью и друзей? — сокрушался Маму.— Машины ведь делают для того, чтобы перевозить как можно больше людей. Такая красивая машина — и только для двоих, даже в голове не укладывается. Семьи у этих людей нет, что ли? Или друзей мало? Как можно думать только о себе, когда на земле столько народу пешком ходит?! Едет такая машина по дороге в джунглях, обгоняет бедняков и даже не может их подобрать — слишком она мала. Чудно живут люди. А сам-то «он» — зачем купил такую машину? Почему не подумал о других?»

Пока Маму ломал себе голову по поводу чужой машины, хозяин ее вышел из отеля. Он подошел, вытащил из кармана ключ и открыл дверцу.

— Все в порядке, шеф? — спросил Маму.

Тот что-то буркнул, положил какую-то вещь на сиденье, сел за руль и собрался было уезжать. Но вдруг приложил палец ко рту и застыл. Потом ни с того ни с сего выскочил из машины, хлопнул дверцей и, не закрыв ее на ключ, вернулся в отель. Маму стало грустно. Его «друг» и поздороваться с ним не захотел, едва покосился в его сторону, а ведь он нарочно держался поближе к машине, чтобы тот увидел, как бдительно он, Маму, следит за ней. Похоже, его «друг» опять принялся за старое, вел он себя точь-в-точь как в тот раз, когда дал Ньяссе с Абделем повод объявить, что это — мерзкий тип, и все тут. «Так вот и получается,—разговаривал Маму сам с собой,— я на него работаю, стараюсь, а он ничего не замечает. Ну, на самом деле, взял да ушел, дверь не запер и думать не думает, что, если б не я, любой бы залез в его красивую машину и взял все, что он там по неосторожности оставил. А если бы меня здесь не было? Эх, патрон, патрон...»

Последние слова Маму произнес вслух, да так громко, что их слышно было метров за двадцать.

— В чем дело, Маму?— подбежав, спросил его Абдель.

Ньясса, кончавший чистить очередные туфли, уже наводил глянец. Через несколько секунд подошел и он.

— В чем дело?

— Да ни в чем,—ответил Маму.— Просто наш друг снова начал...

— Кто начал? Что начал?

— Наш друг опять корчит из себя важного господина. Видали: выскочил и тут же исчез, как молния.

— Я не видел,— сказал Ньясса.

— Как ты мог видеть — ты же работал. А ты, Абдель, тоже не видел?

— Э...

— Э-э,— передразнил его Маму.— Да или нет? Хотя меня не удивляет, что ты ничего не видел. Вы замечаете только то, что касается вас самих. А стоит попасть в беду мне, вы уже ничего не видите!

— Постой, Маму, что ты выдумываешь! — прервал его Ньясса.— Никакой беды с тобой не случилось. К чему эти разговоры. Лучше расскажи нам, что все-таки произошло. А то сам жалуешься, обижаешься, что мы тебе не сочувствуем, а мы даже толком не знаем, в чем дело.

— Вот именно,— подтвердил Абдель, отмахиваясь от надоедливой мухи.— Вот именно, скажи нам, наконец, в чем дело?

— Ладно,— согласился Маму.— «Он» вышел, я тут как тут, возле его машины, «он» открыл ее, потом захлопнул дверцу и ушел. А меня вроде и не заметил.

— Ну и что?

— Как «ну и что»?! Вы разве не поняли, что я смотрю за его машиной?

Друзья Маму расхохотались. Потом Ньясса сказал:

— Слушай, брат, мы из-за тебя животы надорвем от смеха. Значит, ты считаешь, что, если кто-то позволил тебе почистить туфли, он обязан потом попросить тебя сторожить свою машину?

— Но он же сам согласился!— возразил Маму.

— Ага! Выходит, если он согласился, то, увидев тебя у машины, должен сразу расплыться в улыбке?

Ньясса с Абделем без удержу хохотали над «несчастьем» товарища. Они так заразительно смеялись, что Маму, поняв всю нелепость своих претензий, в конце концов тоже засмеялся.

— Раз ты и сам смеешься,— сказал Ньясса,— значит, дело не очень серьезное. Но все равно этот тип — злой человек. Утром мы

было поверили ему, думали, он будет нам другом, но теперь, я вижу, надо его проучить; пусть знает, что ему лучше не делать нам зла.

— Я теперь уж и вовсе ничего не понимаю,— развел руками Абдель.— Почему мы должны объявлять войну этому человеку?

— Да потому,— ответил разгневанный Ньясса,— что кому-кому, но только не ему делать нам зло. Опять не понимаешь? Пусть белые со своими красивыми машинами и со своей кожей выскобленной свиньи смотрят на нас свысока. Это их дело. Но когда наш брат корчит из себя белого, этого прощать нельзя!

— Ты прав,— согласился Абдель.—Значит, объявляем ему войну?

— Войну!— заявил Ньясса.— Куда он делся?

— Да вот, оставил вещи в машине и вернулся в отель,— сообщил Маму.

Ньясса навострил уши:

— Оставил вещи в машине?

Он подошел и заглянул внутрь.

— Правда. А скажи, Маму, ты заметил, что там лежит сумка и бумажник?

— Да, а что?

— А то, что, если «наш друг» не запер как следует дверцу, мы можем начать войну сейчас же.

— Правильно!— закричал Абдель. Он сразу все понял.— Давайте стянем его барахло, тогда он научится уважать сторожа своей машины.

— Нет уж, ребята,— решительно заявил Маму,— машину оставьте в покое — я никому и ничего стащить не разрешу. Даже если он задается перед нами, это еще не значит, что надо красть его вещи.

— Ясное дело,— рассердился Абдель,— так я и знал — пробудился наш правдолюбец. Обидел тебя этот тип или нет?

— Кто жаловался на него минуту назад?— поддержал Ньясса.

— Я, я! Но все равно я тебе говорю: никто не откроет эту машину и ничего оттуда не возьмет!

— Знаешь, небось, что дверь заперта, вот и храбришься, иначе попробовал бы ты держаться так нагло!

Ньясса повернулся к Абделю:

— Не понимаю, чего мы до сих пор возимся с ним?! Слышишь, что он говорит? Сам нас позвал на помощь, а теперь обзывает ворами.

— Никто вас не звал на помощь. Сами прибежали и заладили: «В чем дело? В чем дело?..»

— А что ты нам сделаешь, если мы захотим открыть машину?

— Или выбьем стекло, чтобы взять оттуда его вещички?

— Вы не будете этого делать, сами знаете, что попадете в тюрьму.

— Да, уж ты бы сразу побежал доносить! Мы хорошо тебя знаем, предатель!

— Обзывайте меня, как хотите и сколько хотите! А только знайте: пока я сторожу эту машину, вы ничего из нее не возьмете.

— А это мы посмотрим. Иди-ка сюда, Абдель, давай покажем ему, можем мы взять или нет. Ты сейчас увидишь. Вот тебе, получай!

Ньясса влепил Маму пощечину, но тут же получил сдачи. Маму ткнул ему в глаза растопыренными пальцами.

— Ай!

— Не айкай теперь, сам полез!

А Абдель уже молотил Маму кулаками, стараясь попасть в живот. Вдвоем они сбили Маму с ног, и Абдель сел на него верхом. Маму пытался освободиться, но Абдель сидел крепко.

— Сейчас ты у меня пыли наешься, будешь знать, как спорить.

— Помогите!— кричал Маму.— Помогите.

Его крик привлек внимание редких прохожих и торговцев сувенирами, те начали смеяться: они ли, мол, не предвидели, что мнимая дружба трех малолетних мошенников будет недолгой. И что же! Вот они уже и занялись любимым делом — дерутся!

— На помощь!

Маму увидел, что Ньясса держит в руке камень.

— Идиот! Вор! Бери все, что там есть, если уж ты хочешь попасть в тюрьму, только не бей стекла, машина не заперта!

— Что? — крикнул Абдель и сразу вскочил, забыв, что он должен держать Маму.— Она открыта?

Нажав на кнопку, они убедились, что дверь и в самом деле не заперта. Маму поднялся с земли и, призывая на помощь, кинулся к ним. Но никто не принимал его крики всерьез — не в первый раз эти «шалопаи» дерутся и понапрасну беспокоят людей. Ньясса запустил руку внутрь, и бумажник исчез с сиденья как по волшебству. Маму, пытаясь помешать открыть дверь, даже не заметил этого. Ньясса отскочил и быстро сунул добычу в карман. А Маму, захлопывая дверцу, кричал:

— Ну, что же ты ничего не взял? Боишься? Тюрьмы испугался?

— Я просто хотел доказать тебе, что все равно открою машину, чтобы ты не задавался,—ответил Ньясса, подмигивая Абделю.—Захотел бы — взял все, что там есть. Сам видишь, я не вор. Ты охраняешь машину своего доброго патрона, зачем нам тебе мешать! Но только запомни, дурень: если из машины что-нибудь пропадет, виноват будешь ты! И в тюрьму посадят тебя!

— Да, Маму, нам будет очень жаль, если ты, братец, попадешь в тюрьму. Мы пойдем к твоей матери и скажем: «Маму взялся сторожить машину одного человека, а потом стянул все, что там было. И вот теперь он в тюрьме». Твоя мать запричитает, пустит слезу и пойдет просить доброго патрона с красивой машиной вернуть ей ее любимого сыночка, ее дорогого маленького Маму.

Маму отряхивал пыль с одежды и вытирал лицо.

— А добрый патрон,— подхватил Ньясса,— скажет: «Зачем пришла ко мне эта старуха в лохмотьях? Если она хочет, чтоб сын был при ней, пусть отучит его воровать. Убирайся отсюда, грязная женщина, а не то мои телохранители разорвут тебя в клочья!» — «Достойный господин,— взмолится мать,— ты не можешь себе представить, сколько хлопот доставил мне Маму с тех пор, как я родила его на свет. Ты сделаешь для меня такое доброе дело, если оставишь его в тюрьме. Не знаю, чем я смогу тебя отблагодарить. Забирай его насовсем, этого Маму, и делай с ним все, что хочешь».

— И останешься ты в тюрьме,— продолжил Абдель.

— И умрешь в тюрьме.

— И похоронят тебя в тюрьме.

— И сгниешь ты в тюрьме.

Насмешники захохотали и, притворно держась за бока, пошли прочь. А Маму, представив себе картину, выдуманную его товарищами, на мгновение оцепенел.

— Оставайся здесь,— крикнул, обернувшись, Ньясса,— оставайся! Увидишь, что с тобой будет.

Не переставая смеяться, они дошли до угла дома, свернули на соседнюю улицу и исчезли. Маму вдруг стало очень тоскливо. В это время владелец красивой машины снова вышел из отеля.

— Меня правда посадят в тюрьму, если из машины что-нибудь пропадет?— спросил его Маму.

— Конечно, тебя посадят в тюрьму, если что-нибудь пропадет. Ты ведь сторож.

— Нет, мсье, нет, они говорят неправду. И ты тоже! Я не вор, я не вор... Нет, мамочка, нет! Неправду они говорят, неправду! Я не вор, я не хочу в тюрьму! Нет, нет! Не троньте меня!

Несколько секунд ничего не понимавший мужчина выслушивал эти излияния, потом стал успокаивать мальчика:

— Послушай, Маму, не волнуйся... Не волнуйся, все в порядке, ничего из машины не пропало. Смотри, все на месте, точно так же, как и было. Все на месте, смотри!

Маму пришел в себя, протер глаза, чтоб убедиться, что это не сон, и посмотрел внутрь машины. «Все» было на месте, «все» целехонько. Хозяин красивой машины вытащил из кармана блестящую стофранковую монету, вручил ее с улыбкой Маму и, включая зажигание, сказал:

— Ты честный парень, Маму, ты мне очень нравишься. Будет тебе, очнись и не хмурься. Сам видишь, ничего не пропало, в тюрьму тебя не посадят. Спасибо, что посторожил машину. Ничего с ней не случилось, слышишь, как мотор урчит? Это он хочет тебе сказать: все в порядке! До свиданья, Маму! До свиданья!

На земле достаточно красивых цветов, которые помогают забыть о колючках. Так и благородство одних людей помогает забыть о низости других. Когда человеку трудно, легче заглянуть ему в душу. Нищенское рубище оберегает бесценное сокровище чистых чувств, сытость же отдает их на растерзание алчному эгоизму. Солнце богато и щедро, небо тоже, однако люди почему-то не берут с них пример. Только ребенок с его невинными глазами умеет воспринять чужие страдания и не пожалеет отдать счастливую улыбку своего сердца, чтобы разделить с другим человеком тягостные минуты жизни.

Дверь счастья открылась.

Маму просунул голову и посмотрел внутрь.

Там было дымно, лица людей были перепачканы сажей.

Там звонко смеялись, совсем как на веселом деревенском празднике.

Там стоял старый патефон с затупившейся бамбуковой иглой.

Вдруг поднялся старый, седобородый негр и взошел на трибуну, сделанную из металлической пыли и трухи, которая остается после древесных червей.

Властным голосом он приказал немедленно прекратить танцы. Танцоры остановились.

Тогда, обращаясь к Маму, он произнес:

— Почему ты не входишь? Чего боишься? Смотри, вот твои друзья, они все здесь.

Маму вошел. Он осторожно ступал ногами, боялся загрязнить невидимый ковер. Внезапно глаза ему застлало густым туманом. Он медленно шел вперед.

— Что ж ты, Маму, шагай побыстрее, у меня нет времени!— прикрикнул на него старый негр.— Или ты боишься поделиться с нами? Посмотрите на него, дети мои, он боится отдать своим братьям немного денег. Видите, как он пошатывается, будто только что выпил яд, околдовывающий богачей. Смотри, Маму, разве не видишь, на тебе такие же точно лохмотья, как и на твоих братьях, собравшихся здесь. Дурень! Полюбуйтесь-ка на него! Среди бела дня размечтался о

том, что он разбогател, что он теперь уже не такой, как мы. Ха-ха-ха-ха-ха!

И все, кто собрался в этом таинственном месте, тоже начали смеяться. Они так откровенно потешались над Маму, что он остановился, широко открыв глаза, и вдруг ясно, будто при ярком-ярком свете, различил знакомые лица. «Его я знаю,— говорил он про себя,— это ведь мой отец... Того... я тоже где-то видел, только не вспомню где... Ну конечно же, это продавец газет с площади Эзеб! А вон те двое...»

— Наконец-то, Маму! Я был уверен, что ты их узнаешь,— сказал старый, седобородый негр.— Ну, чего ты ждешь? Делись!

— Но они меня избили,— отважился возразить Маму,— они пугали меня тюрьмой! Они вовсе не помогли мне заработать эти деньги, наоборот — только мешали! Они...

— Делись!— прогремел старик.— Здесь такое счастье—делиться.

Маму открыл глаза.

— Хорошо, я поделюсь,— сказал он.— Каждый получит свою долю и будет счастлив.

К нему приближались Ньясса и Абдель. Рабочий день кончался. Пришел час, когда они всегда собирались вместе и подсчитывали выручку.

— Ты все еще злишься, Маму?— спросил Ньясса.

Честно сказать, Маму не очень хотелось говорить с ними. Конечно, не первый раз у них были стычки и даже драки вроде сегодняшней. Но никогда раньше они его так не избивали и не обижали.

— Злится — не то слово,— сказал Абдель.— Видишь, как он на нас смотрит. Думает, мы пришли ссориться.

— Чего нам ссориться — ведь «его» машины здесь уже нет.

— Во всяком случае,— заговорил, наконец, Маму,— могу вас успокоить: ничего со мной не будет, и в тюрьму я не попаду. Хозяин машины сказал, что ничего не пропало.

При этих словах друзья Маму разразились таким хохотом, что он уставился на них в недоумении. Но его вопрошающий взгляд остался без ответа.

— Это мы просто так, Маму,— сказал, сдерживая смех, Ньясса.— Пойдем делить деньги. Сколько ты заработал?

— Триста франков.

— Триста франков? — удивленно спросил Ньясса.

— Сколько, сколько?— переспросил Абдель.— Ты заработал всего триста франков?

— Но обычно мы зарабатываем ненамного больше! Что вы на меня так смотрите?

— Значит, ты целый день старался, честно охранял машину своего друга, а собрал только триста франков?

— И ты хочешь, чтоб мы делили деньги поровну,— с возмущением в голосе произнес Ньясса.— Сам ничего не делаешь и хочешь делить деньги поровну?

— Но...

— Какие еще «но»? Я заработал тысячу пятьсот франков.

— Что? Тысячу пятьсот франков?

—А я тысячу шестьсот франков.

— Как тысячу шестьсот?!— Маму не верил своим ушам.— Вы что-то путаете! Вы хотите сказать: сто пятьдесят и сто шестьдесят франков? Или просто решили меня посмешить?

— Видишь, Ньясса, он вдобавок еще считает нас шутниками. Не хочет нам верить. Показать тебе деньги? Вот они! Считай сам. Считай.

Маму пересчитал деньги Абделя и убедился, что его не обманывают. Ньясса тоже протянул ему пригоршню монет. Маму, пересчитав и их, с восхищением посмотрел на друзей.

— Как же вам удалось заработать столько денег?

— Как удалось? Ты не понимаешь? Так вот, это очень просто — мы работали, мы бегали по городу и усердно работали, пока ты спокойно дрых около своей машины,— сказал Ньясса.

— Видишь, какие мы добрые,— добавил Абдель,— мы пришли с тобой делиться, хоть ты этого и не заслуживаешь.

— Если, по-вашему, я этого не заслуживаю, не нужно мне ваших денег.

— Теперь «мсье» закапризничал,— заметил Абдель.

— Вот что, Маму,— заявил Ньясса,— ты поделишь с нами выручку, как мы это делали всегда, а не то...

— А тогда не говорите, что я ничего не делал и, мол, этого не заслуживаю.

Абдель встал перед ним на колени:

— Мы смиренно просим у тебя прощения, о великий Маму, за все зло, которое мы тебе причинили, и за все обидные слова, которые мы тебе сказали. Я, твой друг Абдель, обещаю тебе: мы больше не будем. Теперь ты доволен?

Ньясса громко засмеялся, а потом сказал:

— Слушайте, друзья, надо спешить, смотрите, солнце уже совсем низко, скоро стемнеет.

— Давайте,— заторопился Абдель,— тысяча пятьсот франков и тысяча шестьсот франков это будет... это будет...

— Это будет, это будет! Уж не хочешь ли ты сказать, что можешь в уме сложить такие большие деньги? Считай так, будет быстрее!

Они посчитали — получилось три тысячи сто франков.

— Прибавим твои триста франков, Маму.

— Это будет ровно три тысячи четыреста франков. Точно?

— Точно.

— Теперь,— сказал Ньясса,— раз я столько работал, прежде чем делить поровну, возьму себе пятьсот франков.

— Правильно,— одобрил Маму.

— Я тоже много работал. Сколько мне взять?

— Четыреста франков, Абдель, не больше.

— Хорошо. Вот они, взял.

— И ты, Маму, бери сто франков.

— Да, ты ведь тоже работал. Не так много, конечно, как мы, но все-таки... Бери сто франков.

— Взял.

— Ладно. Теперь будем делить поровну. Сколько осталось? Считай, Маму.

— Осталось... осталось... две тысячи четыреста франков.

Они разделили их на три части и разошлись, пообещав, как обычно, друг другу завтра заработать еще больше.

Еще больше?! А могли ли они заработать больше?!

По дороге домой Маму опять начал задавать себе вопросы. В кармане у него было девятьсот франков — втрое больше того, что он заработал. «Столько денег... Откуда у них такие заработки?..» Однако вопросы вопросами, а он был доволен тем, что ему досталось так много денег. Все-таки дележка — хорошая вещь!

Теперь можно и туфли купить, подумал Маму. И решил, что завтра же сделает это.

Прошло несколько дней. Уехали Поль и Жорж, кончился их спор о мальчишках-чистильщиках. Многие постояльцы также покинули отель, зато другие в него въехали. Все эти события, естественно, не могли оставить безразличными торговцев сувенирами и тем более наших юных друзей. Что касается владельца красивой спортивной машины, он, похоже, обосновался в отеле надолго и появлялся, как и раньше, то с приветливой улыбкой, то явно озабоченный и тогда — ребятам это очень не нравилось — ничего вокруг себя не замечал. Иногда он выходил из своей комнаты, держа в руках какие-то аппараты. Нес он их осторожно и, хотя некоторые были очень тяжелыми, никому не разрешал себе помочь.

— Что это за штука, патрон?— однажды спросил его Маму.

— Подожди немного, как-нибудь я покажу тебе, что с ней делают,— ответил мужчина.

Время шло. Нетерпение ребят возрастало. Никто, кроме самого хозяина странного аппарата, не мог объяснить им, что же это за вещь. Каждый раз, когда мужчина выходил с ним из отеля, Маму и его товарищи чувствовали какую-то неясную тревогу.

— Уж не колдун ли он?— предположил Ньясса.

— Белый колдун?! Ты слышал хоть раз подобную вещь?

— Как белый? Он такой же черный, как и я!

— А разве ты не видишь, где он живет? Разве ты не видишь, как он одевается, как он ходит, разве ты не видишь, какая у него машина? Все, как у белых. И этот его аппарат... Часто ты видел у черных такие штуки?

Правду сказать, они вообще впервые видели такой аппарат и могли лишь гадать, волшебный он или нет. Но именно потому, что они никогда раньше его не видели, их фантазия не знала пределов.

Но однажды под вечер их знакомый вылез из машины, расплываясь в улыбке и держа в руках пакет, который, судя по упаковке, он только что получил на почте.

— Ребята,— крикнул он чистильщикам,— у меня для вас сюрприз. Стойте здесь и никуда не уходите, я сейчас вернусь.

И пока ребята смотрели друг на друга, не зная, как реагировать на этот неожиданный знак внимания, мужчина быстрым шагом направился в отель. Он пошел к управляющему и договорился, чтобы трех юных чистильщиков и еще нескольких человек пропустили в отель, что, как правило, запрещалось. Их ввели в маленький зал на первом этаже. Стулья управляющий хотел было забрать, он очень боялся, как бы их не испачкали.

Владелец красивой машины установил в глубине зала маленький белый экран, велел закрыть дверь и окна и сказал:

— А теперь, друзья мои, мы немного позабавимся.

Он потушил свет, и киносеанс начался.

Изумление присутствующих при виде цветного изображения было столь сильным, что первые несколько секунд в зале не смолкали крики радости и восхищения. Потом зрители стали узнавать город. Люди, машины двигались на экране быстрее, чем в жизни. Тротуары в людных местах пестрели от разноцветной одежды прохожих. То здесь, то там мелькала фигура склонившегося к чьим-нибудь ногам мальчишки-чистильщика, что немедленно вызывало бурное веселье в зале. Это было необычно и удивительно.

Но кино — злая вещь. Оно показывает все, даже то, что лучше бы не показывать. Вскоре на экране началась драка, в которой Маму, Абдель и Ньясса безо всякого труда узнали себя.

— Смотри, Маму, смотри, это же ты!

— А вот и вы, набрасываетесь на меня вдвоем...

— О нет, шеф, не надо показывать эту драку,— забеспокоился Ньясса.— Не надо... Зачем? Не делай этого, патрон!

— Тихо,— сказал владелец красивой машины,— дай нам посмотреть, что случилось потом.

Мы-то хорошо знаем, что должно было случиться. Аппарат на весь экран показал, как во время яростной схватки, которая со стороны выглядела обыкновенной дракой, Ньясса ловко стянул бумажник с сиденья. Ньясса, увидев, что он разоблачен, в смятении вскрикнул и кинулся к выходу. Но дверь была закрыта, да его к ней и не подпустили.

— О, Аллах! — завопил Маму. Обоих его друзей уже крепко держали.— Вот как, оказывается, они заработали тогда столько денег! И эти ворованные деньги они благородно разделили со мной! А я-то на эти деньги купил себе новые туфли. И теперь я должен вместе с ними сидеть в тюрьме! Патрон, ты же видел, ты видел, что я ничего не сделал, правда ведь, ты же сам видел!.. Вот твои туфли,— кричал он, поспешно разуваясь,— вот, бери их, они куплены на твои деньги. Но я не хочу в тюрьму, шеф. Мой отец слепой, моя мать не работает, я не хочу в тюрьму, патрон! Не хочу!

Маму вопил, его товарищи плакали. Трое наших друзей, уверенные в том, что их сейчас арестуют, пытались вырваться. И никто, похоже, не собирался прощать им кражу, которую все только что видели на экране. Те из торговцев сувенирами, кто был приглашен на просмотр, не скрывали своей радости прямо на глазах у убитых горем мальчишек. Они ведь всегда относились к ним как к нежелательным конкурентам и теперь откровенно рассуждали о том, что скоро, наконец, для них наступит спокойная жизнь. Будто в городе не было других мальчишек-чистильщиков, которые могли бы заменить Маму, Абделя и Ньяссу, если уж их посадят в тюрьму. Торговцы были наивными людьми. Как же все были удивлены, когда услыхали спокойный голос мужчины, который их сюда пригласил:

— Забери назад туфли, дружище, они твои. Ни в какую тюрьму ты не пойдешь!

Они удивились еще больше, когда он, обращаясь к Ньяссе и Абделю, громко и внятно, чтобы все поняли, сказал:

— Никто не пойдет в тюрьму! Слышите? Я еще раз говорю, что никто из вас в тюрьму не пойдет. Ведь если бы не вы, я никогда не снял бы столь прекрасного эпизода.

Критика

С. ШЕРЛАИМОВА

ПОНЯТЬ СОВРЕМЕННИКА

Чехословацкий роман сегодня

Тот, кому удается внимательно следить за литературой Чехословакии, не может не ощутить в ней в последние годы признаки нового подъема.

Как и другие страны социалистического содружества, Чехословакия переживает сейчас период интенсивного творческого созидания, идет к построению общества развитого социализма. Высокая цель требует напряжения усилий не только в экономике и политике. Новые задачи встают во всех областях жизни, перед обществом в целом и каждым его членом в отдельности. Свое место в этой обстановке ищет и литература, призванная помочь читателям правильно разобраться в новых жизненных явлениях.

Процесс социально-политической консолидации, характерный для Чехословакии 70-х годов, создал благоприятный климат для новых художественных дерзаний. «Благодаря принципиальной и гибкой политике,— говорилось в докладе Г. Гусака XV съезду КПЧ (апрель 1976 г.),— значительно укрепился фронт творческой интеллигенции, сплоченной вокруг партии и идей социализма, развернулась богатая культурная жизнь». Успехи культуры, успехи литературы, в свою очередь, становятся немаловажным фактором поступательного движения общества.

На Учредительном съезде Союза чехословацких писателей в декабре 1977 года, объединившем по принципу федерации Союз чешских и Союз словацких писателей, председатель вновь созданной творческой организации Ян Козак сказал: «После идеологической деструкции, кульминацией которой в конце шестидесятых годов была попытка вытеснить социалистическое сознание из области искусства, наша литература — в творческой полемике, в борьбе с субъективистскими тенденциями кризисных лет — возвращается к конкретной жизни, к современной тематике, понимаемой прежде всего как художественное выражение социалистической сущности нашего современника».

Формирование нового качества современной чехословацкой литературы особенно отчетливо проявляется в таком ее важнейшем жанре, как роман. Основы реалистического романа в чехословацкой литературе предшествующего десятилетия были ослаблены влиянием модернизма и ложных эстетических теорий, однако 70-е годы принесли плодотворное его возрождение[1]. В чешской литературе этот процесс прежде всего выявился в историческом жанре. Произведения Б. Ржиги, В. Неффа, М. В. Кратохвила, ярко и увлекательно раскрывающие важные страницы отечественной истории, способствовали восстановлению авторитета реалистического романа у широкой читательской публики.

Здесь, несомненно, сказалось и то, что исторический роман имеет в чешской литературе богатую традицию. Исторические

[1] О борьбе с негативными последствиями общественно-политического кризиса 1968—1969 гг. в области литературы и о чехословацкой прозе первой половины 70-х годов речь шла в статьях С. Шерлаимовой «Духовная ориентация — социализм» («ИЛ» № 3, 1975) и Ю. Богданова «Момент самосознания в словацкой прозе» («ИЛ» № 2, 1976. *Прим. ред.).*

жанры преобладали в чешском романтизме, исторический роман А. Ирасека был вершиной критического реализма в чешской прозе XIX века, новаторский тип исторического повествования создал в «Картинах из истории народа чешского» (1939—1940) писатель-коммунист В. Ванчура. Современные романисты в полной мере использовали опыт своих знаменитых предшественников, как и традиционное доверие читателей к этому жанру. Вместе с тем гуманизм лучших исторических романов 70-х годов, присущая им сосредоточенность на внутреннем мире героев отражали уже иную ступень развития романа в отечественной литературе. Как справедливо заметил главный редактор журнала «Литерарни месичник» О. Рафай, открывая заседание «круглого стола», посвященное новой чешской исторической прозе, эта проза «дает импульсы и всем другим областям литературы, она способна воздействовать на общий ход литературного процесса». На том же заседании критик Г. Грзалова с удовлетворением констатировала, что «почти каждый год выходит по крайней мере один хороший исторический роман, появляются новые темы. Современная историческая беллетристика берется за такой материал, к какому прежде не отваживалась подойти или не считала его пригодным для художественной литературы. Если же встречается материал традиционный, то он рассматривается нетрадиционно, по-новому, без шаблонов». Среди книг этого жанра, привлекших в последнее время к себе внимание, можно назвать, например, роман «Советник магараджей» А. Плудека (1976), поднимающий проблемы связи этики с политикой на экзотическом материале из истории Индии, и «Святой на мосту» И. Шотолы (1978) — роман, развенчивающий католическую легенду о святом Яне Непомуцком, которую официальная церковь стремилась противопоставить народной гуситской традиции.

С попыткой нового осмысления некоторых узловых моментов истории словацкого народа темпераментно и полемично выступил В. Минач в книгах философско-эссеистского жанра «Раздувая родные очаги» (1970) и «Собранные споры Й. М. Гурбана» (1974). Исторический жанр в словацкой литературе, хоть и дал немало интересных образцов, не имеет столь прочной традиции, как в литературе чешской. Тем более знаменателен успех двухтомного романа А. Гикеша «Время мастеров» (1977), обращенного к периоду народного движения в Словакии на рубеже пятнадцатого и шестнадцатого веков — периоду, ознаменовавшемуся и расцветом искусств и ремесел.

Таким образом, исторический роман, выполнивший в начале 70-х годов столь важную роль «реабилитации» реалистической прозы в глазах читателей, продолжает успешно развиваться. Но теперь он уже не представляет исключения, а занимает свое законное место в общем ряду современной реалистической прозы, которая все настойчивее и смелее обращается к злободневным темам, к современным героям.

Сегодня, приближаясь к концу 70-х годов, надо вспомнить ряд книг, которые дали импульс движению реалистического романа в литературе Чехословакии. Со многими из них «Иностранная литература» познакомила советского читателя. Это — автобиографическая исповедь «Влюбленный в жизнь» (1971) и «Полная чаша» (1976) А. Плавки, это — исполненное юмора повествование о современной деревне «Святой Михал» (1971) Я. Козака, это — тревожный, проникнутый ненавистью к мелкобуржуазной стихии роман Я. Коларовой «Мой мальчик и я» (1974)[1].

Общее повышение гуманистического потенциала литературы отличает произведения, посвященные годам второй мировой войны, периоду оккупации Чехословакии и Словацкому национальному восстанию. Здесь можно назвать романы словацкого писателя молодого поколения Э. Дзвоника «Пепелище» (1976) и «Слепая пещера» (1977). С новыми произведениями об этом времени — «Семимильный шаг» (1977) и «Благочестивый Метод» (1978) выступил известный прозаик М. Крно. Вышел в свет роман В. Шикулы «Мастера» (1976)[2], о котором речь еще впереди. Сегодняшний взгляд на годы войны присущ «Дичкам» И. Кршенека (1973)[3] и «Одному сребренику» З. Плугаржа (1974). Чистая, неискушенная, но бескомпромиссная юность, противостоящая страшной действительности периода оккупации, показана в психологических повестях «Адье, молодость» (1977) Б. Ногейла и «Виола» (1978) Й. Кадлеца.

Действительность буржуазной Чехословакии по-новому предстала перед читателем в романе Я. Коларовой «Наш малый, маленький мир» (1977). Это автобиографический психологический роман, главной героиней которого выступает девочка из пролетарской семьи. Выбор центрального персонажа дает писательнице особый угол зрения на пресловутое «процветание» буржуазной республики, которое оборачивалось для трудящихся бесправием и лишениями. Вместе с тем книгу отличает поэтичность, то, что известный литературовед профессор Й. Грабак назвал «стремлением объять жизнь не только в ее нищете, но и в ее красоте...» По его словам, «...здесь нет идеализации, но нет и сгущения мрачных красок, нет сентиментальности или ностальгии, но есть психологически правдивый, убедительный образ».

Каждый заслуживающий внимания роман, сколь бы отдаленной ни была его тема, в конце концов отражает стремление что-то прояснить в нашей современности, через человека далекого или близкого прошлого

[1] Опубликованы в «ИЛ»: А. Плавка. «Влюбленный в жизнь» № 10, 11, 1972; «Полная чаша» № 10—12, 1977; Я. Козак. «Святой Михал» № 7, 8, 1973; Я. Коларова. «Мой мальчик и я» № 1, 1975.

[2] Публикуется в «ИЛ» № 4, 5 этого года.

[3] См. «ИЛ» № 5, 6, 1975.

С. ШЕРЛАИМОВА
ПОНЯТЬ СОВРЕМЕННИКА

постичь нас самих. И все же первейшее значение имеют в этом плане книги собственно о современности. Я. Козак в докладе на съезде писателей в 1977 году говорил: «Литература нашей эпохи начинает по-новому видеть и показывать человека развитого социалистического общества, созидающего и в то же время преобразующего условия, в которых он живет».

По тематическому признаку можно условно наметить три круга произведений, в настоящее время наиболее успешно разрабатывающих эту проблематику: «деревенская» проза, книги с производственной тематикой, произведения, анализирующие действительность первого послевоенного десятилетия.

В литературах социалистических стран — советской, польской, болгарской и других — поднимается новая волна прозы о деревне. В современном потоке произведений, посвященных «деревенской» теме, чехословацкая проза о деревне имеет свое место, свой ракурс.

Роман Я. Козака «Святой Михал» в определенном смысле задал тон чешской «деревенской» прозе 70-х годов. Он акцентировал окончательность, необратимость перемен в деревне, связанных с коллективизацией, которая принесла раскрепощение от тяжелейшего труда и благоденствие не только бывшим батракам и беднейшим крестьянам, но и середнякам, хотя они далеко не сразу приняли идею кооперирования. В «Гнезде аиста» (1976)[1] Козак вновь обратился к драматической эпохе коллективизации. Ей посвящен ряд его произведений, в частности роман «Сильная рука» (1966), который, переработав и дополнив, писатель положил в основу новой книги. Опыт успешного пути чехословацкой деревни за последние десятилетия позволил Козаку детально проанализировать события прошлого, усилить оптимистическое звучание романа, сделать его объемнее и многограннее. Точность социально-психологических портретов (например, упорствующего в своей приверженности к единоличному хозяйству середняка Резеша) сочетается с выразительными речевыми характеристиками героев, сочным юмором, умением запечатлеть красоту пейзажа. Писателю удалось художественно высветить в прошлом те характеры и человеческие черты, которые уже тогда предвещали сегодняшний день. Такова, например, Илона, возлюбленная главного героя романа Павла, живой образ девушки того времени и в то же время — символ устремленности в будущее.

Гуманистический смысл перемен в сельской жизни убедительно показывают и произведения молодого писателя Яна Костргуна. В середине 70-х годов обратил на себя внимание его первый роман «Черные овцы» (1974), где жизнь сегодняшней процветающей деревни показана в сопоставлении с эпизодами трудной, подчас с трагическими поворотами, истории борьбы за коллективизацию. На контрасте строится и следующий роман Костргуна «Браконьеры» (1977). Главный герой его — чешский эмигрант, приезжающий после восемнадцатилетнего отсутствия из Америки в родное село, где он оставил жену и сына. Представления «Американца» о деревне оказываются в разительном противоречии с действительностью, а его надежды произвести впечатление на семью и односельчан своим состоянием терпят полный крах.

Зоотехник по профессии, автор прекрасно знает современную деревню и ее людей, умеет живо передать колорит сельских будней, создать небанальные характеры (например, сына Американца тракториста Цирила). Второй роман Костргуна свидетельствует о росте его профессионального мастерства, хотя местами он, пожалуй, напрасно пытается «украсить» серьезный в основе сюжет едва ли не водевильными сценами. Но достоинство романа в том, что здесь крупно выписаны приметы новой деревни, бесконечно далекой от своего прежнего облика.

«Деревенскую» тему можно с полным основанием назвать традиционной для литературы Словакии. Исторические судьбы ее народа, история ее литературы сложились так, что с проблемой деревни связано наибольшее число произведений непреходящей ценности. В послевоенные годы на первый план в развитии романа выдвинулась тема Словацкого национального восстания, которой посвящены книги В. Минача, Р. Яшика и многих других писателей. «Деревенская» тема и в этот период дала высокие художественные образцы в романах Ф. Гечко «Красное вино» (1948) и «Деревянная деревня» (1951).

В 60-е годы роман был оттеснен в словацкой литературе потоком малых прозаических форм. В критике, а постепенно и в художественной практике, прежде всего молодого поколения, получили хождение теории об устарелости романной эпики и реализма вообще, о необходимости модернистских инъекций. Прозе 70-х годов пришлось с трудом преодолевать последствия этого кризисного состояния.

Журнал «Словенске погляды» регулярно печатает годовые обзоры литературы по жанрам. Во втором номере за 1976 год Б. Тругларж в статье «Словацкая проза 1975» констатировал, что «проза в различных жанрах разрослась, но, хотя она и разрослась, все еще рано говорить о ее качестве». И далее: «Каков же общий вывод? Поиски, все еще только поиски...» Тот же автор в обзоре словацкой прозы за 1976 год оценивает ситуацию совершенно иначе, считает возможным со всей определенностью говорить о «принципиальной, идущей вверх линии развития». Между этими двумя статьями вышли в свет романы «Одиннадцатая заповедь» Я. Йонаша, «Пепелище» Э. Дзвоника, «Мастера» В. Шикулы, ознаменовавшие, можно сказать, новый этап словацкой прозы, словацкого романа.

Роман Йонаша, вызвавший дискуссию в критике, представляет собой попытку нового

[1] См. «ИЛ» № 7—9, 1978.

решения традиционной для словацкой литературы «деревенской» темы, нового изображения крестьян — людей, связанных «одиннадцатой заповедью» — «служи земле!». Действие происходит в конце войны и первые послевоенные годы в деревне Дренковице. На судьбах нескольких крестьянских семей (богатой хозяйки Гелены Адамицовой, старосты Беняка, хуторянина Губана) Йонаш прослеживает ход перемен в словацкой деревне вплоть до создания кооператива. Главным представителем нового деревенского уклада выступает бывший батрак Гелены Адамицовой Шимон, который, пройдя в городе курс учебы, становится в родной деревне председателем местного национального комитета. Подробно воспроизводя историю своих героев — не только бедняков, но и зажиточных крестьян, писатель показывает, что, кроме коллективизации, иного пути для деревни не существует.

Если сравнить роман Йонаша с упоминавшейся выше «Деревянной деревней» Гечко, написанной буквально в разгар этого процесса, то нельзя не отметить, что книга Гечко, отличаясь заостренностью социальных характеристик и драматичностью коллизий в борьбе за кооперацию, завершается, однако, слишком «облегченным» финалом — кооператив в короткий срок достигает процветания. Йонаш смотрит на события прошлого сквозь призму последующего опыта. Для него на первый план выступает не столько конфликтность ситуации тех лет, сколько объективная закономерность, неуклонность процесса. Время сгладило остроту восприятия противоречий между разными социальными слоями деревни, в изображении крестьянских типов появились новые оттенки, новые черты. Как качество первостепенной важности писатель особо подчеркивает в своих героях преданность земле, понимание законов природы, чувство слитности с нею.

По поводу «Одиннадцатой заповеди» были высказаны резко отличающиеся мнения. Критики молодого поколения И. Сулик и Ф. Матейов упрекали автора в использовании устаревших художественных приемов. А. С. Шматлак, Д. Окали, И. Кусы, К. Розенбаум и другие ведущие словацкие критики прежде всего обратили внимание на значение этого романа для возрождения в словацкой прозе эпического начала. С. Шматлак, например, утверждал, что идейным стержнем романа Йонаша «является стремление наглядно, на конкретных человеческих судьбах показать, что социализм сохраняет и актуализирует принципиальные ценности, связанные с жизнью трудящегося человека». Это, отмечал он, «творческая попытка проникнуть под поверхностный слой исторического процесса, напомнить нам, что победа социализма в словацкой деревне зрела изнутри, опиралась на здоровые человеческие фонды ее населения». «Речь шла об освобождении крестьянина,— писал Д. Окали,— не только от ярма «одиннадцатой заповеди», от изнурительной работы, но и от проклятия морали, порожденной именно частной собственностью,— морали, которая измеряет достоинство человека тем, сколько у него десятин».

Со своеобразным критическим эссе, где разбор романа соединен с размышлениями о состоянии словацкой прозы и критики, в дискуссии о романе Йонаша принял участие и В. Минач. Он показал, что часто убедительность задуманных характеров, сюжетных ходов, даже деталей снижается в романе неумелой стилистической подачей, шаблонными фразами и сравнениями, но в то же время отметил и сильные стороны романа.

Еще не отбушевали «критические страсти» вокруг романа Йонаша, а в прессе уже развернулась новая дискуссия — вокруг романа В. Шикулы «Мастера».

Шикула завоевал широкое признание как новеллист, прекрасный рассказчик, обладающий выразительной стилистической манерой, кругом своих сюжетов, своих героев. В романе «Мастера» — первом томе трилогии (второй том — «Герань» — вышел в свет в 1977 году, ожидается появление заключительного тома — «Вильма»), обратившись к большой эпической форме, он сохранил присущую ему сказовую манеру и лирическую тональность. Действие романа происходит в годы второй мировой войны, но речь в нем идет о людях в высшей степени «мирной» профессии — о мастерах-плотниках: старом Гульдане и трех его сыновьях Якубе, Ондрее и Имрихе. Они заняты своим делом — возводят по деревням Западной Словакии дома, амбары, колокольню... они ссорятся и мирятся, влюбляются, женятся... Когда же вспыхивает Словацкое национальное восстание, все три сына уходят в повстанческий отряд. Такова событийная канва книги, но она перебивается многочисленными отступлениями — размышлениями автора о писательском ремесле и данном романе, о его героях, о взаимоотношениях людей, о законах жизни вообще.

Все писавшие о романе Шикулы единодушно отмечали самобытность стиля писателя, сочность его языка, умение передать поэзию труда, обаяние цельных характеров. В развернувшейся дискуссии мнения разошлись по вопросу изображения писателем конкретно-исторической действительности периода войны. Так, рецензенту журнала «Ромбоид» В. Шабику (его послесловие сопровождает публикацию романа в этом номере «Иностранной литературы») созданная в «Мастерах» картина жизни представляется «абсолютно точно понятой в социальном отношении». Иную точку зрения высказал Д. Окали в журнале «Словенске погляды». А. В. Минач — автор известной трилогии о Словацком национальном восстании «Поколение»[1], признавая весомость «художественного деяния» автора «Масте-

[1] Вторая часть трилогии В. Минача под названием «Ветер в лицо» («Живые и мертвые») опубликована в «ИЛ» № 7—9, 1960.

С. ШЕРЛАИМОВА
ПОНЯТЬ СОВРЕМЕННИКА

ров», вместе с тем считает, что «территория общественно-исторического романа враждебна таланту» Шикулы. По его мнению, Словакия в «Мастерах», если брать аспект общественно-исторический, — «по-прежнему родной край в годы детства, не в годы Восстания».

Очевидно, окончательное суждение о том, насколько верно передал Шикула общественно-исторические параметры эпохи войны, можно будет вынести только по завершении трилогии. Уже во втором романе — «Герань» — ощутимо большее внимание автора к этим проблемам при одновременном сокращении «стихии» авторских отступлений. Определенная неполнота в показе специфики эпохи, несомненно, присуща «Мастерам» — автор подчас чересчур свободно переключается на сюжеты совершенно иного плана и свойства. Однако оценить значение этого романа в контексте современной литературы и занимающих ее проблем вряд ли возможно, подходя к «Мастерам» только как к «роману о Восстании». Если придерживаться очень, конечно, условного, но все же по-своему необходимого деления современной прозы по тематическому признаку, то «Мастеров» следовало бы, пожалуй, отнести не к теме Восстания, а к традиционной — но здесь поставленной по-своему — «деревенской» теме.

Научно-техническая революция вызвала обостренное внимание части писателей к традиционным духовным и нравственным ценностям, связанным с близким к природе крестьянским бытом, которые в известном смысле оказались под угрозой исчезновения. Это большой и сложный философский вопрос, для ответа на который необходимо разобраться в том, что́ в уходящих верованиях, обычаях и моральных нормах было действительно ценным, а что — консервативным или даже реакционным. 70-е годы усилили интерес к этому комплексу вопросов в литературе социалистических стран. И именно этот проблемный пласт представляется мне наиболее примечательным в романе В. Шикулы.

Прежде всего писателю действительно удалось передать поэзию труда и приносимой им радости, когда человек способен своими руками возвести нечто совершенное, нужное людям. Это не прославление «голого мастерства»: у Шикулы всегда присутствует гуманистический критерий. В романе мы находим и злободневные размышления о взаимоотношениях человека и природы, о недопустимости произвольно и бездумно менять «правила игры» с ней, об искусстве понимать природу и учиться у нее. Это, пишет Шикула, «большая и мудрая игра для большого и мудрого человека. Тот, кто не знает правил игры, не может менять их, и нечего ему заноситься, ибо с таким же успехом мог бы заноситься и червь, которому удалось подточить и до времени сбросить с дерева яблоко». Труд мастеров, труд крестьян на полях вызывает мысли писателя об особенностях национального характера, о том, что́ в них должно быть сохранено: «Свои обычаи надо понять, признать их, поучиться у них, не стыдиться их, найти в них смирение, но не унижение, смирение, но и гордость, уважение к себе и другим, не то мы будем только безумцами, вечными холуями, вечными дураками...»

В первой части трилогии Шикулы заявлено, выдвинуто множество проблем морально-этического, эстетического, философского, общественно-политического плана. В рамках одного романа их даже слишком много в сравнении с относительно небольшим «собственно романным» повествовательным материалом. Но, может быть, это — вопросы, заданные на целую трилогию? Однако уже и сейчас совершенно очевидно новаторское для словацкой литературы значение романа «Мастера», который знаменовал собой повышение художественного уровня современной прозы, прозвучал как призыв к смелому поиску и творческой дискуссии.

Современная социалистическая литература немыслима без показа человека в сфере производства, в трудовом коллективе. В этом плане интересные произведения появились в чешской литературе, для которой, кстати сказать,— во всяком случае, в литературе XX, а отчасти и XIX века — «рабочая» тема является традиционной.

Одним из пионеров возрождения «производственной» темы выступил М. Рафай в романе «Трудности равнин» (1973) — о работе бригады мелиораторов по осушению заболоченных кооперативных земель. Заглавие автор взял из известных строк Б. Брехта, предпосланных книге в качестве эпиграфа: «Трудности гор остались позади, перед нами — трудности равнин». Речь в ней идет о таких «трудностях равнин», как столкновение трудовой морали и частнособственнических тенденций, как сложное искусство руководства людьми.

Действие новой книги М. Рафая «Соленый снег» (1976) происходит в рабочем коллективе, в сугубо производственной обстановке. В то же время это и психологическая повесть, ибо внимание автора сосредоточено на человеческих характерах. Психологический ракурс задан уже тем, что повествование ведется от лица главного героя — начальника эксплуатации дорожного управления инженера Зборжила. Собственно, сюжет «Соленого снега» заключен в границы трех суток, в течение которых бригада под его руководством борется со снежными заносами на горных дорогах, с метелью и снегопадами, каких в этих местах не бывало лет сто. Автор поставил своих героев в обстоятельства исключительные, сродни фронтовым, которые явились для них испытанием не только на выносливость, но и на доброту.

Центральный конфликт повести — взаимоотношения Зборжила с рабочим коллективом. Прекрасный специалист, преданный делу, он требователен к подчиненным, но не умеет установить с ними добрые отношения, найти правильный тон, по-человечески

о них заботиться. И они отвечают ему глухой ненавистью. Но вот в крайней ситуации аврала происходит перелом: перед грозным самоуправством природы Зборжил осознает важность не только профессионального умения, но и дружеской поддержки, а рабочие, в свою очередь, начинают ему верить, когда видят, что он берет на себя все самое трудное и ответственное. Параллельно центральному конфликту идет напряженная психологическая конфронтация Зборжила со всякого рода формалистами — с директором Смолиным, инспектором Сланым и другими начальственными лицами. Менее удалось писателю раскрытие отношений героя с женщинами — отвернувшейся от него женой Эвой и молодой работницей Илоной, которая понимает его и тянется к нему, но чью любовь он отклоняет. При всем том М. Рафай сумел — а опыт литературы показывает, что это очень непросто,— увлекательно показать сферу производственных связей людей, передать пафос самоотверженного труда, дающего каждому члену коллектива ощущение полноты жизни.

Специфический подход к изображению человека на производстве присущ популярному чешскому прозаику В. Паралу, произведения которого часто экранизируются и инсценируются. В своих книгах («Ярмарка исполненных желаний», 1965; «Катапульта», 1967; «Молодой человек и белый кит», 1973, и других) Парал создает гротескный образ бездуховности, эмоционального автоматизма, бездумной погони за удовольствиями и развлечениями. Большинство его героев (сам он инженер-химик по профессии) — служащие крупного химического комбината в Северной Чехии, но в их поведении на работе автор подчеркивает формализм, автоматизм. Несомненно, Паралу удалось создать оригинальный тип гротескной прозы, берущей под обстрел недостатки, характерные для современной жизни. Он умело строит сюжет, диалог, находит броские приметы современного быта. Но вместе с тем в его книгах есть известная стереотипность приемов, ситуации, героев, что особенно ощущается в рамках крупной формы, в романе. Начиная с «Молодого человека и белого кита», который многие критики считают его лучшим романом, писатель пытается перейти к положительным образам, рассказать об увлеченности работой, об истинной любви. Но, как мне кажется, он пока еще не добился достаточно убедительного соединения гротеска и утверждающего начала.

Явно в «параловской» линии выступил молодой писатель И. Швейда, вместе с героями своего первого романа «Авария» (1975) пришедший в литературу, как и Парал, с гигантского химического комбината Северной Чехии и также обратившийся к критике негативных черт современного человека — представителя технической интеллигенции. Роман «Авария», принесший автору успех (один из рецензентов даже назвал его «чешским бестселлером»), поднимал большие и злободневные вопросы о жизненных идеалах молодого поколения, о понимании им счастья и успеха. К сожалению, два последующих, изданных за короткое время весьма объемных романа писателя («Две тысячи световых лет» и «Если бы я умер», оба — 1978) несут на себе следы спешки, «серийного производства», а отсюда и поверхностности, литературщины. Хочется надеяться, что эти книги останутся лишь «кризисным эпизодом» в творчестве талантливого писателя.

С. ШЕРЛАИМОВА
ПОНЯТЬ СОВРЕМЕННИКА

Вступление в период широкого строительства общества развитого социализма ознаменовалось в чехословацкой литературе повышенным интересом к первому послевоенному десятилетию — эпохе коренной ломки всего старого уклада. Временна́я дистанция позволяет сегодня более обстоятельно и объективно рассматривать сложную обстановку того важного исторического этапа, чем возможно было в произведениях, написанных по горячим следам событий. Вместе с тем прошлое это еще совсем недавнее, его черты отчетливо проступают и в сегодняшней действительности, его анализ принципиально важен для понимания поколения людей, находящихся ныне в поре зрелости.

Для современных романов о сороковых — пятидесятых годах, как мы видели уже на примере «Одиннадцатой заповеди» Я. Йоната и «Гнезда аиста» Я. Козака, характерно перенесение центра тяжести на морально-этическую проблематику, на анализ эволюции героев, в то время колебавшихся, принадлежавших к промежуточным социальным слоям, акцент на гуманистический смысл социалистических преобразований.

Стремление подойти к той сложной эпохе с разных точек зрения определило композицию романа Й. Кадлеца «Двойной свет» (1976). Действующие лица представлены здесь читателю дважды: в первый послевоенный период, когда шла острая борьба за политическую власть в стране, и десять лет спустя, когда выбор пути Чехословакией был сделан бесповоротно. Волей обстоятельств герой-рассказчик, начинающий журналист, постоянно сталкивается с неким Стандой Капланом, бывшим до Февраля видным функционером социал-демократической партии. Разгадка этого человеческого феномена и становится внутренним стержнем романа. Способный, энергичный, не лишенный личного обаяния, Станда Каплан превыше всего ставит личный успех и карьеру. Человек подобного типа мог далеко пойти во времена буржуазной республики, но в условиях социалистического общества он обречен на неминуемый провал. Автор, однако, не просто развенчивает Станду Каплана, но в какой-то мере и сожалеет о загубленных в нем человеческих ценностях. Такой подход весьма показателен для сегодняшней чехословацкой прозы.

Новые стороны в жизни сороковых — пятидесятых годов открывает роман К. Ми-

саржа «Окраина» (или же — «Периферия», 1977), который по праву следует отнести к наиболее значительным произведениям чешской прозы 70-х годов. Это книга об отрочестве и юности Франтишека — парня из многодетной пролетарской семьи, переселившейся накануне войны из захваченного немцами пограничья в небольшое местечко Уезд, на полпути между Прагой и промышленным Кладно. Семья ютится в жалких клетушках, на которые разделен приспособленный под жилье амбар.

Действие романа начинается вскоре после войны, когда отлично окончившего местную школу Франтишека направляют в пражскую гимназию. Он оказывается в совершенно чуждой и косной среде, презрительное отношение которой к ученику с окраины не может сломить даже февральский переворот. И тем не менее новое неодолимо, что воплощается в судьбе Франтишека, который успешно заканчивает гимназию, институт, становится инженером, полноправным членом социалистического общества.

В романе на материале прошлого поставлены остросовременные нравственные проблемы. Основная из них — проблема человеческого счастья, разного его понимания. С точки зрения «концепции счастья» герои Мисаржа противопоставлены друг другу: Франтишек и его приятель Ян Моравец, «тетя из Франции» и дядя — владелец бакалейной лавки на Градчанах.

Франтишек и Ян дружат, вместе учатся и вместе живут, после окончания института вместе едут в пограничье, помогают друг другу, даже одновременно влюбляются. И все же их резко разделяет не столько то, что Франтишек вырос в бедной рабочей семье, а Ян — в семье интеллигентной и обеспеченной, сколько разное понимание компонентов счастья. Ян не мыслит, например, существования без собственной квартиры в Праге, тогда как для Франтишека явно важнее интересная работа и уважение коллектива. Каждый из героев достиг того, к чему стремился, но если Франтишек удовлетворен и счастлив, то Ян с его потребленческой психологией обречен на неизбежные разочарования.

Писатель далек от упрощенного деления героев на положительных и отрицательных по социальному признаку. Всего в нескольких эпизодах он сумел, например, заклеймить иждивенчество мужа сестры Франтишека. Этот бывший солдат, рабочий, знавший с детства нужду и лишения, наотрез отказывается помогать родителям Франтишека строить новый дом, объясняя это тем, что достаточно натерпелся невзгод. А когда дом без его помощи все-таки был возведен, он со столь же непоколебимой уверенностью в своей правоте на него претендует.

Людям мелких страстей в романе противостоит такой колоритный образ, как «тетя из Франции». Это старая коммунистка, в свое время из-за безработицы уехавшая во Францию, а после войны со всей семьей вернувшаяся на родину. Невзирая на все выпавшие ей на долю беды, она живет ярко и полнокровно.

Своеобразна авторская манера повествования. Писатель словно бы непосредственно видит перед собой картины, эпизоды, людей, о которых рассказывает, и приглашает читателя вместе с ним все обсудить. Дополнительные оттенки изображаемому придают отступления в авторской речи, раскрывающие сегодняшний взгляд на прошлое: «Да, да, для человека наших дней «тетя из Франции» звучит весьма изысканно. Автомобили «пежо», «рено» и прочих всемирно известных марок, сладостная Франция, недоступный Запад... Подобных реминисценций «тетя из Франции» не вызывала отчасти потому, что тогда было другое время...» Особый колорит сообщает книге и свойственный автору насмешливый тон, который он не оставляет, даже когда говорит о самых любимых своих персонажах. Но насмешливость эта разная: о хороших людях автор пишет с усмешкой доброй — ведь смешные черты можно найти у каждого! В отношении же мещан, приспособленцев, карьеристов его ирония становится весьма язвительной. Сочетание критической стороны и доброжелательного юмора — такова очень современная по своему звучанию трезвооптимистическая тональность этого интересного романа.

По обращению к материалу первых послевоенных лет с «Окраиной» Мисаржа можно сопоставить роман молодого словацкого прозаика Л. Баллека «Помощник» (1977), который также принадлежит к заметным явлениям чехословацкой прозы 70-х годов. Действие его происходит сразу же после войны в небольшом городке (автор назвал его Паланк) на словацко-венгерской границе. Конфликт строится на противопоставлении двух психологических типов: мясника Штефана Речана и его помощника Волента Ланчарича. Участник Словацкого национального восстания, хотя никак особенно себя в нем не проявивший, Речан переезжает из горной части республики в благодатный южный край, надеясь обрести здесь спокойную и сытую жизнь. Вместе с мясной лавкой сбежавшего хортиста к Речану переходит и помощник бывшего хозяина. Вскоре в Паланк приезжают жена и молоденькая дочь Речана. На фоне послевоенного быта южнословацкого городка в романе обстоятельно раскрыта история взаимоотношений семьи Речана и Волента.

Речан в основе неплохой человек: скромный, добрый, работящий, но его непритязательность граничит с посредственностью, он пассивен и безволен. Прямая противоположность ему — напористый и предприимчивый Волент, который втягивает Речана в серию авантюр, приносящих много денег, а попутно отбивает у него жену, затем женится на его дочке и завладевает лавкой. Бросить все, уйти из Паланка оказывается единственной формой протеста, на которую способен Штефан Речан.

Роман Баллека привлек читателя точно выписанным колоритом весьма экзотического уголка на юге Словакии, где живут пред-

ставители разных национальностей, перекрещиваются разные культуры. Этнографические особенности, однако, не затемняют для автора социального смысла явлений. С большой наблюдательностью он показывает, например, как жена и дочь Речана вместе с местной манерой речи усваивают мещанские идеалы паланковской «знати». Но старому Паланку приходит конец. Если в первые послевоенные голодные годы мясная лавка давала ее не слишком честным владельцам неограниченную возможность обогащения, то позже все меняется. Речан был побежден в поединке с Ланчаричем, Волент же терпит полное поражение: лавку национализируют, а сам он, продолжая спекулировать, попадает в тюрьму.

Баллек использует «традиционные» приемы реалистического романа: сюжет развертывается в хронологической последовательности, рассказ о прошлом героев дается «от автора», подробно описывается обстановка, поступки героев и их мотивы, речевые характеристики четко индивидуализированы и т. д. Конфликт романа также имеет оттенок традиционности, но, перенесенный в новые исторические условия, он с тем большей наглядностью выявляет суть глубинных изменений в жизни и в людях.

Каждый из романов, о которых шла речь, дает свой особый социально-психологический срез действительности, но их объединяет стремление глубже понять образ мыслей и строй чувств нашего современника, проверить жизненной практикой разные идеалы, разные представления о счастье.

В поиске актуальных гуманистических ценностей, в исследовании личности современного человека настоятельно ощущается сегодня потребность соединить усилия писателей и критиков разных социалистических стран. С этой точки зрения заметно вырос за последние годы вклад в общее дело современной чешской и словацкой прозы, которая поднимает проблемы, выходящие по своему значению за рамки одной страны, и ставит целью решать их углубленно, во всеоружии художественного мастерства.

◆

НГУЕН НГИЕМ. ВЬЕТНАМ.
«Безумные притязания пекинских экспансионистов». Рисунок из газеты «Нян зан».

С. ИЛЬИНСКАЯ

ЯННИС РИЦОС. НЕУСТАННОЕ СТАНОВЛЕНИЕ

К семидесятилетию поэта

Яннис Рицос родился в 1909 году. Первого мая. Сейчас, когда мы знаем, как складывался за минувшие семьдесят лет его жизненный путь, в дате его рождения можно было бы усмотреть предзнаменование судьбы одного из выдающихся революционных поэтов XX века. Тогда же, семьдесят лет назад, у родных и близких Рицоса были все основания для других пророчеств. В средневековом городке Монемвасия на юге Пелопоннеса семья Рицоса принадлежала к кругу землевладельческой аристократии. Мальчика ожидало обеспеченное будущее, и склонность к музам, проявившаяся у него очень рано, не таила в себе угрозы бунта.

Упоение стихией моря, которое простиралось прямо под каменной террасой их дома, и стихией камня (за домом высился неприступный утес, на склоне которого и примостился весь городок) вошло в душевный мир Рицоса с самыми ранними жизненными впечатлениями. Потом проснулось ощущение истории, воплощенной в уцелевших древних колоннах, в средневековой крепости на макушке утеса, во множестве миниатюрных византийских церквей,— ощущение принимающего эстафету в нескончаемом духовном движении сквозь века. Оно не было умозрительным — живую плоть его составляли «народные песни, сказки бабушки», «пляска Каламатьянос и Цамикос», лица «худых черноусых крестьян в широких соломенных шляпах» — «лики под стать византийским святым в древних потрепанных нимбах». «Еще не зная, что такое пятнадцатисложник[1],— вспоминает сейчас Рицос,— я с легкостью сочинял пятнадцатисложные стихи...»

А потом нагрянули трагические испытания — разорение семьи, болезни, смерть брата, матери, отца («...после были больницы и морги и лестницы сумасшедших домов»). Сам Яннис Рицос семнадцатилетним юношей попадает в корпус для неимущих туберкулезного санатория «Сотирия». Здесь он проведет четыре года. Здесь ему станет близкой

...прекраснейшая поэзия в рабочих кепках
и комбинезонах в листовках
предместий
в забастовках каменщиков и митингах
сапожников
в молниях кос и топоров восставших
крестьян...* [2]

(«Чудовищный шедевр». Перевод А. Ревича)

И первые поэтические сборники Рицоса «Тракторы» (1934) и «Пирамиды» (1935) прозвучат как присяга на верность идеям справедливого общественного переустройства жизни.

В 1936 году выходит в свет поэма «Эпитафии» — этапное произведение и в творче-

В статье воспроизводятся рисунки Янниса Рицоса на камне.

[1] Традиционный размер народной греческой поэзии. *(Здесь и далее прим. автора статьи.)*

[2] Здесь и далее помеченные звездочкой стихи публикуются впервые.

стве Рицоса, и во всей современной греческой поэзии. В фольклорной форме плача матери над телом сына, погибшего при расстреле рабочей демонстрации, поэт передает народный характер борьбы, на которую поднималась трудовая Греция. Протест против строя, несущего людям только страдания, столь праведен, что мать занимает в рядах борцов осиротевшее место убитого сына. К народной поэтической традиции, к фольклорным размерам и фольклорной системе образности Рицос будет обращаться потом не раз в критические моменты греческой истории, как бы черпая в родной национальной поэзии силу и веру.

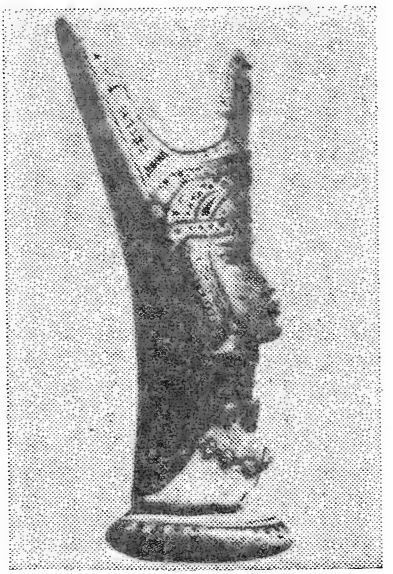
Поэма «Эпитафии» была написана по горячим следам подлинных событий. В мае 1936 года в Салониках, парализованных забастовкой, полиция открыла огонь по рабочим-демонстрантам. На следующий день на первой странице коммунистической газеты «Ризоспастис» была опубликована фотография матери, склонившейся над убитым сыном. А еще через несколько дней эта же газета опубликовала фрагменты поэмы Рицоса, которая сразу же вышла и отдельным изданием, причем невероятным по тем временам тиражом в 10 000 экземпляров. Когда через два месяца, в августе 1936 года, в Греции была установлена диктатура генерала Метаксаса, у колонн Зевса Олимпийского, где жгли крамольную литературу, в костер были брошены и последние, еще не распроданные 250 экземпляров поэмы Рицоса.

Я — зеркало, в котором народ видит свой облик без грима[1],—

писал Рицос в одном из ранних стихотворений «Эпилог», и этой творческой установке он оставался верен на всех крутых поворотах истории своего народа. Достоверное зеркало его поэзии отразило и величие национального Сопротивления в годы второй мировой войны, и те тяжелые испытания, которые выпали на долю греческих демократов в послевоенные годы. Этапы этих испытаний — концлагеря на островах Макронисос, Юра, Лерос — стали не только темами стихотворений и поэм Рицоса, но и вехами его биографии. Он сам был узником этих концлагерей. В последний раз — уже всемирно известным поэтом, автором более сорока книг.

Его арестовали в ночь на 21 апреля 1967 года, когда в Греции произошел военный переворот «черных полковников». За несколько часов до ареста друзья предупредили поэта и предложили ему бежать. Но Рицос вновь решил сполна испить чашу страданий, обрушившихся на его народ. Многие его стихи действительно «написаны под конвоем, под носом охранников, под ножом, приставленным к ребрам». Родившееся в таких испытаниях ощущение кровной связи с людьми, которые вошли в его жизнь и в его поэзию, дарит поэту редкое счастье быть необходимым, а его поэзии — прекрасное свойство звенеть, «как погожее

[1] Здесь и далее, где переводчик не указан, стихотворения цитируются в переводе автора статьи *(прим. ред.)*.



звездное небо над миром», или, пользуясь другой метафорой, «мазать небо на чувства, как во время завтрака масло на хлеб».

Вместе с Арагоном, Хикметом, Нерудой Рицос принадлежит к замечательной плеяде поэтов и борцов, художников разных стран и разных литературных традиций, которых объединяет общий трудный путь — «ответственность перед людьми» и «скромное служение многочисленному воинству, кое временами может заблуждаться, однако без устали движется вперед...»[1]. И хотя на этом пути неизбежны заблуждения, поражения, отступления, вера поэтов «в прогресс и историю» остается незыблемой. Она сопряжена с трезвым, беспощадным видением правды и смелой решимостью сказать ее без утайки и без прикрас, «без отсрочки правды», так, чтобы не было «большого расстояния между верой и правдой».

Мы не раз ощутим это, читая поэмы и циклы стихотворений Рицоса, написанные в период диктатуры, когда затянувшееся правление «черных полковников», казалось, не оставляло надежд на скорую перемену к лучшему. «Неуверенные решения», «Отречение от правды», «Бесцельная настойчивость», «Ловушки», «Обобщение недоверия», «Предосторожности» — уже сами по себе названия миниатюр Рицоса из цикла «Жесты» (1969—1970) вводят нас в тревожную атмосферу разобщенности, страха, безысходности, когда «слова, немые слова — наши единственные друзья», но и они падают «с таким звоном, точно они пустые».

[1] Из речи Пабло Неруды, произнесенной при вручении ему Нобелевской премии. См. сб.: Пабло Неруда. О поэзии и о жизни. М., «Художественная литература», 1974, стр. 201.

С. ИЛЬИНСКАЯ
ЯННИС РИЦОС. НЕУСТАННОЕ СТАНОВЛЕНИЕ

Когда все вокруг воспринимается как «чужое», когда человек теряет «свое лицо среди множества масок».

Миниатюры следующих циклов, которые как бы вырастают один из другого, внесут дополнительные, уточняющие штрихи в эти эскизы, покажут их более крупным планом. На улицах, по которым «когда-то шагали с развернутыми знаменами», мы увидим людей, «недвижных в своей спешке»: «всем некогда, все спешат уйти, убежать (откуда?), не опоздать (куда?)». Порой отчуждение кажется непреодолимой, навсегда разверзшейся пропастью. Одному из стихотворений цикла «Стена в зеркале» (1971) Рицос даст характерное название «Запись молчания» и закончит его скорбными вопросами:

...куда нам писать? Кто захотел бы
ответить? Кто
из уст в уста перенес бы слова
незапятнанными?

Однако были вопросы еще более скорбные, исполненные глубокого трагизма. Неужели долгие годы самоотверженной борьбы за лучшее, более справедливое завтра так и не принесут желанных плодов? Неужели пепел забвения покроет память о жертвах, о павших товарищах, о тех, кто сегодня, сейчас томится в застенке?

Одеяло сползает, горячка, бетон,
сырость. Влажные волосы,
надписи на стенах, нацарапанные ногтем,
имена, даты, наказы. И тот же,
тот же кошмар с фонарем в руке
выхватывает из мрака. Сегодня,
сегодня,
нет, на рассвете, завтра. Останется
кто-нибудь,
кто вспомнит о нас, когда заскрипит
засов
и огромная цепь потянется
в белую беспредельность,
где с краю все еще продолжает дымиться
наша последняя брошенная сигарета?

(«Пересыльная тюрьма в Пирее»)

Эти вопросы встают в разных ситуациях и ракурсах, и поиски ответа освещаются столь же многообразно, неоднозначно, в живой конкретности человеческих судеб. Сразу же за стихотворением «Пересыльная тюрьма в Пирее» следует стихотворение «После испытания» — рассказ о человеке, который покидает застенок сломленным, раздавленным, потерявшим самого себя: свое прошлое, свое имя. Таких персонажей, людей, растерянных и капитулировавших перед торжествующим насилием, мы встретим у Рицоса немало. Но встретим мы и тех, кто сохранил «тайную независимость», кто ощущает острую потребность возобновить, укрепить связи с героическим прошлым, потребность «надеть опять ту брошенную одежду»

с заплатами из кусочков флага на локтях,
на коленях,
с карманами, в которых крошки черного
хлеба и табака,
скомканный билет, оставшийся от поездки
на Саламин,
и, может быть, немного пороха*.

(«Круги». Перевод Е. Винокурова)

Они помнят, что «этот свет единственный высоко в горах вознесен погибшими». А «ты это помнишь?» — спросит Рицос читателя, призывая его осознать, что «спрятанные знамена» и «рубашки погибших», идеи социальной справедливости, вошедшие в сознание греческого народа в годы Сопротивления,— это те нравственные корни, на которых «держится дерево» современности.

Проследив за хронологией поэтических циклов Рицоса, нельзя не заметить, что в 1972 году малые формы временно отступают: назревает пора обобщения, час поэмы. Они рождаются на одном дыхании — поэмы «Колокольня» и «Грагада», синтез уже знакомых нам по миниатюрам наблюдений, раздумий, переживаний. Эскизы, сведенные в панораму. Мгновения, слитые в поток времени. Течение событий, выявляющее движение истории.

И «Колокольня», и «Грагада» представляются Рицосу произведениями, воссоздающими конкретный исторический момент — период диктатуры «черных полковников», и решительное стремление нации противостоять режиму социальной несправедливости и насилия. Недаром позднее в монументальной поэме-исповеди «Чудовищный шедевр» (1977), подводя итоги своего творческого пути, в числе собственных художественных достижений он выделит и героя «Колокольни» Гаргароса, и поэму «Грагада».

Характерный для манеры Рицоса свободный поэтический поток вовлекает в свое русло и достоверные реалии времени, и их фантастические проекции, призванные обострить, подхлестнуть эмоциональное восприятие и, следовательно, неприятие «безъязыких дней» диктатуры, задавленных террором, словно «распятых на тротуарах».

Так, в причудливом сочетании реального и фантастического сталкиваются, например, вызванный тягостными переживаниями гротескный образ безногого ночного кошмара и героические образы борцов, тех, «кто держали тогда голодовку, имея в ладони кусочек лимона». Они олицетворяют непокорную Грецию во всех трагических перипетиях ее новейшей истории — в периоды оккупации, гражданской войны 1946—1949 гг., диктатуры «черных полковников». Вкрапленные в картины современности воспоминания о предшествующих испытаниях: образы партизан, что «остались еще на высоких горах», героиня Сопротивления Электра Апостолу, погибший при разгоне демонстрации студент Сотирис Петропулас, другие «убитые братья» — создают ощущение неразрывной связи времен. И вновь на чашах весов истории — житейская суета («потому что надо заснуть, проснуться, пойти на работу, вернуться, родить кого-то»), чья-то готовность устроиться («что тут можно сказать? — устраиваются, устраиваются все — что поделаешь? — мы устраиваемся»), желание и боязнь произнести заветные слова «свобода или небо или грядущее» (ведь в борьбе за эти мечты, за эти «прекрасные сны грандиозные» «какие стволы сражены») и всепобеждающее убеждение, что «свет нельзя расстрелять», что «мертвые — это те, кто ждут воскресения», и все, «кто не умер еще», должны воскресить их.

«Безъязыкие дни» диктатуры неминуемо взрываются актами Сопротивления, вынашенным сознанием, что избавления от этой «жалкой жизни» нельзя добиться «ни мольбами», «ни затворничеством», что

нужен гвоздю молоток
нужен огромный крик сквозь крепко
сжатые зубы
грохочущая гора — вот что иметь пора
сбрасывая предателя с лестницы
в преисподнюю
закалывая убийцу сыщика палача
ростовщика доносчика прихлебателя
лизоблюда
близорукое сидиневмешивайся
глухоболтливое ясампосебе
слепое наднамибог...[1]

(«Колокольня»)

И хотя Гаргарос, фантастический герой поэмы «Колокольня», гибнет, его протест против тирании несмолкающим набатом зовет людей к действию, к борьбе. И кажется, будто к нему обращается один из персонажей следующей поэмы «Грагада»: «Я сказал убитым: вот здесь подождите, ничто не кончается...»

«Грагада» и в самом деле воспринимается как продолжение «Колокольни», продолжение нелегкого разговора о том, какими путями можно пойти в годину национального бедствия. Кто-то ищет забвения:

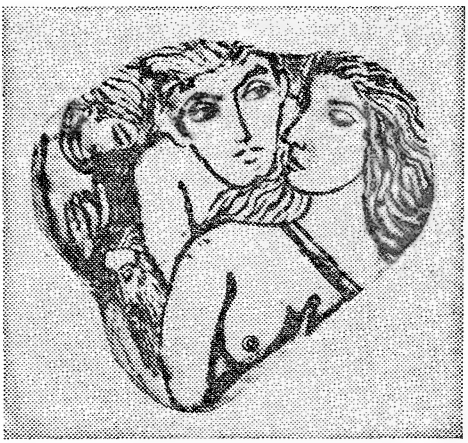
Мы учились тогда забывать.
Что поделаешь? Мы утешались.
К чему бесполезный гнев?
Время,— сказал один,— никогда
никого не щадит.

Кто-то другой не в силах забыть и все время слышит «в сердце своем отреченное слово, обреченное, в тюрьму заточенное, запретное слово». Кто-то третий помнит не только гневные слова протеста, объявленные теперь вне закона, но и «кошмарный поденный труд», который породил и гнев, и слова протеста, и осознанное стремление к справедливости. Забыть об этом —

значит забыть родную историю, забыть
свою мать, родных мертвецов
и нечто еще, что зовут справедливостью.
. . . . . .

Если же помнить об этом, то вслед за Вангелисом можно будет сказать: «Значит, жизнь — не обман»,

[1] Поэмы «Колокольня» и «Грагада» цитируются в переводе Юнны Мориц.



значит, есть, несомненно, не только
смерть, слово, дело, ох,— говорит,—
мы получим долю свою, наше право
слова и дела...*

(«Грагада»)

И снова выходят на улицы демонстранты с лозунгами «Хлеб, свобода, любовь». И снова звучат выстрелы. Но колонна не останавливается. Чаяния всех этих людей сливаются в символе — Грагада. В нем воплощены прекрасные идеалы социальной справедливости, за которые греческий народ доблестно сражался и в годы антифашистского Сопротивления, и в трудных битвах мирного времени. В нем — подтверждение давней присяги, вера в скорую победу.

В июле 1974 года военная диктатура пала. Торжествуя победу, стодвадцатитысячный афинский стадион восторженно приветствовал национального поэта Греции Янниса Рицоса и вместе с ним скандировал стихи из его поэмы «Греция» (1945—1947), в которой он увековечил память национального Сопротивления. Поэт и народ клялись, что и впредь

не согласны эти деревья сочетаться
с обрывком неба,
не согласны эти камни сочетаться
с чужими шагами,
эти лица согласны только сочетаться
с небесным солнцем,
эти судьбы согласны только сочетаться
со справедливостью.

(«Греция». Перевод Юнны Мориц)

1974 год — начало триумфа в жизни и литературной биографии Рицоса. Всенародная любовь и признание, переводы на многие языки мира, международные премии, провозглашение почетным доктором литературы в университетах у себя на родине и за рубежом... Широко известно творчество Рицоса и у нас. Немногие удостаивались такой славы, воздающей честь и творчеству, и личности поэта. «Слава за все возмещает и мстит»,— вспоминается строка одной из миниатюр Рицоса. Вероятно, и к этой славе он тоже был внутренне готов. Готов принять ее, но не подчиниться ей, остаться самим

собой в беззаветном подвижническом служении поэзии.

Первого мая 1977 года, в день своего рождения, Рицос узнал о присуждении ему международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами». А вскоре, летом 1977 года в Афинах вышел большой сборник его поэм «Становление», и завершался он только что написанной поэмой «Чудовищный шедевр» — своеобразной летописью жизненного и творческого пути, пройденного поэтом «рука об руку с Революцией».

При чтении поэмы возникают невольные ассоциации со «Всеобщей песнью» Пабло Неруды, произведением столь же глубоко национальным и столь же «всеобщим», органично воплотившим судьбу автора, народа, человечества. Мир прекрасный и противоречивый, который, по словам Рицоса, «намечается в шедевры», но заключает в себе и немало чудовищного. «Поэт так или иначе обязан быть летописцем. Но эта хроника не должна быть квинтэссенцией всего, она не должна быть чересчур очищенной, из нее не надо делать культа. Она должна быть насыщена камнями, пылью, дождями; она должна быть обыденной. На ней должен остаться след жалких, никчемных дней, равно как проклятий и воплей человека»[1],— это высказывание Пабло Неруды о его «Всеобщей песни» очень близко по духу «Чудовищному шедевру» Я. Рицоса.

Бурный поэтический поток «Чудовищного шедевра» совмещает самые разнородные явления — эпические полотна и случайные интимные детали, политическую хронику и штрихи будничного быта — «моментальные», «документальные» стоп-кадры, выхваченные из самых разных сфер жизни, запечатлевающие и массу внешних примет ее меняющегося облика, и множество явных и скрытых душевных движений современников.

Если до Рицоса «оберточная бумага с налипшей солью и жиром сардин в эстетику еще не просилась», то с его пера в греческую поэзию вошла во всем своем многообразии и правдивости героика и проза жизни:

...понимаешь ли стал я потом страшиться
этих ритмических пут
ибо мне нужна свобода передвиженья
чтобы присутствовать всюду
ощущать повороты истории и на кухне
менять холодильники и столы

(«Чудовищный шедевр». Перевод А. Ревича)

Запечатлевая великие и малые коллизии человеческого бытия в XX веке, стремясь объять необъятное, Рицос неизменно внимателен к тончайшим нюансам:

...предпочитал я простые вещи и безмолвные жесты...

Потребность рассказать о «вещах совсем неприметных», «не нуждающихся в посреднике между собой и кем-то другим», поэт испытал уже на самой ранней стадии творческого пути — он писал об этом в «Заметках на полях времени» (1939—1941). Явно самоустраняясь, он выводит читателя на прямой контакт с повседневностью, которую тот ежедневно видит вокруг себя. Но теперь застывшее мгновенье предстает как бы под увеличительным стеклом микроскопа, доступное скрупулезному анализу, который доведет до конца сам читатель. Он опознает реалии своего времени, и многие из них впервые откроются ему в истинном свете. Он задумается над глубинной причиной своих же собственных реакций, жестов, поступков. Вникая в подлинную сущность событий, он осмыслит, уяснит для себя свою позицию, свою роль.

Овладение истиной посредством искусства, помогающего человеку достичь внутреннего равновесия и вынести превратности жизни,— краеугольный камень творческой концепции Рицоса. На него опираются и его философские поэмы из цикла «Четвертое измерение» (действие этих поэм по существу сводится к движению мысли, которая подвергается последовательным испытаниям «сомнением»), и циклы миниатюр двух последних десятилетий. В авторских заметках к циклу «У входа» Рицос сам поясняет, что знание, как катарсис, помогает превозмочь боль, найти силы для нового решения, для «нового начала, нового действия». Оно вселяет уверенность в том, что пережитое и сделанное «можно повторить», и «повторить лучше».

Так и Рицос — он непрерывно продолжает, расширяя и углубляя освоенное, осознанное. Стремясь не только к отражению, но и постижению — глубокому, всеобъемлющему: «Видеть внутри и снаружи и свой глаз наблюдающий». Движимый заботой о завтрашнем дне, о потомках, об исторических уроках, которые дает человечеству торжество истины — даже если оно наступает уже после смерти тех, кто за нее боролся:

неважно, если придет оно поздно и ты
признания не увидишь, оно останется
светом, надеждой, печатью великой
судьбы,

[1] Из речи, произнесенной в Сантьяго в 1964 г.

утешением, справедливостью и свободой,
опорой далекого нашего брата,
который когда-то придет...

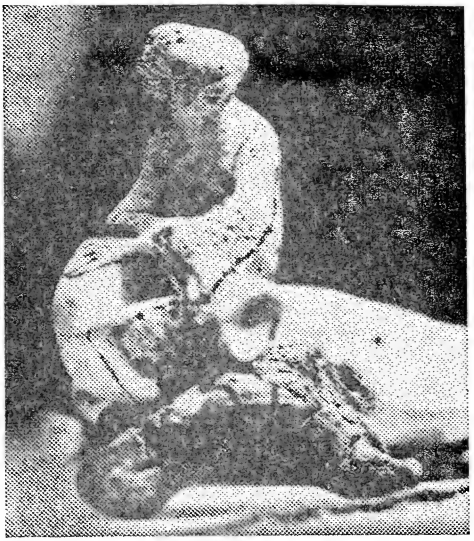
(«Тиресий»)

Искусство — это «соль на каравае жизни, на каравае мира». Оно призвано изживать пороки, залечивать раны, оздоровлять и возвышать жизнь. Оно призвано содействовать нравственному обогащению общества. Такое искусство нетленно:

И статуи открывают глаза, и смотрят,
и восхищаются
теми, кто их сотворил и скрылся
в беспредельности белой...

(«Тиресий»)

Поэзия Рицоса — неустанное Становление. Недаром он сам дал это название книге новых поэм. Думается, что оно очень точно определяет все его творчество. В мудрой совокупности крупных и малых форм, как бы дополняющих друг друга (афористически лаконичные миниатюры обеспечивают «незамедлительный отклик», фиксируют непрерывный поток характерных «мгновенных» стоп-кадров и подготавливают почву для новых масштабных синтетических композиций), в соседстве произведений философского склада и усложненной поэтической структуры с произведениями непосредственно политической и социальной направленности (написанные по срочному заказу времени, они составляют большой цикл стихотворений и поэм «На злобу дня») тем более явственно проявляется и размах дарования Рицоса, и процесс Становления его творчества, а через его призму — Становление современной Греции.



«Я — частица моего народа,— сказал Яннис Рицос в интервью корреспонденту советского телевидения в связи с присуждением ему международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами»,— и, возможно, это дает мне право принять ту великую честь, которая мне оказана. Я знаю: если я в какой-то мере ее заслуживаю, то только потому, что стремился, насколько это было в моих силах, воплотить в своем творчестве борьбу моего народа».

◆

Интервью

ВИСЕНТЕ АЛЕЙСАНДРЕ: «БЫТЬ СОПРИЧАСТНЫМ ВСЕМУ СУЩЕМУ»

В 1977 году Нобелевская премия в области литературы была присуждена — довольно неожиданно для многих — одному из старейших испанских поэтов Висенте Алейсандре (род. в 1898 г.): представитель блестящего литературного «поколения 1927 года», он давно уже пользуется на родине заслуженной славой, но гораздо менее известен за пределами Испании. Публикуемая в этом номере небольшая подборка наиболее известных его стихотворений[1], фрагменты из интервью, напечатанных в испанском еженедельнике «Триунфо», газете «Информасьонес» и журнале «Эстафета литерариа», а также отрывки из прозаических произведений Висенте Алейсандре помогут первому знакомству советского читателя со своеобразным обликом поэта, со сложным и долгим путем его творческих исканий.

Следует подчеркнуть, что в многочисленных материалах, посвященных нобелевскому лауреату, прогрессивная испанская пресса особо выделяла тот факт, что поэт находился среди тех, кто своим творчеством вносил вклад в демократическое будущее Испании.

■

Висенте, нас, что родились
поэтами средь всех людей,
поэтами сделала жизнь
рядом со всеми людьми.

(Мигель Эрнандес. «Ветер народа», 1937)

— Я родился в Севилье, но вырос в Малаге. Мои воспоминания о Севилье поэтому относятся к более позднему времени, а самые ранние связаны с Малагой. Там, едва начав осознавать себя, я получил первые представления о солнечном свете, о море. Там я научился читать, а это ведь — словно второе рождение. Там, ребенком, я окунулся в мир. И первый друг детства появился у меня в Малаге: как ни удивительно, это был Эмилио Прадос, который позднее так же, как и я, примкнул к группе поэтов «поколения 27 года». Но в ту далекую пору нам обоим было по четыре года.

Малагу я покинул в раннем возрасте, но город, средиземноморский берег, южное небо, пена морского прибоя — словом, то, что составляет неизъяснимое очарование Малаги,— навсегда вошли в меня, предопределив мою поэтическую судьбу. Малага, город-рай, ее картины, ее солнечный свет и ее люди стали плотью моей книги «Тень рая» (1944), без них этого сборника не было бы.

— Вы упомянули Эмилио Прадоса. Кого еще из «поколения 27 года» вы знали?

— Подростком я познакомился с Дáмасо Алонсо, и с того времени он один из самых близких моих друзей. Нам было по восемнадцать, когда мы повстречались в небольшом горном селении Навас дель Маркес. Как-то Дáмасо Алонсо дал мне книгу стихов Рубена Дарио. Чтение его лирики, по-настоящему оригинальной, совершило подлинный переворот в моей душе. Я погрузился в поэзию: она явилась для меня откровением, во мне на всю жизнь поселилась великая страсть, которую ничто уже не могло погасить.

«К чтению я пристрастился довольно рано. Но, как у многих тогдашних подростков, мое знакомство с поэзией не шло дальше «примеров»

[1] См. стр. 129

из бездарного школьного курса риторики... Я убегал с уроков в Национальную библиотеку, но никакая сила не заставила бы меня попросить там книгу стихов. В четырнадцать-шестнадцать лет я запоем читал романы и пьесы, хорошо знал нашу классику, но больше всего меня увлекал театр XVII столетия. Помню, однако, что в пьесах я не читал стихов, даже досадовал, встречая их. Меня захватывало действие, перипетии человеческих судеб, а не язык. Памятуя о злосчастной риторике, я попросту опускал, например, сонеты-монологи, перескакивая через них по-мальчишески проворно и бездумно.

В восемнадцать лет я был юношей начитанным, до самозабвения влюбленным в литературу, в мир ее фантазий и страстей и в то же время — полнейшим невеждой в поэзии. Она предстала предо мной нежданно, во всей своей девственной чистоте, и завладела моей душой, в известной степени уже искушенной в красотах литературы, но не знакомой еще с внезапным и всеохватывающим поэтическим озарением...

Я подчинился таинственному и могучему зову поэзии. Свои стихи, свидетельства болезненного — из-за вечной неудовлетворенности — вдохновения, я прятал. В отличие от других начинающих поэтов, я никому их не показывал. Дело тут было не в скромности: юный стихотворец, вложивший в неумелые короткие строфы все лучшее, что было в душе, я отчаянно боялся уничтожающего приговора, который мог произнести о них знаток...

Поэтическое призвание я окончательно осознал в пору, когда меня настигла долгая и тяжелая болезнь, изменившая всю мою жизнь. Мне было тогда чуть больше двадцати. Вынужденный уход со службы, деревенское одиночество, часы и месяцы, обернувшиеся годами... Из них сложилась новая жизнь, иной путь стал невозможен. Тогда-то и решилась моя судьба: я написал первую книгу — «Мир вокруг» (1928), ее опубликовали...» (Из предисловия ко второму изданию книги «Разрушение или Любовь») [1].

— А с Рафаэлем Альберти мы жили по соседству в Мадриде. Еще юношами мы знали друг друга в лицо — ежедневно ездили на занятия на одном и том же трамвае. Я познакомился с Альберти, когда он был художником, а не поэтом [2], и позднее, в книге «Встречи» (1958) набросал его литературный портрет под названием «Рафаэль Альберти, художник» — ведь именно так мне представили Альберти на его первой выставке в мадридском клубе «Атенео» в 1922 году.

«В то время он считал себя кубистом и писал какие-то геометрические полотна, которые его фантазия расцвечивала флагами, весело реявшими над морем. Вот эти трепетавшие на ветру полотна он и развесил на стенах «Атенео». Тогда Рафаэль Альберти впервые завоевал известность у публики.

Миновало лето, потом другое. Где же Рафаэль Альберти, что с ним сталось? Живописец исчез. И слава богу! Потому что миру открылось совсем иное его лицо. Болезнь Рафаэля, его поездка в горы под Кордову — он вернулся в Мадрид неузнаваемым. «— Ты рисовал? — Нет.— А чем же ты занимался? — Писал стихи!» Так рождался поэт. «— А как же живопись? — Отвяжись ты со своей живописью!» Он бросил рисовать. Разве что оставит в конце письма какой-нибудь изящный набросок. Его рука выводила теперь стихи.

Прошло еще лет пятнадцать. Кисть художника засохла и сломалась, но в тонких пальцах Рафаэля было так похожее на нее перо, рисовавшее удивительными чернилами. То были яркие, радужные чернила, цвета моря и цвета земли, зеленые чернила — полей, красные — крови, фиолетовые — цвета гнева, черные — смерти...

Представший перед миром поэт так отточил свое перо-кисть, что временами оно кажется острием ножа. Посмотрите, как он рисует в стихах речной поток, берег моря, тончайший, трепетный пестик цветка.

А живопись — другая, настоящая живопись настоящего художника? Она дремала точно спящая красавица, только не в зачарованном лесу. Пробудилась она внезапно, по другую сторону океана — в Латинской Америке, где Альберти жил в эмиграции. В один прекрасный день я услышал: «Рафаэль Альберти вернулся к живописи!» (Иначе и быть не могло!) «Рафаэль Альберти воспел живопись в своих стихах!» Двадцатилетний Рафаэль, каким он некогда приехал в Мадрид, снова улыбался, вглядываясь в море. и видел другого, повзрослевшего Рафаэля...» (Из сборника «Встречи») [1].

— После знакомства с Альберти малопомалу я подружился и с остальными поэ-

[1] V. Aleixandre. Obras completas. Madrid, Aguilar, 1968, p. 1440—1442.

Все цитаты из прозаических произведений поэта даны по этому же изданию. *(Здесь и далее — прим. перев.).*

[2] Подробнее об этом см. интервью Р. Альберти и подборку его стихов из книги «К живописи» («ИЛ» № 2, 1977).

[1] Obras completas, p. 1217—1218.

тами «поколения 27 года»: Херардо Диего преподавал в Хихоне, Хорхе Гильен дожидался места профессора в Мурсии, Педро Салинас уже работал в университете в Севилье... С Федерико Гарсиа Лоркой я встретился в день премьеры его драмы «Мариана Пинеда» — не забылась даже дата: 12 октября 1926 года нас представил друг другу, прямо на сцене, Рафаэль Альберти, который привел меня в театр...

«Федерико многие сравнивали с ребенком, я бы сравнил его и с ангелом, и с водой, и с утесом. В самые высокие мгновения он бывал неистовым, громкоголосым, завораживающим, точно сельва. Каждый видел его по-своему. Для тех, кто любил Федерико и знал его близко, он был одним и тем же — и все-таки переменчивым, как сама природа...

Наедине с собой я люблю вызывать в памяти мало кому знакомый его образ: Федерико, полного благородной печали, одинокого и пылкого, который был едва различим в головокружительной, отмеченной славой жизни поэта... Поздней ночью в прогулках по городу, в таверне, рядом с другом, посреди людских теней, Федерико, бывало, точно откуда-то издалека вдруг возвращался к суровой реальности видимой земли и ощутимой боли... Его сердце, способное вместить всю радость вселенной, не было радостным. Те, что видели его летящим по жизни подобно беспечной, пестрокрылой птице, ничего не знали о нем, о редком даре его сердца — даре любви и страдания. Он много любил, в чем люди поверхностные ему отказывали. И много страдал любя, о чем, быть может, не догадывался никто» (Из сборника «Встречи»)[1].

— Все мы, причисляющие себя к «поколению 27 года» (живые и те, кого уже нет), оставались друзьями — и пока были вместе, и когда судьба разлучила нас. Ни войны, ни изгнания, ни суровые испытания не смогли разбить нашу поэтическую группу, она была и продолжает быть прежде всего и несмотря ни на что группой единомышленников.

— Вашим другом был также Мигель Эрнандес?

— Мигель Эрнандес был тесно связан с нашей группой, хотя по возрасту скорее приближался к последующему поколению,— он родился в 1910 году, тогда как, например, самый младший среди нас — Мануэль Альтолагирре — в 1905-м. Альтолагирре, которого я не упомянул ранее, был одним из самых дорогих мне друзей.

С Мигелем Эрнандесом я познакомился вскоре после того, как выпустил в свет свою книгу «Разрушение или Любовь» (1935). Он работал в издательстве «Эспаса-Кальпе» в числе тех, кто готовил «Энциклопедию корриды». Моя книга вышла из печати, и в один прекрасный день я получил письмо, где говорилось: «Я видел Вашу книгу, но не смог ее приобрести. Был бы Вам очень признателен, если бы Вы мне подарили или помогли достать экземпляр». И подпись (это я хорошо помню): «Мигель Эрнандес, пастух из Ориуэлы». Я ответил — он пришел ко мне, и я вручил ему томик «Разрушения»... Началась глубокая, поистине братская дружба, которая оборвалась только со смертью поэта...

«Мне часто вспоминается одна фотография Мигеля времен гражданской войны[1]. Грубые башмаки, старые, видавшие виды брюки, рубашка цвета хаки, кожаная куртка, голова непокрыта. Мигель ехал в Мадрид, спешил навстречу своей судьбе. Стоя посреди дороги, он поджидал попутную машину. Показался грузовик с бойцами-республиканцами. Мигель поднял руку — машина затормозила. «Садись, друг». Прыжок — и Мигель тотчас затерялся среди бойцов: он и на самом деле был одним из них.

Когда Мигель читал друзьям свои стихи, его голос звенел. И первое, что приходило на ум в такие моменты,— сравнение с рекой. Журчащей и рокочущей речкой его родного Леванта. Голос Мигеля не бывал глухим, в самые драматические мгновенья он мощно рокотал. Начинал Эрнандес спокойно, глядя куда-то вдаль, поверх слушателей, а потом, разгорячась, весь подавался вперед (как ни у кого, у Мигеля поэзия была диалогом), обращая свой стих к каждому лично: к Хуану, Роке, Мануэлю... То же повторялось, если слушателей было много. Он говорил «друзья» или «братья», а обращался к каждому в отдельности, и каждый ощущал, что это на него поэт смотрит и с ним говорит, я сказал бы даже — с ним шагает и живет рядом, вовлекая его в долгое общение, которое началось много раньше и не завершится даже тогда, когда поэт умолкнет...

Я слышал многих поэтов, читавших свои стихи, но редко кто вызывал во мне такое же полное ощущение человека, сумевшего выразить себя в действии, рвущемся из обнаженной гортани» (Из сборника «Новые встречи»)[2].

— Не один Мигель Эрнандес — и другие мои близкие друзья погибли трагически. Федерико Гарсиа Лорка, Мануэль Альтолагирре, Мигель Эрнандес... Все трое исчезли внезапно. Я вдруг оказался один, большинство близких знакомых уехало из Испании, лишь немногие продолжали жить в своей стране. Я остался, потому что в 1937 году

[1] Obras completas, p. 1207—1209.

[1] Имеется в виду национально-революционная война испанского народа против фашизма (1936—1939).

[2] Obras completas, p. 1400—1401.

вновь обострилась моя болезнь, она надолго приковала меня к постели. Когда война кончилась, я все еще был очень плох. Я не раскаиваюсь в том, что остался в Испании: ведь я мог день за днем быть рядом с моим народом.

Шведская Академия, удостоившая меня Нобелевской премии, в своем сообщении не упомянула о «поколении 27 года», но я не могу не вспомнить всех своих товарищей... Всех до единого... «Поколению 27 года» были свойственны товарищеская сплоченность всех и творческая независимость каждого. Мы работали плечом к плечу, но каждый слушался собственного голоса, создавая собственные произведения. Премия присуждена лично мне, но я обязан разделить ее со всем «поколением 27 года».

— Раннему вашему творчеству присущи созерцательность парнасского толка и пантеистическое мироощущение, в дальнейшем вы все больше обращались к человеку и его проблемам, не так ли?

— В самом деле, моя первая книга «Мир вокруг» создавалась в атмосфере так называемой «чистой» поэзии. Вскоре я почувствовал необходимость покончить с этим «выращиванием прозрачных кристаллов», к которому неизбежно приходило такого рода поэтическое творчество. В сборнике «Страсть земная» (1935) я отправился на поиски поэзии, которая, подобно удару ножом, вонзалась бы в кровоточащую человеческую сущность. Я погрузился в бессознательное, в иррациональные ассоциации, в недра пульсирующей жизни. Так, во всяком случае, мне казалось. Из этих потемок, где все утопает в непроглядной мгле, началось медленное восхождение моей поэзии к свету.

Сюрреализм остался для меня лишь этапом, хотя в какой-то степени иррационализм — в широком, разумеется, смысле слова — пронизывает всю мою лирику. Но я никогда не был, даже в первом приближении, поэтом-сюрреалистом, поскольку не верил в догматическую основу этой школы: в автоматическое письмо, в последовательное устранение сознания художника.

— Все ваши толкователи сходятся на том, что в черные годы после гражданской войны вы служили (в первую очередь своей книгой «Тень рая») вдохновляющим примером для новых поколений поэтов, которые готовились противостоять франкизму. Что побуждало вас к творчеству в ту пору и каковы ваши поэтические принципы сегодня?

— Мне думается, я всегда стремился в своей лирике быть сопричастным всему сущему. В «первый период» (так обычно делят мой творческий путь) — от «Мира вокруг» до «Последнего рождения» (1953) — поэт созерцает Мироздание и выражает свою к нему причастность, человек же предстает лишь как частица Вселенной. Позднее природа, космос становятся фоном, уступив место главному герою — Человеку. Если на первом этапе человек тяготел к слиянию с природой, то на втором он стремится к единению с обществом людей. Эта человеческая общность и есть, как мне представляется, центральная тема стихов «второго периода». Однако для меня всегда миром правил принцип слиянности, а в основе единства материи лежала любовь.

Главной книгой «второго периода» я считаю «Историю сердца» (1954), поскольку этот сборник, как никакой другой, зовет к единению с другими людьми и отражает человеческое бытие в его самом непосредственном виде, а также историческую сущность человека.

— Сопричастность, о которой вы говорите, стала еще более насущной после окончания гражданской войны и тогда же по-новому зазвучала в вашем творчестве, в частности в книге «Именные портреты» (1965). Означает ли это, что ваша поэзия лишилась прежнего «парнасского бесстрастия» и приобрела черты ангажированности? Была ли эта книга своего рода итогом вашей поэтической эволюции и результатом становления новой гражданской позиции?

— Вы правы, среди моих книг «Именные портреты» ближе всего к ангажированной поэзии, тема сопричастности здесь получает самое конкретное воплощение: я писал об отдельных людях, наделенных своими именами, людях разного общественного положения, которые вместе и составляют человеческое общество. Среди них — известные, именитые, прославившиеся своими творениями и своими деяниями, и простые, неприметные; однако и те и другие обладают высочайшим даром — собственной человеческой сущностью. Если в стихах я заговорил о гражданском участии — точнее сказать, о «свидетельствовании»,— то сделал это, следуя естественному, внутреннему развитию моей поэзии. Это не значит, разумеется, что поэт не должен быть созвучен своей эпохе,— поэзию всегда питает жизнь, поэт погружен в определенные обстоятельства и действует внутри них в соответствии со своими убеждениями и чувствами...

> «Если бы мне пришлось определять сущность поэта, я бы назвал его исследователем, исследователем действительности. Мы ничего не сочиняем, но открываем, связываем, сообщаем. Ни один поэт не существует сам по себе, все наделены — на свой особый лад — всеобщим голосом. Тот, кто им не обладает, не может считаться коммуникативным поэтом, то есть поэтом вообще. Где один из нас остановился, там продвинется другой. И где один кончит, следующий начнет. Так мы,

живя и творя, служим людям» (Из сборника «Новые встречи») [1].

— Среди разных поводов для вдохновения, возможных в поэзии, я считаю необходимыми и важными политические мотивы. Политика дала миру великую поэзию. Я думаю, поэт может вдохновляться политическим идеалом — был бы хорош результат.

— В последние годы вы обратились к лирике, которая весьма напоминает вашу раннюю поэзию, но одновременно предстает и как некое ее завершение.

— Это не возврат к раннему творчеству. Я стремился взглянуть на себя с позиции того мироощущения, к которому пришел, повинуясь велению самой жизни. Оказавшись один на один с заключительной порой жизни — старостью, я сделал ее темой своих стихов. О старости я писал из жизненной потребности высказать то, что ощущал, стоя на краю конечной бездны, за которой — уничтожение. Лишь в молодости человек живет, а состариться — значит стать тенью. Вот эту истину, в которой заключена даруемая жизнью мудрость, я и хотел воплотить. А поскольку исход тут может быть лишь один, моя песнь получилась трагической. Я имею в виду книгу «Завершающие стихи» (1968). Старость — это вечный антипод молодости, однако я, вопреки собственной старости, воспел молодость как единственную в мире реальность.

Моя последняя книга «Диалоги знакомства» (1974) — стихи в форме диалога, точнее, как бы перекрещивающиеся монологи: я стремился к тому, чтобы диалог не оставался в ней на поверхности, а нашел отклик в душе читателя. Ведь поэзия — это средство общения между людьми, между автором и читателем. Писать для себя, не думая о читателе, невозможно. Поэт ощущает себя причастным ко всем остальным людям, поскольку он — человек, живущий в обществе, и эту свою причастность он выражает посредством поэзии.

«Поэт — прежде всего человек. Попытки отделить поэта от человека всегда проваливались, потому что в конечном счете о поэте, наверное, и нечего сказать со всей определенностью, кроме как что он человек, который помимо того еще и поэт. Потому-то мы постоянно ощущаем и не можем не ощущать сквозь поэтические строки живую плоть человека. В них мы ищем, иногда сами того не ведая, человеческий пульс, который создал эти строки. В этом и заключен секрет поэзии. задача же ее, как я все более убеждаюсь, состоит не столько в том, чтобы нести людям красоту, сколько в глубоком и постоянном общении с их душами» (Из речи, произнесенной при вступлении в Испанскую Королевскую академию в 1949 г.) [1].

— И еще: на мой взгляд, поэзия, вероятно,— самый верный и надежный путь, ведущий человека к постижению жизни.

[1] Obras completas, p. 1320.

Перевод с испанского и составление Т. КОРОБКИНОЙ

[1] Obras completas, p. 1350.

УИЛЬЯМ ДЖЕЙ СМИТ: «Я — ЗА БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ОРИГИНАЛУ...»

Редакцию посетил один из видных американских поэтов Уильям Джей Смит. В Советском Союзе он не в первый раз, не в первый раз и в редакции нашего журнала [1]. Поэзия Смита знакома советским читателям [2], его знаменитое стихотворение «Поезд» запомнилось многим. Немало сил отдает Смит искусству поэтического перевода, он — один из директоров Центра художественного перевода Колумбийского университета. Собственная его переводческая деятельность охватывает современных поэтов разных стран — здесь и Федерико Гарсиа Лорка, и Эудженио Монтале, и Поль Валери, и многие, многие другие. Поэтому не случайно одной из тем беседы стали проблемы художественного перевода.

Прежде всего мы попросили нашего гостя поделиться «свежими» московскими впечатлениями, а также рассказать о новостях литературно-переводческой жизни в США.

— Со времени моего прошлого визита Москва очень изменилась. и я с интересом вглядывался в новый облик «старой знакомой». Большую радость доставили мне встречи с теми, кто раньше принимал меня здесь или бывал в США; полезными оказались и вновь завязавшиеся знакомства. Очень приятно было читать стихи в Московском университете; студенты слушали сосредоточенно, и я ощущал, как возникал живой контакт с аудиторией. Я вижу, что

[1] Материалы о встрече с поэтом были опубликованы в «ИЛ» № 6, 1971 г.

[2] Стихи У. Дж. Смита представлены в «ИЛ» № 1, 1971 г.; в антологии «Современная американская поэзия», М. 1975; в «Литературной газете» за 4 октября 1978 г.

интерес к американской литературе у вас растет.

Мне обещали подарить вышедшую у вас сравнительно недавно антологию «Современная американская поэзия», которая составлена А. Зверевым и И. Левидовой. И я надеюсь, правда с некоторой помощью, разобраться в ней. О качестве переводов я, к сожалению, могу судить только со слов моих друзей, но меня порадовала представительность антологии в целом. Как ни странно, случается, что антологии, издаваемые за рубежом, бывают гораздо более объективными по отбору, чем те, что издаются у себя на родине. Американские и английские антологии, как правило, грешат односторонностью, субъективностью выбора — во многих случаях поэты, связанные с университетами, зачисляются в ряды сторонников «академизма», считаются скучными: между тем большинство из них можно назвать не «университетскими», а «универсальными» поэтами. В антологию, изданную у вас, вошли поэты самых разных направлений — в этом ее бесспорное достоинство.

Кстати, помощь в создании антологий является одной из форм деятельности нашего Центра художественного перевода. Хочу привести такой пример. Как вы знаете, венгерский язык труден для изучения, и владеют им редкие специалисты. Когда в Венгрии захотели издать антологию современной американской поэзии, Министерство культуры Венгрии пригласило к себе некоторых американских поэтов в помощь переводчикам; в результате была издана книга, получившая признание у читателей и критиков. В свою очередь наш Центр решил частично субсидировать издание венгерской антологии на английском языке. До этого момента венгры были носителями всей «суммы информации» и сами переводили свою поэзию на английский — работа эта была добротная, квалифицированная, но все-таки поэтические достоинства переводов не всегда были достаточно высоки. И вот переводчики и поэты из Венгрии приехали к нам, в США, где рука об руку с американскими поэтами трудились над переводами. Им удалось создать очень интересную книгу, благодаря которой американский читатель узнал венгерскую поэзию во всей ее полноте. Я думаю, такой способ работы очень продуктивен, и мы с удовольствием так работали бы и с советскими коллегами. Тем более что мне говорили о готовящейся в настоящее время у вас фундаментальной антологии «Три века американской поэзии».

Метод работы «рука об руку» с автором или филологом-специалистом позволяет самому У. Дж. Смиту переводить на английский с языков, которыми он сам не владеет, многие стихи современных поэтов разных стран — Андрея Вознесенского и Корнея Чуковского, Артура Лундквиста и Дюлы Ийеша. Незнание языка компенсировалось максимально ответственным отношением к оригиналу, подробным выяснением всех особенностей подлинника — образного строя, формальных характеристик. Следует отметить, что Смит хорошо знает несколько языков, поэтому, скажем, при переводе Ларбо или Лафорга ему, естественно, не требовалось посторонней помощи. Творческий метод американского поэта оказался на удивление близким русской школе перевода — он один из немногих американских поэтов-переводчиков, для которого важно и обязательно передать по возможности все особенности оригинала. В этой связи мы и задаем наш следующий вопрос:

> **— Господин Смит, хотелось бы услышать ваше мнение об основных принципах, на которых, как вам кажется, должна основываться переводческая деятельность.**

— В США, особенно среди молодых поэтов, распространена точка зрения, согласно которой совершенно не обязательно принимать во внимание стиховую систему оригинала — ритм, рифмы, аллитерации и т. д. Лично мне такой способ работы кажется «безответственным», насилием над стихами. Конечно, в первую очередь надо передать смысл того, что заключено в подлиннике, но верное представление о переводимом поэте можно дать, только сохраняя форму. Я — за бережное отношение к оригиналу и думаю, что те, кто привержен к «неформальному» методу, просто-напросто ленятся, не хотят поработать как следует, с полной самоотдачей. Разумеется, некоторые формальные особенности присущи и природе самого языка, на котором написано стихотворение, и поэтому переводчику часто приходится полагаться на интуицию — решать, какие детали необходимо сохранить во что бы то ни стало, а какими можно пренебречь. Но есть требования достаточно жесткие. Недавно один молодой американский поэт перевел баллады Франсуа Вийона свободным стихом. Такая работа никак не может стать «классической», она будет существовать лишь как эксперимент. Вийон неотделим от своей эпохи, и форма его стихов — балладное строение с рефреном — неотделима от всей его поэзии в целом. При переводе свободным стихом полностью утрачивается «культурно-историческая» характеристика, и с таким подходом я никак не могу согласиться. Тем более что и на английском языке были созданы переводы Вийона с сохранением балладной формы — назову хотя бы работу Роберта Фицджеральда.

Переводческая школа во многом определяется также национальной традицией. Для русского переводчика внимание к стиховым особенностям оригинала обязательно. Главное требование — написать живые русские стихи на основе оригинала, причем стремясь сделать это не в ущерб верности смыслу и передачи формальных особенностей стиха. Вряд ли кому-нибудь в наше время придет в голову перевести сонет Шекспира верлибром, а стихи Уитмена — рифмованными строфами. В то же время во Франции, скажем, существует традиция

переводить любую поэтическую форму свободным стихом. В последнее время, правда, эту традицию пытаются разрушить, но не всегда удается одержать победу над старыми вкусами. Например, в 60-х годах два французских переводчика Ж. Фюзье и Р. Дени перевели стихи Джона Донна, сохранив необычайно изощренную систему рифмовки неравносложных строк и даже использовав язык XVI века. Это вызвало во Франции настоящую сенсацию, однако через несколько лет в серии «Современные поэты» вышла книга Донна в переводах Л. Г. Гро,— здесь был использован свободный стих и вполне современный язык. И традиционные вкусы читателей победили. Но вероятно, с течением времени благодаря усилиям крупнейших поэтов Франции (Арагон, например, блестяще перевел строфы пушкинского «Евгения Онегина», с точным соблюдением системы рифмовки) читательскую косность удастся победить...

— А что могли бы вы сказать об особенностях работы поэта-переводчика на английском языке?

— Главные трудности связаны с природой языка. Дело в том, что в английском гораздо меньше рифм, чем, к примеру, в русском. Поэтому нам часто приходится идти на определенные компромиссы — вместо рифм использовать ассонансы, менять ритм в соответствии с законами английской просодии. Но все же переводы, выполненные с точным соблюдением формальных особенностей оригинала, достаточно распространены.

Русский язык также заставляет или, точнее, склоняет переводчика заменять силлабическое стихосложение, скажем, польской и французской поэзии более привычным для нашего уха силлабо-тоническим. Однако обязательно ли такое требование? Ведь удалось же Асару Эппелю в его переводах из польской поэзии XVII века доказать правомочность русской силлабики (том Библиотеки всемирной литературы «Европейская поэзия XVII века»). Конечно, здесь «точность попадания» переводчика связана и с точностью выбора «объекта». Однако сравните эти переводы с добротными профессиональными работами, опубликованными в книге «Польская поэзия XVII века» (М., 1977) — и, может быть, вы еще отчетливее ощутите достоверность эппелевских переводов. Многое в переводной поэзии, перенесенное на русскую почву, вначале кажется непривычным, но затем становится в языке «вещью обихода». Свободный стих Уитмена тоже в свое время сочли чужеродным, но прошли годы, и верлибр постепенно обрел законные права не только в переводах, но и в оригинальной русской поэзии. И тем не менее до сих пор проблема русского верлибра вызывает споры.

— Справедливо ли утверждение, что большинство современных американских поэтов пишет «свободным стихом»?

— Нет, сказать «большинство» я бы все-таки не решился, в особенности если иметь в виду крупных поэтов. Ричард Уилбер, Элизабет Бишоп и некоторые другие пишут рифмованные стихи. Я тоже достаточно часто обращаюсь к рифме. Кроме того, верлибр — вещь очень разнородная; законы его сложны и требуют особой отточенности мастерства. Я верю в огромные возможности свободного стиха, нужно только чувствовать его суть, его природу, а не считать чем-то аморфным, лишенным внутренней организации. В последнее время я часто пишу длинной нерифмованной строкой, по форме все это приближается к стихотворениям в прозе. Однако совсем недавно я написал свадебную песнь, эпиталаму для моего собственного сына, и здесь жанр определил форму: невозможно же спеть песню верлибром — вот и пришлось мне обратиться к рифме.

Вопрос о выразительности верлибра и рифмованного стиха имеет прямое отношение к переводческой практике в США. Перевод верлибром гораздо более распространен, поэтому многие авторы, пишущие рифмованные стихи, готовы идти на то, чтобы их переводили свободным стихом. В результате такого «взаимного соглашения» действительно появляются переводы, в которых живы мысли и образный строй переводимого поэта, хотя музыкальная, «звуковая» сторона для читателя утрачивается. Затрагивая проблему «переводимый поэт — переводчик», хотелось бы вспомнить суждение Луи Арагона. «Поэт переводит поэта» — для Арагона такой союз кажется неплохим, но все же не идеальным, если иметь в виду «своеволие» поэта. Предпочтительнее для него ситуация, когда профессиональный переводчик, свободно владеющий языком оригинала и обращающийся с подлинником достаточно бережно, постарается забыть собственные литературные вкусы и попытается «перевоплотиться» в переводимого поэта настолько полно, что сохранит всю систему его поэтического мышления.

— Какие направления в поэтическом переводе наиболее выражены в настоящее время в американской литературе?

— Говорить о каких-то четко выраженных направлениях довольно трудно, но об одной тенденции мне бы хотелось сказать несколько слов. Есть целое «семейство» переводов, стиль которых независимо от оригинала разительно напоминает поэтический язык Уильяма Карлоса Уильямса. Многие молодые поэты вообще всерьез считают, что в с ё должно быть похоже на поэзию Уильямса. Высказывается даже мнение, что Шекспира не мешало бы перевести на современный английский в «системе» Уильямса. Вообще говоря, было предпринято несколько попыток перевести Шекспира

на современный язык. Но все эти переводы остались просто курьезами — даже если мы действительно не понимаем в шекспировском языке отдельные слова, такая «перелицовка» неизбежно становится насилием над великой поэзией.

В поэтическом переводе на русский язык вопрос о степени архаизации языка — не праздный. Если взять того же Шекспира, то что предпочтительнее: пользоваться абсолютно современным языком или попытаться «соотнести» стихи с эпохой, архаизируя язык или хотя бы «вкрапляя» отдельные архаизмы? Разные переводчики могут решать этот вопрос по-разному, в зависимости от собственного вкуса, но все-таки кажется довольно странным, когда персонажи Шекспира употребляли такие выражения, как «сообразить на троих», «с приветом».

В какой-то момент направление беседы изменилось. У. Дж. Смит охотно рассказывал об индейском фольклоре, о новых публикациях и переводах на английский язык — и снова высказывал недовольство некоторыми молодыми переводчиками, которые под видом «переосмысления» оригинала ломают культурную традицию, «перелагают» народную поэзию на сленг. Много говорил он и о влиянии фольклора на свое творчество (Смит родился в семье индейца племени чероки), на художественное мышление других поэтов и прозаиков индейского происхождения, в частности Скотта Момадея, которого он причисляет к наиболее ярким именам на писательском небосклоне Америки. Одной из «ниточек», связывающих его с индейской традицией, Смит считает особую пластичность метрики — пластичность в том смысле, в каком это понятие употребляется в изобразительном искусстве. Зашла речь и о необходимости «обновления» переводов прозы, связанной с изменением литературных вкусов и с безусловным повышением уровня самого «ремесла» перевода. Наш гость говорил и на тему, ставшую традиционной,— о связях и различиях между английской и американской литературами; имея в виду современную поэзию, он посетовал на то, что в Англии поэты знают творчество «заокеанских» коллег гораздо хуже, чем в Соединенных Штатах знают англичан.

Жаль, что запись на бумаге не позволяет передать атмосферы состоявшейся беседы — она была творческой и сердечной. Все, кто присутствовал на встрече с американским поэтом, по достоинству оценили его открытость, серьезность отношения к своему делу и человеческую значительность.

Интервью подготовил АЛЕКСЕЙ ПАРИН

◆

Рисунок из газеты «Нян зан».

Заметки на полях

ЛАТИНОАМЕРИКАНСКИЙ ТЕАТР ИЩЕТ СЕБЯ

В 1978 году всемирный фестиваль «Театра Наций» впервые проходил на латиноамериканской земле — в столице Венесуэлы Каракасе. Это было данью уважения к вышедшему в последние годы на мировую арену сценическому искусству этого континента, проявлением растущего интереса к тому новому, что оно несет с собой. Программа фестиваля включала не только собственно театральные представления, но и широкий обмен мнениями, творческие дискуссии. Центральное место среди них было отведено следующим темам: «Драматургия и критика в Латинской Америке», «Эстетические течения: Брехт, Арто, Станиславский», «Театр третьего мира — коллективное творчество».

Нужно сразу оговорить, что в ходе этих дискуссий, материалы которых были опубликованы испанским журналом «Пипирихайна», внимание собравшихся было привлечено преимущественно к театру коллективного творчества — распространенному в последние десятилетия методу создания спектаклей, для которого характерно отсутствие твердого драматургического материала. Безусловно, явление это не исчерпывает всего многообразия сценического искусства на континенте, но такой путь развития современного латиноамериканского театра многим участникам фестиваля представляется наиболее перспективным.

Театр коллективного творчества возник во второй половине 60-х годов в различных странах Латинской Америки. Молодежные труппы отказывались от сотрудничества с традиционными театрами, что дало им независимость от коммерческих организаций. Это имело принципиальное значение, поскольку театр коллективного творчества возник не как эстетическое явление, а прежде всего как социальное. Пафос этого движения — в стремлении молодых не оставаться в стороне от широких демократических процессов на континенте, непосредственно связать театр с борьбой за социальный прогресс, освобождение от духовного и материального наследия колониализма, от влияния североамериканских монополий. Именно это единодушно подчеркивали участники дискуссии, в частности Мануэль Галич, гватемальский драматург, живущий в течение многих лет на Кубе, главный редактор издающегося в Гаване крупнейшего театрального журнала Латинской Америки «Конхуито»:

> «Современная эпоха для нас, латиноамериканцев, в первую очередь характеризуется стремлением широких масс стать главными действующими лицами истории... Крестьяне, рабочие, студенты, средние слои населения, женщины, интеллигенция, художники, учителя, священники различных вероисповеданий, а иногда даже и военные образуют огромную революционную колонну. Разве может театр стоять в стороне от этих процессов? Конечно, нет. Нужно признать, что существует театр, родившийся как результат борьбы масс и сам ставший частью ее».

Эти слова подтверждают спектакли, отражающие революционные устремления молодежи: «Десять дней, которые потрясли мир» по мотивам книги Джона Рида — одна из последних работ колумбийской группы «Ла Канделариа», показанная на фести-

вале «Театра Наций», «Я купил Панаму», созданный «Театро популар де Богота». Его авторы (текст пьесы был создан самими членами группы и дорабатывался в ходе представлений — один из наиболее распространенных методов работы в подобных объединениях) ставят вопрос о вмешательстве Соединенных Штатов в дела латиноамериканских государств, об их сотрудничестве с национальной финансово-промышленной олигархией. Гастроли «Театро популар де Богота» с этой пьесой в Панаме прошли с огромным успехом, став не столько культурным, сколько политическим событием.

За почти десятилетний период существования театра коллективного творчества движение это приняло массовый характер, особенно в Колумбии, Аргентине, Чили, на Кубе. Однако скоро из огромного числа таких коллективов выделились ведущие, те, что задают тон движению в целом,— не самодеятельные, возникавшие в рабочих кварталах и небольших городках и быстро распадавшиеся, а стабильные, сработавшиеся группы, ядро которых с самого начала составляли профессиональные актеры. Лучшие из них — «Театро Эскамбрай» (Куба), «Эль Гальпон» (Уругвай), аргентинский «Либре театро либре», чилийский «Алеп», колумбийские «Театро популар де Богота» и «Театро эксперименталь де Кали» известны в СССР, Швеции, Франции, Испании, США, Анголе.

Дискуссии на фестивале «Театра Наций» в Каракасе показали, что известное влияние на современный латиноамериканский театр и, в частности, на театр коллективного творчества оказали идеи Станиславского, Брехта и Арто. В большинстве стран этого континента нет прочных традиций театрального обучения, что объясняется в первую очередь колониальным прошлым. Такое положение вещей тревожит прогрессивных художников. Поэтому система Станиславского, ставшая новым этапом в развитии сценического реализма, весьма привлекает латиноамериканцев. Аргентинский режиссер О. Фесслер заметил по этому поводу:

> «Каково бы ни было направление поисков: постановка пьес наиболее известных драматургов, коллективное создание спектаклей путем их тщательной предварительной отработки или импровизация при непосредственном участии публики — результат в значительной степени зависит от актерского мастерства. И в этой работе над собой никто не может дать актерам столько, сколько Станиславский».

Непростым был путь латиноамериканского театра к Брехту. Новые явления в общественной жизни после второй мировой войны породили у молодежи стремление к искусству новаторскому, революционному — как в идейном, так и в эстетическом смысле. Однако концепция современности была достаточно нечеткой. Поэтому, как считает известный колумбийский режиссер Карлос Хосе Рейес, театр не проводил особого различия между Ионеско, Уайлдером, Уильямсом, Пиранделло, Брехтом.

> «Главное было встать на позицию решительного разрыва с существовавшими ранее тенденциями и быстро освоить театральный опыт, накопленный другими странами в течение полувека. Брехт, окруженный ореолом авангардизма и современности, оказался одним из авторов, которые давали для этого возможность».

Но, по мере того как знакомство Латинской Америки с Брехтом расширялось, происходило более глубокое осмысление его наследия. Поэтому Карлос Х. Рейес с полным основанием мог сказать, что «в последние тридцать лет никто не оставил такого глубокого следа в латиноамериканском театре, как Брехт».

Своеобразно преломились в Латинской Америке идеи французского поэта, драматурга, режиссера первой половины XX века Антонена Арто, оказавшего большое влияние на театр абсурда и другие явления современной западной драматургии. Здесь в первую очередь была воспринята зрелищная сторона его искусства, что в известной степени объясняется субъективным фактором: ведь культовые обряды индейцев Мексики, где Арто жил около года, послужили одной из отправных точек для его театральных теорий. Содержательная же сторона его работ, связанная с фрейдистскими концепциями, осталась чужда и во многом непонятна латиноамериканцам. Об этом говорил во время дискуссии Хулио Кастильо (Мексика), заметивший, что новый театр континента привлекают заложенные в теориях Арто возможности непрерывного эксперимента как способ освободить искусство от рутины и пошлости.

Одной из форм, в которую вылилось стремление молодежи найти самобытные, выразительные средства, избавиться от подражания драматургии Западной Европы и США, стал театр коллективного творчества. Внешне этот театр иногда вызывает ассоциации с постановками таких известных трупп экспериментального молодежного театра, как «Ливинг тиэтр»[1], «Брэд энд паппет», «Перформенс групп», о которых много писалось в нашей печати, в частности в журнале «Театр». Однако возникший хронологически несколько позднее, латиноамериканский театр коллективного творчества не может считаться явлением вторичным по отношению к западноевропейскому и американскому экспериментальному молодежному театру. Не может прежде всего потому,

[1] См. «ИЛ» № 5, 1970; № 4, 1972.

что его истоки — в многовековой традиции искусства Латинской Америки. Эта мысль прозвучала в выступлении перуанского критика Г. Угарте Чаморро:

«Еще в доколумбовскую эпоху в Латинской Америке существовал настоящий народный театр, обладавший завидной жизнестойкостью. Она помогла ему выстоять в период жестокой колонизации, а впоследствии, несмотря на презрение так называемых культурных слоев населения, сохраниться в деревнях, особенно среди индейцев и метисов. Это самобытное искусство, кроме всего прочего, показывает, что «уличный театр» и «театр протеста» для Латинской Америки абсолютно никаким новшеством не являются».

Эстетические принципы латиноамериканского театра коллективного творчества схожи лишь с одним направлением внутри движения молодежных любительских театров — агитационно-пропагандистским. Групп, занимающихся собственно формалистическими поисками, в Латинской Америке почти нет, и эстетическое в театре коллективного творчества подчинено политическим и социальным задачам. Здесь нужно сказать о пристальном внимании, с которым молодежь обратилась к изучению национальных проблем. История, ее значение для понимания происходящих сегодня процессов стала одной из главных тем в латиноамериканском театре коллективного творчества. Показательно, что, обращаясь к фактам и событиям хорошо известным и изученным, театр стремится очистить их от наслоений официальных трактовок, дать свое видение. Среди наиболее значительных произведений можно назвать пьесу группы «Театро популар де Богота» «Первая независимость, 1810», которая с большим интересом была встречена в Каракасе. Другая пьеса, созданная коллективно группой «Ла Канделариа» — «Гуаделупе. Прошлое, каким оно было»,— получила в 1976 году премию «Каса де лас Америкас». В этом случае актеры воссоздают историю партизанского движения в стране в 50-е годы.

Нашла свое отражение и тема диктатора. Так, в основу одной из последних работ венесуэльской группы «Рахатабла» положен всемирно известный роман Мигеля Анхеля Астуриаса «Сеньор президент». Автору спектакля Карлосу Хименесу и актерам, по отзывам печати, удалось донести до зрителя не только главную мысль произведения, но и передать порожденную страхом и жестокостью болезненную атмосферу этой, казалось бы «непереводимой» на язык сцены, книги.

Спектакли, о которых здесь идет речь, часто требуют большого гражданского мужества от постановщиков и актеров. Таким повседневным героизмом отмечена деятельность чилийской группы «Алеп», которая в невыносимо тяжелых условиях в первые месяцы после фашистского переворота сумела создать спектакль «Вначале была жизнь». В этой композиции отрывков из Библии, произведений Сервантеса и «Маленького принца» Экзюпери в аллегорической форме молодые актеры высказали свое отношение к происходящему в стране (Чили сравнивалось с тонущим кораблем), свое уважение к правительству Народного единства, к Сальвадору Альенде.

Нередко такие объединения работают по непосредственному социальному заказу. Так, например, была поставлена аргентинским «Либре театро либре» пьеса «Посредник». Работу над ней группа начала по просьбе профсоюза учителей, и по первичному замыслу спектакль должен был представлять собой ряд не соединенных сюжетно сцен из жизни учителей. Но в процессе работы актеры изучили большое количество документов, и на их основе родилась пьеса с совершенно иным смыслом. В ней говорилось об учителе как о человеке, который выражает идеологические ценности и идеи правящего класса. Другая пьеса, «Конец пути», была создана этим же коллективом по просьбе рабочих сахарной промышленности. Актеры уехали в один из отдаленных районов на юге страны, где они прожили несколько месяцев, знакомясь с бытом рабочих, их трудом, местным фольклором. Появившаяся в результате пьеса имела огромный успех, и в первую очередь среди тех людей, о которых она рассказывала и к которым была обращена.

Но быть может, самым интересным в смысле завоевания своего зрителя стал опыт кубинского «Театро Эскамбрай», о котором подробно рассказал на дискуссии его руководитель Серхио Коррьери. В 1968 году группа молодых актеров уехала из Гаваны в провинцию Эскамбрай, чтобы создать новый театр, раскрывающий революционные преобразования в стране и ориентированный на массового зрителя.

«Речь шла о том, чтобы искать другую публику, искать формы общения с этой новой для нас публикой, искать другие выразительные средства».

Спектакли, создаваемые этим коллективом, являются результатом тщательной исследовательской работы, проделанной актерами, результатом их самого непосредственного участия в жизни крестьян, бесед с ними, с руководителями сельскохозяйственных кооперативов. Актеры великолепно знают свою аудиторию, ее проблемы, у них установились особые доверительные отношения со зрителями (как правило, спектакли бывают прямо под открытым небом, без всякой сцены). Именно в ориентации на конкретного зрителя — сила воздействия этого интересного театра.

Во время дискуссий на фестивале «Театра Наций» было сказано много интересного о театре коллективного творчества. Заметим, однако, что это явление таит в себе,

на наш взгляд, некоторую опасность для искусства. Бросается в глаза тот факт, что сам по себе принцип создания спектаклей рассматривается как отказ от свойственного буржуазному искусству авторского индивидуализма. Конечно, театр этот родился из стремления молодежи противопоставить свое искусство официальному, но механическое перенесение социальных закономерностей на область художественного творчества вряд ли даст что-нибудь позитивное. Кроме того, нередко с максималистской непримиримостью только то искусство объявляется подлинно народным и социальным, которое создается коллективно.

Серьезной проблемой для такого театра стал вопрос о взаимоотношении с драматургией: классикой, которую они почти не ставят, и современными прогрессивными авторами. К настоящему моменту наметились два типа совместной работы драматурга с группой: группа ставит пьесу, осуществляя все переделки, которые сочтет необходимыми (разумеется, при согласии автора). В другом случае драматург является членом группы и помогает придать идее, рожденной всем коллективом, форму законченного драматургического произведения, что фактически сводит к минимуму его самостоятельную творческую работу. Так, например, сотрудничает драматург Луис Альберто Гарсиа с «Театро популар де Богота». Многие участники дискуссии считают, что эти противоречия со временем будут разрешены. Мануэль Галич сказал в Каракасе:

> «Как всегда, жизнь обогнала теорию и литературу. Драматургии и театральной критике нелегко отказаться от привычных представлений... Не будем их за это упрекать. Надо просто признать, что будущее драматургии — за новым театральным движением Латинской Америки, которое оказалось в состоянии создать произведения, отвечающие его революционной идеологии... А пока драматургия набирает силу, движение вынуждено создавать собственные пьесы, пользуясь методом коллективного творчества».

Молодой латиноамериканский театр ищет себя. Издержки и ошибки в поисках неизбежны. Но в этом театре есть главное — стремление служить своим искусством революционным преобразованиям современности.

Н. МАТЯШ

По страницам литературных журналов

США. ИТОГИ ГОДА — «МОРАЛЬНОЕ ПОРАЖЕНИЕ»?

По первому впечатлению, год как год, может быть, чуть более заурядный, чем обычно. В комментариях американских книжных обозревателей не чувствовалось энтузиазма. Преобладала желчная язвительность. Как бы само собой разумелось, что текущая беллетристика не заслуживает серьезного разговора. Разве что снисходительного поощрения, а гораздо чаще — иронии и даже вышучивания с оттенком брезгливости.

Конечно, делались исключения. Но для кого? Почти неизменно — лишь для писателей, принадлежащих к очень узкому кругу творческой элиты, как ее себе представляет нью-йоркское «критическое сообщество», уже столько десятилетий формирующее литературные репутации. Есть среди этих избранников и крупные мастера, однако дело не только — и не столько — в масштабах таланта и истинном значении произведений. Важно установившееся мнение, а чтобы оно было положительным, писателю необходимо убедить «сообщество» в том, что он читал Кьеркегора и усвоил уроки Джойса, знаком с поэтикой мифологического романа и понимает отчуждение как всеобщий закон человеческого бытия. Словом, он должен продемонстрировать, что мыслит «современно» и обладает «культурой». И тогда комплименты становятся обязательными, что бы он ни публиковал.

Хемингуэй, достаточно натерпевшийся от «сообщества», как-то заметил, что нет ничего губительнее для настоящего таланта, чем атмосфера «этой засушливой страны, где способны расти одни только горькие колючки... обманчиво живые, вроде птичьих чучел».

Прошло много лет, но все по-прежнему: все тот же барьер непонимания, а то и открытой враждебности между «сообществом» и литературой, и писателю, не допущенному в ряды элиты, все так же приходится выслушивать высокомерные поучения нью-йоркских рецензентов, снося их наполовину сострадательный, наполовину издевательский тон.

Кое-кто пытается подстроиться под их рекомендации, и тогда — примеров множество — одаренный дебютант быстро превращается в поставщика мнимоинтеллектуальной прозы, в которой нет ни ума, ни таланта. Другие сопротивляются. Этим труд-

вее. Нужна большая вера в себя, чтобы годами выдерживать насмешки критиков, оставаясь равнодушным к щедрому потоку хулы, для «объективности» подкрашенной скупыми похвалами.

Ирвин Шоу — из других. За полвека работы он не сделал «сообществу» ни одной уступки. Когда в 30-е годы, уловив дух времени, «сообщество» принялось кокетничать левизной, начинающий Шоу на миг очутился в любимцах критики. Но времена изменились, «сообщество» вместе с ними, а Шоу — нет. И после войны он стал постоянной мишенью для нападок. Ему не простили «Молодых львов» — за точный социальный анализ фашизма, пустившего свои ядовитые ростки и по другую сторону Атлантики. И еще ему не простили читательского признания. Чем больше читали его книги, тем упорнее критика ставила Шоу в один ряд с творцами поверхностной беллетристики, вся цель которой — помочь читателю скоротать скучный вечер.

Большой сборник рассказов Шоу «Пять десятилетий» был одним из немногих событий минувшего литературного года в США. И что же? Книгу, в сущности, замолчали, хотя читатель, знающий и любящий прозу Шоу, принял ее хорошо. Две-три невыразительные рецензии, знакомые упреки в облегченности коллизий и однотипности персонажей. И ни слова о том, что выделяет Шоу как настоящего мастера новеллы,— о значительности содержания, глубоком драматизме ситуаций, лаконичном и выразительном стиле. Критик «Нью-Йорк таймс бук ревью» У. Голдмен, единственный, кто по достоинству оценил новую книгу писателя, не без иронии заметил: «Несмотря на все свое мастерство, Шоу оказался недостаточно умен, чтобы избежать самого страшного из пороков — признания у читателей».

Такие парадоксы порождаются эстетическими вкусами «сообщества». Критика выступает не в союзе с литературой, а против нее. Последствия этого чувствуют не только отвергнутые, но — по-своему — и признанные: первым не приходится рассчитывать на доброжелательность, вторым — на трезвый, объективный разбор успехов и неудач.

Вряд ли станет шагом вперед в творчестве Джона Апдайка новый его роман «Переворот», увидевший свет в самом конце 1978 года. Но многочисленные рецензенты книги упорно обходили основную проблему, которая здесь напрашивается сама собой, проблему глубокой противоречивости этического и художественного мышления Апдайка, сковывающей его большой талант. Лишь Дж. Томпсон в «Нью-Йорк ревью оф букс» заметил, что Апдайк, с которым связывают столько надежд, и сегодня остается «всего только очень умным мальчиком, к тому же одаренным неподражаемой способностью передавать оттенки повседневной речи». Конечно, Дж. Томпсону следовало бы добавить, что от Апдайка справедливо ожидать куда большего: достаточно вспомнить «Кентавра».

В «Перевороте», изображающем вымышленное африканское государство Куш — нищую, отсталую страну, где сталкиваются интересы великих держав, а политический проходимец, захвативший власть, пользуется сложившейся ситуацией, чтобы крепче держать в узде своих голодных и бесправных подданных,— еще раз проявилось не столь уж редкое у Апдайка стремление игнорировать конкретное социальное содержание таких понятий, как справедливость и гуманность.

Хотя действие на сей раз происходит главным образом в Африке, знакомство с романом с первых же страниц обнаруживает «вечные» для Апдайка проблемы: столкновение индивидуальной свободы и антигуманной общественной организации, схватка конформизма и «несогласия» — причем ареной оказывается прежде всего сознание самих персонажей. На фоне африканской действительности, охваченной бурными и драматическими процессами социальных преобразований и освободительной борьбы, особенно видна искусственность усилий Апдайка выдвинуть в центр повествования проблему внутренней раздвоенности героя. Не стесняясь в средствах для укрепления своей власти, диктатор вместе с тем тяготится своим моральным падением и, как все другие главные персонажи Апдайка, смутно тянется к какой-то другой жизни. По сути, он выключен из конкретного времени и перемещен в некое условное силовое поле этических абсолютов, где исчезают диалектика и сложность реальной жизни и получают для себя простор декларативность и ригоризм, скрытые за виртуозно сотканной образной тканью многих произведений Апдайка.

Об этом как будто и следовало поговорить в связи с новой книгой Апдайка. Однако Апдайк — писатель, которого принято считать прежде всего мастером формы, о содержании же его книг, о зигзагах его творческого пути в последние годы американская критика по большей части просто умалчивает.

Наблюдая, как создаются и поддерживаются американской критикой искусственные оценки и явно односторонние мнения, трудно не заподозрить, что и пренебрежительный, а нередко ядовитый стиль обзоров литературного процесса тоже заключает в себе заданность. Может быть, положение дел в американской литературе вовсе не так безотрадно, как представляется комментаторам нью-йоркских еженедельников? Может быть, их скепсис вызван не объективными причинами, а только кастовым эстетизмом и снобизмом?

Снобизм, конечно, чувствуется, а еще сильнее — предвзятость. И все же для скепсиса есть основания. Даже для серьезной тревоги, которая прозвучала в наиболее аналитичных и принципиальных критических выступлениях минувшего года.

Довольно и беглого знакомства с событиями, происходившими на американском книжном рынке, чтобы понять, насколько небеспочвенна эта тревога. О «массовой беллетристике», изготовляемой конвейерным методом, в США даже не упоминают, когда пытаются определить художественный уровень литературы, ее магистральную тенденцию. Конечно, событие в книготорговле — не то же самое, что литературное событие. Но есть и другая сторона проблемы — реальный отклик книги в читательской среде. А когда дело касается вкусов публики, настоящим мастерам непросто тягаться с поставщиками романов, которые как бы наперед «обречены» сделаться сенсацией — благодаря теме, сюжету, нашумевшим экранизациям предыдущих книг того же автора, рекламе и множеству других факторов, предопределяющих судьбу произведения после его выхода в свет.

1978 год ознаменовался двумя такими сенсациями. Весной, как раз перед сезоном отпусков, с поточной линии массовой литературы сошел «Чезапик» Джеймса Миченера. Рекламная кампания была необычайно пышной. Месяцами с газетных разворотов Миченер, проникновенно улыбаясь, сообщал своим читателям: «Обыкновенный человек — вот что сделало Америку великой. Из этой здоровой закваски родились все ее свершения и благотворные идеи, которые перевернули мир». Буквально на той же полосе представители «сообщества» состязались друг с другом в обличении примитивности опуса Миченера. Но эстетика эстетикой, а бизнес бизнесом, и коммерция спокойно делала свое дело. Да нашлись и защитники. Дж. Ярдли писал в «Нью-Йорк таймс бук ревью», что «старомодный патриотизм» Миченера особенно привлекателен в нынешние времена безверья и сухого практицизма, так что со своей убежденностью в «исключительном предназначении Америки» последний ее бард «служит очень достойной задаче».

В итоге «Чезапик» оказался — по популярности — книгой года. Так же было и с предыдущими книгами Миченера. Автор намерен создать «великий американский роман» — откровенно апологетической, охранительной разновидности. Он выдвигает в центр рассказа какую-нибудь заурядную семью и через судьбы ее представителей показывает основные вехи американской истории, которая, согласно Миченеру, ведет от одного свершения к другому, к невиданному расцвету демократии и свободы. Попутно достается разного рода маловерам и нытикам. Вы твердите о банкротстве американского духа? А вот присмотритесь к Чезапику, деревушке на атлантическом побережье, пристанищу первых переселенцев. За четыре столетия сколько он выдержал исторических потрясений! И внешне он изменился до неузнаваемости, а по сути все тот же: цитадель простых человеческих отношений, бастион истинной гуманности и безграничного доверия к «американской мечте» о равенстве возможностей и удовлетворенном стремлении к счастью. Вы говорите, что и жизнь «чезапиков» омрачена жаждой преуспеяния, расизмом, нетерпимостью к бунтарям против буржуазных норм? Но ведь это частности. А главное — это демократический и здоровый уклад американской жизни, и он неизменен.

Так вдалбливает Миченер в головы читателей казенный оптимизм. Расчет безошибочен. «Обыкновенный человек» устал от жизненных передряг, вера в бескрайние американские возможности сильно подорвана, нужна точка опоры — так оглянитесь на пройденный Америкой путь, оцените масштабы достигнутого, приободритесь — все трудности преодолимы.

Что же критика? Она возмущалась топорным стилем Миченера, однако никто из рецензентов не задумался над самым важным — отчего так популярен «Чезапик», какие струны сумел он затронуть, раз этот роман раскупали и читали? Причем долго. Пока к концу года не появился серьезный конкурент — «Умирают дураки» Марио Пьюзо. Здесь успех был ясен наперед и наперед оплачен неслыханно высокими гонорарами. Пьюзо — автор «Крестного отца», романа, имевшего огромный коммерческий успех. Пусть «опус 2» оказался намного скучнее, пусть не нашлось в нем ни особенно впечатляющих сюжетных ходов, ни той новизны материала, почерпнутого из кровавых хроник мафии, что привлекла читателей «Крестного» (а еще больше — зрителей талантливого фильма Фрэнка Копполы). Магия имени действует безотказно.

Когда-то Пьюзо был неплохим прозаиком и критиком, а после «Крестного» сделался едва ли не первой фигурой «массовой беллетристики». Критика не простила ему бегства в другой лагерь. Чем выше тиражи Пьюзо, тем резче тон статей о его книгах. «Одолевая этот том, я все время спрашивал себя, кто способен с удовольствием читать такую мрачную и бездарную чушь?» — писал о новом романе Пьюзо в «Нью-Йорк ревью оф букс» Р. Сейл. Как видно, любители находятся: и через полгода после выхода «Умирают дураки» — бесспорный лидер в списке бестселлеров. Да и как иначе? Чего стоит один материал — притоны и игорные дома Лас-Вегаса, нравы подпольных спекулянтов наркотиками, постельные истории голливудских звезд... Но самое любопытное в том, что Пьюзо, по-прежнему щекоча нервы невзыскательной публике, при этом еще и пишет роман в согласии с новомодными эстетическими идеями «критического сообщества». Читатель найдет в его книге повествование то от первого, то от третьего лица, намеренную обрывочность эпизодов, когда действие останавливается в момент кульминации, чтобы возобновиться где-нибудь через сотню страниц, внутренние монологи и философические пассажи с фрейдистской подосновой.

Все это, видимо, исчезнет, когда книга будет переработана в киносценарий — контракт уже заключен, да роман и был написан так, чтобы сразу же привлечь внимание Голливуда. Однако доказательства «образованности» Пьюзо по части современных приемов письма налицо. Эволюционирует и «литература для миллионов», багажом Миченера уже не всегда обойдешься — читатель эпохи «информационного взрыва» слыхал и о Кафке, и о Леви-Стросе. Как заметил в своем романе Пьюзо, «умирают дураки, а умные остаются жить». Сам он, конечно, причисляет себя к последним.

Так что напрасно Р. Сейл, много лет наставляющий писателей в искусстве «подлинно серьезной» прозы формалистического толка, устраивает такую выволочку Пьюзо — как говорится, исцелися сам. Приемы из арсенала новейшей модернистской литературы не устраивают критика у презренного поставщика бестселлеров, но тот же Сейл безоговорочно одобряет их у писателей, составляющих, по мнению «сообщества», подлинный авангард американской культуры — к примеру, у Дональда Бартельма. Книга Пьюзо, сочетающая вульгарность конформистской поделки с изысками элитарной литературы, названа в статье Сейла «образцом романа-чудовища, который, увы, приобрел спрос на книжном рынке». Но говорить следовало бы не о капризах рынка, а о тенденции, присущей сегодняшней американской литературе — и серьезной, и только притязающей на серьезность, и откровенно «массовой». Этого не заметил Сейл, зато заметили другие — и завязалась полемика, не утихающая по сей день.

Вот характерная для нынешнего времени рецензия, которую написал известный английский романист Энтони Берджес: «Как европеец я порою начинаю сомневаться в том, что книги NN и других американских прозаиков все еще можно называть романами, имея в виду традиционное значение этого понятия, как оно употребляется в Старом Свете. Никому не заказано изображать распад цивилизации — но лишь с точки зрения такого героя, который твердо придерживается ценностей, собственно, и лежащих в основе романа как художественной формы. Необходимо самому сохранить человечность, чтобы выступать в качестве свидетеля конца человечества. NN и другие американские писатели не считаются с этим условием, и в их книгах вообще нет ничего гуманного. Здесь нагромождение трупов и пикантных сцен, здесь пальба и схватки из-за власти и денег, здесь все, кроме — ах, устаревший Достоевский! — души».

Раскроем инициалы. Речь идет о Доне Делилло, небесталанном дебютанте 60-х годов, одно время даже считавшемся надеждой американской литературы. Вышедший осенью роман Делилло «Бегущий пес», которому и посвящена рецензия Берджеса, самому автору наверняка кажется оригинальным и смелым. Полулегальная компания, торгующая порнофильмами для физически одряхлевших почитателей этого жанра, борется с конкурентами и полицией, чтобы заполучить ленту, будто бы вывезенную из Германии в 1945 году и методом скрытой камеры запечатлевшую валтасаровы пиры в ставке фюрера незадолго до конца. Делилло ведет своих читателей на самое дно «цивилизации потребления». Конец человечества, не больше и не меньше! Вроде бы уж куда как обличительно — во всяком случае, не «Чезапик» и не творения Пьюзо.

Но стоит копнуть чуть глубже — и откроется общность, которая не укрылась и от взгляда Берджеса. Пьюзо спекулирует на стереотипах «массового» мышления, Делилло старается их развенчать — но как! Пространствовав по лабиринтам его изощренной прозы, уясняешь, что цель автора к тому лишь и сводилась, чтобы продемонстрировать полнейшую относительность любых понятий о добре и зле, истине и лжи, нравственном и аморальном, представив дело так, будто сегодня, «на закате человечества», в конечном итоге все можно не только объяснить, но и оправдать. В сущности, Делилло сказал то же самое, что и Пьюзо в своей последней книге, только не сумел (а может, из щепетильности не захотел) завоевать миллионную аудиторию, тщательно скрыв банальность и беспомощность своего мизантропического мышления за кокетливой переусложненностью повествовательных средств. А ведь под NN могли скрываться и Бартельм, и Томас Пинчон, и Джон Хоукс, и Рената Адлер — целое направление, возведшее в свое кредо нигилизм по отношению к «норме», каково бы ни было ее объективное содержание.

При таких исходных посылках удивительно ли, что поумневшая «массовая беллетристика» оказалась вовсе не так чужеродна рафинированно интеллектуальной авангардистской прозе. В американском романе наметилась тенденция, которую Берджес определил как «овеществление персонажа»: не остается ни героя в традиционном смысле, ни авторской индивидуальности, ни «души», и на место всего этого обветшалого реквизита предлагается «нечто вроде абстрактной модели обитателя сегодняшнего города, аноним, не нуждающийся в имени, поскольку он лишен личности». А романист просто описывает этого «анонима», избегая какой бы то ни было этической характеристики, и механически воспроизводит мир, каким он предстает «овеществленному» персонажу. Никакой дистанции между автором и героем, никаких оценок и попыток хоть отчасти скорректировать заведомо одномерное восприятие жизни глазами некоего типового горожанина, только и замечающего что бессмыслицу и хаос, жестокость и извращенность окружающей его среды. Книга в лучшем случае может оказаться всего лишь картинкой с натуры — да и то искаженной, потому что в центре повествования не живой человек, а какая-то абстрактная «модель» современного сознания.

Берджес находит такую прозу ужасающей. Однако у нее есть свои пропагандисты. Элизабет Хардуик убеждена, что романы Пинчона и Адлер вполне достоверно до-

носят облик действительности, лишенной «героики и нравственного мужества», которые «вытеснены банальностью и паранойей». Эрик Ларсен пишет о «глубоко негативной серьезности» новейшего романа. Аргументация одна и та же: сама американская жизнь обезличена и однотипна, так можно ли ожидать широты творческого горизонта от литературы? Романист способен лишь честно свидетельствовать о всеобщей подавленности, этической анемии и почти истерическом страхе перед будущим, охватившем Америку после Вьетнама и Уотергейта. Наивно было бы с его стороны пытаться что-то противопоставить этому «миру пресыщенности, бесконечного потребления, засилья дорогостоящего хлама и полной растерянности перед многочисленными, но в равной степени обманчивыми возможностями, которые открываются перед личностью». Ориентиры размыты, исчезло ощущение конкретных форм зла, уже нет тех самоочевидных примет напряженного гражданского конфликта, которым изобиловала американская действительность еще несколько лет назад, когда по стране катились волны негритянских волнений и антивоенных демонстраций. Сегодняшняя жизнь «похожа на путешествие самолетом, и в этом путешествии личность все ощутимее утрачивает самое себя, теряет свое имя, становится просто пассажиром, который, пересаживаясь в аэропортах, за считанные часы пересекает весь мир». Это слова Э. Хардуик.

Удобное и логичное объяснение, но удовлетворило оно далеко не всех. И не могло удовлетворить, потому что Хардуик фактически оправдывает равнодушие и пассивность литературы, когда от нее, по словам Джона Гарднера, одного из крупнейших американских писателей 70-х годов, «ждут ответов на серьезные вопросы времени». Если согласиться с Хардуик и Ларсеном, объявившими, что «вакуум идей и ценностей» в современном американском романе закономерен, поскольку «ценностями» крайне бедна действительность США, придется оправдать не только разрушительную для литературы деятельность современного авангарда, но и более того — капитуляцию художника перед «миром пресыщенности и бесконечного потребления».

Однако творчество невозможно отождествить с «гримасами отвращения», условными и поверхностными знаками неприятия окружающей среды, которыми теперь заполнен американский роман. Когда писатель усматривает свою задачу только в том, чтобы — процитируем видного критика Хью Кеннера — «просто воспроизводить спонтанный поток жизненного опыта, конструируя художественную вселенную из прямых фактов действительности» и не пытаясь их осмыслить и объяснить,— это уже не литература, а добровольное отречение от нее. Недаром ведущий литературный обозреватель «Нью-Йорк таймс» Джон Леонард сетует на исчезновение подлинно значительной проблематики, которая подменена в новейшем американском романе набившими оскомину стереотипами модернистского мышления! «Я больше не доверяю большинству наших серьезных прозаиков,— без обиняков заявил Леонард в статье, красноречиво озаглавленной «Катясь под откос»...— Если прислушиваться к их суждениям, мы живем в стране Ничто... Какова цель современного романа? Продемонстрировать, что язык не способен ничего обозначать. Каково воплотившееся в нем восприятие жизни? Ну, разумеется, трагическое. Какое чувство может внушить человеку его опыт? Конечно, чувство омерзения».

Леонард определяет сущность творений «поп-модернистских поденщиков» понятием «эпистемологический вакуум». Джон Гарднер высказывается еще резче: «Настал век ужасающей прозы — глупой, тоскливой, заполненной нытьем... Американская литература потерпела моральное поражение». И все это говорится не о Миченере, не о Пьюзо — о писателях, ставших за последние годы кумирами интеллектуальной Америки: о Бартельме и Уокере Перси, Джоан Дидион и Пинчоне, Хоуксе и Апдайке.

Спору нет, применительно к большинству из них такие оценки чересчур резки, а порой и явно несправедливы. Но важна и сама постановка вопроса. За вычетом неизбежных издержек полемики, Гарднер прав, утверждая, что самое тревожное явление в американской литературе наших дней — это год от года усиливающееся стремление многих писателей сложить с себя ответственность за нравственный климат, который устанавливается в обществе. Только в атмосфере глубокого кризиса и духовного разброда могла пустить столь пышный цвет идея, будто от современного романиста требуется всего лишь служить «летописцем нравов и настроений своей эпохи», оставив любые побуждения не то чтобы на нее воздействовать, но даже ее объяснить, будто ему довольно выработать «ледяной интеллектуальный стиль», чтобы избежать той писательской обязанности, которую Толстой когда-то назвал «нравственным отношением к предмету».

Вспоминая толстовские критерии нравственного искусства, сформулированные в предисловии к сочинениям Мопассана, Гарднер поверяет ими творческие устремления сегодняшней американской прозы и приходит к выводам безрадостным, но точным. Дошло до того, пишет он, что «начинают испытывать неловкость, если писатель пытается мыслить в понятиях нравственности. Сомнение и отрицание признаны определяющими свойствами современной личности... Полагают, что истинное этическое мышление вообще перестало быть задачей серьезной литературы».

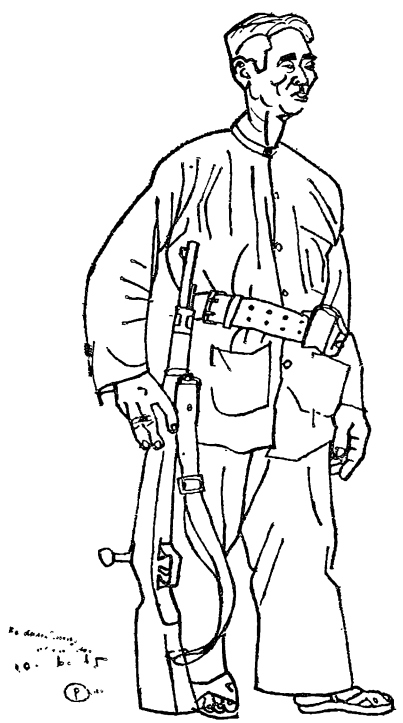
С Гарднером полемизировали, но больше по частностям, молчаливо соглашаясь с тем, что подлинная этическая позиция художника перестала рассматриваться как необходимое предусловие творчества и у целого ряда крупных американских писателей оказалась подменена кредо безответственности. Даже самым ожесточенным противни-

кам Гарднера ничего не оставалось, как ссылаться на «скверные времена», переживаемые ныне Америкой: ничего не поделаешь, былые ценности рухнули, а новых не видно, и будем благодарны писателям, если они предоставляют в наше распоряжение хотя бы точный слепок действительности. Возможно, подобное самоограничение художника, приняв массовый характер, приведет (и даже уже привело) к глубокому кризису и в литературе, но нельзя требовать от писателя невозможного — он ведь не отвечает за эпоху, в которую ему выпало творить...

Вот это «не отвечает» и оказалось в центре полемики о путях романа и ответственности писателя — острой, принципиальной полемики, пожалуй, явившейся центральным событием минувшего литературного года в США. Гарднер говорил о моральном поражении — вывод слишком категоричный, но никак не сказать, чтобы безосновательный. Уточнения необходимы. «Этическая серьезность», разумеется, не исчезла из американской литературы, и отказ от ответственности вовсе не единодушен — свидетельством тому и творчество самого Гарднера, и некоторые книги других писателей, помеченные 1978 годом: большой том рассказов Джона Чивера, роман негритянского писателя Эрнеста Гейнса «В отцовском доме», произведения молодых прозаиков Мери Гордон и Джона Ирвинга, «Калки» Гора Видала.

Но, может быть, самое главное — даже и не появление таких книг. Американская литература слишком многообразна, чтобы сегодняшнее стремление к уходу от «этической серьезности» и впрямь приняло всеобщий характер. Самое главное в том, что понятия ответственности и этики искусства вновь сделались основными понятиями в критических дискуссиях и литературных спорах. Почти забытые в 70-е годы, они становятся первостепенными на исходе этого трудного для Америки десятилетия, и, хотя пока еще преобладает негативное или скептическое отношение к этим «старомодным клише», живое развитие литературы доказало их непреходящую актуальность. Теперь эта актуальность начинает осознаваться — явление глубоко знаменательное и, возможно, предвещающее такой перелом в духовной и художественной жизни, когда разговоры о моральном поражении американской литературы и в самом деле утратят под собой почву.

А. ЗВЕРЕВ



БУЙ СУАН ФАЙ. ВЬЕТНАМ.
Ополченец.
Рисунок

Публицистика

Э. Р. БРЕЙТУЭЙТ

Эдвард Рикардо Брейтуэйт — гайанский писатель, в годы второй мировой войны служил летчиком британских ВВС, преподавал в английской школе. В 1965 г. был главой миссии Гайаны в ООН, в последующие годы — послом Гайаны в Венесуэле и консультантом по образованию в ЮНЕСКО.

Автор книг «Учителю — с любовью», «Оплаченный слуга», «Отбор соломинок», «Соседи поневоле».

ПОЧЕТНЫЙ БЕЛЫЙ

Отрывки из путевого дневника

Перевод с английского Мих. ЗАГОТА

Огромный «Боинг 747» оторвался от бетонной дорожки лондонского аэропорта Хитроу и с ревом взмыл в чернеющее небо — моя встреча с ЮАР началась. С этой минуты салон самолета превратился для меня в маленький изолированный мир, населенный случайно оказавшимися в компании друг друга шумными людьми. Англичане, американцы, швейцарцы, немцы, южноафриканцы, несколько французов. Все белые. И среди них один черный — это я.

Объединяло моих попутчиков и другое. Все они были охвачены каким-то радостным возбуждением — и те, кто возвращался домой, и те, кто летел в Южную Африку впервые. Я чувствовал себя картой из другой колоды, потому что меня обуревали неуверенность и страх. Я думал: мне предстоит столкнуться с обществом, которое обязательно захочет унизить меня, подавить мою личность. Надолго ли меня хватит?

С самого раннего детства в Гайане я слышал истории о том, в каких немыслимых условиях вынуждены трудиться люди с черной кожей на золотых, алмазных и угольных рудниках Южной Африки, как жестоко угнетают их европейцы-поработители. Они работают день за днем глубоко в недрах земли, полуголодные, получают за этот нечеловеческий труд гроши и полностью зависят от белых, а те обращаются с ними хуже, чем со скотом. В рудниках случаются обвалы, шахты заливает водой — и в ловушке оказываются сотни африканцев. Для их спасения белые принимают лишь символические меры — стоит ли беспокоиться, если легко найти замену?

Мы, гайанские мальчишки, имели возможность познавать мир, учиться, пользоваться свободой слова и передвижения, и все наши рассуждения о тяготах и лишениях черных братьев в далеком далеке носили чисто абстрактный характер. Нам трудно было прочувствовать весь ужас рассказов об изможденных африканцах, которые понурой цепочкой каждое утро спускаются в глубокие забои, подгоняемые белыми надсмотрщиками. Почему же они не восстанут против своих мучителей? — задавались мы вопросом. Ведь, например, рабочие на сахарных плантациях Гайаны — они часто требуют своего, если работа становится тяжелой и изнурительной, а платят мало. Мы были молоды, невежественны и обвиняли южноафриканцев в чрезмерной робости. Уж мы-то, похвалялись мы друг перед другом, ни за что не потерпели бы такого.

Я взрослел, и казалось, что каждое новое правительство Южной Африки все больше закабаляет черное население, которое как будто совершенно смирилось со своей судьбой и с невозможностью изменить ее.

© 1975 by E. R. Braithwaite.

В начале 1965 года я был назначен представителем Гайаны в ООН и там неоднократно беседовал с южноафриканцами, как белыми, так и черными. Некоторые белые, представители церкви, те, кто придерживался либеральных взглядов, протестовали против расистского режима. В большинстве же случаев это были бизнесмены, правительственные чиновники и туристы. Им было прекрасно известно, что в ООН к их правительству относятся с резкой антипатией, и они всегда занимали активную оборонительную позицию, утверждая, что иностранцы не могут судить об особых условиях, существующих в Южной Африке. Встреченные мной южноафриканские черные, все без исключения, либо бежали, либо были навсегда изгнаны из своей страны и в ООН обращались с жалобами на режим, призывали страны — члены ООН отказать ЮАР в каких бы то ни было контактах.

В 1966 году Генеральная Ассамблея ООН подавляющим большинством голосов постановила прекратить действие мандата, по которому Юго-Западная Африка, нынешняя Намибия, управлялась правительством ЮАР, и взять на себя контроль над этой территорией. Я активно участвовал в работе специальной комиссии, которая разрабатывала резолюцию и способствовала ее принятию. Позднее при ООН был создан Совет по делам Юго-Западной Африки, и его президентом избрали меня.

Те, кто обращался в ООН с жалобами и петициями, часто говорили: «Вы должны поехать и увидеть это своими глазами». Я действительно не мог в полной мере осознать, сколь ужасно все, о чем они рассказывали: грубость полиции, арест и тюремное заключение без юридической защиты, сфабрикованные судебные процессы, черные повсеместно приговариваются к ссылке и смертной казни, черные по закону лишены права голоса, черным запрещено объединяться в профсоюзы. Обо всем этом я слышал впервые. Англичане, правившие в Гайане, конечно, были искушены и в расизме и в политике дискриминации, но это не шло ни в какое сравнение со страшными историями, которые я слышал от южноафриканцев.

Правительство ЮАР отказалось признать вновь созданный Совет. Наши просьбы о разрешении посетить Намибию либо оставались без ответа, либо встречались категорическим отказом. Однако меня стала часто посещать мысль: а что, если в один прекрасный день правительство ЮАР возьмет и разрешит членам Совета посетить Намибию? И вместе со своими коллегами, черными и белыми, я попаду в Южную Африку? Разрешат ли нам путешествовать вместе, питаться вместе, жить в одном отеле? Или мы на себе испытаем все прелести расовой сегрегации? А может быть, нас, иностранцев и представителей ООН, расовые законы ЮАР не коснутся?

Только подумать: я, черный, попаду в страну, где мои братья ежечасно подвергаются жестоким испытаниям, и буду от этих жестокостей огражден. Злая получится шутка. Как же отнесутся ко мне сами африканцы, коль скоро правительство ЮАР дарует мне свою «защиту»? Буду ли я для них черным «братом» или же просто представителем ООН, которого, правда, угораздило родиться с черной кожей, но которому скорее всего нет дела до их бедствий?

В начале 1973 года — к тому времени я уже давно расстался с ООН — приятель прислал мне заметку из одной южноафриканской газеты; в ней говорилось, что запрет на книги Э. Р. Брейтуэйта в ЮАР снят. Я очень удивился и тут же позвонил генеральному консулу ЮАР в Нью-Йорке. Сказал, что только что узнал о снятии запрета с моих книг и в этой связи интересуюсь, не снят ли «запрет» и с самого автора.

Генеральный консул был любезен и мил, он пребывал в счастливом неведении относительно меня самого, моих книг и запрета на них. Проверить, являюсь ли я для ЮАР персоной «нон грата», очень просто, сказал он: нужно обратиться к правительству ЮАР за визой. Так я и поступил.

Пять месяцев Претория молчала, я уже свыкся с мыслью, что никакой визы не получу, как вдруг раздался звонок от генерального консула. Виза пришла. Первой моей реакцией было острое отчаяние. Теперь, когда путь свободен, перспектива поездки страшила меня. Но в то же время под каким предлогом я могу отказаться? Я ведь полностью солидарен с критиками расистского режима в ЮАР, сам являюсь таковым. Почему же не увидеть своими глазами, что там делается, как советовали многие из них? Ведь в конце концов я всего лишь гость и смогу оттуда уехать, когда захочу. И все-таки — а выдержу ли я, пусть даже недолго, унижения, ограничения и ущемления, с которыми неизбежно столкнусь в ЮАР?..

Когда стюардесса объявила, что самолет над Иоганнесбургом, я начал мысленно готовиться к первому испытанию. Как вести себя при виде таблички «Только для белых», предстоит ли мне сразу столкнуться с дискриминацией во время паспортного и таможенного контроля?

Оказалось, что паспортный контроль осуществляется отдельно для граждан ЮАР и для иностранцев. Паспортист и таможенник обслужили меня беспристрастно и вежливо, и вот я уже выходил из здания аэропорта, готовый к встрече со всем, что ожидало меня в течение следующего месяца.

Отель был выстроен недавно, он располагался на краю делового квартала и солидно возвышался над оживленным уличным потоком, а окнами смотрел на парк, зеленый оазис среди стали, стекла и бетона. Не успела машина остановиться, как двери

отеля распахнулись и появился швейцар — высокий мускулистый черный. Выглядел он шикарно: серый цилиндр, серо-жемчужный фрак, черный галстук, начищенные до блеска черные башмаки. Он помог мне выбраться из машины и с широкой улыбкой приветствовал меня на неизвестном мне африкаанс, но тут же понял свою ошибку и перешел на английский.

Внутри отель выглядел еще более внушительно. Просторный вестибюль был утыкан кожаными креслами, напоминавшими островки в безбрежном море. Широкая деревянная лестница декорирована прекрасно выполненной резьбой по дереву. Белые сотрудники гостиницы — сама вежливость, само внимание, словно им хорошо известно о моем приезде. Кругом обслуживающий персонал в серых костюмах. Ко мне с положенным апломбом подходит администратор.

— Доброе утро. Надеюсь, хорошо долетели?

— Спасибо, все в порядке.

— Очень рады, что вы остановились у нас.

Он подводит меня к столу, на котором лежат ручки и регистрационные карточки, показывает, что нужно заполнить и где подписаться. Затем провожает меня в номер, большой, удобный и прохладный. Мой багаж несут двое носильщиков. Оба они — черные и, я замечаю, не сводят с меня глаз. Когда администратор уходит, один из них обращается ко мне, видимо, на каком-то из африканских диалектов.

— Не понимаю,— отвечаю я.

— Вы не африканец? — спрашивает он по-английски.

— Нет.

— А откуда вы?

— Из Гайаны.— По лицам вижу, что для них это — пустой звук.

— Где это?

— В Южной Америке.

— Мистер Боб Фостер тоже из Америки. Вы знаете мистера Боба Фостера, сэр?

— Нет. А кто он?

— Чемпион по боксу.— С гордостью:— Он останавливался здесь, в этом отеле.— Смотрит на меня так, словно сказано что-то очень важное. Я понимающе киваю.

— А вы боксер? — спрашивает он.

— Нет. Я пишу книги.

Интерес его ко мне тотчас же гаснет — видимо, не боксеры ему безразличны. Позже я узнал, что Боб Фостер не просто останавливался здесь, но был почетным гостем и разрезал ленточку при официальном открытии отеля. Узнал я также, что именно в этот отель меня отвезли не случайно.

По законам ЮАР отель имеет право предоставить жилье человеку с небелой кожей только при получении специального разрешения, и такие разрешения выдаются довольно редко. К «небелым» относятся черные, азиаты, а также метисы (или «цветные»). Ирония заключается в том, что принимать гостей с небелой кожей имеют право лишь пять отелей высшего разряда. Речь, разумеется, идет об иностранцах — у местных «небелых» не хватит средств на жизнь в этих отелях, и в любом случае для них это — полнейшее безрассудство. Приезжие «небелые» получают статус «Почетный белый», что лишь усугубляет двусмысленность их положения. Это якобы делается для того, чтобы оградить этих гостей от разного рода неловкостей и неудобств, которых иначе не избежать. Впервые, как я выяснил, этого звания удостоились японские бизнесмены, приехавшие осваивать южноафриканский рынок для своих компаний. Подвергать их унизительным ограничениям было нельзя, и власти решили на время пребывания в Южной Африке их «обелить». С той поры все небелые иностранцы именуются в ЮАР «Почетными белыми».

В тот же вечер я впервые в ЮАР пошел в гости. Хозяйка — Элен Сузман — знала меня по письмам нашего общего нью-йоркского друга. Депутат прогрессивной партии в парламенте ЮАР, она была известна как решительный критик апартеида. Она пригласила меня на обед, на котором должны были присутствовать и некоторые из ее друзей. По ее предложению я приехал чуть раньше, до прибытия остальных гостей.

— Что ж, добро пожаловать в Южную Африку. Надеюсь, ваша поездка не пройдет впустую, и вы увидите и услышите немало интересного.

— Спасибо.

— Сколько времени вы собираетесь пробыть в ЮАР?

— Сколько выдержу,— ответил я.

— Ну, с виду вы — человек крепкий,— засмеялась она.

— Я имел в виду не физическое, а моральное состояние,— уточнил я.

— Я тоже. Где намерены побывать, куда хотите поехать?

— Для поездок за пределы Иоганнесбурга я заказал машину с водителем. В городе же, наверное, буду пользоваться общественным транспортом. Ну, а посмотреть хотел бы как можно больше, особенно районы, где живут народности банту.

— Теперь эти районы называются «национальными очагами».— Она улыбнулась.

придав словам чуть ироническое звучание.— Один совет. Это не Лондон и не Нью-Йорк. Вы не можете сесть в первый попавшийся автобус или остановить первое попавшееся такси. Раз уж в вашем распоряжении машина, пользуйтесь ею. Вы поняли?

— Понял.

— Не нужно лишний раз подставлять себя под удар.

— Это, пожалуй, и будет самым трудным. С одной стороны, хотел бы избежать осложнений для себя, с другой — должен получить ясное представление о том, какой жизнью живут черные в этой стране. Вряд ли я что-нибудь узнаю, если буду заботиться о собственных удобствах и душевном комфорте.

— А если вас станут оскорблять и третировать — радости тоже мало. Хотите знать, как живут черные в ЮАР,— спросите их самих. Может, они и не скажут вам, но вы все равно попробуйте.

— Почему не скажут?

— Неизвестно, захотят ли они довериться вам.

— Что ж, попробую. Вы познакомите меня с кем-нибудь из них?

— Боюсь, это вам мало что даст. Кое-кто из них обращается ко мне, но едва ли они мне доверяют. И можно их понять. На их месте я бы поступала точно так же.

— В Нью-Йорке мне сказали, что вы, вероятно, единственная представительница белых в парламенте, кто выступает в защиту черных.

— Не совсем так. Я выступаю против правительственной политики репрессий. Против деспотических методов, которыми эта политика навязывается нашим гражданам, черным и белым. Против домашних арестов, преследования и тюремного заключения, которым подвергают тех, кто критикует правительство. Против того, что все черные лишены права голоса. Короче говоря, думаю, правильнее было бы сказать, что я выступаю против несправедливостей в нашем обществе вообще, а не в защиту какой-то определенной группы...

Постепенно стали собираться гости. Большинство из них были африканерами, представителями основной группы южноафриканских белых, сторонниками правящей партии националистов. Не знаю, подготовила ли их хозяйка к встрече со мной, но я сразу же почувствовал их желание выглядеть общительными людьми, свободными от расовых предрассудков. Мою руку они уж слишком сильно пожимали, уж слишком сердечно улыбались.

— Позвольте задать вам вопрос,— обратился ко мне один из гостей.— Было ли у вас какое-то мнение о нашей стране, когда вы решили приехать к нам?

— Разумеется.

— Может быть, вы им с нами поделитесь?

— Почему же нет? — Выложу им то, что думаю, интересно, как они будут реагировать.— Откровенно говоря, мнение было отрицательное. Сформировалось оно во время бесед с белыми гражданами ЮАР, чиновниками и бизнесменами, которые пытались защитить ваш строй, и давалось им это мучительно трудно. Встречался я и с другими белыми южноафриканцами, в основном церковниками. Совесть заставила этих людей выступить против расизма, и они были подвергнуты домашнему аресту, высылке, а иногда и тюремному заключению. Но больше всего на меня повлияли рассказы черных из ЮАР и Намибии, ставших жертвами этого режима и чудом сумевших спастись.

— Что ж, может быть, теперь ваше отношение к нам изменится,— заметил другой гость, банкир.— Мы будем рады вам в этом помочь, если вы, конечно, сумеете подавить предвзятость. Во многих странах к нам относятся с предубеждением, не имея ни малейшего понятия о том, как мы пришли к нынешнему состоянию, что представляем собой как государство, как складывались отношения между нами и банту.— Он сделал паузу, улыбнулся.— Наши предки сражались с народом банту и покорили его, и, как любой покоренный народ, банту оказались в подчинении. С покоренными никогда не обращаются как с равными, такое равенство может быть продиктовано только определенными политическими и экономическими условиями. Банту количественно превосходят нас как минимум раз в десять, и мы не можем допустить, чтобы сейчас или в ближайшем будущем создались условия, которые ускорили бы возникновение конфликта между ними и нами. Мы должны защитить себя от такой опасности. Иностранцам этого не понять. В общем-то, мы живем в страхе перед банту.

— Вы? В страхе перед ними? Я провел здесь несколько часов, и мне показалось, что все обстоит наоборот. К тому же более ста лет назад живших здесь африканцев полностью разоружили, разобщили, лишили права голоса, поработили. В ваших же руках — экономическая власть, армия, оружие. И когда вы говорите, что боитесь их, это звучит по меньшей мере двусмысленно.

— Не так-то все просто,— возразил банкир.— Вы, я думаю, согласитесь, что меньшинство даже с помощью самого изощренного оружия не всегда в состоянии выдержать решительный натиск безоружной или плохо вооруженной толпы.— На губах его заиграла улыбка, словно он заранее отметал такую возможность.— Все же мы надеемся, что до испытания кровью дело не дойдет. Вам, наверное, говорили, что мы категорически против каких-либо перемен. Это не так. Мы — за перемены, если они упорядочены. Мы — за эволюцию: каждый эволюционирует естественным путем, с

естественной скоростью, вместе с себе подобными. Революция — вот против чего мы возражаем.

— Если вы искренне желаете вашим черным согражданам добра,— сказал я,— почему бы не поговорить на эту тему с ними? Пусть они сами убедятся в том, что ваши слова о доброй воле — не просто слова.

— Возможно, вы правы,— не стал спорить банкир.— Но пока что мы имеем возможность поговорить с вами. Вы представляете для нас мировое общественное мнение, и я бы не сказал, что оно нам безразлично. Иностранцам вряд ли известно, что определенные перемены у нас все же происходят. Например, в спорте.

— Вы говорите о матче между вашим чемпионом и чернокожим боксером из США? Который выиграл американец? — сознательно добавил я, чтобы хоть чуть-чуть пробить броню их уверенности в своей правоте. Но это замечание осталось без внимания.

— О нем, но не только. В нашем теннисном турнире участвовал черный — Артур Эш. Вам такие события могут показаться пустячными, для нас же это — важное начало. Могу привести еще один пример. Долгие годы я являюсь здесь, в Иоганнесбурге, членом клуба, вступить в который могли только белые африканеры. Белые, говорящие на английском, в него не принимались. Недавно по моей инициативе мы приняли в клуб такого человека. Как видите, медленно, но верно порядок вещей меняется.

— Каков же будет следующий шаг? Может быть, вы примете в свой клуб черного? — Я нарочно провоцировал их, но они были непробиваемы.

— Нет, в качестве следующего шага мы пригласим вас посетить наш клуб. Встретьтесь с членами клуба, твердолобыми консервативными бурами — мы ведь вам представляемся такими? Вы окажете нам любезность, если выслушаете нашу точку зрения. Соглашаться с ней не обязательно, но выслушать-то можно?

Остальных гостей это приглашение удивило не меньше меня. Даже поразило. Я посмотрел на банкира — глаза его лукаво поблескивали, гладкое лицо расплылось в улыбке. Разыгрывал ли он меня, зная, что я все равно откажусь? Или хотел таким образом остановить поток резкой критики?

— Возможно, наш гость предпочитает обличать издалека? — предположил кто-то из присутствующих.— Так, разумеется, проще.

— О себе я беспокоюсь меньше всего,— ответил я.— Мне просто интересно знать — почему вы приглашаете меня, а не кого-нибудь из ваших черных соотечественников? Если в этом приглашении скрыт какой-то вызов, не лучше ли адресовать его кому-то из них?

— Да, это вызов,— подтвердил банкир.— Вы, критик нашего строя, прибыли к нам в страну, и вот я говорю вам: пожалуйста, посетите одну из наших цитаделей. Да, это вызов, мистер Брейтуэйт, вы бичуете нас, хотя в действительности ничего о нас не знаете. И сейчас я, вопреки законам нашего клуба, приглашаю вас. Возможно, вам трудно оценить всю значимость такого шага. Это гигантский шаг.

Все смолкли в ожидании ответа.

— Хорошо,— сказал я.

— Значит, вы придете к нам?

— Да. Приду.

В тот же вечер я нанес еще один визит — знакомому моего лондонского знакомого, белому. Он заехал за мной и по дороге рассказал, что у него сейчас гости, собравшиеся для встречи со мной, все они — люди искусства, но любители, так как работать профессионально не имеют возможности. Южная Африка, пояснил он, богата и талантами, но их жестоко попирают, и искусству в ЮАР приходится бороться за право на существование. По дороге он показывал мне местные достопримечательности, в основном многоэтажные здания и сложные транспортные развязки.

Гостей оказалось пятеро — четверо черных и один белый. Я был слегка ошарашен, потому что хозяин и словом не обмолвился о цвете их кожи. В доме, из которого я приехал, черных среди гостей не было.

— Меня зовут Оби,— представился один,— а это Джеймс, Кебо и Молефе. Мы читали как минимум одну из ваших книг, «Учителю — с любовью». И когда Джон сказал нам, что сегодня вы будете у него, мы решили рискнуть и остаться в городе, чтобы встретиться с вами.

— Рискнуть? — переспросил я.— В каком смысле?

— Неужели не знаете? Черным запрещается находиться в городе в ночное время,— ответил он, смягчая эти горькие слова легкой улыбкой.

— Где же вы живете?

— Мы все живем за городом, в Соуэто. Но расскажите, как вы попали в ЮАР. Джон ничего не смог нам объяснить.

— Просто приехал познакомиться со страной,— ответил я.

— Разве вы не знаете, что ваши книги были здесь запрещены? — спросил Молефе. Это был невысокий плечистый человек с блестящей, лысой головой и крошечными

кустиками над верхней губой и на подбородке. Общее впечатление было несколько пугающим, казалось, этому человеку самое место на пиратском корабле.

— Знаю.

— Интересно,— продолжал спрашивать Молефе.— Как же они выдали вам визу?

— Но запрет был снят,— объяснил я. Мне становилось с ними как-то неуютно. Теплота, с какой они встретили меня, быстро таяла. Я взглянул на Джона — он что же, нарочно устроил мне подобную встречу?

— Какое это имеет значение? — вмешался Оби.— Все, что вы сказали в своих книгах, остается. Я читал ваших «Соседей поневоле». Едва ли в ЮАР найдутся белые, которые простят вам такие мысли. Поэтому мы и хотим знать, когда сняли запрет: до того, как вы обратились за визой, или после?

— До того. Я узнал об этом и обратился с просьбой о визе.

— И трудно было ее получить?

— Как будто не очень. Генеральный консул ЮАР в Нью-Йорке предложил мне официально обратиться за визой, и примерно через пять месяцев она была получена.

— Так просто? Никаких проволочек, никаких ограничений? Да они же решили использовать вас, неужели не ясно? — Это заговорил Кебо, голос его звучал низко и чуть вибрировал. Крупный красивый человек, я сразу представил его в роли Отелло.— Вы только подумайте,— продолжал он.— Сначала они запрещают ваши книги и ваш фильм. А потом что? Запрет снят, и вы получаете визу. Безо всяких ограничений. Какой же вывод? Правительство ЮАР идет по пути либерализации — вот какой! Они пускают сюда вас, черного, известного во всем мире критика расизма и расовой дискриминации. Это все не просто так, дружище. Артур Эш выступал в их турнире по теннису, Боб Фостер побил их белоснежного чемпиона. А теперь — вы. Вот и получается — либеральная Южная Африка.— Он махнул рукой, словно отметая лживый образ.

— Я приехал сюда, потому что сам этого хотел,— не согласился я.— И если даже ваше правительство так умно предвидит мои шаги, что из того? Мои глаза и уши остаются при мне. И голова пока работает нормально.

— Рады это слышать,— поддел меня Оби.

— Прекрасно сказано,— добавил Молефе, рот его скривился в ухмылке. Что за игру они со мной затеяли? Я взглянул на Джона, но тот смотрел куда-то в сторону.

— Когда уедете от нас, напишете о ЮАР книгу? — спросил Оби, улыбаясь своей мягкой улыбкой.

— Очень возможно.

— А как собираетесь передвигаться по стране? Общаться с людьми? Самостоятельно или вам будут показывать все «официально»?

— Как будет удобнее в каждом конкретном случае,— ответил я.— В Нью-Йорке мне сказали, что информационное бюро сделает для меня все необходимое. Буду вам очень признателен, если и вы кое-что подскажете.— Возможно, я чего-то не понимаю, и эти люди по-своему хотят быть мне полезными. Меня ведь предупредили, что особенного доверия от них ждать нечего. Наверное, так оно и есть. Жизнь приучила их быть осторожными, даже с другими черными. Естественно, они хотят знать, что привело меня в их страну, но, черт подери, зачем же сразу встречать меня в штыки?

— Информационное бюро! — воскликнул Оби.— К вам приставят гида и покажут то, что захотят. То, что принято показывать всем белым. Потом вы вернетесь домой и напишете, что жизнь в Южной Африке прекрасна.

— Ну что мы набросились на нашего черного брата? — вмешался вдруг Кебо.— Давайте расскажем ему, если он хочет, каково это — быть черным в ЮАР. Ведь, в конце концов, он приехал к нам и должен узнать, как с нами обращаются на земле его прародителей.— Кебо поднялся.— Я читал твою книгу, брат. Тебе было больно, когда из-за черной кожи тебя не хотели брать на работу, которой ты заслуживал. Считаешь, это трагедия? Здесь тебе не позволили бы даже подать заявление. Здесь черные не имеют права даже думать о приличной работе. Африканец имеет в этой стране одно право — возить дерьмо. Любую более достойную работу может выполнять только белый. Так гласит закон.

Он сунул руку в карман брюк, извлек оттуда плоскую потрепанную книжечку и резким движением раскрыл ее у меня перед носом.

— Вот оно — лицо черного в этой стране. Да, да, эта книжечка. От нее зависит наша жизнь. Из-за нее ты — ничто. Без нее ты меньше чем ничто. Брат! Твоя страна — в тысячах миль отсюда, но ты можешь взять и приехать сюда просто посмотреть, как мы живем! Виза — все, что для этого требуется. А мы не имеем права и шага ступить без этой книжицы, ни днем, ни ночью.

Он протянул ее мне. Это были тонкие печатные бланки-странички, скрепленные черной обложкой из искусственной кожи и расположенные в следующем порядке:

Страница 1. Адрес:

Разрешение работать в Иоганнесбурге ежедневно с 8 до 23 часов.

Страница 2. Для ежемесячной подписи нанимателя.

Страница 3. Марки-уплаты подушного налога.

(Подушный налог уплачивается не позже июня каждого года.)

Страница 4. Марки уплаты подоходного налога.

Страница 5. Трудовое законодательство банту.
Страница 6. Водительские права.
Страница 7. Для лицензии на право владения оружием.
(Это полнейшая фикция, потому что черным никакой лицензии на право владения оружием не выдается. Любой черный, у которого будет обнаружен хотя бы перочинный нож, подлежит аресту и судебному преследованию.)
Страница 8. Анкетные данные, а также данные жены и детей.
Страница 9. Фотография.

— Знаешь, когда мне хочется по-настоящему выть от унижения?— спросил Оби.— Когда я раз в месяц несу эту книжку на подпись. По правилам, ее должен подписывать наниматель, на деле такое право имеет любой белый, и обычно это доверяют самым младшим белым клеркам. Боже, как они над нами издеваются! Они так счастливы, что кто-то у них в подчинении... заставляют буквально ползать на коленях за этой подписью. И приходится ползать, брат мой. С каким удовольствием я задушил бы этих молодых подонков! Но без подписи нельзя, и приходится пресмыкаться. В «Соседях поневоле» ты говоришь, что чувство достоинства — это право, которое дается человеку с рождения. В ЮАР черные не имеют никаких прав, в том числе и на чувство достоинства.

Я нанес визит вежливости в информационное бюро — поставить их в известность о моем приезде и выяснить, какие формальности я должен соблюсти, чтобы максимально подробно ознакомиться с жизнью африканского населения страны. Меня приняли довольно любезно и заверили, что информационные бюро в любом городе страны с удовольствием окажут мне необходимую помощь. Никаких формальностей не требуется, за исключением случаев, когда я захочу посетить территории больших городов или пригородов, где проживают черные. Для поездки туда нужно иметь специальное разрешение от полиции. Это необходимо, как мне объяснили, для моей же безопасности: уровень преступности в этих местах очень высок, и власти обязаны взять меня под свою защиту. Я поблагодарил сотрудников бюро и сразу же выразил желание посетить Соуэто, крупнейший район, где проживает черное население Иоганнесбурга. Разрешение было получено немедленно, для сопровождения мне выделили белую девушку-гида, которая, как мне сказали, прекрасно знает Соуэто и сможет ответить на мои вопросы о поселении и его жителях. Белый гид расскажет мне об условиях жизни черных в районе, где не проживает и не имеет права проживать ни один белый? Но что же она может знать?

Соуэто является крупнейшим поселением черных в зоне юрисдикции Иоганнесбурга и отстоит от города на пятнадцать миль — достаточно, чтобы оградить белых от мерзости и грязи Соуэто, от частых вспышек насилия. Место расположения — естественная впадина, занимаемая территория составляет приблизительно тридцать четыре квадратных мили. В Соуэто и, соответственно, из него ведет только одна дорога (широкая, мощеная), которая в случае необходимости легко блокируется и перекрывается.

— Сколько жителей насчитывает Соуэто? — обратился я к гиду, когда мы остановились на возвышенности, с которой открывался вид на поселение. Белые невысокие домики-коробочки густо прижимались друг к другу, поблескивая в этот солнечный полдень, и мне вдруг вспомнилось сплошь усеянное могилами кладбище между Манхэттеном и аэропортом Ла Гардиа.

— Около шестисот тысяч.

Сразу же при въезде в Соуэто, напротив огромной Центральной больницы, хорошая дорога кончалась, словно дальше в ней не было никакой нужды. Теперь наша машина ехала по выбоинам и канавам, после недавно прошедшего дождя глубокая колея была полна водой. Ряд за рядом стояли блочные домики из бетона, на четыре комнаты, они отделялись друг от друга узким травянистым газоном, на котором росли деревца или чахлые кустики. Крыши кое-где — из бетона, в других местах — из оцинкованного железа. В каждом домике — четыре оконца и дверь. Наверное, по окну на комнату. Но как же они живут с раскаленными крышами?

— А вы в этих домиках когда-нибудь бывали? — спросил я гида.— По-моему, там внутри жуткая духота.

— Нет, нет,— ответила она.— Летом в них прохладно, а зимой тепло. Такая конструкция. Правда, я сама внутри ни разу не была. Так говорят строители.

Мы ехали дальше, в глаза бросалось унылое однообразие домишек, грязь и запустение на улицах, жалкая убогость лавчонок. Группы мальчишек праздно сидели возле лавок или бесцельно слонялись вокруг. Гид объяснила, что у школьников сейчас рождественские каникулы. Она показала мне достопримечательности, которыми, на ее взгляд, Соуэто может по праву гордиться. «Зоны пикников» — радующая глаз зеленая, хотя и неухоженная площадка; большой стадион, где проводятся все главные общественные и спортивные мероприятия Соуэто; детский сад для детей, чьи матери работают; пустая средняя школа... Мы въехали в школьный двор, и я заглянул в один из классов через разбитое окно. Ряды покрытых пылью деревянных столов, на стенах же ничего нет, даже карты. Мрачная картина...

Район, где живет местная «элита». Симпатичные бунгало, вокруг — аккуратно подстриженные лужайки, цветущие кусты и фруктовые деревья. Это была обитель малочисленной «черной буржуазии» Соуэто: местный врач, дантист, бакалейщик, владелец бензозаправочной станции и так далее. Этим людям, видимо, каким-то образом удалось вырваться из удушающих тисков нищенского существования — ценой немыслимых усилий и жестокой экономии. Все они начали с приобретения государственных домиков на четыре комнаты и постепенно, по мере возможности, обстраивались дополнительной жилплощадью. Удобства сооружались в этих домах за свой счет — водопровод, отопление, электричество. А земля — арендованная, и государство может забрать ее в любую минуту...

Я вернулся в отель, и вскоре раздался звонок. Звонил знакомый африканец-поэт. Мимоходом я упомянул, что только что ездил в Соуэто с гидом. Услышав о белом гиде, мой собеседник рассмеялся и сказал, что информационное бюро сыграло со мной такую шутку нарочно, чтобы я и приблизиться не мог к жителям Соуэто. Он вызвался отвезти меня туда или в любое другое место, где я смогу встретиться с людьми и поговорить с ними. Я вспомнил, что ездить в африканские поселения мне можно только по специальному разрешению. Поэт снова засмеялся: в Соуэто до меня никому нет дела. Я буду там черным среди черных, только и всего. «А для белых мы все на одно лицо, верно?» И я согласился рискнуть и поехать с ним.

В назначенный день мы встретились у входа в отель и отправились в Александру, это в шести милях за городом в противоположную от Соуэто сторону. Мы пересекали прелестные окраины Иоганнесбурга: широкие, чистые улицы, шикарные виллы, окруженные ухоженными лужайками, ровнехонькими живыми изгородями, обязательными искрящимися голубизной бассейнами. Всюду по пути нам попадались отдельные автобусные остановки для черных и для белых.

Первое впечатление, которое произвела на меня Александра,— огромная помойка. Везде громоздились кучи мусора, словно жители давно прекратили с ним бороться и махнули на это безобразие рукой. В Соуэто я видел хоть и разбитые, но все-таки дороги, хоть и уныло-однообразные, но все-таки домишки, здесь же, в Александре, дороги заменял путаный клубок узких, заваленных мусором тропинок, вытоптанных на голой земле многими тысячами человеческих ног, тропки эти там и сям бежали через мелкие лощинки и овраги, а иногда и просто терялись в буйных зарослях сорной травы. Когда-то аккуратные домики превратились в дышащие на ладан развалюхи, залатанные где жестью, где картоном, где просто пластиковыми полосами, их убожество еще больше подчеркивалось уродливыми жестяными строеньицами, разбросанными вокруг каждого домика. Из середины этой мусорной кучи вырывались вверх два десяти- или двенадцатиэтажных прямоугольных здания из красного кирпича строго делового вида, они как бы презирали царящее вокруг запустение, хотя были от него неотделимы.

Это были общежития для черных — дешевой рабочей силы, столь необходимой для многочисленных промышленных объектов, росших вокруг Иоганнесбурга словно грибы. Архитектурный замысел общежитий прост — разместить как можно больше людей на минимальном пространстве, и здания эти с крохотными комнатенками-сотами напоминали перенаселенные ульи. Так называемые удобства — холодная вода и туалеты — имелись только на одном этаже.

Большинство африканцев, работающих в Иоганнесбурге и на его окраинах,— это молодежь, родившаяся в гетто, подобных Соуэто и Александре. Очень многие приезжают сюда работать из Трансвааля, Транскея, Зулуленда и других районов страны, хватает здесь и иммигрантов из Родезии, Ботсваны, Лесото, Свазиленда и даже Мозамбика. Приезжим рабочим запрещается привозить с собой жен, и семьи они могут навещать лишь раз в году, на рождество, когда им разрешается съездить домой.

— Общежития всегда переполнены, и освобождающиеся места мигом занимают,— пояснил мой спутник.

— А где живут рабочие, которые ждут места в общежитии?

— Вы действительно хотите посмотреть?

Он повел меня в сторону хибар, путь наш лежал через груды мусора, мимо частично огороженной, но не покрытой сверху ямы, которая, видимо, использовалась как общественный туалет. Рядом была водопроводная труба с краном. Мы вошли в один из этих жалких домишек, мой спутник постучал в какую-то дверь, распахнул ее, и мы оказались в убогой клетушке примерно два с половиной на два с половиной метра. Хотя на улице ярко светило солнце, в комнате стояла почти полная темнота. Единственное окно было наглухо заложено джутовой мешковиной. Возле одиноко горевшей свечи, сгорбившись, сидел молодой парень и что-то ел, доставая пищу руками из металлической миски. У каждой из трех стен — по койке, парень сидел на краю одной из них. В комнате, сказал он, живет шесть человек, спят по двое на койке. Ни электричества, ни воды, ни туалета, ни солнца, ни воздуха. Все время на глазах у других.

— О, господи! — вырвалось у меня.

— Доходит, да?— спросил мой спутник.— Не так-то просто остаться человеком, если живешь в такой вот комнате!

— И что же, эти рабочие не предпринимают никаких действий?

— Действий? О каких действиях вы говорите? В этой стране ты либо работаешь, либо подыхаешь с голоду. Получил работу — держишься за нее обеими руками, потому что знаешь — стоит тебе поскользнуться, на твое место сразу выстроится очередь. Действовать! Забастовку, что ли, устроить? Так не успеешь оглянуться, как окажешься за решеткой! С черными тут не очень-то церемонятся, не забывайте.

Неудивительно, что белая переводчица ни словом не обмолвилась о том, в каких условиях живут приезжие рабочие. А ведь за жизнь в такой барсучьей норе им еще приходится платить!..

— Ну что, хотели бы пожить здесь недельку-другую? — с кривой улыбкой спросил поэт.— А люди живут, растят здесь своих детей. Да, да, здесь, в этих гнусных дырах! Боже мой, ведь это бесчеловечно!

— Согласен.

— Ах, вы согласны? — Он круто повернулся ко мне, кожа на его худом лице натянулась от гнева.— Вы согласны! Что ж, это очень великодушно с вашей стороны. Только через несколько минут вы отсюда уйдете, уйдете в свой шикарный отельчик. Примете горячую ванночку и смоете все воспоминания об этих омерзительных трущобах. Согласны! Это мило. Очень мило! Мы тоже согласны, но нам приходится жить в этом дерьме. И платить за это удовольствие. Это вы понимаете? Платить за право жить в этих грязных, вонючих дырах!

В один из вечеров я попросил швейцара отеля вызвать такси, чтобы съездить в Парктаун, жилой квартал Иоганнесбурга, куда меня пригласили на обед. Когда такси подъехало, швейцар распахнул для меня дверцу и дал белому водителю адрес. Машина тронулась, но я видел, что водитель сосредоточенно рассматривает меня в зеркальце. Наконец, он не выдержал:

— Вы из Ботсваны?

— Нет. Я не африканец.

— А-а, значит, вы почетный гость из-за океана.

Он был очень доволен собой, словно угадал ответ на главный вопрос в телевизионном конкурсе.

Когда я расплачивался, водитель протянул мне карточку с названием и номером телефона его таксомоторной фирмы. Вечером, собираясь возвращаться, я позвонил по этому номеру и заказал машину. Потом простился с хозяевами и вышел на улицу. Вскоре подъехало такси.

Я открыл дверцу, чтобы сесть, но водитель остановил меня:

— Эй, погодите-ка минутку. Это не для вас.

— Почему не для меня?

— Это такси для белых. Возить небелых не имею права.— И он протянул руку, чтобы захлопнуть дверцу.

Итак, это случилось. Как ни старались местные власти все предусмотреть, «оградить» меня, это все-таки случилось. Меня вдруг охватил гнев при мысли о том, что вот сейчас машина уедет, а я останусь стоять здесь, беспомощный, в незнакомом месте за несколько миль от центра города. И я решительно влез в машину.

— Я вас не повезу,— стоял на своем водитель.

— Значит, будем сидеть здесь до второго пришествия! — Мой гнев вырвался наружу.— Я заказал такси, и вы приехали, чтобы отвезти пассажира в отель «Ленддрост», так или нет? Этот пассажир — я, и из машины не выйду, провалиться мне на этом месте!

Не говоря ни слова, водитель развернул машину и повел ее в сторону города.

— Чертов диспетчер не сказал мне, что вы — черный,— пробурчал он.

— Откуда он мог знать? По телефону не видно.

— Не думайте, что это лично я не хочу возить черных. Я тут ни при чем. Это закон. Если я везу человека с темной кожей и меня остановит полицейский, могут улыбнуться мои права, а вместе с ними — и работа. Но раз вы — почетный гость, наверное, все в порядке.

Каков мерзавец! Он был готов бросить меня на улице только из-за цвета моей кожи!

— Вам что же, сообщают, белый будет пассажир или черный?

— Да нет, ведь обычно мы черных и цветных не возим.

— Между прочим, сюда я тоже приехал на такси. Среди бела дня, и водитель прекрасно видел, что я — черный. И он не сказал мне, что возить черных ему запрещено. Или политика вашей фирмы меняется в зависимости от времени дня? А может быть, это зависит от водителя?

— Политика не меняется, но...

— Но возить черных вы не хотите,— перебил его я.

Я откинулся назад, подавляя в себе желание высказать ему все, что было у меня на душе. К чему метать бисер перед свиньями? Ведь через пять минут этот мерзавец поступит точно так же.

На следующей неделе я договорился встретиться с молодым индийцем, жившим в нескольких кварталах от моего отеля, в «индийском» районе. Он недавно отбыл срок в тюрьме для политических заключенных на острове Роббен Айленд. Остров находится в семи милях от Кейптауна, в тюрьме томятся несколько сот политзаключенных, все небелые, осужденные на сроки от одного года до двадцати и более лет.

В свое время этот молодой индиец был редактором и активным распространителем информационных бюллетеней, в которых резко критиковалась расистская политика правительства. Его арестовали, судили в соответствии с «Законом о подавлении коммунизма» и приговорили к десяти годам тюрьмы без права обжалования. Теперь, после освобождения, этот молодой еще человек находился под надзором полиции, в частности, ему запрещалось принимать гостей. Мы заранее договорились, что в случае появления полиции или агентов службы безопасности я скажу, что пришел к его брату, жившему в том же доме.

Узнав, что я в Иоганнесбурге, индиец захотел встретиться со мной, чтобы «раскрыть мне глаза». Он утверждал, что правительство ЮАР намеренно приглашает именитых черных из-за океана, показывает им некоторые изолированные аспекты жизни в ЮАР и рассчитывает на то, что они, видя все сквозь розовые очки, выскажутся в поддержку существующего в стране режима. Именно так и получилось с Бобом Фостером.

— Вы знаете, что заявил этот черный янки? Ему, мол, так здесь понравилось, что он серьезно подумывает: а не выстроить ли себе здесь дом? — Он фыркнул.— Кретин, он даже не понимает, что, стоит ему поселиться в Иоганнесбурге, его, как и остальных черных, загонят в Соуэто или Александру. Он-то, разумеется, имел в виду нечто похожее на шикарный номер в отеле «Ленддрост», где, кстати, остановились и вы.— И он взглянул на меня так, словно я был виновен не меньше Фостера.

— Приезжим черным предлагают на выбор только три отеля,— напомнил я ему.

— Знаю, знаю. Конечно, выбора у вас не было, и все же люди, подобные вам, Фостеру и Эшу, отбрасывают африканское движение на десятилетия назад. Тем, что приезжают сюда. Тем, что позволяют нашему правительству использовать сам факт таких визитов как щит против обвинений в дискриминации.

До меня, наконец, дошло, что он пригласил меня не для того, чтобы рассказать о жизни на Роббен Айленде (хотя он и отвечал на мои вопросы),— нет, ему нужно было выразить свое отношение к моему приезду в ЮАР. Он мельком сказал, что хотел встретиться и с Фостером, и с Эшем, но это ему не удалось.

— Вы и оглянуться не успеете, как эти сукины дети заморочат вам голову. Придет время уезжать, будете вовсю петь под их дудочку. Вернетесь в Штаты и расскажете там, как свободно вы передвигались по стране. Никто вам не мешал, ходили, куда хотели, а стало быть, нет никакого полицейского государства. И получается, что все мы здесь — просто-напросто трепачи, верить нашей трескотне нечего. Верно? Они накачают вас вином, накормят до отвала и докажут, что человек достойный и образованный в жизни пробьется всегда, даже если он — черный. А ленивые банту — куда им с вами тягаться? Их нужно запереть в гетто и погонять палкой, тогда хоть как-то будут шевелиться. Правда, эти самые банту лишены права голоса, не имеют возможности получить хорошее образование, им запрещено отстаивать свои интересы перед нанимателем и претендовать на работу, которую они хотят делать,— но об этом вам не скажут ни слова. Вам скажут, что вы не такой, как они, и, в конце концов, вы им поверите — помяните мое слово.

— Думайте что хотите,— бросил я.

Он не первый, кто говорит мне такое. Но почему? По какому праву мне бросают такие упреки? Они сидят в своем мерзком гетто и хотят, чтобы весь мир узнал об их недоле. Прекрасно. Вот я и приехал посмотреть своими глазами. Меня никто не посылал, я сам хотел приехать. Так расскажите же мне, как вы живете, и я напишу об этом. Но черные братья встречают меня с подозрительностью и даже с отвращением.

— Я ведь хочу вам помочь, хочу, чтобы вы поняли,— продолжал индиец.— Здесь закон выкрашен в белый цвет. Черные не могут взывать к закону, потому что он — не для них. Они не могут требовать справедливости — она тоже не для них. Законы пишутся для людей. А черные здесь — это же не люди, стало быть, на закон и справедливость рассчитывать им нечего. Известно ли вам, что небелые в этой стране лишены права на голосование? Нас даже не включают в списки во время переписи населения! Нас здесь просто нет! Какая мерзость!

— К сожалению, мне пора. У меня есть кое-какие дела.

— Дела? Наверное, приглашение на обед? К кому-нибудь из ваших белых друзей? — Он усмехнулся.

— Возможно.— Как больно он умеет жалить!

Он подошел ко мне и дружелюбно тронул меня за руку.

— Приходите еще раз, друг. Обещаю не ершиться.

— Не мучайтесь из-за меня.

— Из-за чего же тут мучаться? Жить здесь — вот настоящее мучение. Ведь я, черт подери, даже не могу проводить вас до двери. Может, какая-нибудь скотина стоит возле дома напротив. И если кто увидит, что я разговариваю с вами, меня могут запросто прийти и забрать. Хороша жизнь, нечего сказать! Как же мне не завидовать вам! Вы,

приезжий, можете идти куда вздумается. А я, родившийся в этой стране, не имею права выйти на улицу. Что ж, доброй ночи, дружище.

Я ушел, но горькие слова еще долго звучали в моих ушах. Я хотел услышать от него рассказ о годах, проведенных в тюрьме, вместо этого он подверг сомнению сам смысл моего приезда в ЮАР. Неужели он прав? Я знал, что глубоко сочувствую черным ЮАР в их трагедии, я легко мог представить себя одним из них. Я был гражданином другой страны — это, и только это, спасло меня от подобной судьбы. Да, я не хотел бы жить, как они, но ведь и они этого не хотели. Я был готов встречаться с ними когда угодно, учиться у них, ближе узнавать их. Я не ждал инициативы с их стороны. Я искал их сам. Но даже этого было недостаточно. На меня все равно падала тень подозрения.

В отеле мне позвонила представительница администрации и поинтересовалась, все ли у меня в порядке.

— Если могу быть вам в чем-то полезной, пожалуйста, не стесняйтесь,— предложила она свои услуги.

— Все, что мне требуется сейчас от жизни,— это горячая ванна, прохладительный напиток да, пожалуй, хорошая кинокомедия,— шутливо ответил я.

— С ванной и напитком проблем никаких,— подытожила она.— А с фильмом дело немного посложнее. Но если вы действительно хотите пойти в кино, скажите мне, на что именно, я позвоню туда и все улажу.

— Зачем звонить? И что нужно улаживать? Не понимаю.

— Если вы не против, я сейчас поднимусь к вам в номер и все объясню,— сказала она. Вскоре она уже сидела напротив меня, блондинка с хорошими манерами, деловитая и уверенная в себе.

— Я должна объяснить, как обстоит дело с кинотеатрами здесь, у нас в ЮАР,— начала она.— В основном они обслуживают только белых. Мы их называем «бижу». Есть кинотеатры для цветных и для черных, в их кварталах. Свой кинотеатр есть и у индийцев. Короче говоря, все кинотеатры в Иоганнесбурге — только для белых. Вы, как почетный гость нашей страны, находитесь на особом положении. Поэтому я уверена, что если вы хотите посмотреть какой-то фильм, я позвоню в кинотеатр и никакой проблемы не будет.

— Вы хотите сказать, что я не могу просто прийти в кассу и купить билет?

— Боюсь, что нет. Увы, таков закон.

— Значит, если я хочу пойти в кино, я должен сначала купить билет, а потом испросить разрешения войти, так?

— Ну нет, не совсем так. Во всяком случае мы, сотрудники отеля, сделаем все необходимое для того, чтобы вы не чувствовали никакой неловкости.

Я поблагодарил ее, и вскоре она ушла. Что ж, выбора у меня не было, я принял ванну, поставил перед собой бутылку холодного пива и пристроился за письменным столом с карандашом и бумагой — привести в порядок впечатления от дней, проведенных в этом прекрасном городе, в этом очень неуютном обществе.

На следующий день была назначена встреча в клубе бизнесменов-африканеров, которую организовал банкир после нашего разговора в мой первый в ЮАР вечер. Клуб, как я и ожидал, оказался изящным зданием из красного кирпича, соответствующий фон ему создавали заботливо взращенные деревья, подстриженные лужайки и цветочные клумбы. Повсюду, от входных дверей — прислуга в форменной одежде, все до единого — черные, готовые откликнуться на первый зов господина. Мой приход их явно озадачил — до сих пор черные появлялись в этом здании только в качестве слуг.

В ожидании остальных гостей банкир и я расположились в комфортабельной гостиной, выпили по бокалу шерри. Мне пришло в голову, что сейчас мы нарушали закон, по которому черным запрещено употреблять алкогольные напитки в одной компании с белыми. Эта мысль так меня позабавила, что я поделился ею с банкиром.

— Но можно ведь поставить вопрос и по-другому,— с улыбкой ответил он.— Вы — заокеанский гость, всемирно известный писатель. И на время пребывания в ЮАР вы удостаиваетесь почетного права называться белым.

Этим он сразу же все испортил. Настроение легкого дружелюбия, с каким я пришел к ним в клуб, полностью рассеялось, уступив место едва сдерживаемому гневу. Я поставил бокал и взглянул на собеседника. Какое безграничное самодовольство! Они уверены, что по своей прихоти могут взять и изменить цвет моей кожи. Даже не изменить, а просто не заметить его, когда им это удобно. Но нет, достаточно одного взгляда, чтобы понять — моя черная кожа жжет им глаза, от нее невозможно спрятаться. При знакомстве все они вели себя одинаково: торопливое «рад с вами познакомиться», настолько торопливое, что пропадал смысл слов,— и тут же шаг в сторону. Мое рукопожатие было намеренно крепким.

После обеда я был официально представлен аудитории, и мне предложили выступить. Я сказал, что на меня произвел прекрасное впечатление Иоганнесбург и его цветущие окраины, однако неприятно поразило другое: черные в этом обществе были практически полными изгоями. Они встречались на каждом шагу, были заняты на всех видах подсобных и самых тяжелых работ, при этом вносили немалый вклад в экономическую жизнь страны, хоть и выполняли свои обязанности неохотно, по необходимости, потому что им отказано в праве полностью использовать свои возможности. Я задал вопрос: как же общество может претендовать на прогресс, если вклад основной части населения сознательно ограничен до минимума? Мне представлялось, что при таком положении общество несет колоссальные потери, и виной тому — доведенная до абсурда расовая дискриминация.

Они выслушали меня в полном молчании, но, когда я сел, яростно принялись отстаивать свою правоту. Они уверяли, что экономическое положение черных в ЮАР гораздо лучше, чем в любой другой части Африки. Что хотя в стране и имеются ограничения на профессии, выгодные для белых, каждый гражданин получает по своему труду, и что, если какие-то наниматели и пытаются обойти закон, это, как правило, иностранные фирмы, в особенности американские.

Я провел в стране слишком мало времени, твердили они, и не могу судить о сложной проблеме трудовых ресурсов, в частности, о гранях ее, связанных с ролью черных. В большинстве случаев они способны выполнять только простую физическую работу. Они и сегодня почти ничем не отличаются от своих первобытных предков и чувствуют себя счастливо в условиях примитивного сельского быта, живя так, как жили их отцы и деды. С другой стороны, суровые с виду условия их городского бытия неверно называть невыносимыми, потому что по сравнению с привычной для черных жизнью у земли здесь налицо явный прогресс. Это коммунисты и прочие деятели из других стран забивают им головы дурацкими идеями: черные, мол, обделены судьбой, влачат жалкое существование. Да, черным не позволяют перевозить в города свои семьи, это привело бы к слишком большой миграции, к тому же возникли бы проблемы с жильем, питанием, обучением их детей. И так далее и тому подобное. Старые, набившие оскомину клише, которые, кстати, произносились возбужденно и запальчиво. Я слушал их, с трудом подавляя растущее раздражение. Ведь я так же черен, как люди, о которых они говорили.

Но я — иностранец. Сегодня я здесь, завтра уеду. Я был им не опасен, и они щедро расходовали на меня свое время и красноречие.

Я решил посетить Транскей, один из официально выделенных правительством «национальных очагов». Самолет за час доставил меня из Иоганнесбурга до Дурбана, где есть аэропорт — ближайший от Транскея. Там меня ждала машина, и мы сразу отправились в Умтату, главный город Транскея, до которого было триста пятьдесят миль. Я полагал, что в этом резервате, который, возможно, скоро обретет независимость и где африканского населения подавляющее большинство, управление на всех уровнях политической, общественной и экономической жизни находится в руках черных. Вскоре я понял, что этого нет и в помине.

Вид у столицы Транскея был эффектный и процветающий. Выставочные залы автомобилей и сельскохозяйственных машин, большие магазины, бензозаправочные станции, несколько отелей — словом, все, что положено иметь большому городу. Однако владели всем этим богатством белые. Никаких признаков того, что даже здесь, на своей законной территории, африканцы имеют хоть какую-то экономическую власть. Мы проехали мимо чистенького нового полицейского участка; у входа, лениво подперев плечом дверь, стоял белый полицейский и разглядывал недавно выстроенное на противоположной стороне улицы многоэтажное правительственное здание. Да, процветающий город, чувствовалось, что потенциал для роста и развития здесь очень велик. Сплошь и рядом — африканцы, но не у власти, только на самых второстепенных ролях.

Правительство официально объявило о том, что «национальные очаги», подобные Транскею, в конечном счете получат независимость. Но где экономическая основа для этой независимости? Все предприятия в Умтате принадлежат белым, прибыль, естественно, выкачивается за счет черных. Я спросил об этом сотрудника бюро информации. Он объяснил мне, что по правительственному плану предполагается постепенная передача всех предприятий в руки африканцев. Белым бизнесменам предлагалось активнее нанимать черных и обучать их искусству управления. Когда обучаемый созреет для того, чтобы самостоятельно управлять производством, правительство купит бизнес у белого владельца по текущим рыночным ценам и перепродаст его в кредит прошедшему подготовку африканцу — новому хозяину. Я сказал, что ничего не слышал о том, чтобы такая подготовка велась на практике. План был разработан только недавно, ответили мне, и постепенно начинает проводиться в жизнь. Но виденные мной предприятия явно свидетельствуют о процветании, возразил я, какой же владелец согласится так просто расстаться с ними? Умтата — это крупнейший и экономически наи-

более развитый из городов Транскея. Не представляю, какой бизнесмен оставит такую золотую жилу. На этот вопрос у сотрудника бюро информации не нашлось ответа.

В Дурбане я сделал несколько звонков, знакомым знакомых из Иоганнесбурга, и вскоре встретился с одной индианкой, врачом. Она сразу же заговорила на интересную тему.

— Вы не слышали? — обратилась она ко мне.— Черные подняли бунт в Новой Германии.

— А где это — Новая Германия? — спросил я.

— Недалеко. На окраине. Там текстильный комплекс, их вокруг Дурбана несколько. Используют дешевую рабочую силу, индийцев и африканцев, а платят, только чтобы не умерли с голоду. Так вот, рабочие подняли забастовку. Наверное, что-то там случилось из ряда вон выходящее, иначе вряд ли рабочие рискнули бы идти на конфликт с полицией. Те ведь не постесняются открыть огонь и собак спустят. Хотите, поедем и посмотрим?

— А можно?

— Почему же нет? Главное, не лезть в самое пекло, держаться подальше. Но уж увидите все своими глазами.

И мы поехали в сторону Новой Германии, к фабрике «Селтекс». Спутница рассказала мне, что на десяти фабриках и заводах вокруг Дурбана работают десять тысяч человек. Пять фабрик принадлежат компании «Фреймс», снискавшей себе дурную славу из-за бесчеловечного отношения к рабочим.

Еще не доехав до фабрики, мы услышали громкий и густой гул голосов, сквозь который прорывались отдельные выкрики. Поворот — и мы увидели огромную толпу африканцев, окружившую главное здание фабрики. Моя спутница завела машину на травяной бордюр и затормозила. Мы вылезли и остановились в некотором удалении от толпы, но ясно видели все происходящее. Несколько полицейских фургонов стояли ровной шеренгой, возле каждого — группы полицейских, черных и белых, одни держали на поводке собак, другие были вооружены специальными щитами, дубинками, автоматами и пулеметами. У старших на ремнях висели переносные рации.

Мы приблизились к толпе, чтобы разобраться в обстановке. Моя спутница подозвала двух рабочих-индийцев, и они заговорили с нами. Положение такое, что конфликт может вспыхнуть в любую минуту, сказали они. Забастовка идет с утра, уже арестовали и увезли в полицию четыреста человек. Такие же забастовки сейчас шли в Пайнтауне и Хаммарсдейле, других пригородах Дурбана.

Рабочие рассказали нам об обстоятельствах, приведших к забастовке. Им давно обещали повысить зарплату, но, когда они пришли за деньгами в прошлый раз, оказалось, что администрация своего обещания не выполнила. В этом не было ничего удивительного, но на сей раз у рабочих само собой возникло решение выступить с забастовкой.

Закон ЮАР категорически запрещает черным бастовать, с большим скрипом рабочие недавно получили право на ведение ограниченных переговоров с нанимателями. Рабочие выходили на забастовку с риском подвергнуться судебному преследованию, особенно по весьма туманному, но очень жестокому «Закону о подавлении коммунизма». Я заметил, что в толпе сновали одетые в гражданскую одежду белые с фотоаппаратами и записывающими устройствами. Это были, как мне сказали, сотрудники службы безопасности, они собирали информацию для последующего преследования неугодных.

Внезапно полиция начала медленно двигаться вперед, полицейские с собаками в авангарде. Черные полицейские вели себя так же безжалостно, как и их белые коллеги. Толпа отпрянула.

К нам подошел молодой рабочий-африканец.

— Вы журналисты? — спросил он.

— Нет, мы просто наблюдаем.

— А откуда вы? Из Дурбана?

— Нет, я не африканец. Услышал о забастовке и решил посмотреть своими глазами.

— Говорят, на другие фабрики тоже вызвали полицию. Сейчас сюда должен приехать министр внутренних дел нашего «национального очага», он будет вести переговоры с администрацией.

— А разве у вас нет своих представителей для переговоров с фабричной администрацией?

— Представителей? Полиция увидит, кто говорит больше всех, и сразу упечет его в тюрьму. Иногда они специально подсылают к нам шпионов, чтобы разговорить нас, а потом набрасываются и забирают. А что, если они заметят здесь вас? — вдруг спросил он.

— Кто заметит?

— Субчики из службы безопасности.

— Но я ведь не вмешиваюсь. Просто наблюдаю. Что же они могут мне сделать? В худшем случае попросят уехать.

— Не очень-то на них полагайтесь. Не забывайте, что вы — черный. Они могут как следует встряхнуть вас, а уж потом спросят, кто вы такой. В любом случае, друг, если что, идите шагом. Не бегите. Если чернокожий бежит, значит, он в чем-то виноват.

Я вдруг ощутил страх, осознал смысл происходящего. Доведенные до отчаяния чернокожие, набравшиеся мужества и выступившие за свои права; невидимая администрация, безжалостно их эксплуатирующая; сильная, грубая полиция, готовая яростно кинуться на защиту власть имущих. Близко время, подумал я, когда любой полицейский кордон окажется бессильным перед разрушительным взрывом ярости и гнева южноафриканских рабочих.

В конце этой недели я встретился с заместителем министра просвещения банту. Он говорил о банту как о существах с отсталым умственным развитием, им нужны соответствующие учебные программы, а следить за выполнением этих программ должны белые, которым повелевать черными распорядился сам господь бог. Он подробно рассказал мне о различных курсах обучения, призванных, по его мнению, помочь черным успешно функционировать при существующем в ЮАР строе, на решение этой задачи ежегодно ассигнуется огромная сумма денег. Я предположил, что, если в стране ввести совместное обучение черных и белых, расходы на образование значительно бы сократились, но он вежливо отверг эту идею как несостоятельную.

— Наши черные не могут усваивать знания в том же темпе, что и белые,— пояснил он, улыбаясь с выражением непогрешимости на лице, словно цитировал Священное писание.— Нужно помогать им развиваться, медленно, но верно.

— До какого же уровня? — спросил я.

— До их собственного уровня. Глупо вбивать в них знания, усвоить которые им не дано.

— Насколько мне известно, при прежних правительствах африканцы имели возможность учиться в ваших университетах и показывали отличные результаты. И их способности никто не подвергал сомнению.

— Вас неправильно информировали,— возразил он, продолжая улыбаться.— Действительно, какое-то время в учебном процессе ставились эксперименты, и ставившие их стремились доказать свою правоту. Увы, большинству африканцев университет для белых оказался не по зубам. Нынешнее правительство сделало выводы из подобных ошибок.

— Я ведь тоже учился в университете вместе с белыми,— сказал я.— И никогда не чувствовал, что взвалил на плечи непосильную ношу.

— Но ведь у вас совершенно другой уровень развития.— Ничто не могло поколебать его спокойствия и уверенности в своей правоте.— Я знаю банту всю свою жизнь. Поезжите по стране, понаблюдайте, и, я уверен, разница между вами и ими станет для вас очевидной.— Он поднялся. Разговор был окончен.

В отеле мне позвонил незнакомый человек. Он назвался Уэлкомом Мсоми и сказал, что читал мои книги, знает о моем пребывании в ЮАР и хочет пригласить меня посмотреть «Макбета» в постановке зулусского театра, он перевел трагедию на зулусский язык и сам исполняет главную роль. Это приглашение я принял с большим удовольствием.

Спектакль шел на сцене открытого театра «Майнардвиль». Зеленую лужайку-сцену обрамляли деревья-долгожители с искривленными стволами, они были прекрасным фоном для мрачных событий кровавой трагедии Шекспира. С первой и до последней секунды зрители следили за действием затаив дыхание. Игра актеров заворожила и меня, хотя зулусский язык для меня — тайна за семью печатями.

После окончания спектакля меня познакомили с труппой. Чернокожие актеры и актрисы встретили меня за кулисами с большим энтузиазмом, они утверждали, что внешне я — типичный зулус. В свое время они читали и обсуждали мои книги, потому что тема была очень близка и понятна — актерам на собственном горьком опыте приходилось сталкиваться с презрительным отношением белых. С горькой иронией они отозвались и об этом прекрасном вечере — белые зрители приветствовали их сегодня с восторгом, а завтра на улице ни один из них и головы не повернет в сторону африканца.

— Мы как королевские шуты,— заметил один из актеров.— Развлекаем их по первому требованию, а в награду получаем объедки с королевского стола.

Нам было легко и приятно в обществе друг друга, в то же время постоянно прорывалась какая-то горькая интонация. Но свою профессию они любили беззаветно и были полны решимости оставаться актерами несмотря ни на что. Они рассказывали мне о планах на будущее, о предстоящих постановках. Потом разговор снова вернулся к тому, что беспокоило их больше всего.

— Мы знаем, что вы встречаетесь со многими людьми в нашей стране, наверное, будете писать о своих впечатлениях. Мы хотим откровенно рассказать вам и о нашей жизни.

— О чем же именно?

— О том, какое жалкое существование нам приходится влачить. Мы все здесь — настоящие рабы, друг. Вы знаете, что муравьи держат тлей, чтобы доить их. В ЮАР служитель муз с черной кожей — та же тля. Если у тебя есть талант, этот талант выдаивается каким-нибудь белым мерзавцем, пока ты не упадешь в изнеможении. Так обстоят дела в нашей стране. Чернокожий не может самостоятельно вести переговоры с издателями, антрепренерами и им подобными, за него обязательно это должен делать белый. И ты становишься собственностью этого белого. Да, да, не думайте, что он представляет интересы черного художника, что он работает для него. Ничего подобного. Он становится хозяином. И он заказывает музыку. Он — не помощник, он — наниматель. Он платит тебе, сколько считает нужным. Черный вкалывает до седьмого пота, творит, пишет, ставит. Но в конце концов о нем даже и не вспоминают. Белый хозяин берет с собой черного в Англию, Японию, Австралию. Потом кладет на свой текущий счет кругленькую сумму, а ты возвращаешься домой ни с чем.

Лица вокруг меня посуровели, ожесточились, рвалась наружу годами сдерживаемая ненависть.

— Ты пишешь книги, брат, и получаешь вознаграждение за свою работу. По твоим книгам делают фильмы, твое имя указывают в титрах, тебе платят деньги, ты имеешь возможность приехать к нам и поселиться в отеле вроде этого... А мы здесь — ничтожество, дерьмо.

— Мы боремся за право выступать от своего имени, вести переговоры от своего имени,— с жаром заговорил другой.— В Иоганнесбурге наши братья объединились в организацию «Мдали». Задача ее — чтобы весь наш народ сам искал собственные таланты, развивал свое искусство. До сегодняшнего дня мы заботились только об одном — чтобы наши способности приметил белый человек и пожелал купить наше искусство. Мы хотим положить конец этой мерзости. Хотим нести наш талант и искусство нашему народу, живущему в гетто. И если то, что мы делаем,— действительно настоящее искусство, пусть белый человек сам приходит к нам. В гетто. Пусть смотрит, как мы играем для нашего народа. И пусть уважает наш народ. Наше искусство и наш народ.

Вернувшись в Иоганнесбург, я принял приглашение встретиться с членами исполнительного комитета Христианской ассоциации женщин Соуэто. За мной заехали две женщины и по дороге к месту встречи показали мне часть Соуэто, которую я раньше не видел. Повсюду женщины, женщины с маленькими детьми. Поэтому-то их Ассоциация так нужна Соуэто, пояснили мне.

— Каждый день, кроме воскресенья, Соуэто превращается в город женщин. Мужчины ведь всегда на работе, а что остается нам? Убираться в доме, воспитывать детей и смотреть, как пролетает день за днем. Но мы не хотим судачить о том, какие мы несчастные. Изменить нашу жизнь к лучшему можем только мы сами. Совет банту собирается, что-то обсуждает, но все впустую — средствами распоряжаются только белые из Иоганнесбурга. И мы решили действовать сами. Мы выступаем с танцами, организуем пикники, проводим сборы средств, на собранные деньги мы уже построили зал встреч. Это начало.

Когда мы подъехали к залу встреч, я смог оценить их слова в полной мере. Это было приземистое Г-образное массивное здание из красного кирпича, стоявшее на небольшом возвышении, промежутки между кирпичами выкрашены в яркий белый цвет. Оно излучало элегантность, свидетельствовало о прочности. Вокруг, как символы светлого будущего и надежды, росли молодые деревца.

Мы вошли в зал, и заседание началось. Речь шла о работе с молодежью, домохозяйками и дошкольниками Соуэто. Когда повестка дня была исчерпана, попросили выступить меня. Я вкратце остановился на причинах моего приезда в ЮАР и рассказал о том, что уже удалось посмотреть.

Затем женщины рассказали о Соуэто и о том, насколько ограничены возможности черных женщин. Кем они могли работать? Учительницами, медицинскими сестрами, нянечками в местных детских садах. Подавляющее же большинство — это домохозяйки. Как серо и убого мы живем, сетовали они.

Неожиданно, прерывая других, заговорила миловидная немолодая, седеющая женщина.

— Сестры,— обратилась она к остальным,— давайте расскажем нашему гостю о том, что для нас важнее всего на свете. Давайте расскажем ему о Страхе.

Она произнесла это слово словно с большой буквы, сразу придав ему угрожающий размер, и все вдруг почувствовали его присутствие в комнате. Глядя прямо мне в глаза, женщина начала:

— Брат наш, мы, женщины Соуэто, живем в страхе каждую минутку нашей жизни. У меня есть муж, чудесный муж, добрый муж, который заботится обо мне и наших детях. И он очень способный, умный человек. Он работает в городе рядовым клерком, такая работа по плечу любому мальчишке, но он и думать не может о повышении. Мо-

лодые белые оболтусы помыкают моим мужем, моим гордым, умным мужем. И сердце его разрывается на части.

Каждый день он уходит на работу в пять часов утра, и я со страхом думаю: а вдруг это случится сегодня? Вдруг плотину прорвет сегодня, когда какой-нибудь белый подонок так унизит, так оскорбит моего мужа, что он не сможет сдержаться?

Я видел, как на лица женщин легла тень, они печально кивали головами, боль подруги передалась им всем.

— Однажды это случится,— продолжала она.— Я чувствую это всем своим существом, потому что знаю своего мужа. И что тогда будет с ним, что будет с нами? Придет полиция, и моего мужа бросят в тюрьму, а я ничего не буду об этом знать. Я буду ждать его, как обычно, а вечером он не придет. И тогда я пойму. Поймут и дети. Наутро я пойду его искать.

Ты думаешь, брат, полиция придет и скажет мне, что мой муж в тюрьме? Ошибаешься. Я должна идти искать его. Обойти все полицейские участки. И в каждом ждать. Сдерживая слезы, волнение, ждать, а они будут разглядывать меня, ненавидеть за то, что у меня есть муж, смеяться надо мной, потому что я — черная, потому что я беспомощна.

В комнате наступила тишина, и только боль женского сердца, казалось, стала живой, осязаемой. Мы чувствовали ее, словно все, о чем рассказывала женщина, происходило перед нашими глазами.

— Наверное, на третий или четвертый день я найду его. Он будет валяться где-нибудь в грязной камере с себе подобными, раздавленный, униженный, мучимый страхом. В полиции мне скажут: «Заплати за своего мужа штраф» и назовут такую сумму, что мне легче достать звезду с неба. Но надо платить, иначе мужа могут перевести куда-нибудь на север. И я влезу в долги и достану эти деньги. Вот как мы живем, брат мой.

Она замолчала, в глазах не было ни слезинки, но я знал — душа ее рыдает. По лицам других женщин я видел, что и они сейчас пережили то, что пережила она.

— Это не все,— вдруг снова заговорила она.— Мы ведь еще живем в страхе друг перед другом. Взгляни на нас. Мы все с черной кожей. Все бедны. И все же среди нас, сестер, может найтись кто-то, кто пойдет в службу безопасности и расскажет им все, что здесь говорилось — тобой, нами, в особенности нами. И вот мы боимся друг за друга и в то же время боимся друг друга, продаем друг друга за ничтожное вознаграждение: пропуск, право на жилье для родственника, а хуже всего — просто за деньги. Я читала твои книжки, брат мой. Ты учитель. Научи нас доверять друг другу. Нам так нужно этому научиться! Умей мы доверять друг другу, нам было бы легче бороться с белым тираном.

И она резко села. Что же ответить на этот крик души, какой совет дать этим женщинам?

— Сестры мои,— начал я, решив, что обстановка и чувства сами подскажут нужные слова,— вы сейчас открыли мне двери в мир, о существовании которого я не подозревал. Я жил в странах, где чернокожие ничего не получают без боя, и мне казалось, что в борьбе за место в жизни я преодолевал колоссальные трудности. Но вот я слышу вас, и мне становится неловко за себя: разве я страдал по сравнению с тем, что переживаете вы? И мне кажется, что, если у вас хватает сил жить несмотря на такие муки, вы должны найти силы и для того, чтобы доверять друг другу. Что ж, случается так, что наши личные потребности кажутся важнее борьбы за общее дело. Я могу лишь глубоко посочувствовать людям, которым приходится делать такой трагический выбор.

Я находился на Элофф-стрит метрах в двадцати от перекрестка, когда увидел бегущего африканца. Он бежал в мою сторону по мостовой, вдоль кромки тротуара, чтобы не мешать транспорту. Никто за ним не гнался, поэтому вид его меня нисколько не встревожил, но вдруг дорогу ему преградили двое белых и схватили его, один из них крепко вцепился ему в рубаху. Они кричали на него на африкаанс, и я ничего не мог понять, а чернокожий все повторял: «Нет, нет, баас». Они принялись бить, пинать и трясти его.

Быстро собралась толпа, стали спрашивать, в чем провинился африканец. Державшие его не гнались за ним, они не могли знать, почему он бежал. Кто-то позвал полицейских, которых долго ждать не пришлось. Один из них, здоровенный детина с красным лицом и коротким «ежиком», отвесил черному сильную оплеуху огромной мясистой рукой и зарычал на него на африкаанс. Кто-то окликнул полицейского по-английски — перестаньте избивать человека! В ответ полицейский велел «адвокату» заткнуться, не то и его сведут в участок, чтобы не мешал вершить справедливость.

— И это вы называете справедливостью? —услышал я собственный голос. Верзила-полицейский окинул меня испепеляющим взглядом. Я вдруг ощутил всю жалкую беспомощность своего положения. Беспомощный иностранец, стой и не вмешивайся. Полицейские уволокли человека и запихнули его в машину.

Меня всего трясло, к горлу комом подступил страх. Внезапный, неожиданный страх. Боже мой, только что человек с черной кожей бежал по улице, хлоп, хлоп, стук его каблуков слабым эхом еще отдавался у меня в ушах. И вот он исчез, его увезли цивилизованные дикари, наверное, его будут бить, не обращая внимания на крики о пощаде, не задавая никаких вопросов, не требуя объяснений. Случись такое в ночное время, его могли бы застрелить на месте. За что? За то, что он торопился?

Наконец-то до меня дошел смысл слов, которые я так часто здесь слышал. Наконец-то я понял: если ты черный и живешь в Южной Африке, ты можешь стать жертвой насилия в любую секунду, и ничто не защитит тебя от вековой ненависти. На улице, у себя дома, где угодно. Никто и ничто не спасет тебя — ни закон, ни суд, ни полиция. Ходи по улицам шагом, говорили мне. Никогда не беги. Не дай тебе бог побежать.

Я медленно брел дальше, к книжному магазину. Продавщица, молодая брюнетка, читала почти все имевшиеся в продаже книги и говорила о них со знанием дела, с неподдельным интересом. Мы спустились в нижний этаж магазина. Она показывала мне книги, а на ступеньках около будочки кассира все время раздавались шаги. И каждый раз женщина быстро, украдкой оглядывалась.

Я спросил ее:

— Почему вы так нервничаете?

— Нервничаю?

— При звуке шагов на лестнице в глазах у вас появляется испуг.

Она вспыхнула.

— Да, вы правы. К нам регулярно заглядывают сотрудники службы безопасности. Мы уже почти научились узнавать их по звуку шагов. Они приходят, начинают рыться в выставленных книгах и никому не известным методом определяют, какие книги убрать, какие оставить в продаже, на каких заклеить обложки. Это ужасно действует на нервы, но ничего сделать нельзя. Они все время ищут коммунистическую литературу и на книжку с более или менее «подозрительным» названием тут же налагают запрет.

— Вы сказали «заклеить обложки». Это в каком же смысле?

— В самом прямом. Сейчас я вам покажу.

Она подошла к стойке с книгами и вернулась с «Великим Гэтсби», изданным в Англии. Обложка представляла собой бледное изображение двух мужчин и женщины, одетых в стиле двадцатых годов, контуры тел были едва обозначены тонкими карандашными линиями. В рисунке не было даже туманного намека на нечто неприличное.

— Они велели нам заклеить эти обложки,— сказала продавщица.— Книга недавно включена в программу средней школы, и они считают, что давать детям книгу с таким рисунком не следует.

Я был готов не поверить своим ушам, но серые глаза продавщицы смотрели слишком серьезно.

— Боже правый,— только и воскликнул я.

— Вот именно,— подхватила она.— Его именем они и прикрываются — мы, мол, стоим на страже морали и нравственности. Заваливаются сюда несколько раз в неделю, безо всякого уведомления, шарят грязными ручищами по полкам и забирают книги с собой якобы для более тщательной проверки, нет ли в них сомнительных идей и теорий.

Я заплатил за книги и вышел из магазина. На каждом шагу в этой стране сквозь пленку комфорта и благополучия пробивалась прикрываемая от глаз мерзость.

Незадолго до отъезда я познакомился с группой африканской молодежи, и они пригласили меня еще раз съездить в Соуэто. Первым моим побуждением было отказаться. Я был сыт Соуэто по горло. Но я все же согласился, презирая себя за слабость. Кому и что я этой поездкой докажу?

На вокзале один из парней взял билеты, и мы вышли на платформу. Поезд был готов к отправлению, локомотив нетерпеливо шипел, словно подгонял африканцев, которые пихали и толкали друг друга, стараясь побыстрее влезть в вагон. Мои друзья потянули меня в эту бурлящую массу.

— Зачем обязательно лезть в этот вагон? — запротестовал я.— Вон в других никакой толкучки нет.

— Те вагоны — для белых,— последовал ответ, а меня тем временем затянуло в водоворот человеческих тел, и через секунду я оказался в вагоне, уже набитом сверх всякой меры. Весь вагон — только черные. Теснота, никакой вентиляции — очень душно. Сам виноват, не хватило силы воли отказаться от этого приглашения.

— А вы могли бы с комфортом ехать вместе с белыми,— хрипло шепнул мне на ухо один из друзей.— Ведь вы приезжий, значит, для властей вы белый. Почетный белый.— Эти два слова прозвучали словно проклятье.

— Нашли, о чем говорить,— шепнул я в ответ, давая ему насладиться этой маленькой воображаемой победой.

Вскоре заскрипели тормоза — первая остановка. Я перевел дух — сейчас люди сойдут, и станет легче. Повернув голову, я встретился взглядом с одним из моих спутников.

— Это остановка для белых,— пояснил он.— Черные здесь не сходят. Нам трястись еще не меньше часа...

Дорога к дому моих новых друзей шла мимо начальной школы. Массивное здание из оранжевого кирпича — одноэтажный и приземистый полый квадрат. Раствор между кирпичами положен неаккуратно — видимо, здание строилось в спешке. На красной глинистой почве, почти сплошь покрытой сорняками, чьи-то ноги вытоптали ровные линии, наверное, для игры — ведь это школьный двор. Окружал здание проволочный забор, продырявленный в нескольких местах.

— Когда-то я учился в этой школе,— сказал один из друзей.

— Хорошо бы заглянуть внутрь, только так, чтобы никому не мешать,— сказал я.— Чтобы никто специально ничего не показывал.

— Загляните в любой класс. Этим вы никого не удивите. И учительница не будет против.

Мы остановились у одной из дверей. Она была чуть приоткрыта, и, подбадриваемый спутниками, я легонько толкнул ее и вошел.

Маленькая комната, но сколько же здесь народу! Учеников за столами как минимум вдвое больше положенного, да что там за столами! Дети, сгрудившись, стояли у задней стены класса, сидели прямо на бетонном полу в проходах и вдоль стен. Буквально негде было яблоку упасть. Такая комната предназначена для пятнадцати, от силы двадцати человек, но сейчас урок слушало восемь или девять десятков детей. Свои книжки, тетрадки, карандаши и линейки они держали в пластиковых мешочках, которые ревниво оберегали.

Выглядели дети относительно аккуратно, почти все мальчишки — в серых шортах и серых или белых рубашечках, девчонки — в темно-синих форменных платьицах с белыми передничками. На меня они даже не посмотрели. Их внимание было безраздельно отдано учительнице, они ловили каждое ее слово.

Пораженный, я стоял и смотрел на это чудо. Теоретически я, конечно, знал, что во многих частях света все еще существует неутолимая тяга к знаниям, но в мою бытность учителем я привык совсем к другому — школьников надо ублажать, заставлять, соблазнять и подкупать, чтобы они соизволили пошевелить мозгами. Лица же этих мальчишек и девчонок горели неподдельным энтузиазмом, они слушали учительницу с открытыми ртами, разом тянули руки, когда требовался ответ,— наверное, уже понимали, что многое в жизни зависит от них самих, что их место в классе с радостью займут другие.

Разумеется, здесь никогда не будет трудностей с дисциплиной, потому что нет скучающих. Дети впитывали всю информацию без остатка, улавливали ее самой кожей. Но что ждет их завтра, когда даже в этом бесхитростном счастье — праве на ученье — им будет отказано? Нерастраченная энергия и пыл неизбежно натолкнутся на запреты, придуманные в этой стране белым человеком, и переплавятся в отчаяние, гнев и ненависть. В конце концов эта энергия взорвется, тогда обуздать ее не удастся ни дубинками, ни полицейскими овчарками, ни даже автоматами. Этого и боятся белые расисты.

Рано утром я собрал чемоданы. Оставалось только оплатить счет, а потом — дорога в аэропорт. В парке на другой стороне улицы худущие чернокожие мальчишки уже играли в свои бесконечные игры, вертясь под ногами у африканцев-рабочих, торопливо идущих мимо. Голодные, неухоженные — так проходит их детство. Они вырастут, и что ждет их? Суждено ли сбыться их мечтам, надеждам? Или так всю жизнь и проживут пасынками в родном своем краю? Говорят, будущее страны — это ее молодежь. Вот они — молодежь, мальчишки. Так какое же будущее у ЮАР?

Администратор отеля как-то с гордостью сказал мне, что один из национальных лозунгов это — «Сила в единстве». Где оно, это единство? И о какой силе идет речь — силе оружия? Или черные к этому лозунгу отношения не имеют? Я смотрю в окно. Все кругом говорит об упорядоченном развитии, запланированном росте — никаких видимых следов гноящихся ран, разочарования и жгучей ненависти.

Торопливо проходят африканцы перед моим окном, лица их непроницаемы, они опрятно одеты и, кажется, думают только об одном — не опоздать на работу. Но это только кажется...

У выхода из отеля уже стояла машина, чтобы отвезти меня в аэропорт.

◆

С верой в будущее

Этому трудно поверить, но это факт, что существуют еще на нашей планете «цивилизованные», индустриально развитые страны, где подавляющая часть населения живет в условиях узаконенного рабства. К таким дремучим странам относится ЮАР. Именно она определена в программе Южно-Африканской компартии как страна «колониализма особого типа».

«Никто не знает жизни Южной Африки во всей ее полноте, а потому никто не в состоянии написать о ней всю правду, как подобает истинному художнику»,— писал известный прозаик и публицист Алекс Ла Гума [1]. Причина этого — апартеид, или политика «раздельного развития рас», возведенная в закон в 1948 году. В капиталистических странах Запада, пишет Ла Гума, художник может преодолеть социальный барьер, ибо писателю, принадлежащему к привилегированному классу, не запрещено «для сбора материала» селиться в трущобах; в Южной Африке этот барьер непреодолим: белый человек не имеет права не только жить в поселке для черных, но даже бывать в нем без специального разрешения властей. Белый и черный не могут пообедать вместе в ресторане. Браки между черными и белыми считаются уголовным преступлением, наказуемым семью годами тюремного заключения. Черные и белые актеры не могут быть заняты в одном спектакле. Черным и белым нельзя вместе смотреть кинофильм, театральное представление или слушать концерт. Белым и черным спортсменам нельзя входить в одну команду и участвовать в одних соревнованиях. Черным медсестрам запрещается ухаживать за белыми больными. Полиция имеет право врываться без ордера в частные дома граждан — черных и белых — и производить обыски и аресты, может конфисковать в книжном магазине книгу, повествующую об угнетенном положении черного человека.

В сущности, многие из этих фактов были известны автору книги «Почетный белый» и до поездки в ЮАР. Недаром же он, как писатель, публицист и дипломат, посвятил столько лет изучению природы белого расизма. В конце 60-х годов, являясь постоянным представителем Гайаны в ООН, он был избран председателем Совета по делам Намибии — того самого международного органа, представителям которого расистское правительство ЮАР не позволило посетить эту узурпированную им страну. Поездка в Южную Африку интересовала Эдварда Брейтуэйта потому, что он задумал написать о ней книгу, а для этого надо было увидеть страну изнутри, попытаться понять, если можно так выразиться, обе «конфликтующие стороны».

Бывший посол, деятель ООН, а ныне популярный писатель, чьи автобиографические романы («Учителю — с любовью», «Оплачечный слуга», «Соседи поневоле» и другие) посвящены безрадостной судьбе чернокожего интеллигента в Англии и США, Эдвард Брейтуэйт полагал, что личный опыт плюс знания, почерпнутые из литературы и бесед с многочисленными африканцами, черными и белыми, приезжавшими в штаб-квартиру ООН с жалобами на расистский режим, помогут ему без труда найти общий язык с чернокожими «братьями», проникнуть, так сказать, в их внутренний мир. Однако первые же его встречи на земле ЮАР показали, что многие африканцы относятся к нему настороженно. В их глазах он — «черный янки», приехавший в страну туристом, способным увидеть жизнь лишь с парадного подъезда и потом написать поверхностный хвалебный репортаж, сыграв таким образом на руку ведомству пропаганды. «Вы и оглянуться не успеете,— сказал Брейтуэйту один из его собеседников,— как эти сукины дети заморочат вам голову... Вернетесь в Штаты и расскажете там, как свободно вы передвигались по стране. Никто вам не мешал, ходили куда хотели, а стало быть, нет никакого полицейского государства. И получается, что все мы здесь — просто-напросто трепачи, верить нашей трескотне нечего. Верно?»

«Он не первый говорит мне такое,— с досадой признается себе Брейтуэйт.— Но почему? По какому праву мне бросают такие упреки? Они сидят в своем мерзком гетто и хотят, чтобы весь мир узнал об их недоле».

---

[1] Алекс Ла Гума. Южно-африканская литература и апартеид. «ИЛ» № 7, 1973 г.

Книга «Почетный белый», с фрагментами которой читатель познакомился, была издана в 1975 году. С тех пор на Юге Африки произошло немало событий, потрясших расистский режим. Важнейшими из них являются победы национально-освободительных революций в Анголе и Мозамбике. Победы эти способствуют укреплению боевого духа угнетенных народов Намибии, Зимбабве и ЮАР, служат примером того, как могут народы, борющиеся против тирании империализма, воспрепятствовать попыткам навязать им пресловутое «внутреннее урегулирование», которое означало бы не что иное, как неоколониалистскую сделку с расистскими властями.

16 июня 1976 года вспыхнуло народное восстание в Соуэто — громадном поселении чернокожих неподалеку от Иоганнесбурга, ставшем не просто символом, а фронтом борьбы против апартеида. Правда, выступления в Соуэто и других поселках не могли сами перерасти во всеобщее вооруженное восстание, указывает председатель Южно-Африканской компартии Юсуф Даду. «Они не были самоцелью, но стали важнейшим звеном в процессе повышения политического сознания масс, оказали решающее влияние на подготовку мобильных подпольных отрядов и групп к наступательным и оборонительным акциям... Общественности уже известно, что группы Умконто ве сизве (военная организация Африканского национального конгресса) перешли к действиям против врага» [1]. Коммунисты Южной Африки стремятся сплотить угнетенных и демократически настроенных людей всех слоев и классов, независимо от цвета кожи, для дела национально-демократической революции.

Международный империализм, с другой стороны, в попытке остановить развитие революционных процессов в стране и ликвидировать угрозу самому существованию капиталистической системы лихорадочно ищет выход из политического кризиса, в котором оказался режим белого меньшинства. Но при всей общности интересов американского империализма и расистского режима в вопросах тактики между ними существуют разногласия. Если правительство ЮАР считает возможным ограничиться мелкими реформами, не затрагивающими основ системы апартеида, то американская дипломатия — по крайней мере на словах — выступает за более радикальные, эффектные в пропагандистском отношении меры. Она понимает, что открытая поддержка архиреакционного режима вызвала бы ненависть африканцев к Соединенным Штатам, а значит, породила бы угрозу интересам международных монополий в ЮАР, поэтому ей хотелось бы подлакировать этот режим, создать видимость участия черных в управлении государством.

Хотя внутренние политические события и давление мирового общественного мнения и породили смятение в правящем классе ЮАР, он отнюдь не намерен идти на какие-нибудь серьезные уступки. Вот как характеризует, например, американский журнал «Ньюсуик» нынешнюю позицию южно-африканского правительства: «Новый премьер-министр ЮАР Питер Бота — известный «ястреб», упорно поддерживающий власть белого меньшинства в Родезии. У себя дома Бота и некоторые члены его кабинета пользуются репутацией сторонников либерализации расовой политики, но реформы, которые они предложили (такие, как десегрегация спортивных соревнований), носят косметический характер. Основы же апартеида Бота оберегает с таким же упорством, как и его предшественник Джон Форстер... Примечательно, что упорство Южной Африки встречает терпимое отношение американской администрации».

Репрессивный аппарат ЮАР еще не дезорганизован. Он и сегодня способен, прибегая к самому чудовищному террору, выступать сплоченно, суживать масштабы действий революционно-демократических сил. Одновременно с этим расистский режим стремится пропагандировать идею о том, что политическая система ЮАР не так плоха, как о ней пишет мировая печать, и с этой целью зазывает к себе иностранных гостей: литераторов, спортсменов, дипломатов — в надежде использовать их в качестве выразителей своих интересов.

«Может быть, теперь ваше отношение к нам изменится,— говорит Брейтуэйту местный банкир.— Вам, наверное, говорили, что мы категорически против каких-либо перемен. Это не так. Мы — за перемены, если они упорядочены. Мы — за эволюцию:

[1] «Проблемы мира и социализма» № 7, 1978 г., стр. 19.

каждый эволюционирует естественным путем, с естественной скоростью, вместе с себе подобными. Революция — вот против чего мы возражаем».

Под словами «упорядоченные перемены» этот банкир подразумевал, конечно, программу бантустанизации, то есть создания «национальных очагов», будто бы призванную способствовать постепенному обретению этническими группами политической и экономической независимости. Один из таких «очагов» под названием Транскей Брейтуэйт посетил. И что же он увидел в столице этого поселения? А увидел он сверкающие витрины магазинов, принадлежащих белым, отели и бензозаправочные станции, принадлежащие белым, многоэтажное правительственное здание, в кабинетах которого восседают белые чиновники, и опрятного вида полицейский участок, у входа в который стоит в ленивой позе белый полицейский. «Никаких признаков того, что даже здесь, на своей законной территории, африканцы имеют хоть какую-то экономическую власть». Гид из ведомства информации объяснил Брейтуэйту, что, согласно планам правительства, предполагается постепенная передача всех предприятий «национального очага» в руки африканских частных лиц, по мере того как эти последние будут овладевать искусством управления. Нетрудно догадаться, какие цели преследует этот «естественный путь развития»: создать слой черной «элиты», вырастить мелких капиталистов, готовых сотрудничать с белыми хозяевами страны.

Книга «Почетный белый» — честная попытка художника нарисовать реальную картину Южной Африки. Нельзя сказать, чтобы картина эта получилась исчерпывающей. Да и не мог Брейтуэйт на это рассчитывать, недаром ведь поездка его в цитадель расизма — весьма кратковременная — была запрограммирована ведомством пропаганды. Некоторые страницы книги (например — те, где рассказывается о встрече писателя с женщинами Соуэто) звучат пессимистически. Автор не знал — не мог знать тогда,— что зреют в стране семена сопротивления, существуют подпольные боевые группы. Но важно уже то, что чернокожий писатель с Запада не оправдал надежд властей ЮАР и не стал рупором их пропаганды. А ведь они так надеялись! Впрочем, почему бы нет? Сумела же американская администрация привлечь своего темнокожего дипломата Эндрю Янга к сотрудничеству в качестве исполнителя замыслов империализма в Африке! Выступая год назад в Иоганнесбурге перед группой бизнесменов, приглашенных местным миллиардером Гарри Оппенгеймером, Янг предложил, выражаясь словами председателя Компартии США Генри Уинстона, «новый способ не допустить правления большинства и предотвратить возможность народной альтернативы», «новую форму колониального владычества». А ведь когда-то этот же Эндрю Янг участвовал в «маршах свободы» вместе с Мартином Лютером Кингом...

Э. Брейтуэйт заканчивает свой репортаж с верой в будущее: «...Торопливо проходят африканцы перед моим окном, лица их непроницаемы, они опрятно одеты и, кажется, думают только об одном — не опоздать на работу. Но это только кажется...»

К. ЧУГУНОВ

◆

«АЛЕП» ПРОДОЛЖАЕТ БОРЬБУ[1]

От редакции кубинского журнала «КОНХУНТО»

Мрачная тень неофашизма нависла сегодня над народами Центральной и Южной Америки. Одни вынуждены покидать родину, бесчисленное множество других участников сражений за свободу и независимость латиноамериканского континента отдали жизнь в борьбе за торжество этих идей.

Мы говорим об этом в связи с пятой годовщиной[2] трагических событий в Чили, когда пало правительство Народного единства во главе с его героическим руководителем Сальвадором Альенде.

Многие чилийские деятели культуры за эти годы погибли, подверглись пыткам, были брошены в тюрьмы, концентрационные лагеря, пропали без вести. Большинство из них остались непреклонными — и это свидетельство высокого, несломленного достоинства искусства народа Чили. Оно и сегодня продолжает говорить языком театра — мужественного, борющегося,— даже в заключении, даже в изгнании. Клика Пиночета хотела подавить, уничтожить чилийское театральное движение — так же, как она отрубила руки Виктору Хара,— но это ей не удалось.

Члены группы «Алеп», о которой далее пойдет речь, были заключены в концентрационные лагеря, но они не позволили сломить себя, не замолчали. Как свидетельство этого и как знак нашего уважения перед их мужеством, как дань памяти Сальвадора Альенде и как выражение нашей веры в конечную победу братского народа Чили журнал «Конхунто» публикует интервью руководителя группы Оскара Кастро, взятое Ариэлем Дорфманом.

А. Д. Расскажи, как все это началось. Вас арестовали за постановку пьесы, ведь так?

О. К. Незадолго до военного переворота мы вернулись из поездки по Европе и Кубе, которая стала кульминацией предшествующего этапа нашей работы. «Алеп» — первый чилийский коллектив, который выступил в Нанси в 1973 году.

Мы начали ставить пьесы, еще когда учились в колледже, затем продолжали в университете; все делали сообща, коллективно — сами были и актерами, и драматургами. Выступали в профсоюзных объединениях, в деревнях. Когда мы вернулись в 1973 году в Чили, у нас было огромное желание работать, а неделю спустя произошел государственный переворот. Мы думали, что попадем в тюрьму за то, что недавно побывали на Кубе, но этого сразу не произошло. Конечно, нас лишили зала, уничто-

[1] См. в этом номере в разделе «Культура и современность» статью Н. Матяш «Латиноамериканский театр ищет себя».

[2] Номер журнала «Конхунто» вышел в 1978 году.

жили декорации, отняли материал, оборудование, звуковую аппаратуру, все. Мы никогда больше туда не возвращались. Нашли старый, заброшенный дом и начали репетировать. Разумеется, группа потеряла часть своего состава — кое-кто покинул театр, не веря в возможность его существования. «В условиях таких репрессий,— говорили они,— работать нельзя». А мы считали, что можно, что самое главное — найти форму, чтобы выразить свое отношение к происходящему. Мы решили поставить такую пьесу, чтобы запрещение спектакля (это было примерно в марте 1974 года) вызвало возмущение и самых осторожных.

А. Д. Вы хотели поставить пьесу, которая могла бы рассчитывать на поддержку критики?

О. К. Вот именно. Начали внимательно перечитывать Библию. Там есть отрывки, читая которые просто невозможно поверить, что они написаны несколько тысячелетий назад. Затем взяли куски из Сервантеса, из «Маленького принца», из других произведений. Так рождался спектакль «Вначале была жизнь». В нем были две главные сцены: история капитана тонущего корабля, который, погибая, настаивает на том, что надо продолжать борьбу (конечно, мысль наша была о последнем этапе истории правительства Народного единства), и сцена с пророком, утверждающим, что правда переживет его. Эти две сцены были ключевые, это и было то, что мы хотели сказать всем спектаклем. А чтобы они не так бросались в глаза, несколько «утопили» их в других сценах — о дружбе, некоммуникабельности, разных типах человеческих отношений... Накануне премьеры собрались все вместе и сказали себе: вот здесь мы завтра будем выступать. Конечно, риск велик. Пойдем мы на это или отступим? Решили: пойдем. Не назову это героизмом, просто обычная честность. Поговорили друг с другом серьезно и открыто, чтобы никто себя не обманывал, ведь, работая над спектаклем, мы прикидывали и так: корабль может означать что угодно — например, историю труппы «Алепа», у нее было столько проблем! Мы вовсе не ведем речь о правительстве Народного единства, наша тема — жизнь театра. Так незаметно уговаривая сам себя, в конце концов начинаешь верить, что вроде бы ничего особенного пьесой сказать не хочешь — а ведь это неправда. Для того чтобы выразить себя в искусстве, надо отдавать себе отчет, во имя чего ты делаешь то или иное. И спросив себя жестко, готовы ли мы подвергнуться риску, решили: да, готовы. Мы знали, что могли угодить в тюрьму, хотя и не совсем ясно представляли еще, что несет с собой фашизм каждому человеку в отдельности. Но я думаю, что мы пошли бы на риск в любом случае, даже зара-

Оскар Кастро[1]

нее зная все, что с нами произойдет. Важно было сказать свое слово именно в тот момент. Мы были первым театральным коллективом, выступившим с критикой после переворота 1973 года. Может быть, на нас просто не обратили внимания, но мы сказали то, что хотели, и тогда, когда это было необходимо.

А. Д. Как вы думали, сколько это продлится? Рассчитывали ли вы на какую-нибудь особую реакцию?

О. К. Мы не знали. Первый спектакль состоялся в октябре, а арестовали нас в ноябре, так что мы успели кое-что дать людям. На премьеру даже пригласили сотрудников всех посольств и культурных атташе. Но вот прошла премьера, и поползли слухи. Кто-то советовал знакомым обязательно посмотреть спектакль, зрителей становилось все больше. Конечно, для нас это не предвещало ничего хорошего. Люди так и говорили: «Пойди посмотри, а то этих ребят вот-вот арестуют» — или «Надо скорее сходить, хорошо, если они дотянут до конца недели». Мы стали давать по два спектакля в день. И в газетах — великолепная критика, даже в «Меркурио» [2].

А. Д. Никто не понимал истинного смысла спектакля?

О. К. Уверен, что понимали многие. Мы продумали все очень тщательно, отработали детали — кстати, нас никто не финансировал. Сами заботились о музыке, об освещении, обо всем. Случайностей не должно было быть. Да, это был успех!

---

[1] Иллюстрации из журнала «Конхунто».

[2] Одна из крупнейших официальных газет.

Группа «Алеп» во Франции в 1973 и 1977 годах

А. Д. Но почему вы просто не выждали молча некоторое время?

О. К. Потому что не могли, просто не могли. Слишком много накопилось боли и горечи, слишком много мертвых друзей, слишком много свинца. После переворота 1973 года до 1974-го, когда меня арестовали, мне казалось, что на улице все время осень, серая и тоскливая, а весны и лета просто не было. Повторяю: мы поставили этот спектакль, сознавая — или чувствуя,— что на нас лежит ответственность. Нам казалось, что если мы скажем свое слово протеста, то за нами последуют и другие, что мы не будем одиноки в этой борьбе, ведь большинство актеров придерживалось левых взглядов или демократических убеждений.

А. Д. А зрители? Как, например, они реагировали на сцену с капитаном, хлопали?

О. К. Во время премьеры театр был набит битком. Кончается монолог капитана, и люди начинают возбужденно аплодировать. Для меня, исполнителя этой роли, момент был сложный: надо было продолжать, как будто ничего не произошло. Я не мог остановиться, как это принято у актеров, чтобы дать зрителям возможность хлопать, сколько они хотят.

А. Д. А что ты сам чувствовал, когда произносил этот монолог? Думал ли об опасности, о том, что за тобой наблюдают?

О. К. В первый раз я был так взволнован, что не боялся. У меня было ощущение, что я возродил к жизни Альенде

и всех, кто работал рядом с ним. Чувство удовлетворения заглушало страх. Ведь подобное впервые звучало на чилийской сцене. И хотя ситуация и герои были другими, все напоминало последнее обращение Альенде к народу...

А. Д. Но публика понимала это? Пришел ли кто-нибудь и сказал: «Слушайте, как здорово! Ведь это Альенде»?

О. К. Это и было самым опасным. В конце концов зрители стали приходить за кулисы или ждали нас в фойе, чтобы обсудить спектакль. «Послушайте, ребята,— говорил кто-нибудь из них,— что вы хотели этим сказать? Кто был на самом деле тот капитан? Ведь это Альенде, да?»

А. Д. Вот так, запросто?

О. К. Именно так. А поскольку никогда не уверен в том, кто перед тобой, то отвечаешь: «Простите, я не знаю, это капитан корабля». Иначе было нельзя. А если подошедший казался тебе совсем подозрительным, то отвечал ему резко: «Простите, это ваша собственная фантазия. Ничего такого мы не имели в виду». У нас были готовы ответы на любой из подобных вопросов.

А. Д. Вы как будто разыгрывали еще один спектакль. А если вас прямо спрашивали, что вы хотели сказать сценой с капитаном?

О. К. Мы отвечали, что это история «Алепа», который столько раз почти распадался, но всегда оставалась надежда. И это мы повторяли тысячу раз. Поначалу все это как-то сходило с рук, тем более что в Чили к тому времени вообще сложилось нечто вроде условного языка. Человек говорит тебе «Привет», а ты взвешиваешь, как он это сказал, и отвечаешь «Привет», думая при этом: «Наш парень» — или «Привет», а про себя: «Осторожнее, он очень подозрителен». Одни этот язык понимали, другие — нет, но спектакль им нравился сам по себе. И когда нас арестовали, многие удивлялись: «Но за что? Это недоразумение». Мы хотели завоевать и эту часть публики тоже.

В апреле 1974 года нас пригласили в один дом, где собрались сотрудники некоторых посольств и представители организационного комитета фестиваля в Нанси. Они хотели спасти «Алеп» и предложили нам свою помощь. У них были приготовлены для нас визы и продуман способ, каким мы могли бы выбраться из страны. Но мы были упрямы: отвечали, что останемся до тех пор, пока сможем, и будем делать все, что в наших силах. Нас называли безумцами. Но это было сознательное безумие.

А. Д. А выступления в Католическом университете? Там ведь была совсем другая публика, вы понимали это?

О. К. Всегда чувствуешь, кто твой единомышленник, а кто смотрит на мир иначе. Но и за него можно бороться. Молодежь в целом неплохая. Она может ошибаться, может не представлять полностью весь ужас фашизма, но редко встретишь вконец испорченного юношу. Поэтому даже люди, далекие от левых убеждений, понимали, что мы хотим сказать. Кроме того, «Алеп» как театральный коллектив полностью идентифицировался с программой правительства Народного единства. И приглашавшие нас отлично это знали. Со студентами Католического университета я встречался еще раньше. Многие там придерживаются реакционных взглядов и в какой-то мере причастны к свержению Альенде. Но даже и там оказалось немало людей, которые потом поняли, что их университет, как и вся страна, мертв, что все стоит на месте. И обрадовались, узнав, что мы решили вернуться к прежней работе, возродить жизнь. Достаточно рассказать о человеке, пригласившем нас туда. Он работал в секретариате «Молодежи хунты». Но после того, что с нами произошло, ушел оттуда, не смог там оставаться.

Шесть месяцев мы посвятили работе над спектаклем, тому, чтобы научиться выражать свои мысли при помощи иносказаний. И все время поправляли друг друга. Нельзя было забыть об искренности; ведь когда говоришь неправду, это сразу видно. Зрителю неприятно, неприятно самому актеру, пьеса превращается в кошмар, даже если она состоит из отдельных сцен. Когда, например, на репетиции мы говорили: «Завтра по полям потекут свободные реки», мы понимали — это не то, тут нужно что-то проще. Ведь если люди тебе не верят — лучше уходи со сцены, это главный критерий. Правду можно говорить и между строк, а заглушить ее фашисты способны только силой. Так они и поступили, арестовав нас, арестовав, чтобы мы не служили примером, чтобы по нашему пути не пошли другие.

После мы говорили с некоторыми заключенными, считавшими, что надо было вести себя благоразумнее, тщательно взвешивая последствия. Но как же тогда насчет достоинства? Во времена Народного единства мы не были особенно революционны, даже иногда сами чувствовали, что нам не хватает политического сознания. А вот в момент кризиса правда и ложь оказались перед тобой на беспощадных весах. Мы выдали все, что могли, на большее у нас не хватало мужества — что ж тут поделаешь! Но мы понимали, что нас ждет, и если должны были что-то сделать, то шли и делали.

А. Д. Таким образом, вы нашли равновесие между чувством достоинства и осознанием того, что необходимо сделать в данный момент?

О. К. Да. И однажды в воскресенье, после спектакля, за мной пришли. «Сеньор Оскар Кастро?» — «Да».—

«Пойдемте с нами». У них не было никаких бумаг, никаких документов. «Пошли,— сказали они,— на десять минут».

А. Д. Они несколько затянулись, эти десять минут, не правда ли?

О. К. У этих типов остановились часы. «Вы должны помочь нам решить одну проблему. Затем мы сами привезем вас обратно. Не беспокойтесь». Меня отвезли в мой бывший дом, где в то время жила моя сестра со своим мужем, Хуаном Макклеодом, тоже актером «Алепа». Его не тронули, а нас с сестрой отвезли в Каса Гримальди[1]. Вместе с нами в машине сидел еще один товарищ, незнакомый мне, и двое сотрудников ДИНА, мужчина и женщина, оба с автоматами... Попав в ДИНА, мы пережили, как и все, кто там оказывался, «обычный» цикл, в который входят по очереди допросы, пытки электричеством, «дружеское расположение». Там есть типы, которые делают вид, что они твои приятели, и говорят: «Не упрямься, скажи что-нибудь. Нам тоже не очень нравится все, что происходит, но что поделаешь...» Например, после серии вопросов о театре и других вещах, тебе говорят: «А теперь нам надо, чтобы напоследок ты назвал пять человек, сочувствующих левым, и их адреса. Неважно, к какой именно партии они принадлежат, чем сейчас занимаются, просто пять имен». И дело, наверно, не в том, что ты какой-то герой, просто вдруг забываешь все. Не можешь вспомнить никого, а уж тем более левых. А если вспоминаешь, то брата или кого-нибудь очень дорогого... Ну, в общем, мы прошли через все это. Меня даже не спрашивали о монологе капитана, гораздо больше их интересовала поездка на Кубу. Позже, правда, с нами говорили о пьесе, но мало.

Потом, когда из Каса Гримальди нас перевели в концентрационный лагерь «Трес Аламос», мою сестру пришел навестить ее муж, Хуан Макклеод, и наша мать. И тут они воспользовались случаем, чтобы арестовать их обоих. Вместе с Марието́ттой, моей сестрой, всех их снова отвезли в Каса Гримальди. Они хотели заставить Мариетту сказать что-то, назвать имена. Меня привезли туда через три дня; ввели в комнату, где допрашивали Хуана, у которого были завязаны глаза. Мне показали несколько фотографий и спросили, узнаю ли я кого-нибудь. Я сказал, что нет, хотя и вспомнил нескольких. Тогда мне пригрозили, что убьют Хуана и мою мать. Он сказал это так просто, и было невозможно поверить, что люди способны на такое. Я молчал, и меня скоро отвезли обратно в лагерь, а Хуанито мы больше не видели... Они убили его просто так, со злости и чтобы напугать других, зная, что это станет известно в театральных кругах: «Ставьте такие пьесы, как «Алеи», и увидите, чем это кончится. Мы ни с кем не будем стесняться, пристрелим любого». Кроме того, они хотят заставить тебя чувствовать вину за смерть другого, хотят взвалить тебе на плечи эту ответственность. Это был самый тяжелый удар за все время... Но как ни было тяжко, надо было взять себя в руки, потому что, если бы мы погрузились в воспоминания о тех, кто погиб после падения правительства Народного единства, оплакивая их ночи напролет, если бы свои воспоминания мы не преобразовывали в борьбу и в образ капитана, в Чили никогда не было бы достигнуто то, что сейчас. Этой борьбе надо отдаваться целиком, и тогда ничто остальное не имеет значения.

А. Д. Но если их так мало интересовал театр, то как ты объяснишь ваш арест?

О. К. Сами-то они полные невежды и, уверен, в жизни не видели ни одной пьесы. О нас донес кто-нибудь из Католического университета. Думаю, что когда их уполномоченный по внутренней безопасности увидел спектакль, он, конечно, сказал, что это надо прекратить. Если не сделать этого сразу, то начнут возникать еще и еще такие группы, и остановить этот процесс будет гораздо сложнее. Нас арестовали из-за пьесы, но потом, в ходе допросов, о ней уже речь не шла. Просто был отдан приказ: «Это надо прекратить». И вот уничтожают целую семью: меня, сестру, ее мужа, нашу мать. Остальных членов группы не тронули. Это была спокойно и хладнокровно продуманная акция — надо было создать атмосферу террора, заставить людей решить: «Нет, в это я не вмешиваюсь».

Конечно, в театральных кругах знали обо всем, что с нами произошло. И должен сказать, я никогда не чувствовал себя одиноким, меньше всего в тюрьме. Пожалуй, там особенно остро ощущается солидарность товарищей по заключению, тебе помогают стать внутренне тверже, подкармливают, учат бороться... И тут начинается самое главное в этой истории — работа в заключении. Через две недели после того, как я попал в концентрационный лагерь, я выступил там со своим первым спектаклем — «Жизнь, страсть и смерть Казимиро Пеньяфлеты». Я показал его во дворе лагеря «Трес Аламос». А еще две недели спустя мы показали «Допрос Лукулла» Брехта, потом — греческую трагедию «Антигона». Так мы начали, находясь в концентрационном лагере «Трес Аламос», свою театральную деятельность, имевшую большое значение...

Заключенные содержались в ужасных условиях: мы спали в коридорах, на полу. «Трес Аламос» был переполнен, в камерах, рассчитанных на пятьдесят человек, находилось по двести. Их привозили обессиленных после пыток, кормили отвратительно, десятиминутные свидания с родными... Но мы оказались

[1] Штаб-квартира ДИНА в Сантьяго.

там, оказались надолго, и надо было продолжать жить. Я начал с этой пьесы, потому что она представляла собой монолог, который я знал наизусть. Это было первое, что я мог здесь реально осуществить, мой вклад в борьбу. В пьесе рассказывается о журналисте, который всегда один и думает только о своей карьере. Он и умирает в одиночестве. В этой пьесе герой не меняется, не преодолевает себя, а вот в другой, «Казимиро Пеньяфлета, политзаключенный», которую я написал через некоторое время, он становится уже другим.

А. Д. Первую пьесу вы показывали и раньше. Какая разница между публикой в лагере и той, прежней, состоявшей в основном из студентов университета?

О. К. Мы показывали ее не только перед студентами, ее видели и рабочие в профсоюзных объединениях. Я стараюсь всегда отдать все, что имею, не выдумывая специально ничего для определенной аудитории. Я считаю, что спектакль должен быть доступен всем без исключения. Если нет — дело плохо. А зрители в лагере были просто великолепные. Конечно, среди них были такие, кто никогда раньше понятия не имел о театре. Их восприятие ничем не «испорчено», они очень непосредственны. Это не то, что мы, после спектакля никто не шепчет: «В этом месте осветитель чуть запоздал, а с тем эффектом они переборщили, здесь чего-то не хватает, а вот тут я бы акцентировал порезче». Нет, они приходят, садятся, смотрят, и им нравится или нет.

А. Д. Считаешь ли ты, что предшествующая работа «Алепа» была своего рода подготовкой к этому этапу?

О. К. Конечно, потому что мы всегда много работали с массами, создавали народные театры в деревнях. В период Народного единства каждый из нас был обязан руководить действующей театральной группой при профсоюзе, фабрике, в провинции. Таким образом мы приобщили людей к театру. И благодаря накопленному опыту работать нам и в этих жутких условиях оказалось легче. «Алеп» послужил отличной школой... За все время, что я находился в «Трес Аламос», ни одна пятница не обошлась без нашего выступления. Иногда власти запрещали кому-нибудь принимать в этом участие, это была форма наказания, как отмена свидания с родными...

Дело продвигалось, мы были полны энтузиазма, и к 1 мая 1975 года — я тогда находился уже в другом лагере, в «Ритоке»,— задумали спектакль, где каждый барак должен был представлять: один — крестьян, другой — шахтеров, третий — строительных рабочих, четвертый — студентов, пятый — учителей. Каждый барак со своими лозунгами — среди прочих были акростихи с зашифрованными названиями определенных политических партий: коммунистической, социалистической и т. д.— шел к центру лагеря, где должен был состояться митинг. Солдаты нас окружили, но ничего не понимали: все вместе выглядело прямо неправдоподобно!

А. Д. Это тем более интересно, что именно первое мая 1975 года ознаменовало собой начало профсоюзного движения после переворота. Вы пытались сделать что-то похожее. Но не возникнет ли у кого-нибудь из такого рассказа искаженное представление о подлинной действительности пиночетовского лагеря, не покажется ли, что там многое дозволялось и все время царило приподнятое настроение?

О. К. Дело в том, что эти лагеря — «Ритоке», «Трес Аламос» — были самые известные. Их посещал Международный Красный Крест, там даже существовали списки заключенных. Во множестве других, где людей допрашивают, пытают, где содержатся «пропавшие без вести», не было ничего подобного. И еще дело в том, что мне не хотелось ограничиться только повестью о наших страданиях — еще раз объяснять, что чувствуешь, когда у тебя рождается ребенок и ты не можешь его увидеть. Об ужасах концентрационных лагерей говорилось много, они, что называется, при нас. Но сегодня нужно — я в этом убежден — гораздо больше, чем мы обычно делаем, подчеркнуть и наше противостояние. Цель нашей борьбы была — не дать им выполнить свою задачу, не дать им увидеть нас сломленными, больными, забывшими о марксизме или единстве левых сил. Нет, из этого у них ничего не вышло, и это доказывал каждый наш спектакль.

А. Д. А как вы решали постановочные проблемы? Все бывшие заключенные, с которыми мне довелось говорить, рассказывают прямо-таки необыкновенные, фантастические вещи.

О. К. Они в самом деле имели место. Например, когда в Пучункави ставили «Маленького принца», мне из дома принесли диапозитивы с рисунками, но был нужен проектор и масса всяких приспособлений. Заключенные, имевшие раньше отношение к технике, пришли на помощь. Они говорили: «Проси, что хочешь: дождь, гром — все, что нужно, любые эффекты». Так, заключенные-инженеры смастерили фотопроекционную машину при помощи особым образом расположенной системы зеркал и осколков стекла с водой, выполнявших роль линз. Когда вставляли фотографию, она проецировалась. Так же делались диапроекторы из картонных коробок. Однажды мы даже показали коротенький мультфильм. На пергаменте, предварительно пропитанном жидким маслом, благодаря чему он становился прозрачным, а затем тщательно высушенном, мы рисовали фломастером. У нас были лампы,

«АЛЕП» ПРОДОЛЖАЕТ БОРЬБУ

сделанные из осколков стекла и проволоки; было круглое ведро со множеством прорезанных отверстий. Они были заклеены цветной бумагой, и, когда ведро крутилось, получался великолепный калейдоскоп. В театре у меня никогда такого не было... При помощи рупора, сделанного из картона, за сценой изображали шумовые эффекты. С полной ответственностью я могу утверждать, что в других условиях всего этого вряд ли можно было добиться, это был результат полной самоотдачи... Построили даже печь, работающую от солнечного тепла. Ее соорудил один заключенный в Пучункави, преподававший раньше ядерную физику в университете. Ему понадобились лишь точные математические расчеты и посеребренная бумага от сигаретных коробок. Если бы людям, способным на такое, дать настоящий материал в руки, они бы показали... Иногда нам казалось, что это одна из причин, по которой нас держат в лагере и не выпускают. Охранники были поражены технической стороной дела и после спектакля шли осматривать все приспособления, выяснять, как это их можно сделать из простого картона. Для того чтобы поставить пьесу таким образом, мне нужно было каждый раз человек сорок; кроме того, специально назначались люди, отвечавшие за освещение и за сцену. Помимо всего прочего это помогало людям выжить, сохранить волю к жизни. Нам могли отключить свет, воду, но выдумка никогда не отказывала...

А. Д. А постановки не запрещали?

О. К. Видишь ли, эти солдафоны ничего не смыслят в искусстве. Например, мы ставили пьесу Олби «Что случилось в зоопарке». Реплика одного из действующих лиц там: «У собаки красная лапа». Вот тут комендант требует: «Зачеркните это место. Напишите цветная, что угодно, только не красная». Там происходили вещи, в которые трудно поверить. Комендант интересовался, кто автор пьесы. И если выяснялось, что ты и твои друзья, он начинал читать ее снова и снова, выискивая подвохи. Тогда мы стали отвечать, что автор пьесы — Эмиль Кан, бывший заключенный гитлеровских концлагерей, ныне живущий в Аргентине, и что пьеса написана в 1956 году. А Эмиль Кан — это имя мы просто составили из букв, входивших в название лагеря, где нас содержали,— «Мелинка». «Ах, так,— говорил тогда комендант,— в 1956-м, автор — поляк, можете ставить, но на всякий случай я ее пролистаю». Тогда мы приносили ему текст, не подчеркивая тех мест, где собирались сделать особый акцент,— и никаких проблем. Мои пьесы не запретили ни разу. Например, в лагере я поставил пьесу «Жил-был царь», в которой рассказывается о том, как становятся диктаторами.

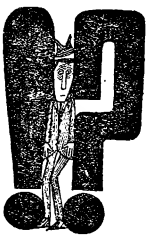
А. Д. Я помню эту пьесу. Что-то вроде аллегории об опасностях фашизма, об его повседневных проявлениях, о стремлении одних подавлять других, которое проявляется на различных уровнях человеческих отношений.

О. К. И она прошла без всяких осложнений, потому что, пока они не слышали слов «марксизм», «революция» или намеков на свой «фашизм»,— на прочее не обращали внимания, остальное их не пугало, не казалось опасным. В «Трес Аламос» даже поставили «Марата» Вайса. Власти его посмотрели и не поняли. Лучшую постановку пьесы «Вначале была жизнь» я показал в лагере «Пучункави». Именно в лагере я сумел показать пьесу, за которую был арестован. Не надо, конечно, думать, что все было просто и получалось сразу. Потребовалось немало усилий, но своей организованностью, дисциплиной мы постепенно завоевывали право на такие представления. Кроме того, изоляция хунты во внутренней жизни страны становилась все очевиднее, росла и международная солидарность, заставлявшая их вести себя тише. Мы пользовались и этим.

А. Д. А чему ты научился у своих зрителей? Ведь раньше ты работал с людьми, больше похожими на тебя?

О. К. Эти тоже были похожи на меня, мы принадлежим к одному народу. Главный урок, который я оттуда вынес, мне преподало близкое знакомство с рабочими, я их узнал во всем величии и силе. Это было для меня огромное впечатление, ведь сам я — и мои коллеги по театру — из мелкобуржуазной семьи. Когда начинаешь говорить с этими людьми, выясняешь, что они знают другую историю Чили, которую тебе не преподавали в колледже, но которая — истинна, потому что это история рабочего движения. Ее содержание — реальные переживания людей, их борьба за восьмичасовой рабочий день и так далее. И когда слушаешь этих людей, поражаешься их величию и мудрости, понимаешь, что это важнее, чем быть образованным. Один из них рассказывал мне, чего он ждал от правительства Народного единства: «Мне не нужен был новый дом, ни машина, ничего особенного. Мне нужна была работа, чтобы в доме всегда была еда, чтобы мои ребята могли учиться. Но и это фашистам показалось наглым, и меня арестовали». Слушая такие рассказы, начинаешь чувствовать боль этих людей как свою и сам растешь, меняешься, полностью отдаваясь этой борьбе. Я хочу, чтобы люди меня понимали, хочу говорить с ними на их языке. Знаю, находятся такие, кому мои пьесы кажутся слишком простыми. Но я вижу своих зрителей прежде всего в рабочем классе, пишу свои пьесы именно для него... Я верю, что мы победим, что завоюем будущее, завоюем свободу.

Сокращенный перевод с испанского Н. М.



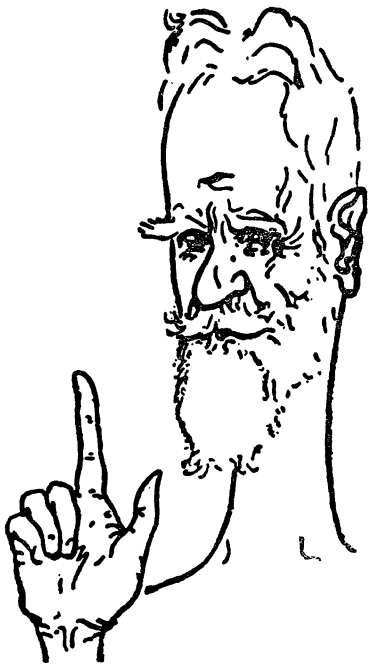


Рисунок Карела Чапека

ДЖОРДЖ БЕРНАРД ШОУ

16 ЭТЮДОВ О СЕБЕ

Перевод с английского
ЮРИЯ ЗАРАХОВИЧА

I. Из главы «В ДНИ МОЕЙ ЮНОСТИ»

Из журнала покойного Т. П. О'Коннора, озаглавленного «В. О. Л.» («В основном о людях»), передано мною в редакцию 17 сентября 1898 г.

Уважаемый Т. П.!

Все автобиографии есть ложь. И отнюдь не нечаянная, неосознанная ложь, нет — я имею в виду ложь преднамеренную. Нет в мире человека плохого настолько, чтобы сделать правду о себе публичным достоянием еще при своей жизни, поскольку правда о нем неизбежно повлечет за собой необходимость рассказать правду и о его семье, и о друзьях, и о коллегах. И нет в мире человека настолько хорошего, чтобы быть способным оставить правдивый рассказ суду потомства с условием, что документ не увидит света, пока в живых останется хотя бы один свидетель, способный его опровергнуть.

Я сужу об этом с такой уверенностью, поскольку сам в порядке опыта пытался попробовать (в определенных скромных пределах) написать откровенную и честную автобиографию. Но в памяти читателей эта автобиография не удержалась совсем, так как никто ей просто-напросто не поверил. Я рассказал кое-что о моей семье коллеге-критику (Уокли).

За первые двадцать два года замужества моя бабка с отцовской стороны родила пятнадцать детей. И наверное, наплодила бы еще столько же, не протяни ее супруг ноги от такой нагрузки. Из этих пятнадцати она сумела вырастить одиннадцать, обеспечив меня таким образом почти что дюжиной дядей и тетей и бесчисленным сонмом кузенов и кузин по одной лишь отцовской линии.

Дед же с материнской стороны был женат дважды и имел восьмерых детей, из которых бессемейным и бездетным умер только один.

В наше время такие семьи в диковинку, но в Ирландии середины девятнадцатого века они были в порядке вещей,

при всем при том, что содержать их было неимоверно трудно.

Как и большинство плодовитых семей, моя отнюдь не состояла из одних лишь трезвенников, и не все мои родичи в преклонные годы соответствовали даже самым умеренным юридическим представлениям о психической нормальности. Один из них изобрел исключительно оригинальный способ самоубийства.

Способ этот был прост до примитивности, однако до моего родственника никому и никогда не приходил в голову. К тому же он еще и был забавен. Но в процессе самоубийства мой родственник защемил себе сердце и скончался секундой ранее наступления смерти по своему способу.

Судебное следствие установило «естественную смерть»: самоубийство же осталось тайной не только для общества, но и для большинства родных.

Я поведал эту тайну Уокли в частном разговоре. Он разразился хохотом и вставил мой рассказ в следующий же свой опус. Ему и в голову не пришло, что я рассказывал правдивую историю. Между тем можете себе представить, как он скомпрометировал меня в глазах вдовы моего родственника, а также в глазах его братьев и сестер.

Дважды в жизни я давал стряпчим инструкции до прозаичности серьезные и был крайне удивлен, выяснив, что они исполнены не были. Стряпчие решили, что я либо шутил, либо блажил. Возникнет точно та же проблема, попробуй я искренне и честно изложить историю своей жизни здесь, в этом письме. Я нанес бы смертельное оскорбление тем немногим родственникам, которые знали бы, что я говорю правду, а остальные просто бы не приняли меня всерьез.

Дело усложняется и тем, что я сам еще не познал истины о самом себе. Ну, например, насколько я безумен или насколько нормален? Не знаю. Особенности моего дарования позволили мне добиться известности в моей профессии и стать заметной фигурой в Лондоне, но человек может стать известной личностью, оставаясь при этом абсолютно сумасшедшим, как, например, Дон Кихот.

Один критик отозвался обо мне как о человеке, питающем «ласковую неприязнь к своим собратьям-людям». Куда правильнее было бы сказать обо мне, что я испытываю перед ними ужас, ибо человек — единственное животное, которого я боюсь безумно и до глубины души. Меня никогда не впечатляла отвага укротителя львов — ведь, войдя в клетку льва, укротитель, по крайней мере, находится в безопасности от людей. А хорошо накормленный лев куда как более безвреден, чем люди. У него нет ни идеалов, ни религиозной, ни партийной, ни национальной, ни классовой принадлежности; нет, короче говоря, никакой причины, чтобы раздирать в клочья то, чего он не собирается съесть.

Во время мексиканской войны американцы подожгли испанский флот, и в конце концов им пришлось вытаскивать раненых из полыхающих корпусов превратившихся в костры кораблей. На одного из американских командиров это произвело такое впечатление, что он выстроил своих людей и заявил им, что поверил во Всемогущего Бога. Ни один лев этого бы не сделал. Читая об этом событии и заметив, что газеты, выражающие каноны общественного мнения, трактуют его как событие достовернейшее, естественное и впечатляюще благочестивое, я пришел к выводу, что все-таки я сумасшедший. А если я нормален, то всех остальных пора отправить в «желтый» дом. Ведь кто-то из нас — либо они, либо я — явно видит мир не таким, каков он есть на самом деле.

II. Из главы «ПОЧЕМУ Я НАПИСАЛ ЭТУ КНИГУ»

Меня все спрашивают, почему я сам не напишу своей биографии. Я объясняю в ответ, что моя биография не представляет собой никакого интереса. Я никогда никого не убивал, и ничего из ряда вон выходящего со мной не случалось. Когда мои ладони впервые читал хиромант, я был потрясен его рассказом о моей жизни — по крайней мере тем, что он успел рассказать. Совершенно очевидно, что ему были известны вещи, о которых я никогда никому не говорил. Несколько дней спустя я упомянул в разговоре с приятелем (Уильямом Арчером), что немного балуюсь хиромантией. Он немедленно сунул мне руку и потребовал прочесть по ней какое-либо событие в его жизни, неизвестное мне. И я рассказал ему о нем то же самое, что хиромант рассказал мне обо мне самом.

Он тоже был потрясен, так же как и я. Мы-то думали каждый про себя, что наш жизненный опыт уникален и неповторим, а у нас, как оказалось, все совпадало на девяносто девять и девять десятых процента. Об одной десятой процента хиромант умолчал.

Это было все равно как если бы две обезьяны решили каждая о себе, что ее скелет неповторим и уникален. Они были бы правы, зайди речь о какой-нибудь кости или двух, ведь утверждают же анатомы, что не бывает двух полностью идентичных скелетов. Таким образом, обезьяна вполне в своем праве демонстрировать свою уникальную кость или пару костей как диковинку, но мысль о демонстрации своего скелета целиком придется оставить как мало интересную. Ей придется держать свой скелет при

себе, если она не хочет невыносимо докучать им людям.

Вот потому-то мне и трудно выступать в роли собственного биографа. Как мне найти, выделить и описать те полпроцента моего «я», которые и отличают меня от всех остальных людей, более или менее удачливых, чем я? И кому, черт возьми, интересен подробный рассказ о том, как великий Смит родился в доме № 6 на Хай-стрит, а потом рос, рос и дорос до двадцати лет, если никому не известные Браун, Джонс и Робинсон, родившиеся в домах № 7, 8 и 9, точно так же, как и он, росли, ели, испражнялись, одевались и раздевались, вселялись в дома и выезжали?

Чтобы иметь право на биографию, Смит должен был пережить приключения и невероятные события.

А в моей жизни никаких героических приключений не было. Никаких событий со мной не случалось. Напротив, я сам создавал события, и все они обрели форму моих книг и пьес. Читайте их, смотрите их, и перед вами предстанет моя жизнь, а все остальное — завтраки, обеды, ужины, сон, пробуждение и умывание — ни на йоту не отличается от тех же однообразных процедур, совершаемых другими. Вольтер сумел уложить на двух страницах все, что нужно знать читателю о личной жизни Мольера. Описание же ее в сто тысяч слов было бы просто невыносимым.

III. Из главы «КАК ФРЭНК ХАРРИС ДОЛЖЕН БЫЛ СДЕЛАТЬ ЭТО»

Покойный Фрэнк Харрис занимал выдающееся место в литературной жизни последнего десятилетия девятнадцатого века. Будучи редактором «Фортнайтли ревью», и особенно впоследствии «Сатердей ревью», он окружил себя созвездием блестящих писателей, подобранных с незаурядным вкусом и смелостью, в число которых входил и я.

Его собственные работы включали новеллы того типа, которые ввел в моду Мопассан, биографию Оскара Уайльда, книгу о Шекспире, скандально откровенную автобиографию и серию исключительно едких портретов современников.

В одном из них, имевшем целью изобразить меня, Харрис не был ни остр, ни ехиден, ибо, работая над моим портретом, чувствовал себя скованным и стесненным чувством долга передо мной, поскольку я сохранял верность старой с ним дружбе в те времена, когда он не обладал ни славой, ни состоянием и был вынужден в конце концов искать пристанища в дальних краях. В итоге на свет появился благочестивый, благодарственный панегирик, вызвавший у меня такой смех, что я взялся за перо и послал ему нижеизложенный образец — каким он должен был создать мой портрет.

Прежде чем приняться за попытку добавить к моей коллекции портретов современников Бернарда Шоу, я нашел необходимым заранее себя обезопасить, полностью признав его необычайнейшие достоинства.

Не размениваясь на придирки к мелочам, я сразу же заявляю, что Шоу — воплощение человеческих совершенств и справедливости. Я признаю, что во всех своих спорах со мной ли, с другими ли Шоу всегда был, есть и будет прав. Общепринятую привычку поносить Шоу я нахожу глупой и вредной, а попытки делать вид, что его не принимают всерьез,— смехотворным предлогом для того, чтобы позорно избегать стычек с ним.

Если я что-то упустил, если чего-то еще не признал в нем или не засвидетельствовал, я готов извиниться за упущения и восполнить пробелы.

Если для исправления моих ошибок потребуется признать Шоу величайшей личностью в истории, я сделаю это, не поколеблясь ни на секунду. Все обвинения против него рассыпаются в прах при доскональном анализе, все его пророчества сбываются. Все созданное его фантазией становится реальностью при жизни одного поколения. Но меня все же не оставляет неприятное ощущение, что я так и не воздал ему должной дани, неблагодарен, недостаточно верен ему и недостаточно ценю его. Мне остается повторить, что если я что и упустил, достаточно лишь указать на мою промашку, и она немедленно будет исправлена.

Я расскажу вам несколько анекдотов о Шоу. Оскар Уайльд сказал о нем: «На целом свете у него нет ни единого врага, и никто из его друзей не любит его».

Однажды на обеде, устроенном Сценическим обществом, Шоу должен был произнести тост за здоровье театральных критиков, а отвечать на него должен был Макс Бирбом. Перед обменом тостами Макс подошел к Шоу и спросил: «Вы ведь, конечно, обязательно скажете, что вы тоже критик, да?»

— Я не знаю, что буду говорить,— ответил Шоу.— Но позволю себе считать, что могу вставить в тост и это.

— Очень вас прошу именно так и сделать,— сказал Макс.— Я хочу обыграть эти слова.

— Готов всемерно вам услужить,— ответил Шоу и вставил эти слова в свой тост.

Свою речь Макс начал так:

— Когда я учился в школе, наш директор всегда любил повторять: «Не забывайте, мальчики, что я — один из вас».

Взрыв хохота избавил Макса от необ-

ходимости объяснять, что он имел в виду.

Роберт Линд сказал о работе Шоу «Трезвый взгляд на войну», что, хотя никто не смог выдвинуть против нее какого-либо разумного аргумента, с момента ее выхода все только и стали отзываться о войне как о конфликте между странами Антанты — с одной стороны и Германией, Австрией, Турцией и Бернардом Шоу — с другой.

О Шоу говорят, что он раздражает людей тем, что вечно стоит на голове, называет белое черным, а черное — белым. Но подобное объяснение способны выдвинуть и принять одни лишь простачки. Такую репутацию, как у Шоу, не заслужить шутовством и своенравием. И что она означает на самом деле, так это то, что Шоу так раздражает всех именно тем, что стоит на ногах и говорит нам, что белое — это белое, а черное — это черное, в то время как мы тешим себя тем, что проповедуем истины, для всех заведомо ложные.

Злит всех то, что приходится соглашаться с человеком, к которому испытывают душевное отвращение. И не потому, что он выражает ваши же собственные взгляды, формулируя их намного точнее, чем вы на это способны сами, но потому, что вы не можете смириться с тем, что самые ваши сокровенные мысли разделяет человек, которого вы считаете отвратительным по натуре разрушителем. Это все равно как если бы кто-то предложил пройти вместе с вами часть пути, потому что вы идете по направлению к его дому, а вам заведомо известно, что дом его — бездонная пропасть.

Обижаться же на это невозможно, потому что Шоу так же безжалостен к самому себе, как и к нам. Он отнюдь не пытается спихнуть нас за борт, чтобы прогуливаться потом по палубе в гордом одиночестве. С беспредельным добродушием он ласково охватывает нас за талию и прыгает за борт вместе с нами — и, надо сказать, совсем не в величественные волны Атлантического океана, где наша смерть выглядела бы трагично, но в море смеха, сотрясаемое шквалами иронического хохота...

ЭПИЛОГ К «ПИГМАЛИОНУ»

Перевод с английского НАЗИРЫ ИБРАГИМОВОЙ

Показывать в пьесе продолжение этой истории нет никакой необходимости. Действительно, не стоило бы даже рассказывать об этом, если бы наше расслабленное, ленивое воображение не зависело в такой степени от затасканных стандартных фасонов готового платья из того самого сундука с обносками, где Романтика хранит свой запас «хэппиэнд'ов», столь плохо вписывающихся в окончания всех историй. Ведь история Элизы Дулитл достаточно тривиальна, хоть и называется романтической, потому что описанное в ней преображение кажется совершенно невероятным. Подобного преображения добились сотни решительных, честолюбивых молодых женщин с тех пор, как Нелл Гвин[1] подала им пример, изображая на сцене королев и очаровывая королей в том самом театре, где она начала свою карьеру продавщицей апельсинов. И все же на том лишь основании, что Элиза стала героиней романтической истории, люди полагают, что она должна выйти замуж за героя этой истории. Это немыслимо, и не только потому, что ее маленькая драма, если ее сыграть, основываясь на таком безответственном предположении, потеряла бы смысл, но и потому, что истинный ход событий очевиден всякому, кто обладает способностью чувствовать человеческую природу в целом и женскую натуру в частности.

Говоря Хиггинсу, что она не вышла бы за него замуж, даже если бы он ее об этом попросил, Элиза не кокетничала: она объявляла хорошо продуманное решение. Когда холостяк проявляет интерес к незамужней женщине, учит ее, руководит ею, становится важным фактором в ее жизни, как в случае Хиггинса и Элизы, женщина всегда, если она обладает достаточно предприимчивым характером, всерьез решает для себя, стоит ли добиваться того, чтобы стать его женой, тем более если он настолько мало интересуется женитьбой, что волевая и настойчивая женщина вполне может добиться своего при достаточно твердом намерении с ее стороны. Ее решение будет в значительной мере зависеть от того, насколько она свободна в выборе, а это в свою очередь зависит от ее возраста и достатка. Если она уже не первой молодости и не имеет средств к существованию, то она выйдет замуж за любого, кто сможет ее обеспечить. Но в возрасте Элизы хорошенькая девушка не чувствует такого давления, она свободна в выборе. И при этом она следует своей интуиции. Интуиция подсказывает Элизе избегать брака с Хиггинсом, но не подсказывает ей совсем порвать с ним. Нет ни малейшего сомнения в том, что он останется одной из самых сильных привязанностей в ее жизни. Она болезненно переживала бы, появись у Хиггинса другая женщина, способная вытеснить ее. Но так как в этом отношении Элиза в Хиггинсе уверена, то у нее нет ни малейшего сомнения в правильности своего решения. У нее не было бы сомнений, даже если бы между ними не су-

[1] Нелл (Элинор) Гвин (1651—1687) — английская актриса, любовница Карла II *(здесь и далее прим. переводчика)*.

ществовало двадцатилетней разницы в возрасте, разницы, которая кажется в молодости такой большой.

Поскольку в этом вопросе ее выводы противоречат нашим собственным инстинктам, давайте посмотрим, не найдем ли мы в них некоторый здравый смысл. Хиггинс, объясняя свое равнодушие к молодым женщинам тем, что у них есть непобедимая соперница — его мать, дал нам ключ к пониманию своего закоренелого пристрастия к холостой жизни. Этот случай нетривиален лишь постольку, поскольку нетривиальны замечательные матери. Если мать мальчика с живым воображением достаточно богата, умна, обаятельна, обладает достоинством и утонченным пониманием лучшего, что есть в искусстве ее времени, и поэтому может сделать свой дом прекрасным, такая мать становится для него образцом, с которым могут соперничать очень немногие женщины, не вызывая в нем противоречия между его привязанностями, чувством красоты, склонностью к идеализации и его специфически сексуальными импульсами. Все это превращает героя в настоящую загадку для огромного количества малообразованных людей, выросших в семьях, лишенных вкуса, и воспитанных заурядными или невнимательными родителями, и поэтому литература, живопись, скульптура, музыка и теплые человеческие отношения приходят к ним только как разновидность любовных отношений, если вообще приходят. Слово «страсть» имеет для них только одно значение; и то, что Хиггинс может испытывать страсть к фонетике и идеализировать свою мать, а не Элизу, кажется им абсурдным и неестественным. Вместе с тем мы видим вокруг очень мало людей настолько уродливых, что они не могут найти себе мужа или жену, если стремятся к этому. В то же время многие холостяки и старые девы обладают достаточно высокой культурой, и поэтому мы не можем не заподозрить, что процесс отделения любовных отношений от духовных ценностей, с которыми их так часто путают, процесс, к которому люди гениальные приходят путем чисто интеллектуального анализа, иногда вызван или поддерживается преклонением перед родителями.

Так вот, хотя Элиза была не способна объяснить себе таким образом невероятно упорное сопротивление Хиггинса ее чарам, покорившим с первого взгляда Фредди, она инстинктивно понимала, что ей никогда не удастся полностью завладеть им или стать между ним и его матерью (что замужней женщине совершенно необходимо сделать с самого начала). Короче говоря, она знала, что Хиггинс лишен задатков семейного человека, соответствующих ее представлениям о муже как о человеке, для которого она была бы самым близким, самым любимым, самым дорогим существом на свете. Даже если бы не было матери-соперницы, она бы не согласилась занять в его интересах второе после науки место. Если бы миссис Хиггинс умерла, то все же остались бы Мильтон[1] и Универсальный Алфавит. Замечание Лендора[2] о том, что любовь имеет второстепенное значение как раз для тех, кто наделен наибольшей способностью любить, не привлекло бы к Лендору симпатий Элизы. Прибавьте к этому ее неприятие давящего превосходства Хиггинса, ее недоверие к его насмешливому уму и ловкости, с которой он обводит ее вокруг пальца и избегает ее гнева, зайдя слишком далеко в порыве задиристости, и вы увидите, что Элиза имеет все основания довериться своему инстинкту, который предостерегает ее от брака с Пигмалионом.

Но все же, за кого Элиза вышла замуж? Ведь если Хиггинсу суждено было остаться старым холостяком, то ей, конечно же, не суждено было остаться старой девой. Об этом можно вкратце рассказать тем, кто не догадался обо всем по намекам самой Элизы.

После того как уязвленная Элиза заявляет о своем твердом намерении не выходить за Хиггинса, она сразу же упоминает о том, что м-р Фредерик Эйнсфорд Хилл каждый день изливает в письмах свою любовь к ней. Фредди молод, он на двадцать лет моложе Хиггинса; он джентльмен, он и разговаривает как джентльмен. Он хорошо одет, полковник обращается с ним как с равным, он искренне любит Элизу. Фредди не претендует на роль ее хозяина, и маловероятно, чтобы он когда-нибудь смог подчинить ее себе, несмотря на превосходство своего социального положения. Элиза не разделяет глупого романтического традиционного убеждения, будто все женщины любят, чтобы ими командовали, грубо обращались с ними и даже били. «Когда идете к женщине,— говорит Ницше,— берите с собой плеть». Разумные деспоты всегда применяли эту предосторожность не только по отношению к женщинам: они брали с собой плеть и тогда, когда имели дело с мужчинами; и те мужчины, над которыми свистела эта плеть, раболепствовали перед ними гораздо больше, чем женщины. Несомненно, рабские натуры встречаются и среди мужчин, и среди женщин; и женщины, как и мужчины, восхищаются теми, кто сильнее их. Но восхищаться сильной личностью и жить под каблуком у этой сильной личности — это разные вещи. Слабыми, возможно, не восхищаются, перед ними не преклоняются, но их и не избегают, они

[1] Мильтон Джон (1608—1674) — великий английский поэт и публицист.

[2] Лендор Уолтер Севедж (1775—1864) — известный английский писатель.

никогда не вызывают неприязни. И они, по-видимому, без малейших затруднений вступают в брак с теми, кто слишком хорош для них. Они могут подвести в критической ситуации, но жизнь — это не одна долгая критическая ситуация, а в большинстве случаев — цепочка ситуаций, для которых не нужна исключительная сила и с которыми могут справиться даже довольно слабые люди, если им поможет более сильный партнер. Соответственно, повсеместно встречаются ситуации, когда сильные люди, мужчины или женщины, не только не вступают в брак с более сильными, чем они, но не оказывают им никакого предпочтения даже при выборе друзей. Когда лев встречает другого льва, с более громким рыком, то «первый лев думает, что другой — зануда». Мужчина или женщина, которые чувствуют в себе силы на двоих, ищут в партнере любое другое качество, только не силу.

И наоборот. Слабые люди стремятся к браку с сильными, если эта сила их не слишком пугает, и при этом часто совершают ошибку, откусив — если применить метафору — больший кусок, чем могут проглотить. Они хотят слишком многого, а дать могут слишком мало. И когда такая сделка переходит все границы здравого смысла, союз становится невозможным: он кончается тем, что более слабого партнера или бросают, или смиряются и несут свой крест до конца, что еще хуже. Люди не только слабые, но еще и глупые или вовсе тупые часто встречаются с подобными трудностями.

Исходя из этих свойств человеческой натуры, каких же поступков следует ожидать от Элизы, оказавшейся между Фредди и Хигинсом? Предпочтет ли она всю жизнь подавать тапочки Хигинсу тому, чтобы Фредди всю жизнь подавал тапочки ей самой? Ответ на этот вопрос не вызывает сомнений. Если Фредди биологически ей не противен, а Хиггинс биологически не привлекателен настолько, чтобы заглушить в ней все другие инстинкты, то Элиза, если уж ей суждено выйти замуж за одного из них, предпочтет Фредди.

Именно так и поступила Элиза.

Без трудностей не обошлось, но это были трудности финансовые, а не любовные. У Фредди не было ни денег, ни профессии. Вдовья часть наследства его матери, остатки прежней роскоши Ладжледи-парк, едва позволяли ей создать на Эрлскорт видимость аристократического существования, но не позволили дать детям серьезное образование, не говоря уже о профессии для сына.

Работать клерком за тридцать шиллингов в неделю Фредди считал ниже своего достоинства. Кроме того, он испытывал глубочайшее отвращение к этому занятию. Его виды на будущее заключались в надежде на то, что, если он будет соблюдать приличия, кто-нибудь для него что-нибудь сделает. Это «что-нибудь» смутно рисовалось его воображению как место личного секретаря или какая-либо синекура. Его мать, возможно, представляла себе, что он женится на даме со средствами, которая не сможет устоять перед достоинствами ее сына. Вообразите себе ее чувства, когда он женился на цветочнице, которая вырвалась из своего окружения при необычайных обстоятельствах, ставших теперь притчей во языцех.

Правда, положение Элизы в обществе не выглядело таким уж предосудительным. Хотя ее отец и был раньше мусорщиком, теперь он фантастическим образом возвысился и стал чрезвычайно популярен в самом избранном обществе благодаря своему таланту общения, преодолевшему с триумфом все предрассудки и все преграды. Отвергнутый средним классом, который он презирал, он с молниеносной быстротой очутился в самых высших кругах благодаря своему остроумию, своей принадлежности к клану мусорщиков (которой он умело козырял) и своему возвышению над добром и злом. На интимных обедах у герцога он сидел по правую руку от герцогини, а на загородных виллах курил в буфетной и пользовался глубоким уважением дворецкого, если только не ел в господской столовой, консультируя министров кабинета. Но ему было почти так же трудно проделывать все это на четыре тысячи в год, как и миссис Эйнсфорд Хилл жить в Эрлскорте на доходы настолько мизерные, что у меня не хватает духу назвать точную цифру. Он решительно отказался помогать Элизе и этим добавить последнюю соломинку к своей ноше.

Таким образом, Фредди и Элиза, теперь миссис и мистер Эйнсфорд Хилл, провели бы свой медовый месяц без гроша в кармане, если бы не свадебный подарок Элизе в 500 фунтов от полковника. Их хватило надолго, поскольку Фредди не умел тратить деньги, потому что никогда раньше их не имел, а Элиза, воспитанная парой старых холостяков, носила свои платья до тех пор, пока они были целыми и выглядели красиво, не обращая ни малейшего внимания на то, что они вышли из моды много месяцев назад. Но все же 500 фунтов не могут вечно кормить двух молодых людей, и оба они знали, а Элиза еще и чувствовала, что в конце концов им придется рассчитывать на самих себя. Элиза могла бы поселиться на Уимпол-стрит, потому что она привыкла считать этот дом своим, но она ясно понимала, что нельзя поселить в нем Фредди: это дурно повлияло бы на его характер.

Не то чтобы холостяки с Уимпол-стрит возражали. Когда Элиза посоветовалась с ними, Хиггинс отказался ломать себе голову над проблемой их жилья, когда все так просто устроить. Желание Элизы поселить в их доме

Фредди казалось ему не более значительным, чем если бы она решила приобрести лишний предмет обстановки для своей спальни.

Хиггинс отказался принять всерьез ссылки на характер Фредди и на его моральный долг самому зарабатывать себе на жизнь. На это он заявил, что у Фредди вообще нет никакого характера и что, если он вздумает заняться какой-либо полезной работой, то ее все равно потом придется переделывать человеку компетентному. Эта процедура принесет обществу чистый убыток и сделает глубоко несчастным самого Фредди, которому природой предназначена такая легкая работа, как развлекать Элизу, что, заявил Хиггинс, гораздо более полезное и почетное занятие, нежели служба в Сити. Когда же Элиза еще раз упомянула о своем намерении преподавать фонетику, то она снова столкнулась с тем же яростным сопротивлением Хиггинса. Он сказал, что ей нужно учиться по крайней мере еще десять лет, прежде чем она сможет совать свой нос в его любимый предмет, и так как полковник был явно с ним согласен, Элиза почувствовала, что не может поступить в этом серьезном вопросе вопреки их мнению и что она не имеет права без согласия Хиггинса эксплуатировать те знания, которые он ей дал. Эти знания казались ей такой же его собственностью, как и его часы,— Элиза не была сторонницей коммуны. Кроме того, она была благоговейно предана им обоим, даже больше и откровеннее после замужества, чем до него.

В конце концов, проблему решил полковник — ценой долгих и нелегких раздумий. Однажды он довольно застенчиво спросил Элизу, совсем ли она отказалась от мысли открыть цветочный магазин. Она ответила, что уже думала об этом, но потом выбросила эту мысль из головы, потому что сам же полковник сказал тогда у миссис Хиггинс, что это исключено. Полковник признался, что говорил это, еще не вполне оправившись от головокружительных впечатлений предыдущего дня. В тот же вечер они посвятили в свои планы Хиггинса. Единственное замечание, которым он их удостоил, едва не послужило поводом для серьезной ссоры с Элизой: Хиггинс сказал, что из Фредди выйдет идеальный мальчик на побегушках.

Затем самого Фредди спросили, что он думает по этому поводу. Тот ответил, что и сам уже думал о магазине; однако, поскольку у него нет ни гроша, он представлял себе маленькую лавочку, в которой Элиза продавала бы сигареты за одним прилавком, а он торговал бы газетами за другим. Но он согласен, что было бы восхитительно каждый день рано утром ходить с Элизой на Ковентгарденский рынок и покупать цветы как раз там, где они впервые встретились,— за эту сентиментальность жена наградила его множеством поцелуев.

Вот так и получилось, что удача продолжала сопутствовать Элизе и проект цветочного магазина не встретил ожидаемого сопротивления. Этот магазин расположен под одной из арок вокзала, неподалеку от музея Виктории и Альберта, и если вы живете по соседству, то можете в любой день зайти туда и купить у Элизы бутоньерку.

Ну вот, теперь у Романтики остался последний шанс. Вам ведь хочется, чтобы вас заверили, что цветочный магазин имел огромный успех благодаря обаянию Элизы и ее опыту торговли цветами на Ковентгарденском рынке. Увы! От правды не уйдешь: магазин долго не приносил дохода по той простой причине, что Элиза и ее Фредди не умели вести дело. Правда, Элизе не пришлось начинать с самых азов: она знала названия и цены самых простых цветов. Ее восторг был безграничен, когда выяснилось, что Фредди, как и большинство молодых людей, получивших образование в дешевых, претенциозных и совершенно бесполезных школах, немного знает латынь. Знал он совсем мало, но достаточно для того, чтобы казаться Элизе Порсоном[1] или Бентли[2] и помочь ему разобраться в ботанической номенклатуре. К сожалению, больше он ничего не знал; и хотя Элиза и умела сосчитать деньги в пределах восемнадцати шиллингов или около того и познакомилась немного с языком Мильтона, когда старалась помочь Хиггинсу выиграть его пари, но выписанные ею счета были поистине позором для магазина. Умение Фредди сказать по-латыни, что Балбус[3] построил стену и что Галлия была разделена на три части, не сопровождалось ни малейшими познаниями в области бизнеса или ведения счетов. Полковнику Пикерингу пришлось объяснить ему, что такое чековая книжка и банковский счет. А учить эту пару было совсем не легко. Фредди поддерживал Элизу в ее упрямом отказе поверить, что можно сэкономить деньги, наняв счетовода, немного знакомого с делом. Как, возражали они, можно экономить деньги, идя на дополнительные расходы, когда и так концы с концами не сходятся? Но полковник, после того как ему пришлось неоднократно помогать им в сведении концов, наконец мягко настоял на своем; и Элиза, испытывая глубокое унижение от того, что вынуждена так часто просить у него помощи, и уязвленная громо-

[1] Порсон Ричард (1759—1808) — английский ученый, специалист по классической латыни и греческому.

[2] Бентли Ричард (1662—1742) — английский критик и филолог.

[3] Балбус Луциус Корнелиус (I век до н. э.) — друг Юлия Цезаря.

гласными насмешками Хиггинса, которому представление об успехах Фредди в чем бы то ни было казалось неувядаемой шуткой, поняла, что бизнесу, как и фонетике, нужно учиться.

Не заставляйте меня подробно описывать печальное зрелище, которое представляла собой эта пара, проводя вечера на курсах для конторских служащих за изучением стенографии, счетоводства и машинописи, бок о бок с начинающими младшими клерками, мальчиками и девочками, только что окончившими начальную школу. Они даже посещали вечерние занятия в Лондонской школе экономики и обратились к ее директору с робкой просьбой рекомендовать им курс по изучению торговли цветами. Не лишенный чувства юмора, директор объяснил им метод из знаменитого эссе Диккенса о китайской метафизике, изобретенный джентльменом, который, прочитав статью о Китае и статью о метафизике, объединил полученную информацию. Он предложил им объединить Лондонскую школу экономики и Кью-Гарденс [1]. Элиза, которой метод диккенсовского джентльмена показался совершенно правильным (каковым он и был в действительности) и ни в коей мере не забавным (что свидетельствует только о ее невежестве), приняла этот совет совершенно серьезно. Но самого большого унижения стоило ей попросить Хиггинса, любимым увлечением которого, помимо поэзии Мильтона, была каллиграфия и который писал красивейшим итальянским почерком, научить ее писать. Хиггинс заявил, что у Элизы врожденное отсутствие способности изобразить хоть одну букву, достойную самого последнего из слов Мильтона. Но Элиза настаивала, и неожиданно он снова с жаром принялся обучать ее, сочетая бурную настойчивость с сосредоточенным терпением и время от времени разражаясь взрывами интересных рассуждений о красоте и благородстве, высоком предназначении и судьбе человеческого почерка. В конце концов у Элизы выработался совершенно не деловой почерк, являющийся в полном смысле продолжением ее собственной красоты, и она стала тратить на письменные принадлежности втрое больше остальных людей, потому что не могла теперь обойтись без бумаги особых сортов и формата. Она даже адрес на конверте не могла написать обычным способом, так как это нарушало поля.

Дни коммерческого ученичества были для молодой пары временем позора и отчаяния. Кажется, они так и не узнали ничего нового о цветочных магазинах. Наконец они оставили это безнадежное занятие и навсегда отряхнули с ног своих прах курсов для клерков и Лондонской школы экономики. Кроме того, дело каким-то таинственным образом начало налаживаться само собой. Они как-то позабыли свои прежние возражения против того, чтобы нанимать других людей. Они пришли к заключению, что делают все наилучшим образом и что у них действительно необыкновенные способности к бизнесу. Полковник, вынужденный в течение нескольких лет держать на текущем счету у своих банкиров значительную сумму для покрытия их дефицита, обнаружил, что необходимость в этой предосторожности отпала: молодые люди процветали. Правда, их шансы в борьбе с конкурентами по торговле не были равными. Поездки в выходные дни за город ничего им не стоили и позволяли сэкономить на воскресных обедах — автомобиль принадлежал полковнику и он вместе с Хиггинсом оплачивал счета в гостинице. Импозантный вид мистера Ф. Хилла, торговца цветами и зеленщика (они вскоре обнаружили, что спаржа приносит доход, а спаржа привела их к другим овощам), придавал их магазину особый шик; а в личной жизни он по-прежнему был Фредериком Эйнсфордом Хиллом, эсквайром. Но он не бахвалился этим.

Вот и все. Вот как все обернулось. Поразительно, как Элиза еще умудряется так часто совать свой нос в хозяйство на Уимпол-стрит, несмотря на магазин и свою собственную семью. И показательно то, что, хотя она никогда не ворчит на своего мужа и искренне любит полковника, как будто она его любимая дочь, она так никогда и не избавилась от привычки придираться к Хиггинсу — привычки, которая появилась у нее после той роковой ночи, когда она выиграла для него пари. Элиза обрушивается на него по малейшему поводу или вовсе без повода. Он уже не смеет дразнить ее намеками на свое явное умственное превосходство над Фредди. Он бушует, и задирает ее, и высмеивает ее, но она так беспощадно сражается с ним, что полковнику иногда приходится просить ее быть добрее к Хиггинсу. И это единственная его просьба, в ответ на которую на лице Элизы появляется выражение ослиного упрямства. Ничто, кроме какого-либо несчастья или стихийного бедствия, достаточно большого, чтобы разрушить все симпатии и антипатии и отбросить их обоих к обычным человеческим отношениям,— да минет их подобное испытание! — не может изменить этого. Элиза знает, что Хиггинс в ней не нуждается. Сама педантичность, которую он проявил, сказав ей в тот день, что он привык к ее присутствию и зависит от нее в отношении всяких мелких услуг, и что ему недоставало бы ее, если бы она ушла (Фредди или полковнику никогда бы не пришло в голову сказать что-либо подобное), усиливает ее внутреннюю уверенность в том, что она для него значит «не больше этих туфлей». И вместе с тем она также чувствует, что его безразличие глубже

[1] Кью-Гарденс — ботанический сад Лондона.

страстной влюбленности более заурядной души. Хиггинс чрезвычайно интересует Элизу. Бывают даже моменты, когда она с тайным злорадством думает о том, что хорошо бы оказаться с ним наедине на необитаемом острове, вдали от всех условностей, вдвоем в целом мире, и просто стащить его с пьедестала и увидеть, что он умеет любить как самый обыкновенный мужчина. У всех нас есть свои фантазии такого рода. Но когда речь идет о деле, о жизни, которую Элиза ведет в действительности, в отличие от жизни воображения и фантазий, то ей нравится Фредди, и ей нравится полковник, и ей не нравятся Хиггинс и мистер Дулитл. Галатее всегда не особенно нравится Пигмалион: слишком уж его отношение к ней напоминает отношение бога, чтобы быть ей приятным.

«Мой способ шутить заключается в том, чтобы говорить правду»,— эти слова одного из персонажей пьесы «Другой остров Джона Булля» можно с полным основанием отнести к самому Бернарду Шоу. Он не щадил и себя, когда представлялась возможность пошутить, и это прослеживается в его автобиографических высказываниях.

Литературное наследие Бернарда Шоу еще далеко не полностью переведено на русский язык. Выше впервые печатается перевод статьи «Как Фрэнк Харрис должен был сделать это», являющейся откликом на очерк Фрэнка Харриса «Бернард Шоу», напечатанный в сборнике «Современные портреты». Ф. Харрис, журналист и писатель, пригласил Шоу театральным рецензентом в редактируемый им журнал «Сатердей ревью» (1895—1898). Когда Шоу прославился как драматург, он оказывал помощь Харрису, не раз попадавшему в тяжелое положение. Харрис использовал знакомство с Шоу, чтобы писать о нем в фамильярном духе. Впоследствии он написал о нем большую книгу. Публикуемая статья отчасти пародирует очерк Харриса, отчасти используется Шоу для выражения своих парадоксальных взглядов по разным общественным вопросам.

Написанная в 1912 и поставленная в 1913 году комедия «Пигмалион» нарушала общепринятый канон и не завершалась традиционной для этого жанра свадьбой героев — профессора фонетики Хиггинса и его ученицы Элизы Дулитл. Поскольку это вызывало нарекания, Шоу, издавая пьесу в 1916 г., дописал печатаемый нами «Эпилог», в котором объяснил, почему он закончил комедию так, а не иначе.

А. АНИКСТ

ДЖОРДЖ БЕРНАРД ШОУ

ЦИТАТЫ И АФОРИЗМЫ

Перевод с английского И. НАУМОВА

Почему кто-то другой должен оценивать меня, когда я сам могу это сделать? Я не страдаю неспособностью отражать удары. Предоставьте мне сильнейшего критика, и я откритикую ему голову с плеч долой, начисто!

Я не могу сказать вам, в чем я лучше всего, потому что «лучше всего» — это уровень, которого я еще не достиг.

Люди смеялись, когда я был серьезен. Теперь они снимают шляпы, когда я шучу, и это еще более раздражает.

Моя особенность — быть правым там, где все неправы. Там, где со мной соглашаются, мне делать нечего.

Я никогда не был социальным клоуном... Я заботился только о своей миссии, как я называю ее, и о моей работе. А моя работа — мыслить о том, что немыслимо.

Первая тюрьма, которую мне пришлось увидеть, несла на своем входе надпись: «Избегай делать зло, учись делать добро!» Но так как надпись находилась снаружи, арестанты ие могли ее прочитать.

Почему это так устроено: люди, умеющие веселиться, не имеют денег, а люди, имеющие деньги, не умеют веселиться.

Не делай другим того, что ты хотел бы сам получить от них. Ведь у них могут быть иные вкусы.

Пусть ваши враги, как бы многочисленны они ни были, находятся всегда перед вами; берегитесь хотя бы одного из них за своей спиной.

Уж если вы побеждаете противника, то лучше делайте это не наполовину.

Порок — это просто порча жизни.

Если мы хуже своих отцов, а они хуже наших дедов — и так в глубь веков до Платона, почему же мир не хуже и не лучше, чем описал его Платон?

Не удовольствия заставляют ценить жизнь; жизнь заставляет ценить удовольствия.

Не спешите всего достичь. Чем вы будете жить потом? Превратите лучше вашу цель в горизонт: он всегда будет перед вами, впереди.

Не разрушайте старых традиций, пока не созданы новые.

Интерес человека к миру — всегда только следствие переполнения его интересом к самому себе.

Вы видите то, что есть, и спрашиваете: «Почему?», я же мечтаю о том, чего пока нет, и говорю: «А почему бы нет?»

Предоставьте человеку возможность — и он сделает все, чтобы навредить себе, а затем будет смеяться над собственной глупостью.

Правильное воспитание детей в том, чтобы дети видели своих родителей такими, каковы они в действительности.

Дети всегда правы, называя нас взрослыми. Это единственная разница между ними и нами.

Нет более опасного литературного симптома, чем искушение теоретизировать о юморе и остроумии. Он показывает отсутствие у автора и того и другого.

Смех зрителей для меня ничто; каждый дурак может рассмешить. Я хочу видеть сквозь этот смех слезы.

Невозможно написать хорошую книгу, пока не напишешь несколько плохих.

Кто может — тот творит, кто не может — тот учит.

Приличия — молчаливая форма конспирации неприличий.

Увы! О приличиях в наше время невозможно говорить без неприличий.

Это не ссора — это английская семейная жизнь!

Общепринятый смысл не так уж логичен.

Не забывайте, что юмор — черта богов.

Всякая возмущающая общественное спокойствие правда начинается с шутки.

Моя манера шутить — это говорить правду.

Иногда надо рассмешить людей, чтобы отвлечь их от намерения повесить вас.

Парадоксы — вот единственная правда!

Нет ничего серьезнее глубокого юмора.

Мой самый ценный совет: никогда не пользуйтесь советами (и этим тоже)!

Наши гости

Фахри Эрдинч

Когда писатель уезжал из Москвы, я записал на пленку его голос. Он пел старинную народную песню на слова средневекового турецкого поэта Караджаоглана:

Метет ли метель — мне чудится кожа
Элиф.
Струится ли дождь — я вижу походку
Элиф.
Повсюду она — в облаках, на земле,
Ибо любовь — во мне[1].

И после паузы две строчки своих стихов:

Душа моя — в стране моей.
Страна моя — в душе моей.

Наш гость — писатель необычной судьбы. Он родился в Турции и пишет только по-турецки — стихи, рассказы, романы, пьесы. Но вот уже почти тридцать лет живет в Народной Республике Болгарии. Книги его выходят на его родине. Но возвращение на родину грозит ему долгими годами тюрьмы.

Впервые я увидел Фахри Эрдинча в 1956 году. Стояло душное лето. Мимо бежали подмосковные поля, новые кварталы Москвы. Мы возвращались из Переделкино от Назыма Хикмета. О встрече с ним Фахри Эрдинч мечтал чуть ли не всю свою сознательную жизнь.

Когда в Турции вышла первая книга стихов Назыма Хикмета, Фахри Эрдинчу было двенадцать лет. Его отец был «ходжой», учителем мусульманской школы в маленьком городке Западной Анатолии Аккисаре.

Дня и месяца рождения Фахри не знает: отец записывал важные семейные даты в бухгалтерскую книгу, а она сгорела вместе с домом и всем городом во время национально-освободительной войны 1919—1922 гг. Детей в семье было много — всех дат рождения не упомнишь.

— Из оставшихся в живых детей я был третьим. Мать, родив меня, так и не поднялась. Отец, чтобы перебиться, обучал арифметике мясника за пять окка мяса в месяц, за уроки лавочнику и провизору ему давали мешок муки и торбу мыла... Он все более озлоблялся и стал лупить нас за дело и без дела. Никогда не забуду, как однажды, найдя у брата в кармане пачку сигарет, они с мачехой его избили. Понял брат, что жизни ему не будет, и уехал из дому. Он поступил в педучилище и получил там бесплатную койку. Он-то спасся, зато мне стала доставаться тройная порция порки.

Старший брат Фахри Эрдинча умер от чахотки, так и недоучившись. Тогда Фахри занял его место. В училище он начинает пробовать свои силы в поэзии. Здесь же он впервые услышал имя Назыма Хикмета и прочел его стихи. Многое в них было непонятно. Но стихотворение «Пленник сорока разбойников», в котором говорилось о национально-освободительной войне, он запомнил наизусть.

[1] Здесь и далее — стихи в переводе Р. Фиша.

Получив диплом учителя, Фахри Эрдинч уезжает в деревню.

Три года учил я детей батраков
На белой бумаге буквы читать,
Хозяйских овец без ошибки считать.
Говорил, как мы воевали
За свободу против семи держав...
А в конце и в начале каждой недели,
Флаг на ивовой ветке подняв,
Вместе с босыми учениками
Мы гимн национальный пели.

В 1938 году в Анкаре открывается государственная консерватория. Прочитав в газете объявление о наборе студентов, Фахри Эрдинч приезжает держать экзамены. Председателем экзаменационной комиссии был известный актер и режиссер Эртугрул Мухсин — «отец турецкого театра». В двадцатые годы он посетил Советский Союз, присутствовал на репетициях Станиславского, на спектаклях Мейерхольда. Эртугрул Мухсин был первым турецким режиссером, поставившим «На дне» Горького, «Вишневый сад» Чехова, пьесы Назыма Хикмета «Череп» и «Дом мертвеца». Вел экзамен австрийский профессор Карл Эберт, объяснявшийся со студентами через переводчика.

— Ну, что вы нам расскажете? — спросил он, когда очередь дошла до Эрдинча.

И Фахри Эрдинч рассказал:

— Было то или не было, не в стародавние времена, а в тысяча девятьсот тридцать шестом году: жила-была деревня. Республике шел тринадцатый год, а деревенскому учителю — девятнадцатый. В деревне было сто пятьдесят пять детей, которые должны были ходить в школу, а на занятия к учителю являлось пятнадцать. Остальные ходили к мулле читать Коран. Что учитель ни делал, куда ни обращался, а побороть муллу не мог. Все было на его стороне — и староста, и начальник жандармерии, и невежество крестьян. Тогда учитель взял в одну руку национальный флаг, в другую — портрет Ататюрка в рамке и вместе со своими пятнадцатью учениками направился к дому муллы.

— Что вам здесь надо? — удивился мулла.

— Учиться. Раз большинство детей ходит к тебе — повесь этот флаг и портрет у себя дома. Будешь учить и меня.

— Понятно. Значит, тебе захотелось до конца года убраться из деревни?

— Не испытываю такого желания.

— Это уж зависит не от твоего желания, а от моего.

— Посмотрим.

— На кого же ты надеешься?

— Приходи в школу, увидишь.

— Что же, приду после молитвы. Жди.

— Вот на кого я надеюсь,— сказал учитель, когда мулла явился в школу.— Узнаешь? —Он показал рукой на портрет первого президента республики.— И вот еще на что я надеюсь.— Он показал на карту Турции с шестью синими стрелами, которые символизировали шесть принципов Ататюрка.— Видишь, вот эта стрела означает лаицизм. То есть, чтобы тебе было понятно, это значит, что вера никакого отношения к мирским делам не имеет и пора тебе перестать ею торговать. Кроме твоего сына, ты никого учить не имеешь права. Я требую, чтобы все мои сто пятьдесят пять учеников ходили в школу. Понятно?

Мулла внимательно поглядел на учителя и расхохотался. Все осталось по-прежнему. И тогда учитель решил идти к самому министру: «Или я, или мулла!» Но к министру его не допустили — «сначала обратись к генеральному инспектору начальных школ». Не принял его и генеральный инспектор — «обратись сперва к начальнику отдела». Начальник отдела направил его к своему помощнику. «Поезжай в губернию,— сказал тот,— обратись к начальнику отдела просвещения. Только он может этот вопрос разрешить».

Сколько учитель ни убеждал его, что начальник отдела все знает, что он приятель муллы,— бесполезно.

Пришлось вернуться в губернию. Начальник отдела, завидев его, воздел руки: «Мне с тобой некогда разбираться. Если ты немедленно не приступишь к занятиям, будет считаться, что ты самовольно бросил работу».

То была не сказка и не художественная проза. Фахри Эрдинч рассказал на экзамене свою собственную историю.

— Хорошо, теперь прочтите какие-нибудь стихи,— сказал один из членов комиссии.

— «Пленник сорока разбойников!»

Когда Фахри Эрдинч назвал имя автора, его перебили:

— А других стихов вы не знаете?

Назым Хикмет был только что осужден военным трибуналом на двадцать восемь лет тюрьмы.

— Других не успел выучить!

— Пусть читает, что знает! —пришел ему на помощь Эртугрул Мухсин.

Фахри Эрдинча приняли на театральное отделение. После экзамена к нему подошел переводчик профессора Эберта:

— Ты рассказал нам довольно оригинальную историю.

— Не знаю, оригинальную ли. Я рассказал только то, что было со мной.

— Попробуй-ка это написать...

— Если бы пером я умел ворочать так же, как языком...

— Попробуй.

— Пробовал. Пишу много. А все на правду не похоже. Вот у Сабахаттина Али каждый рассказ горек, как «Хинин». (Так называется один из рассказов С. Али.)

— Ты знаком с ним?

— По книгам. Самого не видел.

Переводчик протянул руку:

— Будем знакомы — Сабахаттин Али! Я ассистент профессора Эберта.

Основоположник прогрессивного направления в турецкой прозе, Сабахаттин Али стал первым учителем молодого писателя. Он читал все его рассказы и браковал один за другим: «Это порви!», «Этот спрячь на годик-другой под матрац!», «Этот перепиши заново!», «Не гляди в окно и на горы, гляди на людей!», «Рой колодец, а не строй воздушные замки!» За целый год одобрения Сабахаттина Али заслужили только два рассказа.

Узнав, что Фахри Эрдинч решил стать актером, отец «вычеркнул его из списка своих детей». «Ты забыл мой совет,— писал он.— Если сидишь в болоте,— не барахтайся, а то утонешь. Что же, учись. Вылазь на эту самую сцену, мажь лицо, будь шутом, забавляй каждого встречного и поперечного. Я тебя знать не хочу — провались ты в ад».

Это письмо Фахри показал Сабахаттину Али.

— Кто же прав, отец или я?

— Барахтайся! — ответил Сабахаттин Али.— И попробуй написать об этом...

Фахри Эрдинч решил уйти из консерватории.

— Не страшись болота. Барахтайся! — напутствовал его учитель.

Больше увидеться им не пришлось.

Фахри Эрдинч снова учительствует в деревне. Четыре года служит в армии. Потом работает писарем на строительстве, репортером и журналистом в различных газетах Стамбула и Анкары, диктором на радио, актером. Пишет стихи и рассказы, репортажи и радиопьесы. Когда в 1945 году вышла первая книга стихов Фахри Эрдинча, один из турецких критиков сравнил его поэзию с «рекой, которая ищет свое русло».

Однажды Фахри Эрдинч отправился в ресторан «Карпыч». Нет, не обедать — это был самый шикарный ресторан Анкары, свое название он получил по отчеству хозяина, русского белогвардейца. Фахри Эрдинч работал репортером, и там у него было деловое свидание. Но в ресторан его не пустили.

— Запрещено!

— В чем дело?

— Американцы!

— Ну и что, съем я их разве?

— Нельзя, официальный банкет.

Фахри Эрдинч, обозленный, обругал и американцев, и тех, кто пустил их в страну. Не успел писатель закончить фразу, как двое в штатском схватили его под руки. В доме у Фахри Эрдинча были обнаружены экземпляры прогрессивных журналов, поэма Назыма Хикмета «Дестан о шейхе Бедреддине», книга стихов Рифата Илгаза и сборники рассказов Сабахаттина Али. Все это были легальные издания. Но за несколько месяцев до ареста Фахри Эрдинча местные фашисты сожгли их вместе с произведениями русских классиков на костре, разложенном на главной площади турецкой столицы.

Фахри Эрдинч получил для первого раза три месяца тюрьмы. Здесь он встретился с коммунистами. Они дали ему прочесть единственную книгу, которая у них была,— их собственное обвинительное заключение в военном трибунале.

Мне в душу запали
Товарищи эти.
Будто теплые капли
В весеннюю землю вонзились...
Как чурка под топором,
Раскололся мой мир пополам.
И друзья и враги в полный рост
В зеркале правды явились.

Выйдя из тюрьмы, Фахри Эрдинч оказывается без работы.

— Как я ни барахтался, как ни бился, ничего не выходило — я погружался все глубже и глубже в болото. Все, за что я хватался, ломалось под руками. Изредка мне удавалось печатать свои рассказы. Но гонорара едва хватало на три супа из потрохов. Както я сидел на скамье в стамбульском парке Гюльхане. Задумался, опустил голову. Мальчишка-газетчик прокричал над моим ухом:

— Сабахаттин Али убит на болгарской границе!

Этот крик оглушил меня, как пушечный выстрел. Мне не показалось — выстрел прогремел на самом деле. И не один, а двадцать один — в Золотой Рог входила американская эскадра и приветствовала Стамбул залпами своих орудий!

Я размышлял. Сабахаттин Али убит при переходе границы. Убийца—агент полицейских, сидящих в Анкаре. Это наши враги. Они убивают тех, кто угрожает им. Сейчас они убили человека, который покидал страну. Значит, он был для них опасен. Значит, Сабахаттин Али не бежал, а намеревался собрать новые силы для борьбы.

В журнале, где иногда печатались мои рассказы, я достал журналистское удостоверение и отправился в Западную Фракию. Я шел из деревни в деревню и наконец дошел до того ручья, у которого он был убит. Потолковал с крестьянами. «Если судьба не накаркает, отсюда до границы самокрутку выкурить не успеешь»,— сказали они.

Никогда еще мы не были так близки с Сабахаттином Али. Я сидел на том месте, где он упал. Но когда я встал, он ожил во мне. Мне захотелось тотчас завершить путь, который не удалось завершить ему, перешагнуть последнюю ступеньку к свободе. Нужно было сделать лишь шаг. Но я не смог.

Что меня удержало? Родина? Могила матери? Отчий дом? Сын? Женщина, с которой я последние месяцы делил свой горький хлеб? Или неоконченная мною книга, которая лежала на столе в моей комнате? Или страх, что меня назовут бесчестным из бесчестных, безродным из безродных, назовут предателем? А, может быть, боязнь, что я никогда больше не смогу вернуться и умру на чужбине? Не знаю. Я возвратился в Стамбул.

В 1949 году во Франции был создан Комитет турецкой молодежи. В него вошли студенты, учившиеся за границей, передовая интеллигенция, эмигрировавшая из страны. Комитет начал борьбу за освобождение из тюрьмы Назыма Хикмета, рассказывал мировой общественности правду о том, что творится в Турции. Фахри Эрдинчу стало известно, что в составе комитета несколько его бывших однокурсников по Анкарской консерватории. Он решает присоединиться к ним. Вместе с писателем Зией Ямачем и журналистом Тургулом Делиорманом они перешли границу и оказались в Болгарии. «Я заново родил самого себя»,— пишет Фахри Эрдинч.

Наступил период переоценки всех ценностей и понятий.

То, что ты зовешь головою,—
Голова, конечно, когда она варит.
Но если она котелок с дырою,
Разве ее назовешь головою?
То, что землею зовешь ты,—
Земля, когда за нее умирают.
Но если яма, в которой гниешь ты,
Разве землею ее называют?..
То, что терпеньем тобою зовется,
Терпение, если однажды взорвется,
Но если, как порох подмокший скисает,
Разве терпеньем его называют?

С тех пор прошло двадцать лет. За это время Фахри Эрдинч опубликовал три романа, пять сборников новелл, две книги стихов. Его рассказы и стихотворения переведены на многие языки Европы и нашей страны. Его автобиографический роман «Горький ломоть» полюбился советскому читателю. Недавно наш гость завершил работу над второй частью дилогии — романом «Братский дом», который вскоре выйдет одновременно в Болгарии и Турции.

— Почти тридцать лет я вынужден жить за пределами родины. Казалось бы, срок — почти смертельный для писателя: можно оторваться от родного языка, утратить живые связи со страной. Мне же удалось в целости сохранить не только свой нравственный багаж, но и все связи с родиной, которую знаю, пожалуй, теперь не хуже, чем когда жил там...

Подтверждением этих слов писателя могут служить его стихи и рассказы, которые с 1968 года регулярно помещаются в литературных журналах Стамбула и Анкары, выход в Турции новых изданий его книг. Одно из стамбульских издательств объявило недавно о намерении выпустить полное собрание сочинений Фахри Эрдинча. Старейший литературный журнал страны «Варлык» включил его имя в список десяти турецких авторов, которые следует рекомендовать ЮНЕСКО для перевода на иностранные языки. В печати появились статьи с осуждением тех кругов, которые препятствуют писателю вернуться на родину, и открытое письмо к нему с призывом вернуться, несмотря ни на что.

Фахри Эрдинч ответил стихотворением «Навострив слух». В нем он говорил: возвращение на родину — для него счастье, но он сделает это, лишь когда в уголовном кодексе будет отменена 141-я статья. По этой статье в Турции, единственной стране НАТО, вот уже пятьдесят с лишним лет запрещена коммунистическая партия. Стихотворное послание Фахри Эрдинча было напечатано в газетах рядом с требованиями легализовать компартию.

— Если мне удалось сделать для своей страны и литературы что-то полезное, то здесь примером служил мне Назым Хикмет. У него я учился жить и трудиться в эмиграции, которая, по его словам, «бывает порой хуже смерти». Назыма Хикмета не печатали в Турции целых двадцать семь лет. И тем не менее он стал нашим национальным поэтом. Когда в 1967 году об этом впервые с трибуны меджлиса сказал депутат Рабочей партии писатель Четин Алтан, его избили тут же, в стенах парламента. Ныне, когда в Турции изданы почти все произведения Назыма Хикмета, вышло много работ о нем, о его творчестве, в том числе и советских тюркологов; спрос на его книги так велик, что появились даже дельцы, составившие себе на издании Хикмета немалые капиталы.

Назым — наше знамя. И это не метафора. В прошлом году на первомайской демонстрации в Стамбуле — в ней участвовали десятки тысяч людей от членов Союза металлистов до членов Синдиката писателей — впервые в истории Турции несли портрет генерального секретаря официально запрещенной компартии. И конечно же, было очень много портретов Назыма Хикмета.

— Какое отражение в литературе нашли проблемы сотен тысяч турецких рабочих за рубежом?

— Об этом написано много стихов, в том числе знаменитое «Наши мусорщики в Германии» Фазыла Дагларджи. Известный турецкий прозаик Бекир Йылдыз посвятил турецким рабочим в Германии несколько книг. Но есть поэты и писатели, которые не могли прокормиться на родине, уехали в Западную Германию и сами стали рабочими. Из них, на мой взгляд, наиболее интересен Фетхи Савашчи.

Хотя многое в последние десятилетия в самой Турции изменилось, отстаивать правду и в политике, и литературе по-прежнему нелегко. Недавно, например, Синдикат писателей выпустил своеобразную хрестоматию под названием «Конфискованные книги». В ней двести пятьдесят страниц, и состоит она из отрывков художественной прозы и стихов, которые были официально изъяты из библиотек, школ и лицеев.

Что касается коммунистов, то если прежде, во времена профашистской диктатуры, их сажали в тюрьму на десять—пятнадцать лет, то теперь им стреляют в спину из-за угла. За последний год так погибло около шестисот человек: студентов, преподавателей, журналистов, поэтов. И все же обстановка в нашей стране да и на всем Ближнем Востоке сейчас складывается таким образом, что для писателя, будь ему восемнадцать лет или шестьдесят, сказать — «я писатель правых убеждений» — просто невозможно. Правда, среди именующих себя левыми появились «ультра», а как известно, «ультралевые» мало чем отличаются от «ультраправых». Заведите левую и правую руки за спину до конца — они встретятся. Главная причина тут, на мой взгляд, политическое невежество, неопытность значительной части нашей молодежи. Но опыт— дело наживное...

Крутится катушка магнитофона. Низкий, густой голос Фахри Эрдинча выводит:

Метет ли метель — мне чудится кожа
Элиф.
Струится ли дождь — я вижу походку
Элиф.
Повсюду она — в облаках, на земле,
Ибо любовь — во мне.

И после паузы:

Душа моя — в стране моей.
Страна моя — в душе моей.

РАДИЙ ФИШ

Среди книг

Издано в СССР

НОСИТ ИМЯ «СОПРОТИВЛЕНИЕ»

Сопротивление живет. Антифашистские повести. Перевод с итальянского. Составление и предисловие Г. Д. Богемского. Москва, «Прогресс», 1977.

Ты его получишь камерата Кессельринг
памятник которого ждешь от нас
итальянцев
но из какого камня он будет построен
это решать будем мы одни
не из закоптелого камня
бессильных поселков уничтоженных тобою
не из земли взятой на кладбищах
где наши молодые товарищи покоятся
в мире
не из непорочного горного снега
целых две зимы бросавшего тебе вызов
не из весны на этих долинах
весны видевшей твое бегство
но только из молчанья подвергнутых
пыткам
более твердых чем бутовый камень
только из непоколебимости этого союза
которому поклялись свободные люди
волонтеры объединившие свои силы
во имя достоинства а не злобы
люди решившие добиться избавленья
от стыда и террора во всем мире.
Если на эти дороги ты захочешь
вернуться
на своих местах ты нас всех застанешь
мертвых и живых верных своему долгу
народ столпившийся вокруг монумента
который сегодня и всегда носит имя
Сопротивление

Мемориальная доска, на которой выгравированы эти слова, установлена на здании муниципалитета в Кунео и напоминает не только жителям города-мученика об эпопее борьбы за Освобождение. Она напоминает всем людям о самопожертвовании участников Сопротивления, она свидетельствует о решимости не повторять ошибки прошлого. Это «послание» написал в 1952 году Пьеро Каламандреи, один из самых видных деятелей антифашистского движения, член Партито д'Ационе[1], представитель демократической культуры. Он прочитал этот текст в Кунео в присутствии партизан, освободивших Италию от нацистского и фашистского порабощения, во время церемонии установления мемориальной доски. Эти исполненные гнева и презрения слова обращены к нацистскому генерал-фельдмаршалу Кессельрингу, возглавлявшему немецкие войска в то время, когда нацисты фактически оккупировали Италию, а власть Муссолини была чисто фиктивной. Рассказ о мемориальной доске в Кунео, имеющей большое политическое и культурное значение для нашей страны, может послужить отправным пунктом для разговора о том, что представляла собой литература итальянского Сопротивления, объединившего — и этот момент был решающим — крестьян, рабочих и интеллигентов.

Литература Сопротивления родилась в то время, когда в горах еще сражались против немецких и итальянских фашистов. Для Италии это был совершенно новый жанр литературы, в произведениях которого нашли выражение чувства, проблемы и тревоги людей. Целое поколение прозаиков и поэтов духовно сформировалось в самой гуще партизанской борьбы; эти писатели не столько воспевали героические поступки, сколько отражали характерные для того времени противоречия и стремления. И антифашистские повести, опубликованные на русском языке,— это не произведения, принадлежащие прошлому. Напротив, тенденции литературы Сопротивления продолжают жить. Можно даже сказать, что в сегодняшней Италии они особен-

[1] Партито д'Ационе — Партия действия, игравшая большую роль в итальянском движении Сопротивления *(прим. ред.)*.

но актуальны, так как страна охвачена жаждой обновления, а молодежь не хочет совершать ошибки старших поколений.

Авторы произведений, включенных в сборник, значительны. В самом деле, Итало Кальвино, Беппе Фенольо[1], Марчелло Вентури органически входят в «панораму», верно отражающую характер эпохи. Их проблематика помогает понять не только Италию «того времени», но и сегодняшнюю Италию.

Имя Кальвино тесно связано с именем крупнейшего интеллектуала и писателя Элио Витторини: они вместе создали в 1959 году журнал «Менабо», смело и умно ставивший вопрос о роли интеллигенции в современном индустриальном мире. Повесть «Тропа паучьих гнезд», явившаяся литературным дебютом Кальвино, сразу вводит нас в особый мир. Кальвино рассказывает историю одного генуэзского мальчишки, брата проститутки, проводящей свои дни в обществе немецких оккупантов. Этот подросток — Пин,— украв у одного немца револьвер, убегает из города в горы, к партизанам. Там происходит его настоящее вхождение в жизнь, там он встречается с различными людьми — от демократов-идеалистов до коммунистов. В сущности, эту галерею персонажей можно считать как бы социальным зеркалом Италии. Павезе, большой писатель, тоже представитель литературы Сопротивления, 26 октября 1947 года назвал на страницах газеты «Унита» Кальвино «белкой с самопишущим пером». Эта метафора только на первый взгляд кажется парадоксальной: на самом деле Павезе с уважением отметил совершенно новую манеру письма, удивительную быстроту ритма и несомненную человечность подхода Кальвино к людям и к проблемам.

Еще один представитель литературы Сопротивления — Фенольо. Его дебют в прозе также связан с именем Витторини. Именно в серии «Джеттони», которой руководил Витторини, вышла первая книга Фенольо. Изобразив партизанскую жизнь без всякой облегченной риторики, он вошел в литературный мир как писатель со своей манерой. Эта конкретная, человеческая и подлинно антириторическая манера письма полностью проявилась в повести «Личные обстоятельства», которую наиболее внимательные и серьезные критики назвали «самым прекрасным рассказом о Сопротивлении». Это история одной любви (чистой, отчаянной, юношеской), которая развивается параллельно с партизанской темой, объединяя романтическую напряженность и приключенческое начало. Фенольо — мастер такой тематики: схваченный им смысл жизни, борьбы ему удается донести до читателей. И тем, кто сражался в партизанских отрядах, и тем, кто верит в Сопротивление вчерашнего и сегодняшнего дня, близко его жизненное «кредо».

Последнюю из включенных в сборник повестей — «Отпуск одного немца» — написал Марчелло Вентури. Путевку в жизнь этому писателю опять-таки дал Витторини. Вентури начал литературную деятельность в журнале «Политекнико», созданном Витторини. Этот авторитетный журнал был колыбелью культуры итальянского Сопротивления, и Витторини отдавал «Политекнико» все свои силы. В повести «Отпуск одного немца» Вентури выступает со страстностью бойца-антифашиста. Он рассказывает о немце, военном преступнике, виновном во многих кровавых деяниях против итальянского населения. Война кончилась, наступил мир, и этот немец возвращается как турист в Италию, чтобы посетить места, где он когда-то воевал и убивал. При чтении повести Вентури невольно вспоминаешь слова Каламандреи, выгравированные на мемориальной доске на здании муниципалитета в Кунео.

Традиции литературы Сопротивления живут и в наши дни. В Италии выходят новые сборники, публикуются дневники и воспоминания, благодаря которым читатели узнают новые эпизоды и подробности эпохи Сопротивления. Среди этих книг хочется отметить книгу Эмилио Сарци Амаде[1], журналиста, который в дни антифашистских боев ушел в горы, чтобы бороться. И едва лишь Сопротивление победило, он обнародовал свой дневник, посвященный своей «гарибальдийской» партизанской бригаде, которая сражалась в горах Беллуно. Он описал людей, объединенных общими идеалами, среди них был также один русский, его звали Василием, «и он сражался в горах вместе с нами, итальянскими партизанами». Эта книга сразу после Освобождения печаталась с продолжениями в одной маленькой провинциальной газете. Потом эти тексты затерялись. Теперь издательство «Эйнауди» представило их итальянским читателям под заголовком «Полента и камни»,— уже само это название говорит о нужде, о крестьянском и народном характере боев, которые велись на Севере Италии. Все персонажи — предупреждает автор — подлинные лица. Но время разбросало их в разные концы земли. Вчера они вместе бились в горах. Сегодня? «Один — католик, художник, тяжело заболел и умер... Другой затерялся где-то в Латинской Америке и до сих пор не вернулся... Третий погиб в Африке: произошел несчастный случай во время строительства плотины... Четвертый проделал долгий путь и в итоге — это было логично и справедливо — пристал к тому же берегу, что и я».

Эмилио Сарци Амаде — коммунист и работает в газете «Унита». И он из тех, кто продолжает славные традиции литературы Сопротивления, литературы, с которой советские читатели встретились благодаря произведениям Кальвино, Фенольо и Вентури.

КАРЛО БЕНЕДЕТТИ

[1] Повесть Б. Фенольо «Страстная суббота» напечатана в «ИЛ» № 4, 1972.

[1] Emilio Sarzi Amadé. Polenta e sassi, 1977.

ЕВРОПА! КАМО ГРЯДЕШИ?

Зарубежная повесть 1973—1976. Марио Каштрим. Берегитесь лошади в желтой косынке. Антоние Исакович. Миг озарения. Мюриэл Спарк. Аббатиса Круская. Раймон Жан. Вдумчивая женщина. Эмил Марков. Этот старый небесный глобус. Свен Дельбланк. Примавера. Хельмут Ценкер. Касбах. Леонардо Паша. Любым способом. Москва, «Прогресс», 1978.

Европейская повесть 1973 — 1976 гг.

Не без волнения приступаешь к чтению. Европа!

Слишком дороги нам судьбы этого «ничтожного» клочка суши — ничтожного, если по количеству эту сушу сравнивать с прочей; но не ничтожного, а невиданного, неслыханного, неповторимого, уникального, если брать параметры истории...

Ведь повесть — это не поэзия, не роман; те жанры высоки и почетны, но они, даже роман, зачастую менее социологичны, менее непосредственно злободневны, чем повесть. Поэзия не столь житейски конкретна, роман не столь «оперативен», он метит в глубину, но не в то, что явно носится в воздухе; повесть метит именно в это. Недаром и в нашей литературе последних десятилетий повести столь заметны.

Невозможно подробно анализировать каждую повесть, да и надо ли? Приступая к чтению европейской повести, мы настроены более решительно, прагматически и, если угодно, грубо: нам бы именно это общее... это главное.

Камо грядеши, Европа?

Нечего, конечно, и говорить, что ни один из талантливых писателей, участвующих в этом сборнике, не ставит такого вопроса прямо. Европа не терпит прямолинейности... Что же она терпит?

И что отрицает? Ибо то, что она «терпит», из этого сборника (как мы, честно говоря, и ожидали) лучше всего видно «через» то, что она отрицает...

Мощное орудие новейшей европейской иронии идет тут, разумеется, в ход непрерывно и круто.

Ирония!

Она бывает разная.

Одни яростно отрицают самое иронию как целое; другие опираются на нее безоглядно.

А она разная...

Один из типичных предметов изображения в этой книге — духовные институты современного европейского общества.

Итальянец Шаша, англичанка Спарк показывают клерикалов, швед Дельбланк и тот же Шаша — художников; разные прочие профессии из тех, что некогда олицетворяли властителей дум, встречаются на страницах почти всех произведений, составляющих книгу.

Как правило, густейшая и мрачнейшая ирония господствует при изображении этих людей, атмосферы. Да, она прежде всего господствует именно здесь, и именно здесь она самая мрачная.

Как бы ни называлась духовная, нравственная инстанция, которой ты служишь, служи ей честно, мысленно говорят писатели; в этом — твоя профессия, твое оправдание. А нет — получай.

Получай по заслугам.

Камня на камне не оставляет Мюриэл Спарк от своей монашеской обители.

Манера писательницы — «объективная» и, конечно, тем более «ехидная». Еле заметная стилевая условность, игровое «снятие» внешнего материала позволяют добираться до самых основ человеческого заблудшего формального интеллекта и хитрости.

Какие только средства не идут в ход в борьбе монахинь между собою. Сами эти монахини — истинные дочери века: они умны, ироничны, знают стиль, умеют внешне сдерживать чувства, понимают, в чем состоит аристократизм, в чем — мещанство; ведут переговоры по телефонам с Колумбией или Тибетом или непосредственно шепчутся в кустах за стенами обители, ибо стены обители прослушиваются с помощью новейшей аппаратуры, установленной самими же ироническими собеседницами; как, впрочем, прослушиваются и кусты, и цветы, и клумбы, и прочая незаинтересованная природа.

И все это — ради ничтожнейших целей: кому быть аббатисой, а кому приорессой; кому спать с любовником по принципам новейшей свободной морали, а кому — по «старым добрым» принципам лицемерного, но более надежного ритуального XIX века; да и вопрос не в том, а как обставить дело...

Таковы средства и цели.

Вспоминая старое иезуитское правило, человек невольно думает о том, до чего же истончилось, выдохлось и устало само зло, если оно стало столь неприглядным и мелочным.

Этот мотив — неприглядности, мелочности самого зла — сквозит и у других авторов.

Везде господствуют «мелкие бесы» — упыри, недоумки. Властелин художника-рассказчика в «Примавере» (Свен Дельбланк) — проходимец с «черного рынка»; но вот он становится, благодаря умению держать нос по ветру, крупным организатором от искусства — и склонен уже играть в Мефистофеля и произносить, если можно

так выразиться, высокие инфернальные речи: «Чем, ты думаешь, они украшают стены своих квартир? Старые рыбаки, цыганки, домик на берегу в лучах солнца. Или репродукции картин трех художников конца прошлого века. А тебя они помнят только как пьяного нахала в телепередаче. Вот так. Ты более или менее признан, деньги текут к тебе рекой, но сколько, по-твоему, в этой стране таких, кто знает тебя как великого художника? Десять тысяч, допустим. А в Скандинавии? В Европе? От силы еще десять тысяч. Так какого же рожна тебе надо? Таковы правила игры. Этих правил ты не изменишь...» Бедный художник, попавший в плен, оторопело и тупо бьется в трех соснах его сентенций и афоризмов, а главное, в трех соснах простой денежной зависимости — и тоскливо покоряется; но ушла от него символическая Примавера (Весна!) — дочь Сиббе, которой он так свежо, свободно, чутко и радостно служил во времена бедности, творчества и свободы... И как ни пыжится «мелкий бес», видно, что он именно мелочь («абсолютной художественной ценности вообще не существует... зато существует конъюнктура»); видно, что он — просто бывший жулик с «черного рынка».

Те же идеи звучат в пасторально, неторопливо начатой, надрывно-детективно законченной повести итальянского писателя Л. Шаши (тут тоже свой Мефистофель, к тому же посягающий на роль искреннего служителя бога,— отец Гаэтано, «неожиданно» и как бы даже слишком поспешно кончающий бесславной смертью); в написанной несколько в духе «нового романа» повести французского писателя Р. Жана «Вдумчивая женщина» (один из основных персонажей — торговый агент-полицейский) и в других произведениях...

Мелкость, выморочность порока: ирония сказывается и в этом. Полное отрицание именно красоты зла, снятие с низменного инфернально-цветистого лакового покрытия — таков пафос.

Пафос этот не нов в европейской литературе. Но здесь он выражен как-то уж совершенно надрывно, порою (тоже!) зло...

Разумеется, писатели не могут избавиться и от памяти о тех угрюмых тенях, которые в XX веке смутно встают за спиной каждого новоявленного «мелкого беса».

Об этих тенях еще раз прямо напоминает австриец Х. Ценкер. Его Касбах — фашист. Фашист вроде бы тоже какой-то бытовой, маленький, вызывающий скорее брезгливость, чем ужас; но хоть он и маленький, вокруг него — неизменный запах только что пролитой и застарелой крови, насилия, ненормального физиологизма жизни. Между прочим, в одной из сцен Касбах и его приятели сталкиваются со студентами-леваками. Фашисты берут верх, а храбрые на словах интеллигентики-экстремисты спасаются бегством...

И так далее, и так далее.

Традиционное: что же взамен?

Быть может, вечная ликующая природа?

Простые ценности?

Этот мотив есть, конечно, и у Шаши (особенно в начале повествования), и у Дельбланка с его Примаверой, язычески-чистой Сиббе, и даже у Р. Жана с его потоком жизни и психологической эманацией. Без этого нельзя.

Особенно сильно это начало в весьма оригинальной по решению и не менее, чем у других западноевропейских писателей, надрывной по духу повести португальца М. Каштрима «Берегитесь лошади в желтой косынке».

Повесть построена в виде монологов пяти лошадей, обреченных на бойню и сбежавших от коварных живодеров. В общем, рассказывает о лошадях и об отношении к ним. Разумеется, в этом все время видна символика разных уровней. С одной стороны, лошади — олицетворение трудового и нравственного собственно человеческого начала; вспомним «Холстомера». Главная лошадь, вороной Араб, бунтует сильнее других; это резкий образ народа перед революцией. С другой стороны, лошади — это зов природы, отвергнутой человеком; это глубокие, дремучие ценности матери Геи, забытые нынешним миром...

Зов природы!

Кажется, извечно утешающая, спасительная идея.

Но природа молчит — и будет молчать вечно; она спокойно предоставляет людям самим решать, что спасительно, а что пагубно, в чем природа, а в чем — отступление от природы...

Принципы гуманизма, разумно нравственных отношений между самими людьми отстаивают югослав А. Исакович, болгарин Э. Марков; они, кстати, тоже не стесняются жестких коллизий — не облегчают проблем; особенно острая ситуация в «Миге озарения» (Исакович); тут снова — фашизм и народ, гуманизм и месть в их предельных проявлениях; но побеждает мысль, что светло-духовное начало должно править миром.

Но «количественно» в сборнике преобладают иные мотивы...

Камо грядеши, Европа? Да, западноевропейские писатели даже и не стремятся прямо ответить на грозный вопрос; но их ирония, неприятие всего, что искажает духовный и жизненный идеал (и об этом-то они говорят прямо), заставляют вновь и вновь думать: где же он, сам идеал?..

Ведь если люди все-таки помнят о нем, значит, на то есть свои причины...

Помнят после всего, что пережила Европа в XX веке.

И даже вдвойне помнят — «после всего»...

Вл. ГУСЕВ

Издано за рубежом

ПОЭЗИЯ ПРОЗЫ

Славчо Чернишев. Човек зад борда. София, «Български писател», 1978.

Славчо Чернишев. Человек за бортом. 1978.

1

Среди городов, уводящих сознание в сказочный мир, на первое место я поставил бы Созопол в Болгарии. Это заметил еще К. Паустовский, и, так как он умел превращать обыкновенное в необыкновенное, всю жизнь влюбляясь в крутые обрывы, поросшие молодыми соснами, в горячие поля, засыпанные хлопьями репейника, в зарницы и воробьиные ночи, он, конечно, был ошеломлен, посетив Созопол. Вернувшись в Москву, он сказал мне, что это — город, в котором чудо ждет вас за каждым углом. Потом он написал о нем прекрасный очерк, назвав его «Амфора», и этого было вполне достаточно, чтобы созопольцы создали на берегу моря, в каменной рыбачьей хижине мемориал «Константин Паустовский». Сотни людей посещают эту хижину (некогда построенную, чтобы рыбаки могли укрыться в ней от непогоды), этот маленький музей, ничем не напоминающий другие музеи мира, посещают не только болгары, но и русские, поляки, югославы, французы.

2

В этом городке едва ли наберется больше четырех тысяч человек, из них по меньшей мере три с половиной знают и любят этого писателя, моряка, рыбака и, на мой взгляд, одного из истинных мечтателей, порыцарски преданных воображению.

Он живет в маленьком доме, рядом с одной из самых старинных церквей, зарытой в землю по самую крышу,— во времена пятисотлетнего турецкого господства православное богослужение было запрещено и церковь приходилось прятать. Думаю, что в этом доме некогда жил церковный сторож, который, разумеется, не подозревал, что придет время, когда его скромное жилище будет названо гордым именем «Санта-Мария». Это сделал Славчо Чернишев, всегда путешествующий (и в действительности, и в воображении), даже когда он находился на суше.

Две комнатки «Санта-Марии» битком набиты книгами — к двадцати книгам, написанным Чернишевым, присоединилась мировая классика, включающая русскую литературу. На стенах висят старинные географические карты, барометр, которому тоже немало лет, веселые и грустные африканские маски — в Африке Славчо был много раз: за последние полтора года, что мы не виделись, он успел трижды побывать на ее берегах в поисках неожиданных встреч и острых впечатлений.

Вот что К. Паустовский рассказал о Созополе: «Город строился, должно быть, так, как рисуют дети... Созопол был похож на эти рисунки. В нем множество всяческих переходов, поворотов, остатков византийских базилик, домов со вторыми этажами, нависающими над улицей на дубовых подпорках — эркерах, перил с балясинами, источенными временем до толщины свечи, обломков мраморных греческих колонн, пыльных маслин за низкими оградами и смоковниц с крупными шероховатыми листьями... Дома тесно придвинуты друг к другу, и крыши кое-где цепляются за соседние крыши. Улицы были вымощены каменными плитами — звонкими и скользкими»[1].

Не менее выразительно он изобразил на этом почти театральном фоне Славчо Чернишева: «...он был проницателен, добр. Глаза его, казалось, были полны сострадания... к растрепанному воробью, который отчаянно борется с бурей, чтобы долететь до своего гнезда... к детям, играющим на улице, у порога огромного взрослого мира... Поэзия сопровождала Чернишева неотступно. Ее присутствие накладывало некоторый оттенок исключительности и серьезности на все его дела и поступки... Созопольские капитаны говорили мало... но хранили в своей памяти многое... Все это рассказывал за них окружающим Славчо Чернишев, человек с душой мореплавателя, рыцаря и менестреля»[2].

Я бы прибавил к этому романтическому описанию, что Славчо смугл, черноволос, с орлиным профилем и что у него легкая, изящная, совсем не морская походка. Недавно он опубликовал свою двадцать первую книгу — сборник рассказов «Человек за бортом».

Он родился в 1924 году в городе Попово, в семье бедного чиновника, кончил гимназию, потом философский факультет Софийского университета, с детства писал стихи и в болгарской литературе появился впервые как поэт. Теперь он стесняется своих стихотворений, а между тем без них, мне кажется, не было бы и его прозы.

[1] К. Паустовский. Собрание сочинений. М., «Художественная литература», т. 8, стр. 356—357.
[2] Там же, стр. 367.

3

Не помню, где я читал, что родину надо найти,— может быть, в письмах Гогена? Найти и открыть, если даже она — то место, где человек появился на свет и прожил всю свою жизнь.

Так Славчо Чернишев «открыл» Созопол, и куда бы он ни уезжал — а он объездил весь мир,— он неизменно возвращается в старинный маленький городок на берегу Черного моря.

В одном из шедевров Л. Толстого, в «Казаках», есть строки, которые с удивительной свежестью оживляют необычайно важный для человека (и подчас незамечаемый им) поэтический факт самого существования природы: «Сначала горы только удивили Оленина, потом обрадовали; но потом... он мало-помалу начал вникать в эту красоту и почувствовал горы. С этой минуты все, что только он видел, все, что он думал... получало для него строгий, величавый характер гор... Солнце всходит и блещет на виднеющемся из-за камыша Тереке; а горы... Из станицы едет арба, женщины ходят, красивые женщины, молодые; а горы... Абреки рыскают по степи, и я еду, их не боюсь, у меня ружье и сила и молодость; а горы...» [1].

...«А море» — можно было бы сказать о каждой строке, написанной Чернишевым, как, впрочем, и о каждом дне его жизни. Действие его рассказов почти всегда происходит на палубе корабля, и даже если моряк «заболевает берегом», мысль о море никогда не покидает его («В устье, в укрытии дюн»).

Помните ли вы гениальную стивенсоновскую «Историю доктора Джекиля и мистера Хайда»? Читая ее, пытаясь решить загадку раздвоения личности, вы не замечаете почти протокольную форму повести, как бы составленной из свидетельских показаний. Так написан рассказ Чернишева «Человек за бортом». Палубного матроса во время сильного шторма сносит в море. Все попытки команды спасти его с риском для жизни и с опасностью для ценного груза напрасны. Следователь Мартинов, бывший моряк, подозревает — и не случайно,— что эта гибель связана с какой-то тайной, которую по необъяснимой причине скрывает команда. Рассказ переходит в хронику допроса — перед следователем с подробным отчетом проходит весь экипаж: капитан, боцман, помполит, радист... Из показаний — осторожных и единодушных — следователю становится ясно, что погибший матрос не боролся за свою жизнь. Галерея характеров, написанных целенаправленно и лаконично, проходит перед глазами читателя, и в конце концов следователю удается установить, что шторм помог погибшему моряку осуществить свое намерение — покончить самоубийством. Причина — неизлечимая душевная болезнь. Команда, в том числе капитан и боцман (списанные за это на берег), пытались утаить истинную причину из уважения к памяти погибшего друга.

4

Можно смело сказать, что почти все рассказы Чернишева читаются с интересом. Это не значит, что они равноценны. При переходе от ранних к более поздним он отступает от жанра «экзотических приключений» — в котором ему едва ли удалось сказать новое слово — к психологической новелле, близкой к произведениям Александра Грина. Впрочем, в рассказе «Роскошные похороны» Чернишев не похож и на Грина...

В работе каждого талантливого писателя наступает та просветленная минута, когда ему удается как бы отбросить в сторону, забыть все прочитанные с детства не только чужие, но и свои собственные книги. Он ищет и находит новую «станцию отправления» — и идет вперед по еще неизведанному пути.

...Заброшенная, умирающая деревенька; приморская древняя крепость. «Пахнет водорослями, морской солью, древней, смешавшейся с мидиями сарматской землей». Деревенское кладбище не печалит, а радует глаз. Оно похоже на выставку скульптуры, раскинувшуюся на фоне синего моря и чистого осеннего неба. Впрочем, это и есть выставка. Кресты, не уступающие высоким произведениям искусства,— дело рук дедушки Матвея Зографа. Народный скульптор, он не только слава и гордость деревни, ее добрый гений».

Надгробные памятники для односельчан Матвей создает задолго до их кончины, разумеется по их заказу. При этом строго соблюдаются раз и навсегда установленные условия: «сцены жизни и знаки профессии», украшающие крест, имеет право продиктовать заказчик, но добродетели и пороки — дело рук проницательного мастера, с которым никто не осмеливается спорить. С мягким и грустным юмором Чернишев рассказывает о том, что изображал Матвей: «Это была добросовестная и справедливая хроника минувшей жизни с ее грешниками и праведниками, с ее неожиданным скрещением зла и добра... Хроника, пронизанная нежной иронией и любовью художника к людям и миру».

Но в хронику врывается новый сюжет, который еще ждет своего воплощения.

В той же деревне живет отец Сильвестр, силач, любитель женщин, еретик, скрывающий свои грехи, настаивающий на соблюдении религиозных обрядов. С безбожником Зографом его связывает старинная дружба-вражда. Дружба — за бутылкой вина, вражда — в философско-нравственных спорах. Несмотря на все усилия, Сильвестру не удается запретить непокорной пастве «заказывать кресты у дьявола». В глубине души он боится, что Матвей переживет его и «опозорит» справедливым крестом.

Во время дружеской выпивки, когда вино

[1] Л. Н. Толстой. Собрание сочинений, т. 3, стр. 188.

развязывает языки, поп обещает своему другу-врагу «роскошные похороны», и эти похороны совершаются дважды. В первый раз Сильвестр отпевает скульптора, который мирно спит в гробу, притворившись покойником, а во второй раз, когда он действительно умирает. Но после вторых «роскошных похорон» односельчане замечают недалеко от могилы Зографа крест, приготовленный для отца Сильвестра и разоблачающий всю его грешную жизнь. От досады он тут же отправляется вслед за приятелем, победившим его в оригинальном споре.

Разумеется, этот сухой «перечень происшествий» бесконечно далек от грустно-веселого, поэтического и одновременно полного светлой иронии рассказа.

Вы — моряк, дорогой Славчо, и мне хочется пожелать Вам как моряку счастливого плаванья и достижений. А как писателю мне хочется пожелать Вам, чтобы книги писались трудно — тогда-то, как подсказывает мне многолетний опыт, они как раз и становятся подарками, которые надежно и надолго украшают жизнь.

В. КАВЕРИН

ПО СЛЕДАМ БЕССЛЕДНОГО

Patrick Modiano. Rue des Boutiques Obscures. Paris, Gallimard, 1978.

Патрик Модиано. Улица Темных Лавчонок. 1978.

Французский сатирик Пьер Гripари в одном из своих рассказов посмеивается над свойственной многим писателям манерой давать своим произведениям заманчивые названия, способные привлечь покупателей, а затем писать, абсолютно не считаясь со словами, вынесенными на обложку.

Дочитав до конца роман Патрика Модиано «Улица Темных Лавчонок», можно также сказать, что в книге нет ни улицы, ни лавчонок, темных или светлых. Однако автора нельзя упрекнуть в том, что он не считается с избранным им названием. Как раз наоборот: не часто можно встретить книгу, название которой с такой емкостью впитало бы в себя и основные элементы содержания романа, и его эмоциональную окраску. Воспользоваться словами «жизненный путь» вместо слова «жизнь» — не более чем элементарный стилистический прием; отождествить же «жизненный путь» с «Улицей Темных Лавчонок» — это значит прибегнуть к символу, который потребует определенной системы доказательств, подтверждающих его правомочность. Патрик Модиано менее всего склонен доказывать что бы то ни было и в этой «несклонности к доказательствам» остается верен названию своего романа.

Может показаться парадоксальным, но странствия героя книги в чем-то напоминают похождения Чичикова, с той, однако, наисущественнейшей разницей, что тот подкатывал к разным дверям с целью приобретения «мертвых душ», а Ги Ролан пытается соединить обломки, обрывки собственной души, своей жизни, половина которой им бесследно утеряна.

Мы знакомимся с Ги Роланом на первых страницах книги, когда ему уже за шестьдесят. Он работает помощником у некоего Хютте, владельца частного сыскного агентства. Это Хютте раздобыл для Ги Ролана паспорт с таким именем и фамилией. Его подлинное имя никому не известно. При каких-то неведомых ему самому обстоятельствах он потерял память. Он помнит лишь события последних десяти лет, проведенных им уже в агентстве Хютте.

Когда Хютте, решивший остатки дней своих провести в Ницце, закрывает агентство, Ги оказывается в одиночестве. Он, пользуясь богатой справочной библиотекой, унаследованной им от Хютте, а также связями своего бывшего шефа, пускается на поиски самого себя, почти не надеясь, что ему удастся узнать, кто он и что с ним произошло.

В романе это введение в действие занимает пять первых страниц, последующие двести — странное, но весьма гармоническое соединение детективного романа с очень тонким психологическим анализом каждой возникающей ситуации.

С чего начать поиски? Ги высок ростом, обладает довольно примечательной наружностью, и это позволяет ему питать надежду, что он может быть опознан каким-нибудь из старых парижских барменов. И действительно, ему говорят, что в предвоенные годы его видели то ли в компании некоего «Стёппы», русского эмигранта, то ли он один часто ужинал в ресторане «Кастиль». «Стёппу» удается найти, но Ги ему совершенно не знаком. Однако визит к «Стёппе» приносит неожиданные плоды: на одной из фотографий, которые ему показывает хозяин дома, Ги, как ему кажется, узнает себя в мужчине, стоящем рядом с красивой молодой женщиной. Сведения, собранные об этой женщине, заставляют предположить, что рядом с ней на фотографии некто Фредди Говард де Лус, потомок некогда весьма богатой, но разорившейся семьи. Наконец, старый садовник, охранявший пришедший в запустение особняк, где жила семья Лус, опознает в мужчине на фотографии друга Фредди, который якобы был южноамериканцем, но прекрасно говорил по-французски и звали его Педро. Педро всегда приезжал к Фредди с молодой красивой француженкой. Среди немногих вещей, оставшихся от Фредди, бесследно исчезнувшего в начале 50-х годов,— четыре фотографии для

паспорта, на одной из них — «южноамериканец», на другой — «француженка», на обороте этой фотографии написано «Педро» и номер телефона. Номер телефона позволяет найти квартиру, где жили Педро и «француженка». Хозяйка квартиры узнает Педро и начинает расспрашивать, что же стало с «француженкой», с Дениз, вместе с которой Педро уехал в 1943 году из Парижа в маленький городок на франко-швейцарской границе.

С появлением имени Дениз Кудрёз страницы романа, поначалу, может быть, несколько сдержанно-суховатого, приобретают новую, более мягкую и лирическую окраску. Мы узнаем, что она позировала для обложек журналов мод. Затем сама стала портнихой. Сквозь смутную дымку воспоминаний Педро просматривается образ очаровательной женщины, скромной, веселой, не требовавшей многого от жизни, но умевшей придавать ей тот оттенок, который именуется счастьем.

Вступающая в свои права детективная струя романа приносит нам новые сведения о героях книги и делает нас свидетелями их гибели. В действительности грек по происхождению и гражданству, коммерсант по роду занятий Педро (его настоящее имя — Джонни Педро Стерн) опасался оставаться во Франции во время оккупации и считал более надежным перебраться в Швейцарию. Однако Дениз и Педро становятся жертвами предательства. Взявшиеся организовать переправу через границу люди, завладев их деньгами, бросают их (каждого порознь) на горных тропах во время метели. Белая пелена, в которой Педро шел несколько часов наугад, и белый сугроб, в который он упал, теряя силы,— вот последние «воскрешие» воспоминания героя. Что стало с Дениз и как она погибла, остается неизвестным.

В одном из отелей, где жил Педро Стерн незадолго до женитьбы на Дениз, сохранилось упоминание о его предыдущем адресе: улица Темных Лавчонок, 2. Рим, Италия.

В конце книги герой собирается продолжить поиски «обломков» своей жизни, начиная с этого места. Незадолго до принятия этого решения, когда все рассказанное выше уже известно Педро, он говорит в одном из своих писем Хютте: «До сих пор все мне кажется таким хаотичным, таким раздробленным... Обрывки, осколки чего-то попадали мне в руки внезапно, по мере моих поисков... Но, может быть, это и есть жизнь...»

Нередко бывает, что мысль, высказанная героем книги, отнюдь не является мыслью автора. В данном случае это своего рода авторские слова. Они немногим отличаются от творческого кредо, высказанного Патриком Модиано в одном из интервью. «В конечном счете,— говорит он,— что меня волнует, что является предметом моих тревожных раздумий — так это способность времени все перемалывать... Чтобы более отчетливо понять это перемалывание, я охотно прибегаю к персонажам, которые, подобно светлякам, как бы вспыхивают на какие-то мгновения и затем исчезают. Ничто не свидетельствует столь выразительно о силе потока, как подхваченный водою желтый сухой листок. Он часть реки, и в то же время он лишен собственного существования. Мои персонажи — едва намечены. Прежде чем поток унесет их, я стараюсь задержать их, чем-нибудь зацепить, я даю им местожительство, некоторые признаки, они не становятся личностями, но у них есть поверхностные личные приметы...»

Следует, однако, всегда с осторожностью подходить к подобного рода автохарактеристикам. Перо Патрика Модиано, если можно так выразиться, значительно талантливее его намерений. Созданные им в «Улице Темных Лавчонок» картины отнюдь не столь уж фрагментарны.

Вспомним письмо Голубкиной Родену, в котором Голубкина рассказывает, что, присутствуя на лекциях великого скульптора, она вследствие несовершенного владения французским языком иногда не все охватывала, но зато, говорится в письме, понимала даже больше сказанного, поскольку ее воображение, ее мысль стремились заполнить возникавшие пробелы.

Нечто подобное происходит, когда читаешь «фрагментарный», складываемый из осколков роман Патрика Модиано. Хотя герой его и утверждает, что собранные им о самом себе сведения «хаотичны», что это не более чем «обрывки и осколки», у нас создается достаточно отчетливое представление о том, какой была его жизнь и жизнь его друзей. «Мы живем в странное время»,— говорит Педро, еще находясь в оккупированном немцами Париже. Ни Педро, ни его друзья — не герои этого «странного времени», они в значительной мере его жертвы, они не заслуживают памятников и мемориальных досок, но и не заслуживают полного забвения, так сказать, общественной амнезии в отношении их скромного существования. Роман Модиано как бы предоставляет им «право убежища», и, оказавшись в качестве читателей на какой-то момент под одной крышей с героями «Улицы Темных Лавчонок», мы не можем отказать им в нашем сочувствии.

Можно ли упрекнуть автора романа в том, что время, которое названо на страницах романа «странным», представлено далеко не во всех своих измерениях? Разумеется, да. Но «конкретизация упреков» немедленно вызывает в памяти строки Александра Твардовского:

...И не ищи во мне упорно
Того, что знаешь без меня.

Молодой писатель избегает писать о том, что «известно и без него», и связано это, возможно, с тем, что представляет собой он сам. «Планета Модиано» — так озаглавил еженедельник «Юманите диманш» большую статью, посвященную творчеству писателя еще до того, как он получил Гонкуровскую премию. Планета? Может быть, «лучи Мо-

диано», подобно тому как говорят: лучи Рентгена, то есть способность сделать ощутимым что-то такое, что иначе было бы поглощено временем и исчезло. Конечно, такая способность неотделима от любого писательского таланта. Но Модиано по своему мироощущению принадлежит к тем, кому близки сомнения пушкинского Евгения из «Медного всадника». Вопрос, прозвучавший в этой поэме: «иль вся наша и жизнь ничто, как сон пустой?..» — Ги повторяет, оказавшись в роли бессмысленной жертвы истории.

Но разве масштабы общечеловеческой трагедии, бушующей за пределами романа, не становятся зримее, когда видишь, как захлестывает она и уничтожает даже тех, кого, казалось бы, должна была обойти стороной?

НИКИТА РАЗГОВОРОВ

ЗАБЫТЫЙ ЧЕЛОВЕК

Joan Didion. A Book of Common Prayer. London, Weidenfeld and Nicolson, 1977.
Джоан Дидион. Молитвенник. 1977.

Конец десятилетия обычно располагает к подведению некоторых итогов, в том числе и литературных. Отдельные фрагменты — книги — складываются в подобие картины, годы — в период, пусть и незавершенный: все-таки десятилетие не век, не полвека.

Что видно сейчас в недалекой ретроспективе американской литературы?

Были натуральная верность деталям, злободневность, часто излишне торопливая, были характерные типы времени, переходившие из книги в книгу: лишенные духовных интересов, охваченные потребительским экстазом обыватели (у Апдайка, Чивера), выдохшиеся интеллектуалы (у Беллоу), бунтующая молодежь (у Джонса, Казана). Но нередко утрачивался целостный образ жизни, сокращался философский масштаб художественных исканий, быстротекущий день вытеснял Время. Объем заменялся плоскостью, у литературы легко просматривалось дно.

Сейчас, в самые последние годы, нарастает ощущение перемен. Смысл их состоит в усилении пафоса художественного исследования, стремлении осознать текущий миг в его исторической полноте, обнаружить в нынешних заботах и конфликтах общества существенное, не убывающее с годами, значение. Быт обретает пространство бытия, сам же роман, в лучших своих образцах, возвращает себе эпическое качество.

Сразу же, однако, возникли существенные творческие трудности: как совместить искомые универсальные истины, горькие и беспощадные, с верностью живым приметам сегодняшнего дня?

В романе Д. Дидион «Молитвенник» отразились и эти продуктивные перемены, и эти трудности.

Со страниц книги встает монолитный, нерасчленимый образ б е з ж и з н е н н о й цивилизации. Она изображена как модель, как четко размеченный график, где нет места случайности, где жестко запрограммировано все — мысли, чувства, жесты, слова. При этом писательница намеренно снижает, опрощает повествовательный тон, лишает его любых оттенков чувства: конструкция жизни получает зеркальное отражение, воплощается в голой конструкции слова и сюжета.

Его элементарная очевидность декларируется в первых же строках: «Вот что произошло: она бросила одного мужчину, затем другого, вновь отправилась в путешествие с первым; она позволила ему умереть в одиночестве. Одного ребенка у нее отняла «история», другого — «обстоятельства»... она воображала, будто способна освободиться от этой ноши, и приехала в Бока Гранде, туристкой».

Действительно, событийный план романа в этих словах практически исчерпан, остается только расшифровать имена: «она» — главная героиня, Шарлотта Дуглас, женщина, которая «прожила жизнь, как мечту»; «один мужчина» — Уоррен Богарт, фат, ловелас, обаятельный бездельник; «другой» — Леонард Дуглас, юрист, выполняющий поручения различных международных подпольных организаций; жертва, принесенная «истории»,— Морин, участница одной из таких организаций; Бока Гранде — вымышленная страна в Латинской Америке.

Задана и мера стиля — бесстрастного, как протокол, точного и безусловного, как анкетные данные или канон молитвы. Ничего странного, непредсказуемого — причины однозначно порождают следствия. Тут словно бы вспоминаются Конрад или Хемингуэй с их знаменитым подтекстом. Но сходство чисто внешнее, подтекста у Д. Дидион нет, она на него не только не претендует — принципиально изгоняет из поэтики романа.

«Ночью подул ветер». Хемингуэй заключил бы в такую фразу мысль о горькой неприкаянности человека во враждебном мире. Дидион же просто фиксирует некое явление, уравненное самим стилем с материальными, неживыми предметами: золотая зажигалка, водительское удостоверение, палочка губной помады и т. д.— содержимое дамской сумочки. В механической жизни утрачивается иерархия значений — все дано в плоскостной последовательности, все взаимозаменяемо.

Еще свободнее напрашивается параллель с «новым журнализмом». Роман построен как репортаж, обильно используются радиоголос, магнитофонные записи, письма, показания очевидцев, а в тех случаях, когда нет достоверных свидетельств, рассказчица, Грейс Страссер-Менадана — женщина, при-

надлежащая правящему клану Бока Гранде,— добросовестно оговаривает это.

Но и здесь связь имеет скорее внешний характер. «Новые журналисты» исходили из того, что художественный вымысел бессилен передать жизнь во всей ее текучей с л о ж н о с т и — она будто бы поддается лишь монтажу реальных эпизодов. А автор «Молитвенника» преследует опять-таки цель прямо противоположную: документальная точность нужна для того, чтобы показать историческую н е п о д в и ж н о с т ь буржуазной жизни, ее линейную заданность. В каждой точке времени и пространства, будь то Калифорния (где жила с дочерью Шарлотта) или Латинская Америка, она равна самой себе.

В подобной атмосфере и люди утрачивают всякие индивидуальные черты. Ничем не отличаются друг от друга Виктор Мендана, руководитель военного ведомства Бока Гранде, и отчаянная радикалка Морин, светский бродяга Уоррен и респектабельный законник Леонард. Собственно, не люди даже, а тени, однотонно звучащие голоса: «Мы были голосами. Мы были голосами, похожими на голоса, звучащие в мексиканских фильмах. Мы были голосами, похожими на голоса, звучащие по радио Ямайки»...

Безлюдную пустыню буржуазной цивилизации Д. Дидион изобразила с большим мастерством. Принятый ею масштаб — масштаб глобуса: видны приметы Америки 70-х годов, однако думает и пишет автор о неизбывных пороках капиталистической системы.

Но тут начинает ощущаться довольно стойкое сопротивление жизненного материала, возникают те самые трудности, о которых говорилось выше. Все же действительность, реальная, живая человеческая практика, даже и в бесчеловечных условиях, богаче и многообразнее металлического каркаса, на который автор нанизывает изображаемые события.

Скажем, Д. Дидион проницательно ощутила тяжелый парадокс молодежного движения, игравшего столь значительную роль в недавней истории Америки и всего западного мира, парадокс, который и привел к тому, что вчерашние бунтари были, без видимых усилий, адаптированы господствующим порядком. Заключается это противоречие в том, что, яростно протестуя против буржуазной авторитарности, лидеры контркультуры и сами занимали непримиримо-авторитарные позиции, сконструированная фигура инсургента была не менее одномерной, нежели тип буржуазного обывателя.

В романе это показано с большой точностью — Морин изъясняется исключительно формулировками, в которых нет и тени живого чувства. да и вообще «смысл слов она воспринимала лишь с трудом и без всякого интереса». Вот характерный образчик ее стиля: «Игра в теннис есть лишь один из способов утверждения стратегии элитаризма. Чтобы увидеть это, достаточно подвергнуть теннис социальному анализу».

Прекрасно, но надо ли говорить, что молодежный протест, при всем его нигилизме и социальной бесперспективности, питался чувствами истинными, благородными, героическими? Что для рядовых студентов Сорбонны или Беркли поражение бунта было подлинной трагедией?

Эту реальную сложность крупного жизненного явления Д. Дидион из своего романа просто вычла.

Невозможно согласиться, конечно, и с тем, как показана латиноамериканская герилья. Сколь бы пестро, политически неоднородно подполье ни было, сводить его деятельность к бессмысленному кровопролитию, как это сделано в романе, неверно и кощунственно.

Откуда эти срывы, порой прямая фальшь? Слишком просто было бы объяснить их незрелостью мысли. И, уж конечно, не собиралась Д. Дидион злонамеренно подрывать моральные основания контркультуры. А о политической реальности Латинской Америки вообще речи нет — их автор, кажется, вовсе не знает, и представляют они собою в романе не более чем художественную условность, еще один блок в общей громаде современной жизни.

Просчеты, на мой взгляд, коренятся в излишней жестокости творческой задачи. Стремясь к созданию универсальной модели буржуазного бытия, писательница пренебрегла нарушающими ее стройность «деталями». Но ведь Истина, к которой столь непосредственно стремится автор, из таких «деталей» и складывается.

Противоречия романа очевидны, и отнестись к ним следует с должной серьезностью, тем более что, повторяю, они достаточно характерны для текущей американской прозы.

В то же время при чтении книги возникает ощущение верности, художественной убедительности создаваемой картины. Порождается оно, наверное, тем, что при всех ошибках в «Молитвеннике» есть высшая безошибочность авторского чувства горечи и боли, которое не скрыть никаким бесстрастием стиля.

Как документальное свидетельство заката буржуазной истории роман Д. Дидион не защищен от самой суровой критики. Как одушевленный чувством художника рассказ о времени и его драматических конфликтах он представляет собой смелую попытку проникнуть в самую суть вещей.

Сто с лишним лет назад Генри Торо, с присущим ему нравственным максимализмом, писал о том, что буржуазная система стремится низвести людей «до уровня дерева, земли и камней; быть может, удастся смастерить деревянных людей, которые будут не менее пригодны». Это было сказано в пору капиталистической юности Америки, а в постиндустриальном обществе тенденции дегуманизации личности многократно усилились. В строго расписанной, отлаженной цивилизации не нашлось места человеку, его «забыли» при составлении програм-

мы, точнее сказать — сознательно исключили как величину, грозящую нарушить незыблемые обряды действительности.

Это противостояние личности и общества явно сказывается в «Молитвеннике», между ними возникает глухой барьер — духовный, моральный, языковой. Героиня романа — единственный человек среди манекенов, она словно существо, попавшее в мир, где действуют неизвестные ей правила, где говорят на неизвестном ей языке. Отсюда — постоянные, очевидные несовпадения: на одном и том же портрете Шарлотта и агенты ФБР видят совершенно разные изображения; телефонные звонки героини в управление дорожной службы Сан-Франсиско кажутся Виктору Мендане каким-то таинственным кодом (звонки действительно странные, порожденные чувством тоскливого одиночества, но это-то и подозрительно: «странность» и «одиночество» — понятия слишком человеческие, они пребывают вне мира регламентов); наконец, ненужной оказывается самоотверженность Шарлотты, еще одна «внеплановая» величина: она готова бескорыстно участвовать в борьбе с эпидемией холеры, но «почти никто в Бока Гранде не давал себе труда пересечь улицу, чтобы ему сделали укол».

Во внечеловеческом мире человек все время попадает впросак, говорит не те слова, действует невпопад. Завершается это с предопределенным трагизмом — когда город заняли войска герильи и нужно было, как все, уехать, Шарлотта осталась в Бока Гранде и стала жертвой террора. Здесь важны опять-таки не конкретные обстоятельства гибели — существенна общая идея поражения: человека, не желающего включиться в безусловный порядок, сметают, отбрасывают с пути.

«Молитвенник» — жестокая, мрачная книга. Ничуть не облегчает Д. Дидион положения человека: напротив, с полным реализмом изображает противостоящие ему силы. В то же время роман лишен безысходного ощущения конца человека, как свободны были от него книги Хемингуэя, который, как известно, тоже писал о том, что «в первый же раз, когда тебя застанут врасплох, тебя убьют».

Шарлотта бессильна объяснить, почему она не хочет вместе со всеми уехать из Бока Гранде в критический момент, и поэтому в ее поведении видят каприз, причуду. Но «каприз» этот оборачивается гибелью, и тогда в странном, нелепом решении начинают угадываться контуры п о с т у п к а, намек — не более — на протест против общепринятых правил, попытка защитить свое право на свободное волеизъявление.

Это немного, если вспомнить внутренне богатых, духовно активных героев американской классики XX века — героев Хемингуэя, Стейнбека, Вулфа, фолкнеровскую Линду Сноупс.

Это немало, если иметь в виду, что литература США последних полутора-двух десятилетий, превосходно изобразив пустоту потребительства, не сумела, за редкими исключениями, противопоставить ему достойную нравственную альтернативу.

Преодоление уровня частных наблюдений, что свойственно лучшим произведениям новейшей американской прозы (Д. Гарднер, Д. К. Оутс, Т. Моррисон, в этом ряду — и Д. Дидион), выход к далям историческим оборачиваются и усилением личностного начала литературы.

Н. АНАСТАСЬЕВ

◆

Из нашей почты

В продолжение сложившейся традиции мы публикуем ряд отзывов читателей на произведения, напечатанные в журнале «Иностранная литература», письма, содержащие и похвалы, и критику, а главное — предложения, направленные на улучшение деятельности нашего издания.

Читатели привыкли встречать в рубрике «Из нашей почты» различные оттенки мнений и живо откликаются на высказанные здесь суждения, которые кажутся им спорными или, напротив, заслуживающими их горячей поддержки.

Так стихийно возникает диалог не только между редакцией и читателями, но и самих читателей друг с другом.

КИДАЕВ А. П., шофер,
г. Мурманск

Поскольку редакция журнала «Иностранная литература» сделала традицией публикации читательских откликов, то и я решил написать свое мнение. Пять лет назад мне пришла счастливая мысль выписывать ваш журнал. С тех пор появление каждого номера стало праздником. За свои сорок лет прочел массу книг. Поэтому в данной области меня трудно чем-либо удивить. И все же в «ИЛ» всегда нахожу что-нибудь новое и интересное. Вот некоторые произведения, которые запомнились, вызвали большой эстетический интерес: «Петрарка» Яна Парандовского, «С алым цветком в петлице» Андре Пьеррара, «Семьдесят вторая камера» Орхана Кемаля, «Последний магнат» Скотта Фицджеральда, «Вечер в Византии» Ирвина Шоу, «Тереза Батиста, уставшая воевать» Жоржи Амаду, «Минус бесконечность» Энтони Фелпса, «Превратности метода» Алехо Карпентьера и ряд других.

Особо хочется сказать о Джеймсе Олдридже. Прочитав некогда его «Героев пустынных горизонтов», я полюбил этого писателя всей душой. Привлекает он тем, что действующие лица его романов часто борются за свободу чужого народа, словно руководствуются словами Джорджа Байрона:

Кто сражаться не может за волю свою,
Чужую отстаивать может.
За греков и римлян в далеком краю
Он буйную голову сложит.

Если говорить о впечатлении от романа «Горы и оружие» Олдриджа, то, читая его с великим удовольствием, я вместе с главным героем Мак-Грегором во всем помогал курдам.

Невозможно было равнодушно читать «Колючую розу» Николая Хайтова. Автор сумел заставить нас проникнуться волнением и тревогой за судьбу окружающей природы. Жаль, очень мало таких статей, в том числе и в «ИЛ». Сейчас подобная тема весьма актуальна, встречается читателем с огромным интересом. Врезалась в память небольшая подборка стихов мексиканской поэтессы Маргариты Пас Паредес в № 8, 1975. Не знаю, какую поэзию подразумевают под понятием «истинная», но здесь, по-моему, оно вполне применимо. Поэтесса сумела ярко передать боль лирической героини, потерявшей любимого человека. Читатель не может не почувствовать в ней страдающую любящую женщину. Стихи по образности, по силе чувства ярко выделяются среди представленных. В общем, они пре-

красны. В будущем, если редакция найдет возможным дать еще стихотворения Маргариты Пас Паредес, я первый приму их с благодарностью.

Настоящим открытием стали для меня повести чилийского писателя Гильермо Атиаса. Неизгладимое впечатление! «Против течения» настолько проста по манере, насколько глубока, значительна по содержанию. Писатель нарисовал мрачную картину активизации реакционных сил накануне падения правительства Народного единства. В смысле освещения предпосылок фашистского переворота в Чили повесть дает намного больше, чем газетные публикации того времени. Хорошо сделала редакция «ИЛ», опубликовав вскоре же критическую статью чилийского писателя Володи Тейтельбойма о творчестве Гильермо Атиаса. С интересом познакомился с ней. Упоминалась там и повесть «...и потекли деньги». Прочел ее, так сказать, задним числом. И не пожалел! Доставила огромное наслаждение.

Короче говоря, в «Иностранной литературе» много достойных публикаций. Как всегда, мое личное пожелание журналу: наравне с другими жанрами по возможности представлять биографический. Помнится, года четыре назад в журнале «Север» читал воспоминания (к сожалению, забыл автора) о Хемингуэе, где он больше показан как человек, нежели писатель. Вот что-то в этом роде. Хотелось бы иногда видеть на ваших страницах материалы и исследования социологического характера.

Теперь небольшая перекличка с другими читателями. Поддерживаю мнение редакции — не засорять журнал детективным жанром. Пусть желающие берут подобное чтиво в библиотеках. На мой взгляд, в эстетическом плане оно ничем не обогащает читающего. И не надо никаких приложений к «ИЛ». С приложением он станет, как уже отмечалось, предметом чисто коммерческого интереса. Не исключено, что тогда действительно подписка на него будет затруднена. А этого вовсе не хотят истинные читатели «Иностранной литературы».

НЕМЕЦКОВ СЕРГЕЙ, 20 лет, студент МАИ, г. Москва

Если провести анкету среди подписчиков «ИЛ»: что вам больше всего понравилось из материалов, которые публиковала «ИЛ» в 1978 году? — подавляющее число рук поднимется за роман Доктороу «Рэгтайм». Небольшая группа людей отдаст голоса за «Я в замке король», «Человек среди песков», «Гнездо аиста», но таких людей будет весьма и весьма мало.

Чем же привлек внимание читателей роман Доктороу? И вообще, чем привлекает американская проза? (А в этом году были опубликованы вещи и Ковика, и Теннесси Уильямса, и Хеллера.) Зададим эти вопросы читателям. Ответы их, вероятно, сведутся к тому, что это «оригинально, современно, смело». И это, несомненно, правильно. Именно из-за одной, примерно, такой вещи, как «Рэгтайм», люди подписывают журнал на целый год (я не утверждаю, что это делают все поголовно).

У меня есть дельное предложение к работникам журнала. Вместо того чтобы публиковать такие «нечитающиеся» вещи, как, например, «Винтерспельт», «Перед молчанием», «Объяли меня воды...» и др., перепечатайте всего Хемингуэя, Ремарка, Сэлинджера, Хейли, Пруста, Колдуэлла. Сейчас с книгами туго, с хорошими еще туже, а номера журнала с «Черным обелиском» или «За рекой, в тени деревьев» стали бы цениться на вес золота.

ВОЛКОВ РОМАН ПЕТРОВИЧ, инженер, г. Ленинград

Эрнеста Хемингуэя журнал печатал. Причем вещи неизвестные, «Острова в океане». Не обошел журнал и Скотта Фицджеральда. Вспомним «Последнего магната». О Джеймсе Олдридже и говорить не приходится. Его лучшие последние романы стали достоянием портфеля редакции «ИЛ».

И вот, в канун Нового года, появляется «рассказ» Джеймса Олдриджа о двух, тех самых, которые стали самыми «модными», ну, а если забыть о моде, то о тех, кто сыграл свою роль в американской литературе. Их можно любить или «хаять», но мимо их произведений не пройти. И вот другой мастер слова берется за очень трудную задачу и разрешает ее не только с блеском — очень тактично по отношению к двум именам, очень ярко и выразительно в художественном плане, не навязывая своего мнения,— пусть судит искушенный читатель...

Действительно, судьбы этих двух разнополюсных талантов тесно сплетены. И редакция сделала превосходный подарок, заставив читателя сделать свой выбор среди многочисленных версий о жизненных хитросплетениях двух очень разных и похожих людей...

Причем сделано это очень умело. Рассказ Олдриджа снабжен послесловием, что стало доброй и нужной традицией журнала,— поставлены точки над «i», даны «предпосылки» к размышлению, если кто либо не согласен с авторской концепцией...

ИЗЕРГИНА ЛЮДМИЛА ГРИГОРЬЕВНА, ст. методист музея Космонавтики им. Ф. А. Цандера, г. Кисловодск

Романы, повести можно читать и в отдельных изданиях, главное в том, что журнал помогает нам в наших поисках материала для осмысления и утверждения своих мировоззренческих позиций в непрестанно изменяющемся мире, в стремлении познать масштабы и направления различных общественных явлений. Обидно, что читатели журнала иногда видят в нем лишь подспорье для более широкого знакомства с литературой вообще, не понимая его общественно-политического значения.

В этом свете меня беспокоит вопрос сохранения и укрепления публицистической и критической рубрик журнала. Не хотела бы я, чтоб они оказались размытыми под натиском потребителей литературы, не желающих дать себе отчет в том, что литература — это не предмет развлечения, а инструмент познания мира и формирования мировоззрения. Ведь в настоящем своем виде, оставаясь журналом а не альманахом, «ИЛ» служит нам проводником на путях поисков и познания истины, к чему многие из нас стремятся всю свою жизнь и что дается так трудно, просто по крупицам, по воробьиному шагу, а иногда словно молнией освещается на всем пути до горизонта, благодаря таким изданиям, как этот журнал.

ПОЛИЩУК П. В., учитель вечерней школы

Есть у меня одно предложение. Летом, в июне или июле, точно не помню, отмечается Международный день защиты окружающей среды. Мне кажется, было бы целесообразным подготовить один из номеров журнала в этот период, посвященный литературе о природе, о животном мире и т. д. Можно было бы включить в этот номер произведения шведского писателя Ханса Лидмана, которого я очень ценю, возможно, что-нибудь из произведений Рейчел Карсон и других писателей. Выбор, во всяком случае, очень богатый, и думаю, что это было бы очень ценным и интересным подарком для всех читателей «Иностранной литературы».

Ну, а теперь немного критики. На мой взгляд, а также учитывая мнение других читателей «Иностранной литературы», живущих в нашем городке, в этом, 1978 г. уровень отдельных номеров журнала невысок в плане подбора произведений. Особенно слабым мне показался 11-й номер журнала: мне кажется, о транснациональной корпорации было бы интереснее прочитать в исполнении американского автора. Предыдущее произведение французского автора в этом году на архитектурные темы мне тоже не понравилось, что-то во всем этом есть вторичное, словно я об этом уже где-то читал, но в гораздо лучшем написании, если можно так выразиться.

Неплохое впечатление произвел «Рэгтайм» Доктороу, очень живой перевод, но в то же время в отдельных местах перевод звучит слишком уж разухабисто, как-то слишком по-русски. Мне кажется, следует больше учитывать национальные особенности произведения.

Есть у меня еще одно пожелание. В последние годы многие наши советские писатели бывают за границей, участвуют в различных литературных и не литературных мероприятиях, и было бы интересно почаще читать об этом в «Иностранной литературе», может быть, потому. что я — учитель географии, я с интересом прочитал заметки писателя Ю. Трифонова о его заокеанском вояже, интересно воспринимать в общем-то известную страну глазами такого незаурядного писателя.

ЧЕН ЕЛИЗАВЕТА СЕРГЕЕВНА, г. Хабаровск

Я к Вам со своим наболевшим. Прочла отзывы читателей Вашего журнала в 1-м номере за 1978 год под рубрикой «Из нашей почты». И во многих письмах слышу одну и ту же настойчивую просьбу — печатать детективы. Я не могу промолчать. Пожалуйста, не печатайте. И дело не в моих личных вкусах. Но если раньше (до бума) журнал (а он стоит не дешево) выписывали его настоящие читатели, то теперь и он — мода. В прошлом году, несмотря на все свои старания, я, постоянная его читательница лет 15, так и не смогла подписаться. Пусть Вас не радует такая популярность. Это обычная и грустная вещь — мода. И он попал далеко не тем, кто понимает в чтении толк. Берут ныне книги, как и любой дефицит, имеющие возможность, доступ. Так пусть хоть Ваш журнал не станет добычей этих «книгоманов»!

Огромнейшее спасибо за открытие Сьюзен Хилл.

Публикаций японских авторов в Вашем журнале много. Вам спасибо за это! Но очень давно хочется прочесть Дзюнитиро Танидзаки «Ключ». Многие Ваши читатели просят Кафку. Если есть возможность — напечатайте «Переписку с отцом».

А моя просьба относительно детектива — это не крик, от одной меня исходящий. В конце концов я из книг не делаю проблемы — читаю журналы и переплетаю лучшее.

М. КРЕНЁВ, г. Ленинград

Долго не решался взяться за перо, но все-таки решил написать вам. Ваш журнал мне очень нравится, в каждом его номере нахожу что-нибудь для себя интересное. Это и произведения таких «заслуженных» писателей, как У. Фолкнер, Г. Грин, Э. Хемингуэй, У. Голдинг, Т. Уайлдер, и книги менее у нас известных авторов: С. Хилл, К. Воннегута, П. Вежинова, М. Мванги, Х. Кортасара. Очень люблю читать критические статьи (по-моему, совершенно не прав читатель, предлагающий сократить объем критики на страницах Вашего журнала). Особенно мне нравятся статьи Н. Федоренко, Г. Злобина, Т. Мотылевой и других. Много интересного нахожу под рубриками «Издано в СССР», «Издано за рубежом», «Культура и современность», «Литературные иллюстрации»; очень люблю и «Антирубрику». Хотелось бы, чтобы в конце каждого номера «ИЛ» помещалась (по примеру «Нового мира») краткая сводка всех переводных книг, изданных в СССР за текущий месяц.

На Ваших страницах я надеюсь увидеть новые произведения таких авторов, как М. Фриш, Я. Кавабата, Ф. Дюрренматт, К. Абэ, Г. Грин, Дж. К. Оутс, К. Оэ, Ж. Амаду. Хотелось бы прочесть, ранее не опубликованные на русском языке романы У. Фолк-

нера, рассказы Ф. О'Коннор, А. Моравиа. Очень хочется прочесть романы Ф. О'Коннор «Яростные разрушают», «Мудрая кровь». Очень интересна была бы, на мой взгляд, многим читателям автобиография А. Кристи, последние публицистические книги Ж. Сименона (хотя бы в отрывках), да они бы и не «загромоздили» Ваш журнал.

Надеюсь все-таки увидеть в «ИЛ» произведения Ф. Кафки, Д. Джойса, подробнее познакомиться с французским «новым романом».

На зарубежные экраны ежегодно выходят тысячи фильмов. Почему бы не опубликовать сценарии самых лучших из них (как уже было сделано с фильмом «Забриски-Пойнт»)?

Так что перед Вашим журналом открыты обширные возможности, и я хочу пожелать всей редакции «Иностранки» в 1979 году новых успехов на трудном поприще.

Редакции всегда дороги добрые слова, сказанные о журнале читателями, хотя похвалы и кажутся нам порой слишком щедрыми. Редакционный коллектив смотрит на свою работу с трезвой самокритичностью и отдает себе отчет в том, что не каждый номер журнала отвечает уровню ожиданий и требований нашей широкой, а в текущем году вновь увеличившейся числом подписчиков аудитории.

Можно выразить удовлетворение, что в новых письмах вспыхивает порой спор с прежде высказанными суждениями. Любителям детективного жанра на этот раз отвечают те, кто, как Е. С. Чен из Хабаровска или А. П. Кидаев из Мурманска, относятся к этому роду литературы прохладно и скептически. Людям, равнодушным к критическим и публицистическим статьям, весомо возражает в своем письме Л. Г. Изергина из Кисловодска. В этом свободном обсуждении напрасна была бы поза человека, который свое высокое звание «читатель» расценивает как патент на неоспоримость суждений.

Ранее мы уже отмечали, что во многих читательских письмах содержатся просьбы напечатать на страницах журнала романы и повести классиков литературы минувших десятилетий и даже веков. В некоторых случаях редакция так и поступает, давая в рубрике «Литературное наследие» наиболее значительные произведения тех писателей, которые переводились недостаточно широко, слабо известны в нашей стране или не были до сих пор представлены достойными переводами. Но надо вновь решительно возразить против «потребительской» тенденции — видеть в журнале современной иностранной литературы лишь некое восполнение дефицита книжного рынка, предлагать редакции простую перепечатку хорошо известных у нас книг Ремарка или Хемингуэя.

То, что наш читатель студент С. Немецков называет «нечитаемыми» произведениями, быть может, вернее назвать «непрочитанными» им. Конечно, художественной литературе противопоказана скука или искусственная затрудненность письма. Но серьезная литература не всегда читается легко и требует труда восприятия — это тоже аксиома эстетики.

В ряде писем читатели ставят вопросы, которые несомненно привлекут внимание редколлегии и редакционного коллектива. Таков, например, вопрос о биографическом жанре. Зарубежная литература дает немало образцов «романизированных биографий», обычно пользующихся читательским успехом, и такие опыты журнала в этом направлении, как публикация книги «Петрарка» Яна Парандовского, были отмечены многими. Вероятно, следует прислушаться к желанию читателей чаще встречаться с подобного рода сочинениями.

Не пройдет мимо внимания редакции предложение читателей уделять больше места крайне актуальным вопросам защиты природы, охране среды обитания: для современной зарубежной литературы тема эта давно является больной и острой. Заслуживает рассмотрения и другое предложение — давать в журнале библиографические списки ежемесячно выпускаемой в нашей стране основными издательствами зарубежной художественной литературы.

«Иностранная литература» благодарит всех, кто прислал нам свои письма, и ждет новых откликов.

◆

Из месяца в месяц

БОЛГАРИЯ

ПЕВЕЦ ПАРТИИ И РЕВОЛЮЦИОННОЙ БОРЬБЫ

Имя Христо Радевского давно вошло в историю болгарской литературы как имя поэта, чей сборник «К партии», вышедший в 1932 г., ознаменовал новый этап развития революционной поэзии. Х. Радевский также — один из ведущих мастеров сатирического жанра. Велики его заслуги и в деле перевода и пропаганды советской литературы, прежде всего поэзии.

В 75-летие поэта литературная общественность и его коллеги по перу разных поколений вновь говорили о значении его творчества и выразили ему свою любовь и уважение.

«Христо Радевский,— пишет газета «Пулс»,— один из самых больших поэтов Болгарии и один из самых ярких примеров партийности в литературе. «Веди же, партия родная!» — эту строчку стихов поэта десятки лет произносил каждый коммунист, каждый болгарин. Это и есть признательность народа. Для поэта же — вся его жизнь. Это сущность его поэзии: самоотверженное служение народу, партии, времени. Таково творчество Христо Радевского: всегда актуальное по содержанию и по художественному воплощению».

Журнал «Пламк» поместил интервью Х. Радевского, где первым вопросом было: «О чем думает человек, когда ему исполняется 75 лет?» — «Это зависит от человека,— ответил Радевский,— один ищет способа получше пристроить своих детей и внуков, другой надоедает окружающим своими болезнями, а третий волнуется за людей и подводит строгий итог общественной жизни и своего места в ней».

«Как вы относитесь к своим первым произведениям?» — спросил корреспондент. «Как к любому началу,— сказал Радевский,— оптимистическому, неумелому и немного наивному. Но и сейчас я верю и надеюсь, как и тогда».

Новый фильм Рангела Вылчанова по сценарию Валерия Петрова «С любовью и нежностью» рассказывает о судьбе скульптора Христо, о его творческих поисках. Он бежал из города и уже несколько лет трудится в маленьком приморском поселке над «творением всей своей жизни», ради которого он терпит лишения, проводит бессонные ночи. Речь в фильме идет о том, что компромисс в искусстве убивает художника.

На снимке: кадр из фильма.

(Журнал «Болгарские фильмы»)

ПЕРВАЯ КНИГА ЯНАКИ ПЕТРОВА

В издательстве «Болгарский писатель» в Софии вышел первый сборник стихов молодого болгарского поэта Янаки Петрова под названием «Зимняя птица».

Оценивая творчество этого талантливого поэта, Георги Мицков пишет в журнале «Пламк»: «Около десяти лет слежу за стихами Янаки Петрова, появляющимися в периодической печати... И вот в моих руках книга Я. Петрова с холодным названием «Зимняя птица». Сколько же в ней теплоты! Прочел ее на одном дыхании и был до глубины души взволнован прочитанным. Эту книгу можно назвать трепетной исповедью честного, открытого, очень тонкого человека. Ни в одном из стихотворений, помещенных здесь, нет и тени надуманности, все образы естественны. Они как бы выплеснулись из сердца поэта».

Поэзию молодых авторов часто называют «тихой», пишет Г. Мицков. К стихам Янаки Петрова это не относится, они исполнены горячей любви к своему современнику.

В стихотворениях «Хитрецы», «К Родине», «Вечный островок» поэт взволнованно говорит о своей любви к родному краю, о готовности служить верой и правдой Родине и народу.

ВЕНГРИЯ

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГОД РЕБЕНКА И КНИГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ»

Под таким заголовком венгерский ежемесячный бюллетень «Кеньвилаг» поместил статью о программе Международного года ребенка в Венгрии.

В конце прошлого года, отмечается на страницах бюллетеня, в Венгрии прошла первая в истории страны Неделя детской книги, имевшая огромный успех и ставшая наряду с другими мероприятиями своего рода зачином проведения Международного года ребенка.

Уже в 1978 году была создана Национальная комиссия в составе 44 человек. Комиссию возглавляет член Политбюро ЦК ВСРП, заместитель Председателя Совета Министров ВНР тов. Дердь Ацел. Среди членов комиссии — помимо специалистов — можно встретить сталевара и проходчика, поэта и епископа, ученого, актера, спортсмена.

Программа, разработанная Национальной комиссией, тесно связана с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН о проведении Международного года ребенка. Под знаком этой резолюции в Венгрии еще в прошлом году объявлен конкурс на лучшее художественное произведение (детские песни, стихи, рассказы, повести, пьесы, радиопостановки, короткометражные фильмы), отвечающие идеям Международного года детей. В течение 1979 года будет проведен ряд форумов, на которых представители школ, заводов-шефов, родительских комитетов обсудят вопросы по воспитанию и профессиональной ориентации детей. Венгрия примет участие в кампании Чрезвычайного фонда помощи детям (ЮНИСЕФ) по изданию почтовых открыток, будут проведены концерты с участием известных актеров, сборы от которых тоже пойдут в Чрезвычайный фонд. Состоится конференция на тему «Осуществление и защита прав детей в Венгрии».

Национальная комиссия обратилась к органам печати, к радио и телевидению с призывом освещать события Международного года ребенка, показать растущую заботу нашего общества о детях и семье. Идеи Международного года ребенка должны быть отражены и в деятельности издательств, в выпуске почтовых марок.

В Будапеште состоится Международный правительственный форум, посвященный правам детей. В нем примут участие правительственные эксперты, специалисты ООН и ее специализированных учреждений, наблюдатели от разных организаций.

В Международный год ребенка детское и молодежное издательство «Мора» выпустит ряд интересных изданий, среди них — новая серия «Тысячецветная Венгрия», в которую войдут книги об истории страны, ее природе, архитектуре городов и т. п., а также серия «Семь цветов мира», включающая сказки народов разных стран.

Предусмотрен выпуск отдельных томиков сказок, стихов, прозы, научно-популярной литературы венгерских и зарубежных авторов, которые откроют ребятам еще незнакомые им страны и континенты, мир истории, искусства и литературы, раскроют богатство духовной жизни человека. Особенно интересны издания, иллюстрированные детскими рисунками: книжка

В Венгрии была широко отмечена годовщина со дня смерти одного из крупнейших современных поэтов — Ласло Надя. В издательстве «Магветё» вышел трехтомник Ласло Надя «Стихи и переводы». Памяти поэта была посвящена научная конференция Венгерского общества литературоведов. Спектакль «Ласло Надь», поставленный театром «Университетская сцена» и представляющий собой композицию из произведений поэта, прошел с большим успехом. На снимке: актриса Ирен Шюто в спектакле «Ласло Надь».

(Журнал «Синхаз»)

Меньхерта Лакатоша «Семибородый волк» и Ласло Сегё «Цыганская поэзия».

Большую популярность у ребят Венгрии завоевала книга Дердя Феньеша «Чудеса детского мира», в ней рассказывается о пионерском лагере «Артек» в Советском Союзе, о Занке — месте отдыха венгерских детей на живописном берегу озера Балатон, о всемирно известном Музее кукол в Праге и городке Диснея в Америке, о Парке древних животных под Краковом и будапештской пионерской железной дороге.

Тема интернационализма, тема дружбы и мира между детьми всей планеты — таков девиз мероприятий, проводимых в Венгрии в Международный год ребенка, подчеркивается на страницах бюллетеня.

Фильм «Ахиллесова пята» (режиссер Рольф Лозанский, сценарий Гюнтера Менерта) выпущен на студии ДЕФА.
Это рассказ о молодой гимнастке Сусанне, о ее радостях и горестях. Как отмечает журнал «Фильмшпигель», «фильм поднимает этические, моральные вопросы, не давая на них прямолинейных, однозначных ответов».
На снимке: в роли Сусанны актриса Гайда Вельскоп, в роли ее друга Михаэля — актер Эрвин Бернер.

(Журнал «Фильмшпигель»)

ГДР

ВЫСТУПЛЕНИЕ СОРБСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

В «Театер им паласт» состоялась встреча с двумя сорбскими писателями — Юрием Брезаном и Ангелой Стаховой. Известный писатель старшего поколения Юрий Брезан как бы представлял свою коллегу, принадлежащую к более молодому поколению. Ангела Стахова выпустила сборники рассказов, ее имя уже знакомо читателям, которые следят за сорбской литературой. Писательница прочла отрывок из нового рассказа, над которым она работает (рабочее название его «Видение»), рассказала о своем творческом методе, об особенностях, которые отличают сорбскую литературу. Так, слушателям интересно было узнать, что многие свои рассказы Ангела Стахова пишет сначала по-немецки, а затем переводит на сорбский язык.

С чтением отрывков из новых книг выступил и Юрий Брезан. Он прочел главу из книги, которую недавно начал писать (история его деда, старого рабочего), а также новый рассказ из сборника, выходящего в этом году.

Собравшиеся с интересом выслушали обоих писателей. Состоялся живой обмен мнениями. «Во время этой дискуссии обсуждались вопросы понимания действительности с точки зрения писателя и читателя, вопросы литературных прототипов, вопросы преемственности литературы»,— пишет газета «Нойес Дойчланд».

«Эта встреча еще раз показала, какое значительное место занимает сорбская литература в современной литературе Германской Демократической Республики»,— пишет еженедельник «Зоннтаг».

ИНТЕРВЬЮ С ПИСАТЕЛЬНИЦЕЙ

Корреспонденты газет «Берлинер цайтунг» и «Нойес Дойчланд» встретились с известной писательницей Геддой Циннер. (Она была членом Пролетарского революционного союза писателей, пятидесятилетие со дня основания которого широко отмечалось в Германской Демократической Республике.)

Гедда Циннер вместе со своим мужем, писателем Фрицем Эрпенбеком, много лет провела в эмиграции, жила в Советском Союзе, а после освобождения Германии от фашизма вернулась на родину. Недавно вышла ее книга «На красном ковре», где она воспроизводит атмосферу первых лет своей жизни на вновь обретенной родине, размышляет о назначении писателя и о чувстве ответственности перед читателями, пишет о своих встречах с разными людьми, о совместной работе с И. Бехером, В. Бределем, Ф. Вольфом, Э. Вайнертом, А. Куреллой.

Гедда Циннер много пишет о своем муже и о себе, о их жизни и работе в эмиграции и на родине. «Для нас никогда не было грани между литературной работой и общественной деятельностью, — сказала писательница.— Я считаю годом начала моей писательской биографии 1945 год. Только в социалистической Германии, где я активно участвую в жизни страны и во всех преобразованиях, я

по-настоящему смогла писать».

Гедда Циннер работает над романом, который она надеется закончить в текущем году. В романе писательница ставит важные проблемы связи прошлого и настоящего, передачи революционного наследия молодому поколению. «Я хотела бы, чтобы моя книга помогла молодежи лучше понять жизнь, а людей старшего поколения заставила бы заново осмыслить свои позиции,— сказала Гедда Циннер.— Именно в этом я, как писательница, вижу свои задачи».

ГРЕЦИЯ

«ЖЕЛЕЗНЫЕ ВОРОТА» НА ЭКРАНЕ

Роман известного греческого прозаика Андреаса Франгяса «Железные ворота», увидевший свет в 1962 году, был признан греческой критикой одним из самых достоверных художественных свидетельств о послевоенной Греции и нелегких судьбах людей, молодость которых прошла в рядах Сопротивления. Испытания мирных будней приводят их к убеждению, что путь уступок и компромиссов неизбежно сопряжен с предательством самих себя, идеалов своей антифашистской юности, что спасение — в действии, в активной борьбе за свои идеалы.

Подготовка к экранизации романа велась режиссером Д. Макрисом на протяжении нескольких лет. Перенеся действие в современность, постановщик подчеркивает непреходящую актуальность темы, поднятой А. Франгясом. Сейчас фильм вышел на экран. В роли Антониса снялся популярный греческий актер Вангелис Казан.

ИНДИЯ

ПРЕМИЯ «СОВЬЕТ ЛЭНД»

Как сообщает литературно-художественный тамильский журнал «Тамарей» («Лотос»), в конце 1978 года в Дели состоялось вручение международных премий имени Джавахарлала Неру за истекший год. Лауреатом одной из трех первых премий, присуждаемых издающимся в Индии журналом «Совьет лэнд», стал известный тамильский писатель Акилон (Ахиландам, род. в 1923 г.). Этой премии Ахиландам удостоен за литературные произведения на тамильском языке, способствующие укреплению советско-индийской дружбы. Ахиландам — автор более 45 книг на тамильском языке: романов, сборников повестей и рассказов (некоторые его рассказы переведены на русский язык) — первый писатель Тамилнада, получивший в 1977 году самую престижную в Индии литературную премию «Гьянпитх» (см. «ИЛ» № 2, 1978, стр. 278).

Осенью того же года Ахиландам в составе писательской делегации побывал в Советском Союзе, где принимал участие в торжествах по случаю 80-летия со дня рождения Мухтара Ауэзова. Это было не первое путешествие Ахиландама в СССР. В 1973 году он принимал участие в V Конференции писателей Азии и Африки. Вернувшись на родину, Ахиландам опубликовал в популярных тамильских журналах и газетах «Калеймахаль», «Кальки», «Судесамиттиран» и «Джана сакти» серию статей об СССР, рассказал о жизни союзных республик на митингах и по радио, где писатель работает много лет. В 1975 году в Тамилнаде вышла книга очерков Ахиландама «В Стране Советов», с большим интересом встреченная общественностью Индии.

Первая премия журнала «Совьет лэнд» предусматривает двухнедельную поездку лауреата по Советскому Союзу, что позволит писателю расширить свое знакомство с жизнью народов СССР.

Поздравляя писателя с присуждением премии, редакция журнала «Тамарей» выразила уверенность, что «произведения Акилона и впредь будут служить делу социализма, прогресса и мира во всем мире».

ГОРЬКИЙ НА ИНДИЙСКОЙ СЦЕНЕ

Горький, наряду с Толстым и Чеховым, и поныне является, пожалуй, одним из наиболее популярных авторов среди индийской интеллигенции, писателем, пред-

---

На снимке: кадр из фильма «Железные ворота».

(Журнал «Тахидромос»)

ставляющим русскую классическую литературу. Произведения Горького переиздаются в переводе на индийские языки, романами его и рассказами зачитываются, в них индийский читатель, особенно молодой, находит ответы на многие животрепещущие вопросы, волнующие индийское общество. Особой популярностью в Индии пользуется роман Горького «Мать». Чтобы сделать идеи Горького достоянием широких масс, прогрессивные литераторы Индии не ограничиваются одними лишь переводами, стараются переложить роман Горького на язык сценического искусства. Так, газета «Джан юг» сообщает о том, что Индийская ассоциация народного театра (ИПТА) осуществила постановку созданной по роману Горького «Мать» пьесы «Путь к солнцу». Автор инсценировки — известный общественный деятель и писатель Анвар Азим, режиссер —Хуршид Латиф. Премьера пьесы «Путь к солнцу» состоялась на сцене делийского «Центра изящных искусств».

Рецензент отмечает великолепную игру всего актерского ансамбля, особо выделяя исполнительское мастерство Суриндры Дуггаль в роли Ниловны. Постановка была горячо встречена зрителями.

Несмотря на отдельные недостатки, относящиеся прежде всего к режиссуре, пьеса стала заметным явлением в культурной жизни индийской столицы.

«Как бы там ни было,— пишет в заключение рецензент,— несомненным является одно — столичная сцена, которую ныне наводняют пошлые пьески, надолго сохранит благодарность ИПТА за постановку этого блестящего произведения, зовущего на борьбу с эксплуатацией и гнетом».

На снимке: рисунок Ревати Бхушана к спектаклю «Путь к солнцу».

(Газета «Джан юг»)

ИТАЛИЯ

«ЗВЕЗДНЫЙ КЛЮЧ»

Газета «Паэзе сера» поместила интервью с известным писателем Примо Леви, озаглавив интервью: «Восхваление свободного труда». Примо Леви по образованию инженер-химик и почти всю жизнь проработал на производстве, однако сейчас вышел в свет уже шестой его роман — «Звездный ключ». Леви рассказал, что замысел книги возник, когда он работал на строительстве автозавода в городе Тольятти, «словно чудом возникшем из лесов». Название романа многим критикам кажется символическим, хотя писатель говорит, что оно пленило его своей музыкальностью.

Главный герой книги — высококвалифицированный механик Либертино Фауссоне. Он обладает замечательным «звездным ключом», который позволяет ему одинаково успешно и радостно работать в любой части земного шара. Фауссоне — техник, мастер на все руки, владеющий искусством обращения со сложными современными машинами. «Фауссоне — сегодняшний человек, для него машина то же самое, что красивое растение»,— пишет «Паэзе сера».

Другая газета, «Коррьере делла сера», озаглавила рецензию на роман Примо Леви «Труд, как любовь». Роман воспринят итальянской критикой радостно и даже восторженно потому, что он полон оптимизма. Газеты пишут, что Фауссоне — высокоположительный герой, для него труд не просто долг, но смысл жизни и поэтому — счастье.

В романе есть и второй важный персонаж, это хи-

мик, работающий на том же строительстве автозавода в Тольятти. Химик и Фауссоне встречаются случайно, на работе, потом между ними завязывается искренняя дружба. Химик (в нем некоторые критики угадывают самого автора) — человек, многое переживший и тоскующий по высоким гуманистическим ценностям. Встреча и дружба с Фауссоне значат для него очень многое: он как бы молодеет и начинает иначе смотреть на людей и на их поступки. Критики единодушно отмечают, что роман Примо Леви лишен дидактичности. Фауссоне в самом деле высокоположительный герой, человек, вышедший из народных толщ. Но в нем нет никакой «заданности», он мыслит, действует и говорит свободно, он — олицетворение естественности и радости жизни. Критик «Паэзе сера» Далламано называет это «подлинным душевным здоровьем» героя. На фоне многих итальянских книг последних лет, отличающихся своей литературной техникой, но «лишенных души», роман Примо Леви выделяется удивительной свежестью чувства и искренностью.

Примо Леви дебютировал в литературе вскоре после войны книгой «Если это — человек» — о страшном лице гитлеровских концентрационных лагерей. Она вызвала громадный резонанс, и с тех пор критика внимательно следит за творчеством Леви. По общему мнению, «Звездный ключ» является серьезным вкладом в прогрессивную итальянскую литературу.

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ПОЭТА СКОТЕЛЛАРО

В 1954 году известный художник и писатель-антифашист Карло Леви собрал стихи безвременно, в возрасте тридцати лет, скончавшегося «народного» мэра луканского городка Трикарико — Рокко Скотелларо. Популярный среди луканских крестьян социалистический деятель, он прочно вошел теперь и в мир литературы: за поэтический сборник «Свершился день» ему посмертно присуждена премия Виареджо; Эудженио Монтале назвал его стихи среди самых значительных поэтических произведений нашего времени.

Яркая жизнь и общественная деятельность Рокко Скотелларо становятся легендарной. Баллада о нем, созданная Николо Сапонаро и актерами «Кооператива Театроджи» во главе с Бруно Чирино, явилась одним из самых ярких театральных представлений фестиваля «Униты» 1976 года (см. «ИЛ» № 5, 1977). Однако поэтическая судьба Скотелларо складывалась нелегко. «Пророки авангардизма,— пишет еженедельник «Панорама»,— подвергали остракизму его стихи, ибо они явно не были невротическими, в них не нашли отражения мотивы некоммуникабельности». Многие поэтические произведения Скотелларо, не вошедшие в поэтический сборник 1954 года, в течение почти 25 лет оставались неизвестными итальянскому читателю. И только теперь они дошли до него: в издательстве Мондадори выпущена книга стихов Скотелларо под названием «Ромашки и маки».

Ранее не издававшиеся стихи, пишет газета «Паэзе сера», воспроизводят атмосферу жизни Италии того времени, страны бедной, «крестьянской». Скотелларо, по мнению рецензента, выступает в роли барда своей земли, создающего немногословную, простую и печальную мелодию, в которой больше надежды, чем настоящей уверенности.

В критике отмечаются подлинность чувств, глубокая эмоциональность, внутренняя энергия поэзии Скотелларо, которая «на расстоянии десятилетий, — пишет рецензент «Панорамы»,— не теряет своего интеллектуального блеска и

В римском театре «Валле» режиссер Джанкарло Сеппе поставил спектакль по пьесе Н. В. Гоголя «Женитьба». Спектакль сделан в острогротесковой манере. В игре актеров, в оформлении спектакля и в костюмах использованы художественные средства русского народного искусства: сваха в исполнении Адрианы Иночетти превращается в традиционную русскую матрешку; в спектакле много музыки, которую написал Стефано Маркуччи. В разговоре с корреспондентом «Паэзе сера» Сеппе сказал, что персонажи гоголевской комедии напоминают ему неополитанцев, поэтому, отмечает корреспондент, это будет «Женитьба по-неаполитански», близкая по манере исполнения театру Эдуардо Де Филиппо.

На снимке: Паола Бачи — в роли Агафьи Тихоновны и Рафаелла Паники — в роли тетки.

(Газета «Паэзе сера»)

экспрессии, горькой и ироничной».

Противопоставляя стихи бывшего мэра Трикарико, буквально сжигавшего себя в поэтических строках, холодному формотворчеству ряда сегодняшних поэтов, рецензент газеты «Паэзе сера» пишет, что Рокко Скотелларо — живой упрек той итальянской поэзии, которая лишена чувства и жизненной силы.

КУБА

ТРИЛОГИЯ ЗАВЕРШЕНА

Известный кубинский режиссер Томас Гутьеррес Алеа закончил съемки нового фильма, завершающего задуманную им кинотрилогию. Первые две ее части — «Война с демонами» и «Последний ужин» — вышли на экраны в 1971 и 1976 гг. На материале недавней кубинской истории Т. Гутьеррес Алеа создает широкое эпическое полотно, стараясь как можно полнее отразить все этапы борьбы против диктатуры Батисты, победу революции и затем — перемены, преобразующие его страну.

В своих фильмах Алеа рассказывает не только о строителях новой жизни, но и о тех, кто хотел бы повернуть вспять колесо истории. «Последыши» — так называется заключительный фильм трилогии, основой для которого послужила известная новелла одного из ведущих писателей сегодняшней Кубы — Антонио Бенитеса Рохо «Погребенные статуи».

Острие сатиры в фильме, как отмечает рецензент газеты «Гранма», направлено против тех, кто, не приняв революцию, пытался «игнорировать» ее, спрятаться от действительности, жить «по старинке», окопавшись в своих домах, как в крепости.

Противоборство человека со Временем, с Историей — активное или пассивное — обречено на поражение, такова мораль трилогии Т. Гутьерреса Алеа.

Как сообщает газета «Гранма», премьера нового фильма была приурочена к двадцатой годовщине со дня победы кубинской революции. В фильме снимались известные кубинские актеры — Ана Винья, Армандо Солер и Карлос Руис де ла Тихера. Кинотрилогия Т. Гутьерреса Алеа с успехом идет на экранах Гаваны.

КУВЕЙТ

КНИГА О СОВРЕМЕННОЙ АРАБСКОЙ ПОЭЗИИ

В серии «Мир знания», издающейся в Кувейте, вышла книга доктора Ихсана Аббаса «Направления современной арабской поэзии».

Д-р Ихсан Аббас, палестинец по происхождению,— известный литературовед, автор ряда книг по классической и современной арабской литературе, в том числе трехтомной истории арабской литературы в Андалусии.

Иракский журнал «Афак арабийя» поместил подробную рецензию на новую книгу Аббаса. Как отмечает критик Хатим Мухаммед ас-Сакром, в книге рассматриваются основные направления поэзии арабских стран за последние тридцать лет. Главное внимание автор уделяет новаторским течениям, представители которых частично или полностью отказались от традиционных арабских поэтических форм.

В приложении к книге помещены девять стихотворений, на разборе которых автор подробно останавливается в основной части книги при анализе поэтических направлений. Авторы этих стихотворений — современные иракские поэты ас-Сайяб, Назик аль-Маляик и аль-Баяти, ливанцы Хави и Адонис и палестинец Самих аль-Касем.

В заключение автор рецензии пишет, что, хотя он и расходится с Аббасом в отношении методологии исследования, а также в ряде суждений и оценок, это не мешает ему признать огромную заслугу критика, ибо его книга восполняет пробел, который не могут заполнить «скороспелые импрессионистские писания и хвалебные эстетские отзывы, занимающие завидное место в современной арабской литературе».

ЛИВАН

ПРОЗА МУИНА БСИСУ

Как сообщает газета «Ан Нахар», известный палестинский поэт Муин Бсису выпустил в свет свои дневники «Палестинские тетради». Это 150 страниц прозаического текста, где поэт повествует о своей жизни. Но это не просто рассказ о жизни человека, а скорее повествование о судьбе целого народа, которого лишили родины. Отдельные отрывки из произведения Бсису раньше печатались на страницах журнала «Шу'ун фалыстинийя» — органа Союза писателей и журналистов Палестины.

Всего в книге одиннадцать глав, в каждой из них рассказывается о каком-то периоде жизни поэта. «В этой книге,— пишет Бсису,— перед глазами читателя пройдут пятнадцать лет моей жизни. В камерах тюрем я провел времени больше, чем на воле... В ней приводятся имена многих людей, которые в разное время играли большую роль в жизни моего народа...»

Хотя это произведение прозаическое, но с первых же страниц чувствуется, что его автор — поэт. Иногда Бсису рассказывает о том, как у него возникал замысел какой-нибудь касыды и как затем этот замысел находил свое воплощение.

На страницах своих дневников Бсису рассказывает о своей дружбе с Абд ар-Рахманом Хамиси, Махмудом Амином аль-Алимом, художником Зухди, Тахиром Абд аль-Хакимом, Ахмадом Тахой, Мишелем Кямелем и другими видными деятелями египетской культуры. Некоторые из них либо по-

кинули свою родину Египет, либо преследуются ныне режимом Садата.

Дневники писателя выпущены издательством «Дар аль Фараби» в Бейруте.

ПЕРВЫЙ СБОРНИК РАССКАЗОВ

Ливанское издательство «Дар аль-Кятиб», как сообщает издающийся в Бейруте журнал «Аль-Хадаф», опубликовало первый сборник рассказов молодого писателя Рабиа Диба «Осада», к которому написал предисловие ливанский поэт Ильяс Лахуд.

В сборнике Диба десять рассказов. Они посвящены проблемам современной жизни и бурным событиям, происходящим в Ливане. Некоторые из этих рассказов были ранее опубликованы в прогрессивных ливанских журналах «Ат-Тарик» и «Аль-Адаб», а также в кувейтском журнале «Аль-Араби».

МАЛАЙЗИЯ

СОЗДАНИЕ СОЮЗА ПЕРЕВОДЧИКОВ

Около двухсот человек собралось 8 апреля 1978 г. в Куала-Лумпуре на учредительный съезд Союза переводчиков. Председателем Союза был избран Мухаммед Хаджи Салех, автор поэтических сборников на английском и малайском языках, а его заместителем — видный литератор Асраф, известный, в частности, своим переводом «Первой любви» И. С. Тургенева на малайский язык.

Выступивший на съезде с докладом Айнон Мухаммед, один из ведущих малайских специалистов в области художественного перевода, говорил о необходимости издания специального органа, посвященного проблемам перевода с иностранных языков на малайский, и подчеркнул, что Союз должен отстаивать права переводчиков, обеспечивать им юридическую защиту, способствовать повышению профессионального уровня членов Союза. Академия языка и литературы Малайзии объявила конкурс на лучший перевод романа зарубежного автора.

ПОЛЬША

ШЕСТИДЕСЯТИЛЕТИЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА «КСЁНЖКА И ВЕДЗА»

Старейшее польское издательство политической литературы «Ксёнжка и ведза», история которого тесно связана с революционным рабочим движением, отметило свое шестидесятилетие. Итог его деятельности — десять тысяч названий книг, изданных тиражом в 320 миллионов экземпляров. Это труды классиков марксизма-ленинизма, работы, развивающие марксистское учение, книги, посвященные узловым проблемам развития Польши и современного мира. Сюда также входят работы по экономике, истории, философии, педагогике, социологии.

Среди важнейших достижений «Ксёнжки и ведзы» в послевоенный период — издание полного собрания сочинений В. И. Ленина, близящееся к завершению полное издание сочинений Маркса и Энгельса, серия «Библиотека классиков марксизма-ленинизма».

В области общественно-политической литературы особое место занимают документы ПОРП и других коммунистических партий, знакомящие читателей с актуальными теоретическими проблемами рабочего движения и социалистического строительства. Важную роль играют и публикации, посвященные развитому социалистическому обществу.

В области исторической литературы издается серия «Архив рабочего движения», а также серия биографий деятелей польского рабочего движения. В этом году начато издание шеститомного «Биографического словаря», в который войдут — по разным странам — биографии выдающихся деятелей последнего столетия. Польской Академией наук совместно с Академией наук СССР издаются труды по истории польско-советских отношений. В 1975 году было завершено издание десятитомной «Всеобщей истории». Заканчивается издание научно-популярной серии «Святовид».

Периоду второй мировой войны и фашистской оккупации посвящена «Библиотека памяти поколений».

«Ксёнжка и ведза» выпускает также и художественную литературу, отечественную и зарубежную. Большой популярностью у читателей пользуется серия «Колибри», включающая лучшие произведения мировой классической и современной новеллистики.

В связи с шестидесятилетием издательства Первый секретарь ЦК ПОРП Эдвард Герек сердечно поздравил коллектив издательства, а Государственный совет наградил издательство Командорским Крестом со звездой ордена Возрождения Польши.

ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕРИАЛ

По единодушному признанию польской печати, важным событием в театральной жизни Польши стал спектакль «С течением лет, с течением дней...», поставленный Анджеем Вайдой в прославленном краковском театре «Старый». Постановка, отображающая панораму жизни Кракова 1874 — 1914 годов, необычна: спектакль продолжается восемь часов — с двумя небольшими перерывами в субботу, а по обычным дням спектакль идет в течение трех вечеров подряд. Это своеобразный театральный сериал, для его создания Вайда использовал свой опыт работы в кино и на телевидении. Сценарий-инсценировку написала Иоанна Роникер, опираясь на тексты пьес и отрывки из произведений польских писателей рубежа XIX—XX веков: Балуцкого, Киселевского, Запольской, Пшибышев-

После пятилетнего перерыва режиссер Владыслав Слесицкий, создатель известного фильма по книге Генриха Сенкевича «В пустыне и в пуще», снимает фильм, рабочее название которого «Путь долгий перед нами» — о подростках из харцерской организации «Серые шеренги», сражавшихся вместе со взрослыми на баррикадах во время Варшавского восстания. «Этот фильм,— сказал режиссер,— основывается на моем собственном опыте, фильм о людях, которых я знал и вместе с которыми все прошел. (Сам Слесицкий и его брат, который тоже выведен в фильме,— участники Варшавского восстания.) Но это фильм не только о сражениях. Оккупация, война, разбитые семьи — все это привело в больших городах к деморализации детей и подростков, и вот именно наша харцерская организация боролась за спасение этих беспризорных, голодных детей, которые слонялись по базарам, воровали; мы их спасали не только от физической гибели но и нравственной. Помимо этого мы распространяли подпольную прессу, осуществляли связь между повстанцами, собирали сведения о противнике, мы не были мальчиками в коротких штанишках, играющими в войну, мы ее познали сполна». Фильм приурочен к Году ребенка как иллюстрация того, какие беды несет война прежде всего детям.
На снимке: кадр из фильма «Путь долгий перед нами».

(Журнал «Фильм»)

ского, Калена-Бандровского, Струга, Боя-Желенского и других, причем некоторые из писателей являются и действующими лицами спектакля.

Как отмечает польский критик Роман Шидловский, это своего рода краковская «Сага о Форсайтах». Спектакль начинается в доме Хоминских, героев «Открытого дома» Михала Балуцкого, а заканчивается в августе 1914 года, в первые дни мировой войны в квартире Дульских («Мораль пани Дульской» Габриэли Запольской). Режиссерское мастерство Анджея Вайды, как отмечает критика, придало спектаклю такой великолепный темп и ритм, что на протяжении всего спектакля зрители находятся в постоянном напряжении. В спектакле заняты известные актеры, в их исполнении запоминаются надолго даже эпизодические роли. Спектакль прекрасно оформлен Кристиной Захватович и Казимежом Висняком.

Газета «Трибуна люду» отмечала: «Есть в этом спектакле сцены удивительные по своему эмоциональному воздействию — это беседы, которые ведет в ресторане Пшибышевский, и его лекция, обращенная к краковским филистерам, сцены с Балуцким и молодым Тадеушем Желенским, заключительная сцена, показывающая Краков в дни, когда вспыхнула первая мировая война и началась новая страница борьбы за независимость Польши. Это отнюдь не попытка музейной реконструкции прошлого, а представление, побуждающее к раздумьям над судьбами города и страны в целом».

Еженедельник «Культура»: «Замысел Вайды и его осуществление выходит далеко за пределы традиционных понятий о спектакле, это, несомненно, попытка перенесения на сцену эпики».

Главным героем спектакля, как пишет еженедельник «Политика», ссылаясь на слова режиссера, является время, однако спектакль отнюдь не является философским, социальным или историческим трактатом, освещающим это понятие, есть реальная конкретность — Краков, своеобразный феномен, где наиболее ярко и бурно боролись и переплетались филистерство, культ творчества и радикальная общественная мысль. Своей удачей, далее отмечает еженедельник, режиссер прежде всего обязан актерскому коллективу, который представлен такими именами, как Анна Полоны (Дульская), Ежи Бинчицкий (Фелициан Дульский), Изабелла Ольшевская (Хоминская), Ежи Треля (Марцин) и другие.

Сам Анджей Вайда в интервью корреспонденту «Жице Варшавы» сказал: «Я поставил этот спектакль, потому что меня все больше и больше интересует проблема Времени и я все больше ощущаю потребность уловить это явление, воплотить

его в каких-то материальных категориях. Эта инсценировка — своего рода опыт поисков формы, позволяющей показать быстротечность времени. Именно это было для меня важным».

«Курьер польский», подчеркивая, что театральный сериал «С течением лет, с течением дней...» явился украшением XIV Варшавских театральных встреч, писал: «Отдача актеров была максимальной, в течение четырех дней они дали четыре представления, в зале было негде яблоку упасть, зрители сидели даже на полу. Этот переизбыток зрителей, которые за отсутствием мест сидели на полу или стояли между рядами на протяжении почти восьми часов, вполне может сойти за рецензию».

США

ДВЕ КНИГИ О «СРЕДНЕМ АМЕРИКАНЦЕ»

Внимание критики привлекли романы молодых писателей Ричарда Прайса «Дамский угодник» (издательство «Хоутон Мифflин») и Чарльза Симмонса «Морщины» (издательство «Фаррар, Штрасу, Жиру»). Появившиеся почти одновременно, эти книги связаны и общностью темы. Речь в них идет о повседневном бытии «среднего американца», его мечтах, устремлениях, иллюзиях, драмах, о постепенном разрушении его личности бездуховной и жестокой атмосферой сегодняшней американской жизни.

Как художники Прайс и Симмонс мало походят друг на друга. Прайс дебютировал пять лет назад романом «Путники», который изображал жизнь пролетарских кварталов Нью-Йорка, населенных людьми итальянского и славянского происхождения, пуэрториканцами и неграми. Показывая будни «дна» огромного города, Прайс широко использует приемы писателей-натуралистов: его повествование подчеркнуто бесстрастно, однако в нем неизменно преобладают мотивы жестокости, грубости, ожесточенности человеческих отношений, а действительность представляется нагромождением уродств и царством патологии и опустошенности.

В «Дамском угоднике» Прайс описывает еще один трущобный район Нью-Йорка — Бронкс. Герой, тридцатилетний продавец предметов домашнего обихода Кенни Беккер, на каждом шагу сталкивается с людьми безнадежно опустившимися, ведущими полуживотное существование, которое вынужден разделять и он сам. Однако этот современный «средний американец» мечтает совсем о другой жизни, где есть своя романтика и изысканность. В том мире, который окружает его, «романтика» — это плоские вожделения бестревожного и сытого бытия, скрашиваемого заигрыванием с новомодными идеями полной этической бесконтрольности человеческих поступков, якобы и дарующей желанную «свободу» индивидуального развития.

Такие устремления оказываются не в ладу с будничной жизнью Кенни, едва сводящего концы с концами, и завязавшийся на этой почве конфликт постепенно приводит героя Прайса к нравственной деградации. Писателю удалось подметить некоторые характерные черточки сознания «средних американцев» наших дней и убедительно показать бесперспективность их смутных поисков осмысленной и человечной жизни. Но вместе с тем, как подчеркивают рецензенты, в «Дамском угоднике» сильно ощущается увлечение автора фрейдистскими концепциями, а созданный Прайсом социальный фон выглядит натуралистически-одномерным и поверхностным. Несомненная одаренность Прайса пока еще не проявилась в полной мере, поскольку его художественное видение носит заданный и ограниченный характер.

Чарльз Симмонс построил свой роман как автобиографию героя, охватывающую несколько десятилетий его жизни. Перед читателем вновь типичный «средний человек» сегодняшней Америки: выходец из преуспевающей мещанской семьи, он так и остался ее духовным пленником, хотя был в его жизни и молодой «бунт» против вульгарных идеалов своей среды, и война, заставившая многое пересмотреть в былых побуждениях, и даже попытки творчества, чтобы прорвать паутину спокойного, но пустого бытия, в которое погружен герой Симмонса.

Служебные и личные неудачи преследуют его до самого конца книги, порождая чувство глубокого одиночества и бессмысленно промелькнувшей жизни. Показывая определенный человеческий тип, сформированный потребительским обществом, Симмонс добивается большой художественной убедительности, и это дало основание обозревателю «Нью-Йорк ревью оф букс» Р. Тауэрсу отнести «Морщины» к числу немногочисленных истинных завоеваний реализма в современной американской прозе.

Однако подобно Прайсу Симмонс также не намечает никакого выхода, удовлетворяясь простым описанием примечательной этической коллизии. В этой связи Р. Тауэрс выражает опасение, что попытки создать достоверный портрет «среднего американца» такими средствами, которые избрали оба писателя, могут привести к возрождению натуралистических тенденций в литературе США.

«ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЙОКНАПАТОФЫ»

Так называется монография видного исследователя творчества Фолкнера К. Брукса, выпущенная издательством Йельского университета. Несколько лет назад К. Брукс опубликовал книгу «Округ Йокнапатофа», содержавшую разбор всех произведений Фолкнера, действие которых про-

исходит в этом вымышленном округе на Юге США. Теперь в поле зрения критика — романы и рассказы, в которых писатель покидает облюбованный им «клочок земли величиной с почтовую марку».

За пределами Йокнапатофы, впервые появившейся в романе «Сарторис» (1929), происходит действие двух первых книг Фолкнера — «Солдатская награда» и «Москиты». Уже разработав историю и географию Йокнапатофы и написав такие выдающиеся произведения своего «йокнапатофского» цикла, как «Шум и ярость», «Свет в августе», «Авессалом, Авессалом», Фолкнер порою печатал вещи, не связанные с магистральными темами и мотивами его эпоса,— романы «Дикие пальмы», «Пилон», «Притча», ряд рассказов, навеянных впечатлениями от Калифорнии, где он прожил три года в качестве сценариста Голливуда, новеллы, действие которых разворачивается в Европе («Победа» и др.).

К. Брукс стремится объяснить, что побуждало Фолкнера к этим странствованиям «за пределами Йокнапатофы», указывая на некоторые «внутренние конфликты» творчества писателя. Главными из них автору представляется конфликт «романтического и реалистического» начал в художественном сознании Фолкнера, а также преследовавшее художника ощущение, что в йокнапатофских произведениях он остается писателем «региональным», в то время как масштабы дарования требовали, чтобы каждая книга имела «всеобщий» смысл. Все, лежащее в наследии Фолкнера «за пределами Йокнапатофы», К. Брукс и называет «романтическим» и «всеобщим», хотя критик гораздо выше ценит Фолкнера там, где он «реалистичен» и «регионален». Рецензент книги К. Брукса Дж. Ярдли справедливо оспаривает в «Интернэшнл геральд трибюн» основную мысль исследования, хотя он и считает работу К. Брукса важнейшим событием в области изучения Фолкнера за последние годы.

Наибольшую ценность в исследовании К. Брукса представляет фактический материал, позволивший по-новому оценить такие романы Фолкнера, как «Солдатская награда», традиционно считающийся произведением почти ученическим. Исследователю удалось показать преемственную связь некоторых наиболее значительных произведений Фолкнера с этой его ранней книгой, уже наметившей ряд характерных мотивов творчества писателя. Выделяя среди таких мотивов особенности восприятия времени и истории, К. Брукс посвящает их анализу обширные главы, в которых, по мнению Дж. Ярдли, «содержится множество новых мыслей и фактов, помогающих понять, как формировалось выдающееся искусство Фолкнера».

ТУНИС

«СОЛНЦЕ ГИЕН»

Арабская пресса высоко оценивает новый фильм тунисского режиссера Реды Бахи «Солнце гиен», поставленный им совместно с голландскими кинематографистами.

Как пишет обозреватель иракского журнала «Афак арабийя», этот фильм доказывает, что материальный фактор не является решающим при создании произведений киноискусства. Несмотря на скромные затраты, «Солнце гиен» оказалось фильмом, зрелым в художественном отношении и удачным как с социально-политической стороны, так и с коммерческой. Фильм обратил на себя внимание на международных кинофестивалях и был показан в ряде западноевропейских стран, а также в Польше.

Он посвящен актуальной теме — разрушению и гибели самобытных культурных ценностей и традиций в результате невиданной прежде экспансии — иностранного туризма.

В тунисской деревушке на берегу моря западногерманская компания строит туристский комплекс. Жители деревни рассматривают это строительство как дар, ниспосланный им небесами. Они надеются получить работу и улучшить свое нищенское положение. Однако в конце концов за свои сытые желудки им пришлось расплачиваться слишком дорогой ценой — утратой национальных традиций, завещанных им предками.

Созданная раньше «Солнца гиен» режиссером Редой Бахи документальная кинолента «Запретные пороги» не демонстрировалась ни в одной арабской стране, за исключением Алжира. Как сказал сам режиссер в беседе с корреспондентом французского журнала «Экран», в арабских странах не показывают многих фильмов местного производства, некоторые из них, как это ни досадно, можно посмотреть только в Европе. Режиссер обвинил в создавшемся положении местные власти.

Фильм «Солнце гиен» Реда Бахи пришлось снимать в Марокко. «Вначале,— сказал режиссер,— я намеревался снять фильм в Египте, однако тамошняя цензура поставила условием, чтобы за съемкой фильма наблюдали два назначенных властями цензора!»

По словам Р. Бахи, своим фильмом он стремился «привлечь внимание к тому положению, в котором оказался арабский мир после смерти Насера».

ФИНЛЯНДИЯ

ПРЕМИИ ЖЕНЩИНАМ — ПИСАТЕЛЬНИЦАМ

Финская писательница Мярта Тикканен удостоена специальной литературной премии за книгу стихов «Любовная сага столетия» (или «Сага столетия о люб-

ви»). Необычна предыстория этого события. В начале нынешнего года 27 женщин-литературоведов стран Северной Европы на своем симпозиуме в норвежском городе Дрёбаке приняли решение учредить премию для женщин-писателей, поскольку ежегодная премия Северного совета (совещательного органа парламентариев северных стран) в области литературы постоянно — вот уже 18 лет подряд — присуждается только мужчинам, да и в самом составе жюри Северного совета нет ни одной женщины. Был объявлен сбор средств в фонд новой премии, и 20 февраля — в день, когда в Стокгольме премия Северного совета вручалась известному шведскому прозаику Ивару Лу-Юхансону — в Осло диплом и денежную премию получила 44-летняя писательница из Хельсинки.

Автор нескольких романов, пьес для театра и телевидения, а также сборника стихов, за который ей теперь присуждена премия, Мярта Тикканен привлекла к себе внимание не только как литератор, но и как активный борец за равноправие женщин.

Мать четверых детей, писательница посвящает свои книги жгучим проблемам положения женщины и матери в современном буржуазном обществе.

— В моем романе «Мужчину нельзя взять силой»,— рассказывает М. Тикканен в норвежской газете «Афтенпостен», — речь идет именно о насилии, о злоупотреблении властью. Я хотела показать сущность фашизма, его кредо: если ты сильный, ты прав, если слабый — неправ...

Дебют писательницы состоялся в 1970 году, когда был издан ее первый роман «Сейчас, завтра». Затем вышли «Ничейная земля» (1972), «Кто беспокоится о Дорис Михайловой?» (1974), «Мужчину нельзя взять силой» (1975) и «Любовная сага столетия» (1978).

М. Тикканен особенно близка тема становления духовного мира молодежи. Она гневно осуждает воспитание у подростков антигуманной философии, искаженного представления об их будущем месте и роли в обществе. Именно эту мысль она проводит в своей новой пьесе «Насилие», написанной в стихотворной форме, которая поставлена на сцене стокгольмского театра «Кляра». Пьеса на примере взаимоотношений подростков убедительно показывает несостоятельность моральных устоев общества потребления.

ФРАНЦИЯ

НОВОЕ О И. С. ТУРГЕНЕВЕ

В Париже вышел второй номер «Тетрадей», выпускаемых Обществом друзей Ивана Тургенева, созданным в столице Франции два года назад. Президент Общества — Андре Ле Сен и вице-президент — Александр Звигильский, вот уже несколько лет являющийся и комментатором сборников неопубликованных писем И. С. Тургенева, адресованных писателем Полине Виардо и членам ее семьи.

Среди материалов «Тетрадей» особое место занимает неоконченная сказка Тургенева на французском языке, названная писателем «Степовик»; в ней говорится об охотнике, бродящем с собакой по русским степям. Как предполагается, сказка была продиктована Тургеневым незадолго до смерти Полине Виардо.

Большой интерес вызывает также опубликованный в «Тетрадях» рассказ о тургеневской библиотеке, основанной писателем в Париже в 1875 году. Как известно, во время оккупации Парижа библиотека была вывезена в фашистскую Германию. В библиотеке Тургенева, возобновившей свою деятельность лишь в 1961 году, сохранилось всего семь книг из первоначального собрания.

Выпуск заключают обстоятельные рецензии членов Общества и других авторов на книги и монографии об И. С. Тургеневе, вышедшие в самые последние годы в Англии, Испании и Японии.

Палома Пикассо, дочь «великого Пабло», дебютировала как театральная художница. По мнению прессы, театральное оформление молодой художницы отличается ярким своеобразием. Как сложится творческая судьба молодой, несомненно одаренной художницы, покажет время, отмечают рецензенты. На снимке: Палома Пикассо.

(Журнал «Сцена»)

ФРГ

НОВОЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ РЕВЮ

«Умение смеяться — хлеб простых людей». Этой фразой начинается новое политическое ревю по сценарию Терезы Ангелоф и Петера Майвальда, поставленное мюнхенской театральной группой «Дампфмашине». Музыку написал композитор А. Хубер.

«Фауст. Неизвестная часть трагедии» — так назвали авторы свой веселый спектакль, который, по их собственному признанию, лишь в незначительной мере восходит к поэме Гёте, хотя и сохраняет все основные образы и коллизии этого шедевра немецкой классики.

Просыпающееся самосознание и малодушие, вера в собственные силы и отчаяние — вот полюсы, между которыми мечется душа рабочего-печатника Генриха Фауста. Больше всего на свете он хочет, чтобы всем вокруг было хорошо, у всех была бы прилично оплачиваемая работа и все могли жить сносно. Увы, это оказывается невозможным, и наивный Фауст то и дело попадается на удочку ловкому Мефистофелю, который предстает то политиканом, разглагольствующим о таинственных переговорах, то газетным магнатом, изрыгающим проклятья по адресу всех левых, то фабрикантом, богатеющим на военных заказах и ссылающимся при этом на старую, еще в нацистские времена обкатанную фразу о том, что военные заказы уничтожают безработицу. На собственной шкуре Фауст узнает, что такое «социальное партнерство» и как оно оборачивается против простых людей.

«Живое и убедительное действие, прекрасные костюмы актеров — все это превращает новую постановку театра «Дампфмашине» в запоминающийся вечер политической сатиры»,— отмечает рецензент газеты «Унзере цайт».

На снимке: кадр из фильма «Золотые времена».

(Журнал «Киноизкусство»)

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

«ЗОЛОТЫЕ ВРЕМЕНА»

Теме Словацкого национального восстания посвящены многие произведения искусства и литературы. Кинематограф тоже неоднократно возвращался к славным и трагическим событиям прошлого. Новый фильм словацкой киностудии «Колиба» «Золотые времена» режиссера Штефана Угера продолжает серию кинолент о судьбах народа, восставшего против фашистских оккупантов, фильмов, созданных им ранее и сходных по теме и стилю. И если фильм «Великая ночь, великий день» несколько отличается формальными приемами, излишней «театральностью», то в картине «Будь у меня ружье» Штефан Угер находит удачный ракурс исторического видения — глазами простого деревенского мальчика, что придало фильму поэтичность и необычную силу воздействия.

«Золотые времена» — тоже история, увиденная ребенком, и тоже о деревне, которую долгое время обходят стороной война и оккупация. Но здесь появляется еще один мотив: переживания физически неполноценного и инфантильного, но духовно чистого человека. Драматическая история Уйчека, так зовут калеку, разыгрывается в течение нескольких недель 1944 года, когда повстанцы отступали в горы.

Все мечты Уйчека, живущего в нищенской усадьбе своих родителей, сводятся к одному: купить волов с телегой, заработать на свадьбу с любимой. Вот тогда-то, ему кажется, для него наступят золотые времена. Но война, он ее до сих пор не брал в расчет, вторгается в его жизнь. Проходящие через поселок повстанцы нуждаются в его, калеки Уйчека, помощи, и он ведет своих волов по простреливаемой немцами дороге — волов, с которыми было связано столько надежд... И когда взрывом разбросает по лесу останки волов, он долго, как бы не осознавая случившегося, будет смотреть на кровавые куски мяса. А потом сварит из них гуляш, чтоб накормить солдат.

Но хотя автор подробно показывает хождение по мукам Уйчека, фильм не сводится к жизнеописанию одного человека. Это серьезное художественное обобщение с глубоким идейным подтекстом. История

Уйчека становится объективным правдивым свидетельством силы народного духа, его глубоко укоренившейся здоровой морали, которую лишь закалили военные испытания.

ЯПОНИЯ

«ОДИНОКАЯ ГОДЗЭ ОРИН»

Режиссер Масахиро Синода снял фильм «Одинокая годзэ Орин» по одноименной повести писателя Цутому Минаками, посвященный годзэ — слепым бродячим музыкантам-женщинам, исполнительницам на сямисэне (японский национальный музыкальный инструмент) старинных песен. Они бродят по захолустным уголкам страны, радуя своей скромной музыкой жителей деревень. Годзэ издавна были распространителями культуры и всяческих новостей в глухих местах, куда не достигало печатное слово.

В настоящее время в Японии осталось всего три годзэ, и, вероятно, новый фильм станет последним, в котором прозвучат их песни. Обычно годзэ странствовали группами, но когда кто-нибудь из женщин нарушал обет девственности, ее изгоняли из коллектива и ей приходилось странствовать в одиночку, подвергаясь лишениям и опасностям, как и героине фильма Орин.

Годзэ — исчезающее традиционное искусство Японии, и «вероятно, потому оно так печально и так прекрасно. Мой фильм — это моя ностальгия по «потерянной Японии», — сказал режиссер-постановщик Масахиро Синода.

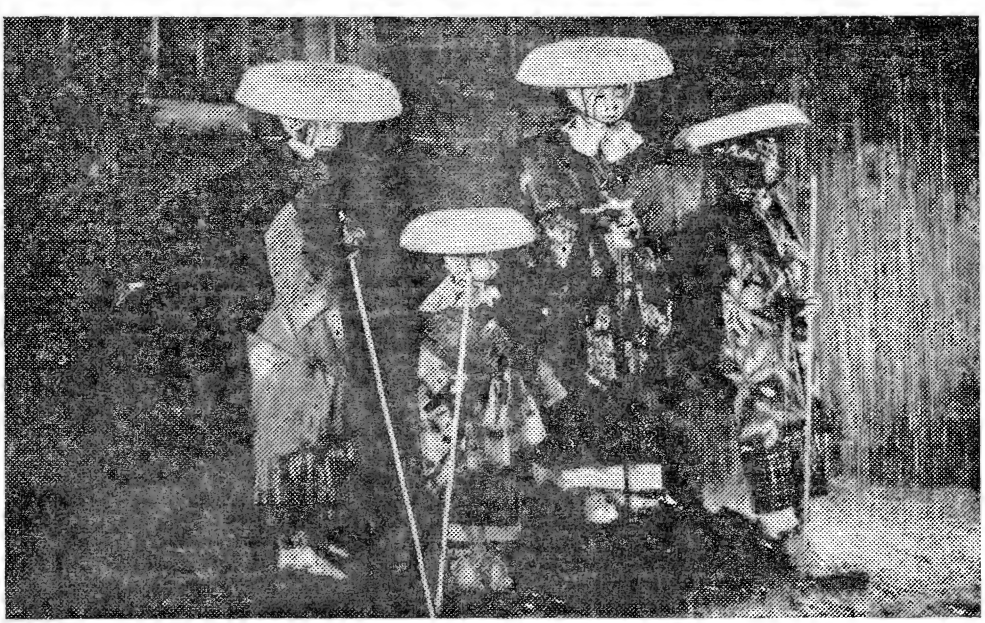
Съемочная группа исколесила страну вдоль и поперек в поисках пейзажей и поселков, еще не искаженных «прогрессом» и напоминающих Японию начала нашего века. Им удалось запечатлеть удивительные места, поражающие своей неповторимой, истинно японской прелестью.

Фильм снимал ветеран операторского искусства Кадзуо Миякава, сделавший такие фильмы, как «Человек-рикша», «Расёмон», «Телохранитель» и другие шедевры знаменитого кинорежиссера Акира Куросава. «Этот фильм — мое завещание,— сказал он своей группе.— И я постарался вложить в него все свое умение».

В фильме заняты известные японские актеры: Сима Ивасита, Томоко Нарасиба, Ёсио Харада и многие другие.

На снимке: кадр из фильма «Одинокая годзэ Орин».

(Японский кинобюллетень)



Авторы этого номера

ГАБРИЭЛА ВОМАН — GABRIELE WOHMANN (род. в 1932 г.).

Западногерманская писательница. Родилась в семье священника. Изучала иностранные языки и историю музыки в университете Франкфурта-на-Майне. Была участницей «Группы 47».

Перу Г. Воман принадлежат романы «Теперь и никогда» («Jetzt und nie», 1958), «Прощание на долгие годы» («Abschied für länger», 1965), «Паулинхен дома была одна» («Paulinchen war allein zu Haus», 1974), «Прогулка с матерью» («Ausflug mit der Mutter», 1976), «Ранней осенью в Баденвейлере» («Frühherbst im Badenweiler», 1977) и многие сборники рассказов.

Предлагаемые рассказы взяты из сборников «Семейство Бютов» («Die Bütows», 1967), «Праздник на лоне природы» и другие рассказы» («Ländliches Fest und andere Erzählungen», 1968), «Все для галереи» («Alles für die Galerie», 1972). Они входят в готовящийся в издательстве «Прогресс» однотомник произведений Г. Воман.

ЯННИС РИЦОС (род. в 1909 г.).

Греческий поэт. Лауреат международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами», ряда других международных и литературных премий.

Я. Рицос создал более пятидесяти поэтических книг. Среди них «Песнь моей сестре» (1937), «Испытание» (1943), «Лунная соната» (1956), «Свидетельства», том I (1963) и том II (1966), «Камни. Повторения. Решетка» (1972), «Четвертое измерение» (1972), «Грагада» (1973), поэма «Колокольня» (1974), публикуемая в этом номере, «Становление» (1977) и др.

Произведения Я. Рицоса переводились на русский и другие языки народов СССР. В Москве изданы три сборника стихотворений и поэм: «Стихи» (1959), «Избранная лирика» (1968), «Избранное» (1973). Неоднократно печатала стихи поэта «Иностранная литература».

В разделе «Критика» (стр. 192) напечатана статья С. Ильинской «Яннис Рицос. Неустанное становление», посвященная творчеству Я. Рицоса.

МОРИЦ ЮННА ПЕТРОВНА.

Советский поэт и переводчик. Печатается с 1954 г. Автор книг стихов «Разговор о счастье» (1957), «Мыс желания» (1961), «Лоза» (1970), «Суровой нитью» (1974), «При свете жизни» (1977) и др. Ю. Мориц принадлежит много переводов из советской и зарубежной поэзии.

ВИНЦЕНТ ШАБИК — VINCENT ŠABIK (род. в 1937 г.).

Словацкий критик, кандидат филологических наук, автор многих работ по теории литературы, по современной словацкой и западноевропейским литературам.

Послесловие к роману В. Шикулы «Мастера» получено от автора в рукописи.

ВИСЕНТЕ АЛЕЙСАНДРЕ — VICENTE ALEIXANDRE (род. в 1898 г.).

Испанский поэт, академик, лауреат Нобелевской и Национальной премий.

О себе и своем творчестве В. Алейсандре рассказывает в интервью (см. стр. 198 этого номера журнала).

Предлагаемые вниманию читателей стихи взяты из книг «Губы как шпаги» («Espadas como labios», 1932), «Разрушение или Любовь» («La destrucción o el amor», 1934), «Тень рая» («Sombra del Paraíso», 1944), «История сердца» («Historia del corazón», 1954).

ДЖОРДЖ ЭВАРТ ЭВАНС — GEORGE EWART EVANS (род. в 1909 г.).

Валлийский писатель. Известен как автор ряда исследований по фольклору. Автор книг «Спроси парней, что косили сено» («Ask the Fellows Who Cut the Hay», 1956), «Узор под плугом» («The Pattern Under the Plough», 1966), «Прыгающий заяц» («The Leaping Hare», 1972), «Пережитые дни» («The Days That We Have Seen», 1975) и нескольких сборников рассказов.

Рассказ «Пожитки» («Possessions») взят из сборника «Валлийские рассказы» («Welsh Short Stories», 1956—1972).

АЛЕД ВОГЭН — ALED VAUGHAN (род. в 1920 г.).

Валлийский писатель, журналист. Работает в Кардиффе на телевидении ведущим редактором программ на валлийском языке. Автор романа «Совращение» («The Seduction», 1968) и рассказов, печатающихся в литературных журналах и антологиях.

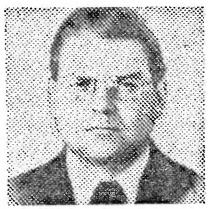
Рассказ «Белый голубь» («The White Dove») был напечатан в сборнике «Валлийские рассказы» («Welsh Short Stories», 1956—1972).

ГЛИН ДЖОНС — GLYN JONES (род. в 1905 г.).

Валлийский писатель, пишущий на английском и валлийском языках. В 1974 г. университет Уэльса присудил ему почетное звание доктора литературы. Дебютировал в тридцатые годы как поэт и автор рассказов. Его перу принадлежат сборники рассказов «Голубое ложе» («The Blue Bed», 1937), «Музыка воды» («The Water Music», 1944), «Наследники Уэльса» («Welsh Heirs», 1977), романы «Яблочный остров» («The Island of Apples», 1965), «Любознательный жаворонок» («The Learning Lark»), «Долина, город, деревня» («The Valley, The City, The Village»).

Занимается также переводами с валлийского на английский.

Рассказы Глина Джонса «Человек с четырьмя ношами» («The Four-loaded Man») и «Иордан» («Jordan») взяты из сборника его избранных рассказов (Glyn Jones. «Selected Short Stories», London, J. M. Dent & Sons, 1971).



МЕЛЬНИКОВ АНАТОЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ (род. в 1930 г.).

Советский переводчик и журналист. Переводил с английского произведения австралийской поэтессы Кэт Уокер, рассказы валлийских авторов; с польского — произведения Ярослава Ивашкевича, Юлиана Кавалеца, Казимежа Брандыса и др.

ФРАНСИС БЕБЕЙ — FRANCIS BEBEY (род. в 1929 г.).

Камерунский писатель, музыковед. Учился во Франции и США. Автор сборника новелл и стихов «Затруднительные ситуации» («Embarras et C-ie», 1969), исследования «Музыка Африки» («Musique d'Afrique», 1970) и нескольких романов.

На русский язык переведены его роман «Сын Агаты Мудио», за который писатель в 1968 г. был удостоен литературной премии Тропической Африки, несколько новелл и стихотворений.

Франсис Бебей известен также как профессиональный гитарист, выступавший с концертами во многих странах.

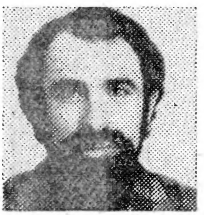
Мы публикуем его повесть «Три юных чистильщика» («Trois petits cireurs», Yaounde (Cameroun), Editions CLE, 1972).

ШЕРЛАИМОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА.

Советский литературовед и критик, доктор филологических наук. Автор монографий по литературе Чехословакии: «Станислав Костка Нейман» (1959), «Иржи Волькер и новые пути чешской поэзии XX века» (1965), «Витезслав Незвал» (1968), «Чешская поэзия XX века (двадцатые и тридцатые годы)» (1973) и статей по современной литературе и критике европейских социалистических стран.

ИЛЬИНСКАЯ СОФЬЯ БОРИСОВНА.

Советский литературный критик, переводчик, кандидат филологических наук. Автор монографии «Поэзия Сопротивления в послевоенной Греции. Судьба одного поколения» (1974) и статей в научных изданиях и периодической печати, в том числе в «Иностранной литературе». Переводила произведения Я. Рицоса, К. Кавафиса, Г. Сефериса, Н. Вреттакоса, Т. Ливадитиса, Г. Ксенопулоса, А. Терзакиса, М. Александропулоса и др.



ЗАГОТ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ
(род. в 1946 г.).

Советский переводчик с английского языка. Переводил рассказы Ф. С. Фицджеральда, К. Воннегута, С. Моэма, Э. О'Брайен, Р. Шекли и др. В его переводе в этом номере публикуются фрагменты книги Э. Р. Брейтуэйта «Почетный белый».

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Н. Т. ФЕДОРЕНКО

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Н. А. АБАЛКИН, Л. А. ГВИШИАНИ, Ю. В. ДАШКЕВИЧ, Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, И. Ф. ЗОРИНА, Т. П. КАРПОВА, Е. Ф. КНИПОВИЧ, А. А. КОСОРУКОВ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, Е. Н. ПРАЛЬНИКОВ (зам. главного редактора), **А. Н. СЛОВЕСНЫЙ, М. Г. ФЕДОРОВ** (отв. секретарь), **К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора), **М. А. ШОЛОХОВ, Л. З. ЭЙДЛИН.**

Художественный редактор **Л. Б. Филиппова.** Технический редактор **Л. Д. Фарафонтова.**

Адрес редакции: 109017. Москва, Пятницкая ул., д. 41. Телефон 233-51-47.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР».
Москва, Пушкинская пл., 5.

Журнал выходит один раз в месяц.

Сдано в набор 5/III 1979 г. А03160. Подписано в печать 11/IV 1979 г.
Бумага 70×108¹/₁₆ = 9 бум. л.= 18 п. л. (25,2 усл. печ. л.) Уч.-изд. л. 28,23.

Тираж 688.000 экз. (1-й завод, 1— 500 экз.) Зак. 846.

Ордена Трудового Красного Знамени типография «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Москва, Пушкинская пл., 5.

Каракас

Цена 80 коп. ИНДЕКС 70394